

СТЕФАН
ЦВЕИГ

СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание
сочинений
в десяти
томах

STEFAN ZWEIG

Stefan Zweig

Собрание
сочинений
в десяти
томах

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Собрание
сочинений

Том 1

ЦЕПЬ

ЦИКЛ НОВЕЛЛ

ЗВЕНО ПЕРВОЕ

ЖГУЧАЯ
ТАЙНА

ЗВЕНО ВТОРОЕ

АМОК

ЗВЕНО ТРЕТЬЕ

СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

ББК 84.4 А
Ц26

Внешнее оформление
И. САЙКО

Ц $\frac{4703010000-203}{A30(03)-96}$ Подписное

ISBN 5-300-00426-X (т. 1)
ISBN 5-300-00427-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996

Мне кажется, что у нас, в России, люди должны относиться друг к другу особенно бережно, — это требуется всей совокупностью условий современной жизни. Человек есть вместилище творческой энергии, направленной к власти над силами враждебной ему природы. Величие и тяжесть задач, ныне поставленных человеком перед собою к разрешению, должны бы внушить нам именно такую, особенную бережливость к человеку. Но грубая циническая упрощенность, с какою ныне решаются молодежью вопросы пола, грозит не только количественным ростом личных драм, бесплодно поглощающих ценнейшую энергию молодежи. Нет, это уже становится общественным бедствием. Область половых отношений есть именно та область, где, как мы видим, упрощение поразительно легко низводит людей к животным.

Неоспоримо, однако, что любовь — та сила, которая, вместе с голодом, «правит миром», что именно на почве любви к женщине создана большая часть того — если не

все то, что мы называем культурой, что, постепенно, уводит нас все дальше от животного и чем уже мы имеем право гордиться. Из борьбы с голодом возникла та жестокая «цивилизация», формы которой так безжалостно и бессмысленно угнетают людей, а из любви выросла та культура, которой мы обязаны сознанием, что переросли цивилизацию в ее современных формах.

Но значение любви, как возбудителя культуры, все еще недостаточно понято и оценено нами. Я думаю, что в дни такого мрачного хаоса отношений полов, какой сейчас мы наблюдаем, отличные книги Стефана Цвейга будут крайне полезны. Стефан Цвейг — редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с талантом первоклассного художника. Он уже создал классически прекрасные вещи, но, читая его, всегда чувствуешь: этот человек способен дать еще больше. И каждым новым рассказом своим он оправдывает предчувствие читателя.

Не знаю художника, который умел бы писать о женщине с таким уважением и с такой нежностью к ней. Нам очень много рассказывали о «несчастной любви», но не помню рассказа, насыщенного таким чистейшим и целомудренным лиризмом, как «Письмо незнакомки» Цвейга. Сентиментальность ему незнакома, он, очевидно, органически не склонен к ней, он правдив и

мудро прост, как истинный художник. Талант его, обладая силою, в то же время мягок; он убедителен даже тогда, когда разрабатывает крайне рискованные темы.

В рассказе «Смятение чувств» Стефан Цвейг, первый в литературе, изображает мучения однополой любви, и магия его таланта ставит читателя пред лицом еще одной тяжелой человеческой драмы. Об этой любви принято говорить с усмешкой презрения и отвращения к рабам ее, хотя она существует издревле, широко распространена среди восточных наций, оправдывалась Платоном. Современная наука доказывает, что эта любовь, охватывающая людей всех классов и наций, не «каприз пресыщенных» и извращенных, а злая игра природы, результат преобладания в половой железе мужчины женских клеток. Может быть, это преобладание является признаком вырождения изработавшегося мужчины, как такового, признак его «дегенерации», о которой весьма настойчиво и доказательно начинают говорить женщины.

Основной темой своих книг Стефан Цвейг избрал труднейшую, именно — любовь. Но у него не найдете веселых и всегда несколько грубоватых анекдотов Мопассана, у него нет ничего подобного «смакованию» этой темы. Он — художник, чувствующий трагически, как об этом говорят его «Амок», «Двадцать четыре часа из жизни

женщины» да и все его рассказы. Мне кажется, что до него никто еще не писал о любви так проникновенно, с таким изумительным милосердием к человеку. И, повторю, с таким глубоким уважением к женщине, в чем она давно нуждается и чего всемерно заслужила, как мать, товарищ и как неутомимый возбудитель творческой энергии мужчины.

1929

Л. Голдман



ЗВЕНО ПЕРВОЕ

ЖГУЧАЯ
ТАЙНА

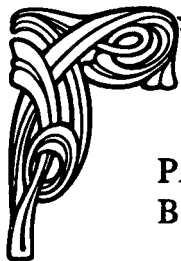
*Элен Кэй
сердечное воспоминание
о светлых осенних днях
в Баны ди Лукка*

О, детство, ты, о, тесная темница!
Как часто за решеткой я в окне
В слезах следил Неведомого птицу,
Златившуюся в синей вышине!

О, ночи нетерпения! В огне
Желаний ранних кровь уже томится...
Я рву засов, я бьюсь о край границы...
Вот одолел... и даль пахнула мне.
Едва взглянув, я выпрыгнул на волю.
Весь мир был мой! И в сотнях увлечений
Я жег себя, взлетая за рубеж.

Но все ж мне жаль прошедшего до боли.
О, сладость первых робких просветлений!
Вернуться к ним... Как был я чист и свеж!

Перевел *Н.Шульговский*



РАССКАЗ В СУМЕРКАХ

Что это? Неужели ветер снова нагнал дождь на город, что сразу стало так темно в нашей комнате? Нет, воздух серебристо-ясен и тих, как редко в эти летние дни; просто — уж вечер настал, а мы не заметили. Лишь окна мансард напротив улыбаются тихим блеском заката, а небо над гребнем крыш заволокло золотистой дымкой. Через час уже будет ночь. Дивный час! Нет ничего чудеснее этих красок, которые постепенно блекнут и затеняются, и тогда комнату затопляет мрак, который поднимается с пола, пока черные волны не разольются беззвучно по стенам и не окутают нас тьмой. Когда сидишь друг против друга и смотришь безмолвно, близкое лицо в тени начинает казаться более старым, чуждым и отдаленным, как будто никогда близко не знал его и теперь видишь его вдали, через пространство многих лет. Но ты говоришь, что не хочешь молчания, потому что слишком тягостно слышать, как часы разбивают время на тысячи мелких осколков, а дыхание в тишине становится громким, как дыхание больного. Я должен тебе что-нибудь рассказать? Охотно. Конечно, не о себе: наша жизнь в этих бесконечных городах бедна переживаниями, или это нам кажется так, потому что мы сами не уясняем себе, чем мы действительно обладаем. В этот час, который, собственно, любит молчание, я хочу рассказать тебе кое-что, и мне хотелось бы, чтобы этот рассказ отразил в себе хоть сколько-нибудь теплый, мягкий свет сумерек, льющийся в наши окна.

Я не знаю, как дошел до меня этот рассказ. Я помню только,

как я сидел здесь долго после обеда, читал книгу и уронил ее, забывшись не то в мечтах, не то в легкой дреме. И вдруг образы обступили меня, они скользили вдоль стен, и я мог слышать их слова и заглянуть в их жизнь. Но лишь только я захотел присмотреться к ускользающим видениям, я проснулся и был один. Оброненная книга лежала у моих ног. Я поднял книгу и искал в ней эти образы, но ничего не нашел. Как будто рассказ выпал из ее страниц в мои руки, или, может быть, его там никогда и не было. Быть может, он мне когда-нибудь снился, или я прочел его на одном из тех причудливых облаков, что примчались сегодня в наш город из далеких стран и разогнали дождь, так долго изводивший нас. А может быть, я слышал этот рассказ в звуках простодушной старинной песни, которую грустно наигрывала под моим окном шарманка, или кто-нибудь рассказал мне его в старые годы? Не знаю. Такие сказки часто посещают меня, и я, играя, даю свободно течь их событиям как бы сквозь пальцы, не задерживая их. Так ласкаешь мимоходом колосья и высокие стебли цветов, не срывая их. Эти сказки мне грезятся, начинаясь быстро возникающими яркими образами и угасая к концу, но схватить их я не могу. Но ты все же хочешь рассказа сегодня, и я расскажу его тебе в этот сумеречный час, когда наши глаза, обедневшие и усталые от серого, тоскуют по яркому свету и движению.

Как мне начать? Я чувствую, что должен извлечь из тьмы мгновение, образ и лицо, как это всегда начинается в моих удивительных снах. Ну вот, я уже вспоминаю. Я вижу стройного мальчика, спускающегося по широким ступеням замка. Стоит ночь, лишь тускло озаренная светом луны, но я схватываю, как в освещенном зеркале, каждый контур его гибкого тела, вижу ясно его черты. Он необыкновенно красив. По-детски зачесанные черные волосы падают прямо на высокий лоб, и руки, которые он простирает во тьме, чтобы ощутить теплоту воздуха, напоенного солнечным теплом, нежны и благородны. Его шаги замедляются. Задумчиво он спускается в большой, шелестящий ветвями парк, через который единственной белой полосой проходит широкое шоссе.

Я не знаю, когда все это случилось, — вчера или пять — десять лет назад, — и не знаю где, но думаю, что в Англии или Шотландии, так как только там я знаю такие высокие квадратные замки, которые издали грозят, как крепости, и лишь для дружеского взора приветливо снижаются, спускаясь к веселым садам, полным цветов. Да, теперь я знаю совершенно точно, что это произошло в горах, в Шотландии: только там летние ночи так светлы, что небо — молочное, как опал, поля никогда не темнеют; и все кажется излучающим внутренний свет. Одни тени, как черные гигантские птицы, спускаются на светлые долины. Это происходит в Шотландии, — теперь я это совершенно точно знаю, и если бы я дал себе труд, то нашел бы название этого графского замка и имя мальчика, так как темная кора быстро спадает с моего сна, и я вижу все так отчетливо, как будто это не воспоминание, а сама жизнь. Мальчик гостит летом у своей замужней сестры, и, по добром обычаю английских дворянских семейств, он там не единственный гость. Вечером, за круглым столом, собирается целый круг товарищей по охоте, их жены, несколько молодых девушек, — все рослые, красивые люди, молодой смех которых весело, но не шумно будит эхо старинных стен. Целый день взад и вперед скачут лошади, своры собак; на реке мелькают две-три лодки. Непрерывное движение, без деловых забот, сообщает дню приятный быстрый ритм.

Сейчас вечер, и стол опустел. Мужчины сидят в салоне, курят и играют. До полуночи через раскрытые окна льются в парк дрожащие полосы света, порою веселый, громкий смех. Дамы почти уже все разошлись по своим комнатам, кое-кто из них еще болтает, задержавшись в вестибюле. Мальчик в этот вечер совершенно один. К мужчинам он не смеет идти, разве только на одну минуту, а перед женщинами он испытывает робость, так как, стоит ему открыть дверь, они внезапно понижают голос, и он чувствует, что они говорят о вещах, которых ему не следует слышать. И вообще, он не любит их общества; они обращаются с ним, как с ребенком, снисходительно его слушают, пользуются им для тысячи мелких поручений и

благодарят, как воспитанного мальчика. Он уже хотел отправиться спать и поднялся к себе по извилистой лестнице, но комната слишком нагрелась и наполнена спертой, неподвижной духотой. Днем забыли закрыть окна, и солнце дало себе волю: нажгло стол, накалило кровать, тяжело залегло на стенах и оставило свое удушливое дыхание во всех углах и на занавесках. И потом еще рано, — и снаружи летняя ночь светит, как белая свеча, так спокойно, безветренно, так безмятежно-тихо! Мальчик снова спускается с высокой лестницы замка — в сад, где над темной листвой небо матово светится, как нимб, и снизу, навстречу небу, волнуя, струится аромат тысячи невидимых цветов. У него странно на душе. Он не мог бы сказать почему, в смутном ощущении своих пятнадцати лет, но его губы дрожат, словно ему что-то хочется сказать ночи, или поднять руки, или надолго закрыть глаза; словно существует какая-то тайна между ним — и этой покоящейся летней ночью, требующая слов или знака привета.

Медленно сворачивает мальчик с широкой открытой аллеи на боковую дорожку, где деревья своими посеребренными вершинами как будто обнимаются в высоте, а внизу под ними лежит тяжелая тьма. Кругом тишина. Но тишина, наполненная тем неопишваемым звучанием, как бывает в саду, напоминающим падение капель дождя на траву или шелест касающихся друг друга стеблей. Вся эта неуловимая музыка овеивает идущего мальчика, который охвачен сладкой, необъяснимой тоской. Порой он слегка трогает дерево или останавливается, чтобы прислушаться к мимолетным звукам ночи. Шляпа давит ему, и он снимает ее, чтобы подставить свои обнаженные виски, в которых стучит кровь, под дуновение сонного ветерка.

Вдруг, когда он глубже погружается в темноту, происходит нечто невероятное. Позади него раздается скрип щебня. Испуганно обернувшись, он видит мерцание высокой белой фигуры, идущей к нему, с ужасом чувствует себя в крепких объятиях женщины. Теплое, мягкое тело тесно прижимается к нему, дрожащая рука быстро проводит по его волосам и откидывает назад его голову. Шатаясь, он чувствует на своих устах, как

раскрытый плод, чужие дрожащие губы, которые впиваются в них. Это лицо так близко к нему, что он не различает его черт. Он даже не решается всмотреться в них. Дрожь, словно боль, пронизывает его тело с такой силой, что он должен закрыть глаза и безвольно, как добыча, отдается этим пылающим губам. Нерешительно, неуверенно, как бы вопрошая, его руки схватывают это чужое тело, и, быстро пьянея, он прижимает его к себе. Жадно скользят его руки по мягким линиям, задерживаются, — и снова, дрожа, скользят, становятся лихорадочнее и смелее. Все сильнее прижимаясь и наклоняясь над ним, это тело всей сладостной тяжестью давит на его уступающую грудь: он чувствует, что куда-то падает и уносится этим тяжело дышащим напором, и колени его подкашиваются. Он не думает о том, как эта женщина пришла к нему, как ее имя, — он только жадно пьет, закрыв глаза, наслаждение с чужих влажных душистых губ, пока не пьянеет и не отдается безвольно, безрассудно яростной страсти. Ему кажется, что звезды внезапно падают с неба, — так сверкает у него в глазах, и все, к чему он ни прикасается, сыплет искры и жжет. Он не знает, как долго находится в этих мягких цепях, час или мгновения, он только чувствует, что все загорелось диким желанием в этой сладострастной борьбе, завертелось, закружилось в чудесном вихре.

Кто это был? И как долго это длилось? Подавленный, оглушенный, прислоняется он к дереву. Медленно приливает холодное сознание к лихорадочным вискам. Ему кажется, что его жизнь внезапно подвинулась на тысячу часов вперед. Неужели то, что в неясных мечтах он думал о женщинах и страсти, стало внезапно действительностью? Или это был сон? Он ощупывает себя, хватается за волосы. Да, они влажны на стучащих висках, влажны и прохладны от росистой травы, на которую они упали. Все вдруг снова пронесется перед его взором, он чувствует, как горят его губы, вдыхает чужой, сладострастный аромат, исходящий от его платья, хочет повторить каждое слово, но не может вспомнить ни одного.

И тут он вдруг с ужасом вспоминает, что она совсем не говорила, ни разу даже не назвала его по имени, что он знает только ее страстные вздохи, вскрики, судорожно задержанные стоны сладострастия, что он знает аромат ее разметавшихся волос, горячее прикосновение груди, гладкую эмаль кожи, что ему принадлежало ее тело, ее дыхание, весь ее судорожный порыв, но он и не подозревает, кто была эта женщина, настигшая его в темноте своей любовью. Он может только бормотать имена, чтобы назвать свое неожиданное счастье.

И вдруг все то необычайное, что он неожиданно пережил с женщиной, кажется ему таким бедным и ничтожным по сравнению с той сверкающей тайной, которая манящими глазами глядит на него из темноты. Кто была эта женщина? Быстро перебирает он в уме все возможности, охватывает образы всех женщин, живущих в замке; вспоминает каждый значительный час, каждый разговор, каждую улыбку тех пяти-шести женщин, которые могли быть замешаны в этой загадочной истории. Может быть, молодая графиня Э., которая иногда так сильно нападала на своего стареющего мужа, или молодая жена его дяди, у которой поразительно мягкие и все же дразнящие глаза. Или — но он пугается при одной мысли — это одна из трех сестер, его кузин, которые так похожи друг на друга своим высокомерным, гордым, строгим видом? Нет, это все холодные, рассудительные люди. Как часто за последние годы он считал себя отверженным, больным, с тех пор как в нем бушевали тайные желания, сжигая его во сне. Как он завидовал всем тем, которые были или казались такими спокойными, свободными от увлечений и желаний, как пугался он своей пробуждающейся страстности, словно какого-то недуга. И что же? Но кто, кто среди всех этих женщин умеет так притворяться?

Этот неотступный вопрос постепенно успокаивает волнение его крови. Поздно, огни в зале погасли, он один бодрствует в замке, он — и, может быть, еще другая, незнакомка. Постепенно усталость овладевает им. Зачем еще раздумывать? Взглядом ли, блеском глаз, пожатием руки — чем-нибудь она себя

завтра выдаст. Задумчиво, мечтательно поднимается он по лестнице, так же мечтательно, как спускался, и все же совсем иначе. Его кровь еще слегка взволнована, и нагретая комната кажется ему теперь свежее и прохладнее.

Когда он просыпается на следующее утро, внизу уже раздается нетерпеливый топот коней, слышатся смех, голоса, кто-то произносит его имя. Он быстро вскакивает, — час завтрака уже пропущен, — лихорадочно-быстро одевается и бежит вниз, где его весело приветствуют. «Соня!» — бросает ему навстречу графиня Э., и смех блестит в светлых глазах. Жадным взглядом впивается он в ее лицо. Нет, нет, это не она, ее смех слишком беспечен. «Видели сладкие сны?» — шутливо спрашивает молодая женщина, но слишком тонким кажется ему нежное тело. Быстро летит его вопрос от одного лица к другому, но ни на одном не находит ответной улыбки.

Они едут верхом в поле. Он прислушивается к каждому голосу, присматривается пытливо к каждой линии, каждой волне колеблющихся при езде женских тел, он наблюдает каждый поворот и то, как они поднимают руки. Во время завтрака, за столом, он наклоняется при разговоре, чтобы почувствовать аромат губ или запах волос, но ничто, ничто не дает ему знака, ни даже намека, который послужил бы нитью его разгоряченной мысли. День тянется бесконечно долго. Он хочет заняться чтением, но строки разбегаются через край страниц и вдруг уводят в сад, — и снова ночь, эта удивительная ночь, и снова он чувствует себя в объятиях незнакомки. Он выпускает книгу из дрожащих рук и идет к пруду. И внезапно видит в испуге, что он на покрытой гравием дорожке, на том же самом месте. Вечером, за обедом, его лихорадит, его руки блуждают и непрерывно двигаются, как будто гонимые кем-то, его глаза боязливо прячутся под веками. Когда все, наконец, — о, наконец-то! — поднимаются из-за стола, он счастлив, он быстро выбегает из комнаты в парк, ходит взад и вперед — по белой дорожке, которая блестит под его ногами, как молочный туман, — взад и вперед, взад и вперед сотни, тысячи раз. Горят ли уже свечи в зале? Да, свечи зажжены, наконец; виден свет

в нескольких окнах первого этажа. Значит, дамы разошлись. Теперь только минуты остается ждать, пока она придет, но каждая минута разбухает и, кажется, готова лопнуть от жгучего нетерпения. И снова он мечется взад и вперед, как будто его дергают невидимые нити.

Вдруг белая тень промелькнула по лестнице, быстро, слишком быстро для того, чтобы ее разглядеть. Она кажется лунным лучом или развевающейся по ветру вуалью, затерявшейся меж деревьев. И вот он снова сжимает в своих объятиях, страстно, как когтями, это неистовое, разгоряченное быстрым бегом тело. Как и вчера, одно мгновение — и горячая волна неожиданно ударяет в его грудь с такой силой, что он чуть не теряет сознания от ее страстного призыва только отдаться потоку темного наслаждения, раствориться в нем. Вдруг шум крови утихает, и он сдерживает свой пыл. Нет, только не потеряться в этом упоительном сладострастии, не отдаться этим засасывающим губам, пока не узнаешь, какое имя носит это тело, которое прижимается так тесно, что начинает казаться, будто это чужое сердце стучит в собственной груди! Он отстраняет голову от ее поцелуя, чтобы увидеть ее лицо, но тени падают в неясном свете и смешиваются с ее темными волосами. Слишком густа чаща деревьев, и слишком бледен свет подернутой облаком луны. Он видит только блестящие глаза, сверкающие камни, глубоко вкрапленные в белый мрамор лица.

Он хочет услышать хоть одно слово, хоть отрывочный звук ее голоса. «Кто ты, скажи мне, кто ты?», — требует он. Но у этих мягких, влажных уст есть только поцелуи, но не слова. Он хочет вынудить сказать хоть слово, вырвать крик боли, он сжимает ей руку, вливается ногтями глубоко в тело. Напрасно, он чувствует только, как тяжело дышит ее напряженная грудь, как горячо ее дыхание и как жарки упрямые, немые губы, которые лишь издают тихие стоны не то боли, не то страсти. Его сводит с ума сознание, что он бессилен перед этой упрямой волей, что эта женщина из мрака берет его, не выдавая себя, что он имеет неограниченную власть над ее вожде-

леющим телом, но не над ее именем. Им овладевает гнев, и он противится ее объятиям, но она, чувствуя его усталость, угадывая его тревогу, старается его успокоить, гладит ласково и волнуяще его волосы. И пока он чувствует прикосновение ее трепетных пальцев, что-то слегка звенит, что-то металлическое, медальон или монета, которая свисает с ее браслета. Внезапно его озаряет мысль. Как бы в порыве дикой страсти он прижимает ее руку к себе, пока она не впивается в кожу. Наконец, у него есть точный знак и теперь, когда он огнем горит на его теле, можно свободно отдаться доголе сдерживаемой страсти. Он крепко прижимается к ее телу, пьет сладострастие с ее губ, бросаясь в таинственный пламя этих безмолвных тисков.

И когда она, как и вчера, внезапно вскакивает и убегает, он не старается удержать ее, так как в его крови горит любопытство увидеть знак. Он бросается в свою комнату, заставляет ярко разгореться огонь потухающей лампы и жадно наклоняется над оттиском, который монета оставила на его руке.

Оттиск уже не так ясен, полный кружок уже исчез, но один конец еще глубоко, докрасна вдавлен и хорошо виден. Монета, по-видимому, с отточенными краями, восьмиугольная, средней величины, приблизительно с пенни, но выпуклее, как видно из глубокой ямки на руке. Знак горит, как огонь, пока он с жадностью рассматривает его. Это место болит, точно рана. Тогда он опускает руку в холодную воду, и жгучая боль проходит. Итак, медальон восьмиугольный. Теперь он спокоен. Его взор горит торжеством. Завтра он все узнает.

Утром он спускается к завтраку одним из первых. Из дам на местах только его сестра, одна пожилая барышня и графиня Э. Все они приодеты и беседуют, не обращая на него внимания. Тем удобнее ему наблюдать. Быстро он окидывает взглядом узкую руку графини; она не носит браслета. Теперь он может спокойно с ней разговаривать, но его нервный взгляд не отрывается от двери. Три сестры, его кузины, появляются вместе. Его снова охватывает беспокойство. Неясно различает он скрытые под рукавами украшения на их руках, но сестры

слишком быстро садятся, как раз напротив него: темно-русая Китти, белокурая Марго и Елизавета, волосы которой так светлы, что в темноте отливают серебром, а на солнце золотом. Они, как всегда, холодны, тихи, неприступны, застыли в своем достоинстве, что он больше всего ненавидит в них, так как они немногим старше его и недавно еще были товарищами его игр. Не хватает еще молодой жены его дяди. Все тревожнее бьется у мальчика сердце, развязка приближается, и ему вдруг становится почти дорога загадочная мука этой тайны. Его взгляд жадно скользит по краю стола, где на белизне скатерти женские руки покоятся или блуждают, как корабли на светлой поверхности залива. Он видит лишь одни руки, и эти руки ему вдруг начинают казаться особыми существами, как фигуры на сцене, — каждая со своей особой жизнью и своей особой душой. Почему кровь так стучит в висках? Все три кузины, видит он с испугом, носят браслеты, и уверенность, что это может быть одна из этих высокомерных, внешне столь безупречных женщин, еще с детских лет упорно замкнутых в себе, приводит его в смущение. Но которая из них? Китти, которую он знает меньше других, потому что она старшая, резкая Марго или маленькая Елизавета? Он даже не решается желать какую-либо из них. Втайне он желает, чтобы это не была ни одна из них или чтобы он не знал о том. Но желание уже увлекает его.

— Не будешь ли ты добра дать мне чашку чаю, Китти?

Голос его звучит, как будто песок застрял у него в горле. Он протягивает чашку, теперь она должна поднять руку, протянуть ее через стол по направлению к нему. Он видит, — с ее браслета свисает медальон. Его рука цепенеет на мгновение, но нет: это зеленый камень в круглой оправе, который с тихим звоном ударяет о фарфор. Его благодарный взгляд, как поцелуй, ласкает темные волосы Китти.

С минуту он переводит дух.

— Кусочек сахару, будь любезна, Марго.

Тонкая рука поднимается над столом, протягивается к серебряной сахарнице и передает ему. Рука его дрожит, и он видит, как там, где кисть скрывается в рукаве, с прекрасного

плетеного браслета спускается старая серебряная монета, спиленная восьмиугольником величиной в пенни; вероятно, наследственная вещица. Да, восьмиугольник, с острыми краями, — тот, что вчера горел на его теле. Его рука не перестает дрожать, дважды берется он за щипцы и лишь тогда опускает кусок сахара в свой чай, который так и забывает выпить.

Марго! Это имя, крик невероятного изумления, дрожит на его губах, но он стискивает зубы. Он слышит, как она разговаривает, и голос ее звучит для него так чуждо, как если бы кто-нибудь говорил с трибуны: холодный, рассудительный, слегка шуточный, с таким ровным дыханием, что его почти охватывает ужас пред лицом ужасающей лжи ее жизни. Неужели это действительно та женщина, чье горячее дыхание он пил вчера, чьи влажные губы прижимал, — губы, что бросились на него в ночи, как хищный зверь? Оцепенелый, продолжает он всматриваться в ее губы. Да, это упрямство, эта замкнутость, — только на этих острых губах могли они скрываться, но что значил тогда этот пыл?

Он внимательно смотрит на ее лицо, как если бы видел ее впервые. И в первый раз чувствует он, торжествуя, дрожа от счастья и почти в слезах, как хороша она в своей гордости, как притягательна в своей таинственности. Его взгляд страстно отмечает круглую линию ее бровей, неожиданно ломающуюся под острым углом, погружается глубоко в сердолик серо-зеленых глаз, целует бледную, слегка просвечивающую кожу щек, смягчает для поцелуя острую напряженность ее губ, блуждает по светлым волосам и, быстро опускаясь, охватывает сладострастно всю ее фигуру. Он не знал ее до этого мгновения. Он поднимается из-за стола, его колени дрожат. Он упоен ее образом, как крепким вином.

Внизу его сестра уже сзывает всех. Лошади готовы для утренней прогулки, нервно танцуют и нетерпеливо кусают удила. Быстро вскакивают все один за другим в седла, и пестрая кавалькада движется по широкой аллее сада. Сначала едут медленной рысью, ленивый ритм которой так не совпадает с бурным потоком его крови. Но за воротами отпускают поводья

и мчатся, свернув с дороги, направо и налево по лугам, еще подернутым утренним туманом. Ночью, должно быть, пала сильная роса, потому что под стелющейся дымкой блестят беспокойные искорки и в воздухе удивительная свежесть, точно от близкого водопада. Сомкнутая группа распадается, цепь всадников разрывается на красочные куски, некоторые всадники уже скрылись в лесу и за холмами.

Марго одна из первых впереди. Она любит дикий бег, страстный порыв ветра, который треплет ее волосы, неописуемое ощущение галопа и свиста в ушах. Следом за ней мчится мальчик. Он глядит на ее гордую, выпрямившуюся фигуру, красиво раскачивающуюся в диком беге, иногда видит ее лицо, покрытое легким румянцем, блеск ее глаз, — и в том, с какой страстью она отдается ощущению своей силы, он снова узнает ее. Он чувствует отчаянную вспышку страсти. Его охватывает непреодолимое желание овладеть ею немедленно, сорвать ее с лошади и сжать в своих объятиях, снова пить ее неукротимые уста, ловить на своей груди неровные удары ее возбужденного сердца. Удар ноги — и его лошадь, заржав, мчится вперед. Теперь он рядом с ней, его колени почти касаются ее, стремяна тихо звенят. Теперь он должен заговорить, он должен... «Марго», — бормочет он. Она поворачивает голову, поднимает крутые брови. «В чем дело, Боб?» Холодно произносит она эти слова. Холодно и ясно смотрят ее глаза. Дрожь пронизывает его с головы до ног. Что он хотел сказать? Он сам уже этого не знает. Он что-то бормочет о возвращении. «Ты устал?» — спрашивает она слегка насмешливо, как ему кажется. «Нет, но другие так отстают», — произносит он с трудом. Мальчик чувствует, что еще минута — и он сделает что-нибудь безумное: протянет к ней руки, или разрыдается, или ударит ее хлыстом, нервно дрожащим в его руке. Резко дергает он лошадь назад, так что она становится на дыбы. Марго мчится вперед, прямая, гордая, недоступная.

Скоро его нагоняют остальные. Вокруг, справа и слева, звучит веселая речь, но слова и смех воспринимаются им без смысла, как стук подков. Его мучит, что у него не хватило духу

сказать ей о своей любви, добиться ее признания, — и желание сломить ее становится все более диким и, как багряное небо, расстилается перед ним над землей. Почему он не надсмеялся над ней, как она над ним своим упрямством? Ничего не сознавая, гонит он свою лошадь, и только в этом бешеном беге ему становится легче. Его окликают и зовут домой. Солнце перевалило через холм и стоит высоко на небе. С полей тянет мягким, мглистым благовонием, краски стали ярче и горят, как расплавленное золото. Тяжелая духота нависает кругом. Вспотевшие лошади трусят ленивей, от них идет теплый пар, и они дышат тяжело. Медленно собирается снова кавалькада, настроение становится вялым, разговор иссякает.

Появляется Марго. Ее лошадь в мыле, белые хлопья пены дрожат на ее платье, и узел волос, слабо поддерживаемый гребнями, грозит рассыпаться. Мальчик, как очарованный, смотрит на эти белокурые косы, и мысль, что они внезапно могли бы расплестись и рассыпаться неистово развевающимися прядями, сводит его с ума от возбуждения. Уже вдали, в конце шоссе, виднеется свод садовых ворот, а за ним широкая аллея к замку. Осторожно объезжает он остальных, вот он первый у крыльца, соскакивает, отдает подбежавшему слуге поводья и ждет кавалькаду. Марго одна из последних. Она медленно приближается, опустившись всем телом назад, словно в изнеможении страсти. Он чувствует, что такой она могла быть вчера и третьего дня. Это воспоминание снова приводит его в бешенство. Он бросается к ней; задыхаясь, помогает ей соскочить с лошади. Пока он держит стремя, он обнимает лихорадочной рукой ее нежную стопу.

— Марго, — стонет он и шепчет тихо. Она не отвечает даже взглядом и спокойно берет, соскакивая, протянутую руку.

— Марго, как ты восхитительна! — лепечет он еще раз.

Она строго взглядывает на него и снова хмурит брови:

— Я думаю, ты пьян, Боб, что ты там болтаешь?

Взбешенный ее притворством, слепой от страсти, он крепко прижимает к себе ее руку, как будто хочет просверлить ею свою грудь. Краснея от гнева, Марго дает сильный толчок, от

которого он шатается, и быстро проходит мимо него. Так быстро, так судорожно быстро все это произошло, что никто ничего не заметил, и ему самому кажется, что это было страшным сном.

Весь день он так бледен, так возбужден, что белокурая графиня, проходя мимо него, гладит его по голове и спрашивает, что с ним. Он так раздражен, что ударом ноги гонит прочь собаку, выскочившую с лаем ему навстречу, он так неловок в игре, что девушки смеются над ним. Мысль, что сегодня вечером она уже не придет, отравляет его кровь, делает его злым и угрюмым. За чаем в саду они сидят вместе, — Марго против него, но она не смотрит в его сторону. Как будто притягиваемые магнитом, его глаза все поворачиваются к ней, но холодные, как серый камень, ее глаза неподвижны и не отвечают ему. Его охватывает горечь при мысли, что она им так играет. Теперь, когда она от него резко отвернулась, его кулаки сжимаются, и он чувствует, что мог бы спокойно ударить ее.

— Что с тобой, Боб, ты так бледен? — вдруг слышит он голос. Это Елизавета, младшая сестра Марго. В ее глазах — теплый, мягкий свет, но он его не замечает. Он чувствует себя пойманным и говорит в бешенстве:

— Оставьте меня в покое с вашей проклятой заботливостью!

И тотчас же кается в этом. Елизавета бледнеет, отворачивается и говорит со слезами в голосе:

— Ты более чем странен.

Все смотрят на него сердито, почти с угрозой, и он сам чувствует свою некорректность. Но раньше чем он успел извиниться, до него доносится через стол жесткий голос, острый и отточенный, как лезвие ножа, голос Марго:

— Вообще, я нахожу, что Боб для своих лет весьма невоспитан. Нельзя обращаться с ним, как с джентльменом или как со взрослым.

И это говорит Марго, та самая Марго, которая еще вчера ночью дарила ему свои губы! Он чувствует, как все вокруг него кружится, — туман застилает глаза. Гнев овладевает им.

— Ты должна это знать, именно ты! — говорит он злым

тоном и встает. Позади него падает кресло, опрокинутое быстрым движением, но он не оборачивается.

И все же вечером, как ни дико это кажется ему самому, он снова стоит внизу в саду и молит Бога, чтобы она пришла. Может быть, и это все было игрой и упрямством. Нет, он не будет ни спрашивать, ни мучить, лишь бы она пришла, лишь бы он снова почувствовал на своих губах жестокое желание этих мягких, влажных уст, от которых замирают все вопросы. Часы как будто уснули. Как ленивый, усталый зверь, ночь разлеглась перед замком. Безумно медленно тянется время. Легкое шуршание травы кажется ему насмехающимися головами; издевающимися руками — сучья и ветви, которые легко покачиваются и играют своими тенями и слабым мерцанием света. Все шумы кажутся спутанными и чуждыми и колют больнее, чем тишина. Раз залаяла в деревне собака, мелькнула падающая звезда и упала где-то за замком. Ночь все светлеет, темнеют тени деревьев через дорогу, а тихие звуки становятся все более неясными. Плывущие по небу облака вдруг заволокли его мрачной тьмой. Болезненно отзывается одиночество в лихорадочном сердце.

Мальчик шагает взад и вперед. Все быстрее и порывистее. Несколько раз в гневе ударяет по дереву, растирает кору между пальцами с такой яростью, что из них сочится кровь. Нет, она не придет, он это знал и все же не хочет этому верить, потому что это значит, она не придет уже никогда, никогда. Он переживает самый горький момент своей жизни. Так страстно юны еще его чувства, что он резко бросается на влажный мох, впивается пальцами в землю, слезы текут по щекам, и он тихо, горько всхлипывает, как не плакал в детстве и не будет уже плакать никогда.

Легкий треск среди деревьев вдруг вырывает его из отчаяния. Он вскакивает, тянется вперед слепыми, ощупывающими руками и — как чудесен этот быстрый, горячий удар о его грудь! — чувствует снова в своих руках тело, о котором он мечтал в иступлении. Рыдание закипает в горле, все его существо растворяется в неслыханном пароксизме, и он сжимает

стройное полное тело с такой силой, что с чуждых и немых уст срывается стон. И когда он чувствует, как она стонет от его силы, он впервые сознает, что он ее господин, а не жертва ее настроения, как это было вчера, позавчера. Им овладевает желание мучить ее за те муки, которые он испытывал сотни часов, наказать ее за упрямство, за презрительные слова сегодня вечером в присутствии других, за всю лживую игру ее жизни. Его опаляющая любовь неразрывно переплетается с ненавистью, и объятия его похожи скорее на борьбу, чем на ласку. Он сжимает тонкие кости так, что все ее тяжело дышащее тело извивается, дрожа, и затем с такою силой притягивает к себе, что она не в состоянии пошевелиться, а только глухо стонет, — он сам не знает, от страсти или от боли. Но ни одного слова не может он вырвать у нее. Когда он впивается в ее губы, чтобы подавить этот глухой стон, он чувствует на них влажную теплоту, кровь, сочащуюся кровь, — так сильно закусил она зубами свои губы. И он продолжает мучить ее, пока не чувствует внезапно, что силы оставляют его, и горячая волна сладострастия поднимается в нем, — тогда они оба тяжело дышат. Ночь озаряется огнями, звезды мелькают в его глазах, все становится смутным, мысли путаются дико, — и над всем царит одно имя: Марго. Глухо, из самых глубин души, в пламенном порыве, вырывается у него, наконец, это слово, все — торжество и отчаяние, страсть, ненависть, гнев и любовь одновременно, единственный крик, в котором сжалась мука трех дней:

— Марго!.. Марго!

В этих двух слогах звучит для него вся музыка мира.

Словно удар пробегает по ее телу. Сразу цепенеет иступленность объятий. Дико и резко отталкивает она его, рыдание сжимает ей горло, и снова огонь пробуждается в ее движениях, но лишь для того, чтобы вырваться и бежать, как от ненавистного прикосновения. В изумлении пытается он ее остановить, но она борется, — и, склоняясь к ее лицу, он видит, как слезы гнева дрожат на щеках и все ее гибкое тело извивается, как змея. Внезапно, резким толчком, она отбрасывает его от себя

и исчезает. Белизна ее платья мелькает среди деревьев и утопает в темноте.

И снова он один, испуганный и потрясенный, как в первый раз, когда теплота и страсть с силой вырвались из его объятий. В его глазах мерцание звезд подернуто влагой, кровь приливает ко лбу с такой силой, что сыплются искры. Что с ним было? Он ощупью пробирается через расступающиеся стволы деревьев глубже в сад, где, он знает, бьет маленький фонтан, и погружает свои руки в ласковые струи его воды, белой, серебряной воды, которая тихо рокошет и чудесно блестит при свете луны, медленно выплывающей из облаков. По мере того как взоры мальчика проясняются, его охватывает странная жгучая печаль, как будто теплый ветерок принес ее с вершин деревьев. Горячие слезы закипают в его груди, и теперь, сильнее и яснее, чем в минуты судорожных объятий, чувствует он, как велика его любовь к Марго. Все, что было до сих пор: опьянение, трепет, судороги обладания, гнев перед недоступной тайной — все ушло от него, он весь до сладострастной боли охвачен любовью, почти свободной от желания, но все же могучей.

Зачем он мучил ее? Разве не дала она ему в эти три ночи несказанно много, разве его жизнь не переступила внезапно из серых сумерек в полосу сверкающего и опасного света, с тех пор как она научила его нежности и безумному содроганию любви? И она ушла от него в слезах и в гневе! В нем зарождается непреодолимая, кроткая жажда примирения, нежных, спокойных слов, желание безмятежно держать ее в объятиях и сказать, как полон он благодарности к ней. Да, он пойдет к ней, смиренно, и скажет, как чисто любит он ее, что никогда больше он не назовет ее имени и не предложит запретных вопросов.

Серебром журчит вода, и он вспоминает о ее слезах. Теперь она, вероятно, одна в своей комнате, думает он, и только шепчущая ночь слышит ее, ночь, которая подслушивает всех, но не дает утешения никому. Сознание, что он одновременно и далек и близок к ней, что ему не дано видеть даже блеск ее

волос, слышать тихий звук ее голоса и что они тем не менее неразрывно связаны, вызывает в нем невыносимую боль. И желание быть близко к ней становится непреодолимым, — пусть даже ему придется лежать, как псу, у ее дверей или стоять, как нищему, под ее окном.

Когда он робко выходит из чащи деревьев, он видит, что в ее окне в первом этаже еще горит свет. Это тусклый свет, и его желтое мерцание едва окрашивает листья большого клена, ветви которого, словно руки, то протягиваются и постукивают в окно, то откидываются назад от легкого ветерка, а сам клен кажется темным исполинским соглядатаем у маленького светлого окна. Мысль, что Марго бодрствует за этим освещенным стеклом, что она, может быть, еще плачет и думает о нем, так волнует мальчика, что он должен прислониться к дереву, чтобы не лишиться чувств.

Как зачарованный, он не отрывает глаз. В темноте видно, как белые гардины шевелятся, беспокойно трепещут от дуновения воздуха, то отливают темным золотом от желтого света лампы, то серебрятся, попадая в полосу лунного света, проникающего сквозь листья. И открытое внутрь окно отражает эту игру теней и света, точно кружево световых отражений. Дрожащему, как в лихорадке, мальчику, который горящими глазами смотрит из темноты на освещенное окно, кажется, что все происшедшее темными рунами записано на светлой доске. Игра теней, серебристый блеск, окутывающий нежной дымкой светлую поверхность, все эти смутные ощущения вырастают в его воображении в потрясающие образы. Он видит, как она, Марго, стройная и прекрасная, с распущенными волосами, — о, эти безумные белокурые волосы! — с таким же волнением в крови, как у него самого, ходит взад и вперед по комнате, дрожит от охватившей ее страсти, рыдает от гнева. Точно сквозь стекло, видит он сквозь высокие стены каждое ее движение, видит, как она поднимает руки, как бросается в кресло и немыми, полными отчаяния глазами всматривается в белое, звездное небо. Ему даже кажется, когда окно на момент светлеет, что он узнает ее лицо; он видит, как она тре-

петно наклоняется, чтобы посмотреть, нет ли его в дремлющем парке. Его охватывает дикое желание, и он сдержанно, но призывно кричит: «Марго!.. Марго!»

Не промелькнула ли легкая белая тень, точно вуаль, за освещенной поверхностью? Ему кажется, что он это ясно видел. Он прислушивается, но ничто не шелохнется. Сзади слышно легкое дыхание погруженных в сон деревьев и шелковый шелест травы от тихого ветра, — теплая волна, которая набегаёт и замирает вдали. Спокойно дышит ночь, и безмолвно смотрит окно, как серебряная рама вокруг потемневшей картины. Или она его слышала? Или она не хочет больше его слышать?

Этот колеблющийся свет вокруг окна сбивает его с толку. Сердце бьется в груди, прижавшейся к дереву, и кажется, что кора дрожит от его дикой страсти. Он знает только одно, что он должен сейчас же увидеть ее, и говорить с ней, и звать ее так громко, чтобы люди все сбежались, разбуженные. Он чувствует, что-то должно теперь произойти, самое безумное кажется ему желанным, — как во сне, все легко и достижимо. Когда его взгляд еще раз устремляется вверх, к окну, он вдруг замечает вытянутый сук склоненного дерева, словно указатель пути, — и рука его уже обхватывает ствол. Неожиданно для него все становится ясным: он должен взобраться наверх — ствол широкий, но мягкий и гибкий — и сверху закричать: оттуда только шаг до ее окна. Там, вблизи от нее, он поговорит с ней и не спустится вниз, пока она не простит его. Он не раздумывает ни минуты, чувствуя только манящий свет в окне и кряжистое дерево, готовое держать его, рядом с собой. Несколько быстрых обхватов, движение вверх, — и уже руки его хватаются за сук и энергично тянут за собой все тело. Вот уже он висит на самом верху, а под ним странно качается листва. Каждый листочек шумит от легкой дрожи, и ниже склоняется протянутый сук к окну, словно хочет предупредить ее, ничего не подозревающую. Мальчик видит уже белый потолок комнаты и, посередине него, золотой круг от лампы. Он дрожит от волнения, зная, что в следующее мгновение увидит ее плачу-

щей или тихо рыдающей, быть может, обнажающей желанное тело. Его руки слабеют, но он крепче сжимает их. Медленно скользит он по суку, наклоненному к ее окну, колени его слегка окровавлены, руки оцарапаны, но он ползет все дальше и уже почти озарен светом, падающим из окна. Большая ветвь еще заслоняет от его глаз видение, к которому он так страстно стремится. Когда он поднимает руку, чтобы отвести ее, и луч света уже падает на него, когда он, дрожа, наклоняется, — его тело вдруг начинает скользить, он теряет равновесие и, кружась, падает вниз.

Раздается глухой, негромкий стук, как от падения тяжелого плода. Сверху наклоняется, беспокойно всматриваясь, фигура из окна, но темнота недвижна и спокойна, как поверхность пруда, поглотившего утопленника. Свет наверху гаснет, и снова сад погружается в прозрачный, неверный полусвет над молчаливой тенью.

Через несколько минут упавший приходит в себя. Его взгляд удивленно обращен вверх, откуда на него глядит бледное, холодное небо с несколькими блуждающими звездочками. Вдруг он чувствует внезапную острую боль в правой ноге, боль, заставляющую его вскрикнуть при первом легком движении. Он сразу понимает, что с ним случилось. Он знает также, что не должен оставаться под окном Марго, не должен просить о помощи, ни звать, ни делать резких движений. Со лба течет кровь, он, верно, ушибся, падая, о камень или о кусок дерева; он стирает кровь рукой, лишь бы она не заливала глаза. Он пробует, налегая на левый бок и впиваясь пальцами в землю, медленно продвигаться вперед. Каждый раз, когда он задевает сломанную ногу, он испытывает такую боль, что боится снова потерять сознание, но медленно ползет дальше. Почти полчаса проходит, пока он дополз до лестницы. Руки его немеют, холодный пот покрывает лоб и смешивается с капающей, липкой кровью. Надо преодолеть последнее, самое трудное — лестницу. Он поднимается по ней медленно, с невероятными страданиями. Когда он уже наверху хватается дрожащими руками за перила, у него перехватывает дыхание.

Он тащится еще несколько шагов до двери салона, откуда слышны голоса и виден свет. Он дергает за ручку, дверь поддается, и неожиданно, как брошенный камень, он вваливается в освещенную комнату.

Его вид, должно быть, ужасен, кровь льется по лицу, вымазанному землей, когда он падает, как ком, на пол, потому что мужчины быстро вскакивают, стулья гремят, все бросаются ему на помощь. Его переносят осторожно на диван. Он еще лепечет что-то о том, что упал с лестницы, когда хотел выйти в парк, но вдруг темная пелена застилает его глаза, он теряет сознание и больше ничего не помнит.

Седлают лошадь и посылают в ближайшее местечко за доктором. Как призрак, оживает перепуганный замок. В коридорах дрожат, будто светлячки, зажженные огни, голоса шепчут и спрашивают из приоткрытых дверей, слуги прибегают, перепуганные и заспанные, и, наконец, уносят мальчика без чувств в его комнату.

Врач констатирует перелом ноги и успокаивает всех, что нет никакой опасности. Но пострадавший должен долгое время лежать неподвижно, с повязкой. Когда это объявляют мальчику, он слабо улыбается. Невелика беда! Ведь так приятно лежать долго одному, без шума и людей, в высокой, светлой комнате, куда заглядывают ветви деревьев, когда хочется мечтать о той, кого любишь. Так сладко на покое снова обо всем думать, мечтать о своей единственной, быть свободным от всех обязанностей, наедине с образами, созданными мечтой, которые обступают тебя со всех сторон, лишь только на момент закроешь глаза. Любовь не знает, быть может, мгновений чудеснее, чем эти бледные, сумеречные сны.

В первые дни боль еще очень сильна. Но к ней примешивается своеобразное наслаждение. Мысль, что он испытывает боль из-за Марго, из-за возлюбленной, наполняет мальчика огромным, романтическим чувством удовлетворения. Ему кажется, что он согласился бы иметь кровавый рубец через все лицо, чтобы носить его постоянно и открыто, как носит рыцарь

цвета своей дамы, или еще было бы прекрасно не проснуться вовсе и остаться под ее окном. Он уже мечтает, как она утром просыпается от голосов, которые шумят и перекликаются под ее окном, как она из любопытства выглядывает и видит его тело под своим окном, видит его, погибшего ради нее. И он видит, как она падает, испуская крик. Этот пронзительный крик звенит в его ушах, он видит ее отчаяние, ее скорбь. Он видит, как она, в течение всей своей разбитой жизни, не снимает черного платья, всегда в глубокой печали, и губы ее дрожат, когда люди спрашивают о ее горе.

Так мечтает он целыми днями, сперва в темноте, а потом с открытыми глазами, не расставаясь с блаженными воспоминаниями о дорогом образе. Ни яркий свет, ни громкий шум не могут помешать тому, чтобы образ ее, скользя по стенам, как легкая тень, приблизился к нему или чтобы голос ее почудился ему в каплях, стекающих с листьев, в скрипе песка под ярким солнцем. Часами беседует он так с Марго или воображает себя вместе с ней в поездках, в удивительных путешествиях. Временами он пробуждается, как помешанный, задавая себе вопрос: будет ли она действительно о нем горевать? Будет ли она вообще помнить о нем?

Она, конечно, иногда навещает больного. Часто, когда он мысленно беседует с ней и видит перед собой ее светлый образ, дверь открывается, и она входит, высокая и красивая, но такая непохожая на образ, созданный им. Она не ласковая, не нагибается взволнованно, чтобы поцеловать его лоб, как это делает Марго его снов, она только присядет около его кресла, спросит, как он себя чувствует, не больно ли ему, расскажет ему какие-нибудь пустяки. Он всегда так сладко испуган и смущен ее присутствием, что не смеет взглянуть на нее; часто он смежает веки, чтобы лучше слышать ее голос, чтобы глубже впитать в себя звуки ее слов, ту своеобразную музыку, которая потом часами витает вокруг него. Он отвечает ей медленно, так как слишком любит молчание, когда он слышит только ее дыхание и глубже чувствует, что он один с ней в комнате, во вселенной. И когда она встает и идет к двери, он тянется, не обращая

внимания на боль, чтобы еще раз увидеть все линии ее тела, еще раз обнять ее, живой, прежде чем она снова погрузится в смутный мир его мечтаний.

Марго навещает его почти каждый день. Но разве не навещают его и Китти, и Елизавета, маленькая Елизавета, которая смотрит на него всегда так испуганно и кротким озабоченным голосом спрашивает, не лучше ли ему? Разве не заглядывают к нему ежедневно его сестра и другие дамы, разве все они не одинаково сердечно к нему относятся? Все они сидят у него, рассказывая всякие истории. Они даже засиживаются слишком долго, и их присутствие разгоняет его мечтательное настроение, будит его сознание, погруженное в сон, и уводит его мысли к безразличным разговорам и глупым фразам. Он хотел бы, чтобы никто не приходил к нему, одна лишь Марго, на один только час, даже на несколько минут, а там пусть он останется один, чтобы мечтать о ней без помех, спокойно, радостно, точно уносясь на легких волнах, со взглядом, обращенным внутрь себя, на милые образы своей любви.

Часто поэтому, когда он слышит, что чья-нибудь рука берет за ручку двери, он закрывает глаза и притворяется спящим. Тогда посетители на цыпочках удаляются; он слышит, как медленно закрывается дверь, и знает, что снова можно отдаться сладкому течению своих грез, нежно уносящих его к пленительным далям.

Однажды произошло вот что: Марго заходила к нему в тот день ненадолго, но принесла ему в своих волосах весь аромат сада, одуряющий запах цветущего жасмина и блеск августовского солнца в своих глазах. Он знал, что сегодня она уже больше не придет. Весь долгий, светлый день он проведет в сладких грезах, потому что никто не придет ему мешать: все уехали верхом. И когда дверь вдруг робко шевельнулась, он закрывает глаза и притворяется спящим. Но вошедшая — он ясно слышит это в тишине — не уходит, но бесшумно прикрывает дверь, чтобы не разбудить его. Осторожно, едва касаясь пола, она приближается к нему. Он слышит, как слегка шуршит платье, когда она присаживается возле его ложа. И сквозь

закрытые веки он чувствует, каким горячим взглядом окидывает она его лицо.

Его сердце беспокойно бьется. Неужели это Марго? Да, это она, он это чувствует. Какое сладостное, волнующее, тайное наслаждение — не открывать глаз и чувствовать ее близость! Что она будет делать? Секунды кажутся ему вечностью. Она не отрывает от него глаз, прислушивается к его дыханию. Словно электрический ток проходит через все его поры от жуткого и опьяняющего ощущения — отдаваться так беззащитно, вслепую, ее взорам, и знать, что если он откроет глаза, то их взгляд окутает, как плащом, своей нежностью испуганное лицо Марго. Но он не двигается, задерживает дыхание, которое толчками вырывается из стесненной груди, и ждет, ждет...

Но ничего не происходит. Ему только кажется, что она склонилась над ним и что он ощущает совсем близко у своего лица влажный, нежный, как запах сирени, хорошо ему знакомый аромат ее губ. Она кладет руку на его кровать, и горячей волной кровь разливается по его телу. Поверх одеяла она ласкает его руку, спокойно и нежно гладит ее. Магнетически чувствует он ее ласку, и кровь то приливает, то отливает в такт. Восхитительно ощущение этой нежности, опьяняющей и волнующей.

Медленно, почти ритмически, продолжает ее рука гладить его. Щурясь, он потихоньку приоткрывает веки. Сперва у него перед глазами только красные круги, облако беспокойного света, затем он различает усеянное темными крапинками одеяло, которым он накрыт, а вот и как будто издалека приближающаяся поглаживающая рука. Он смутно различает во мраке узкую белую полосу, которая то появляется, как светлое облачко, то снова исчезает. Он все расширяет глазную щель. Теперь он уже различает ясно пальцы, белые, блестящие, как фарфор. Мягко выгибаясь, двигаются они взад и вперед, как будто играя, но полные внутренней жизни. Как щупальца, они вытягиваются вперед и уходят назад, и в этот момент он ощущает ее руку как нечто живое и самостоятель-

ное, словно кошку, которая прижалась к платью, маленькую белую кошечку, которая спрятала когти и нежно мурлыкает, прижимаясь. Он нисколько не удивился бы, если бы глаза кошечки вдруг засверкали. И в самом деле, разве эти белые касания не кажутся сверкающим взглядом? Нет, это только блеск металла, сияние золота. Но теперь, когда рука продвигается, он ясно различает медальон, свисающий с браслета, таинственный, предательский медальон, восьмиугольный, величиной с пенни. Это рука Марго нежно его ласкает; и в нем загорается желание прильнуть губами к этой нежной, белой, обнаженной, без колец, руке. Вдруг он чувствует ее дыхание, чувствует, что она приближает к нему свое лицо, и он не может дольше сжимать своих век: счастливый, сияющий, раскрывает он глаза на склоненное к нему лицо, которое вспыхивает и испуганно откидывается назад. И когда тень наклоненного лица исчезает и проясняются взволнованные черты, он узнает — словно удар пронизывает его — Елизавету, сестру Марго, юную, странную Елизавету. Не сон ли это? Нет, он смотрит на залитое яркой краской лицо, боязливо отводящее глаза. Сомнений нет, это — Елизавета. Сразу ужасная ошибка становится ему ясна, взгляд его жадно всматривается в ее руку; да, на ней медальон.

Круги идут у него перед глазами. Как и тогда, он чувствует, что падает в обморок, но он стискивает зубы, он не хочет потерять сознания. Как молния, все пронесится перед ним, сжавшись в пределы одной секунды: и удивление и несокомерие Марго, улыбка Елизаветы, ее странный взгляд, касавшийся его, как молчаливая рука, — нет, нет, ошибка невозможна.

В нем вспыхивает последняя, смутная надежда. Он смотрит на медальон: может быть, Марго подарила ей его сегодня, или вчера, или в тот день.

Елизавета уже заговаривает с ним. Эта лихорадочная мысль, должно быть, так исказила его черты, что она с тревогой спрашивает:

— Тебе очень больно?

«Как похожи их голоса», — думает он и отвечает машинально:

— Да, да... то есть нет... мне совсем хорошо.

Снова молчание. Как горячая волна, возвращается к нему мысль. Может быть, Марго ей это только подарила? Он знает, что это неправдоподобно, но должен спросить ее.

— Что это у тебя за медальон?

— О, это монета какой-то американской республики, я даже не знаю какой. Дядя Роберт как-то привез нам.

— Нам?

Он задерживает дыхание. Сейчас она должна сказать.

— Мне и Марго. Китти она не нравилась. Не знаю почему.

Он чувствует, как влага застилает его глаза. Предусмотрительно кладет он голову набок, чтобы Елизавета не заметила слез, которые, он чувствует, дрожат на его ресницах. Он не может их остановить, и вот уже медленно они катятся по щеке. Он бы сказал что-нибудь, но боится, что голос дрогнет под напором рыданий. Оба молчат, тревожно следя друг за другом. Тогда Елизавета поднимается.

— Я уйду, Боб. Поправляйся скорее.

Он закрывает глаза, и дверь тихо скрипит.

Как испугнутая стая голубей, мечутся его мысли. Только теперь он понимает весь ужас недоразумения. Стыд и досада за собственную глупость охватывают его, но в то же время и безумная боль. Он знает, что Марго для него потеряна навеки, но чувствует, что любит ее неизменно, теперь, быть может, еще сильнее, с безнадежной тоской о недостижимом. А Елизавета, — он точно с гневом отталкивает от себя ее образ: ведь ее преданность и подавленный теперь огонь ее страсти не могут ему дать столько, сколько одна улыбка или прикосновение руки Марго. Покажись ему тогда Елизавета, он полюбил бы ее. Тогда он был еще ребенком в своих желаниях, но теперь в тысячах грез имя Марго прожгло его душу, и он не в силах удалить его из своей жизни.

Он чувствует, что у него темнеет в глазах, и неотступная дума постепенно изливается в слезах. Напрасно, как в первые

дни своей болезни, силится он в долгие одинокие часы вызвать образ Марго: словно тень, на этот образ надвигается Елизавета со своими полными страсти глазами, и тогда все путается, и он должен мучительно обдумывать, как все это произошло с самого начала. Его охватывает стыд, когда он думает о том, как он стоял под окном Марго и звал ее, и жалость к тихой белокурой Елизавете, для которой у него не нашлось ни слова, ни взгляда за все эти дни, когда его благодарность к ней должна была бы разгореться ярким огнем.

На следующее утро Марго входит к нему ненадолго. Его охватывает дрожь от ее близости, и он не смеет взглянуть ей в глаза. Что она ему говорит? Он едва слышит ее, дикое жужжанье в висках громче ее голоса. Лишь тогда, когда она от него уходит, он снова охватывает жадным взором весь ее образ. Он чувствует: сильнее он ее никогда не любил.

После обеда приходит Елизавета. В ее руках, когда она иногда погладит его, чувствуется какая-то интимность, а ее голос тих, слегка приглушен. Она говорит с какой-то робостью о безразличных вещах, как будто боится выдать себя, говоря о себе или о нем. Он сам не знает хорошенько, что чувствует к ней. Иногда жалость, а иногда признательность за ее любовь; но сказать ей ничего не может. Он едва решается на нее смотреть, из боязни солгать ей.

Каждый день теперь она приходит и остается подолгу. Кажется, что с того часа, как меж ними возникла тайна, неуверенность исчезла. Но они не решаются никогда говорить о тех часах, в темноте парка.

Однажды Елизавета сидит около его кровати. На дворе яркое солнце, зеленое отражение от качающихся верхушек дрожит на стенах. Ее волосы в такие минуты кажутся огненными, как горящие облака, ее кожа бледна и прозрачна, все ее тело кажется просвечивающим и легким. С подушки, на которую падает тень, он видит вблизи себя ее улыбающееся лицо, но оно кажется ему таким далеким, потому что озаряется светом, который до него не доходит. И когда она к нему наклоняется так, что глаза кажутся более глубокими и убегают

внутри, как темные спирали, когда она нагибается, его рука обхватывает ее тело, наклоняет к себе ее голову и целует ее в тонкие, влажные губы. Она сильно дрожит, но не сопротивляется и только печально гладит рукой его волосы. И говорит потом с глубоким вздохом и нежной грустью в голосе:

— Ты любишь ведь только Марго.

До самого его сердца доходит это самоотречение, это тихое, бессильное отчаяние, но до глубины души — это имя, которое его потрясает. Он не решается лгать в этот момент. Он молчит.

Она еще раз тихонько целует его в губы, почти как сестра, и, не сказав ни слова, уходит.

Это был единственный раз, когда они говорили об этом. Через несколько дней выздоравливающего выводят в сад, где уже первые желтые листья гонятся по дорожке друг за другом, и рано наступающий вечер навевает осеннюю грусть. Еще несколько дней, и он уже с трудом двигается один и в последний раз в этом году прогуливается под сенью сплетающихся деревьев, которые громче, угрюмее шумят теперь, качаемые ветром, чем тогда, в эти три теплые летние ночи. Тоскуя, мальчик идет туда, на то место. Ему кажется, что тут воздвигнута невидимая темная стена, за которой лежит, канув во тьму, его детство, а впереди перед ним расстилается новый мир — опасный и чужой.

Вечером он прощается со всеми, еще раз пристально всматривается в лицо Марго, чтобы запомнить его на всю жизнь, с тревогой подает руку Елизавете, которая тепло и крепко сжимает ее, едва бросает взгляд на Китти, на друзей, на свою сестру, — так переполнена его душа ощущением, что он любит одну, а его любит другая. Он очень бледен, и на лице какая-то новая, резкая черта, которая делает его уже непохожим на ребенка. Впервые он выглядит мужчиной.

И все же, когда лошади трогаются и он видит, как Марго равнодушно повернулась, чтобы подняться по лестнице, и как в глазах Елизаветы вдруг появляется влажный блеск и она задерживается у перил, он так глубоко и полно чувствует все пережитое, что, как ребенок, неудержимо отдается слезам.

Все удаляется замок, все меньше в облаках пыли, поднимаемой экипажем, кажется парк, все дальше уходят поля, и вот все пережитое уже позади, и остается только гнетущее воспоминание. Через два часа езды он — на ближайшей станции, а на следующее утро — в Лондоне.

Проходит несколько лет, и он уже больше не мальчик. Но первое переживание слишком живо в нем, чтобы могло когда-либо изгладиться. Марго и Елизавета обе вышли замуж, но он не хочет никогда встречаться с ними, так как воспоминания о тех часах временами обступают его с такой непреодолимой силой, что вся последующая жизнь кажется ему только сном и призраком по сравнению с действительностью этого воспоминания. Он стал одним из тех людей, для которых уже закрыты пути к любви и к женщине. Испытав некогда с такой полнотой оба ощущения — любить и быть любимым, он не станет больше искать с тоскою того, что уже однажды попало в его дрожащие, робкие руки. Он путешествовал по многим странам, — один из тех корректных, тихих англичан, которых многие считают бесчувственными, потому что они так молчаливы и взгляд их так равнодушно скользит по женским лицам и их улыбкам. Кто же подумает о том, что образы, к которым вечно прикован их взор, они носят внутри, в своей крови, образы, которые всегда горят перед ними, как неугасимая лампада перед ликом мадонны?

А теперь я уж знаю, откуда явился этот рассказ. В книге, которую я читал сегодня после обеда, лежала открытка, присланная мне другом из Канады. Это молодой англичанин, с которым я познакомился во время путешествия. Часто, долгими вечерами, беседовал я с ним, и в речах его таинственно, как отдаленные статуи, иногда оживали воспоминания о двух женщинах, которые навсегда связаны с одним моментом его юности. Давно, очень давно беседовал я с ним и забыл уже все прежние наши беседы. Но сегодня я получил открытку, в памяти снова ожили эти воспоминания, смешавшись с разными личными переживаниями, и мне казалось, что я прочел его

историю в той книге, которая выскользнула у меня из рук, или же — что она приснилась мне...

Но как темно стало в комнате, и какой далекой кажешься ты мне в этом глубоком мраке! Я вижу только нежное, светлое мерцание там, где чувствую твое лицо, и я не знаю, улыбаешься ли ты или грустишь. Улыбаешься ли тому, что я изобретаю странные истории из жизни людей, которых я едва знаю, вижу в мечтах целую судьбу, которую спокойно возвращаю потом в их жизнь, в их мир? Грустишь ли ты о мальчике, который прошел мимо любви и в один час потерял навеки обетованную землю этого сладкого сна? Видишь ли, я не хотел, чтобы этот рассказ был печален и мрачен, я хотел только рассказать тебе о мальчике, которого внезапно настигла любовь, его собственная и чужая любовь. Но истории, которые рассказываются по вечерам, всегда сворачивают на легкую тропу печали. Сумерки опускают свой покров над ними, печаль вечера раскидывается над ними беззвездным небом, мрак просачивается в их кровь, и все светлые и яркие слова звучат в них так гулко и тяжело, словно исходят из самой глубины нашей жизни.





ГУВЕРНАНТКА

Дети одни в своей комнате. Свет погашен. Их разделяет темнота, только от кроватей падает слабый белый свет. Почти не слышно их дыхания; можно подумать, что они уснули.

— Послушай, — раздается голос двенадцатилетней девочки; тихо, почти робко, она шлет призыв во мрак.

— Что тебе? — отвечает со своей постели сестра. Она всего годом старше.

— Ты еще не спишь? Это хорошо. Я... мне хочется что-то рассказать тебе.

Молчание. Слышен лишь шорох в кровати. Сестра поднялась, она выжидающе смотрит; можно различить, как блестят ее глаза.

— Знаешь... я хотела сказать тебе... Но раньше скажи ты мне: ты ничего не замечала в нашей фрейлейн в последние дни?

Другая медлит в раздумье.

— Да, — говорит она, — но я не знаю, в чем дело. Она не так строга. Недавно я два дня подряд не приготовила урока, и она мне ничего не сказала. И потом она какая-то... не знаю, как это сказать. Я думаю, ей совсем не до нас: она все время сидит одна и не играет с нами, как прежде.

— Мне кажется, она очень грустит, но не хочет этого показать. Она и к роялю давно не подходит.

Снова молчание.

Другая напоминает:

— Ты хотела что-то рассказать.

— Да, но ты не должна никому говорить, ни маме, ни твоей подруге.

— Нет, нет! — она уже теряет терпение. — В чем дело?

— Вот что... сейчас, когда мы ложились спать, я вдруг вспомнила, что забыла сказать фрейлейн спокойной ночи. Башмаки я уже сняла, но все-таки побежала к ней в комнату, знаешь, тихонько, чтобы застать ее врасплох. Осторожно я раскрываю дверь. Сперва мне показалось, что ее нет в комнате. Свет горит, а ее не видно. И вдруг — я страшно испугалась — я слышу, кто-то плачет, и вижу, что она, одетая, лежит на постели, уткнувшись головой в подушку. Как она рыдала! Меня даже в дрожь бросило. Но она меня не заметила. И я опять тихонечко закрыла дверь. Я так дрожала, что минуту не могла с места двинуться. Еще раз через дверь до меня ясно донеслось ее рыдание, и я бегом спустилась вниз.

Они обе молчат.

— Бедная фрейлейн, — раздается тихий голос одной из них. Дрожащий звук тонет в темноте, и снова наступает тишина.

— Я хотела бы знать, отчего она плакала, — начинает младшая. — Она ведь ни с кем не ссорилась последние дни, мама тоже, наконец, оставила ее в покое со своими вечными придирками, и мы ей ничего не сделали. Отчего же она так плачет?

— Я, кажется, понимаю, — говорит старшая.

— Отчего, скажи мне, отчего?

Сестра медлит. Наконец, она говорит:

— Я думаю, она влюблена.

— Влюблена? — Младшая пожимает плечами. — Влюблена? В кого?

— Ты ничего не замечаешь?

— Не в Отто же?

— Не в него? И он в нее не влюблен? Почему же он, живя у нас уже три года, никогда не провожал нас, а последние несколько месяцев провожает каждый день? Разве он был любезен когда-нибудь со мной или с тобой, пока у нас не было

фрейлейн? А теперь он весь день вертится около нас. Мы все встречаем его случайно, куда бы ни пошли вместе с фрейлейн — в Народный сад, в Городской парк, на Пратер. Ты разве этого не заметила?

Младшая испуганно прошептала:

— Да... да, я это заметила. Только я думала, что...

Голос ей изменяет. Она больше не произносит ни слова.

— Раньше я тоже так думала. Ведь мы, девочки, так глупы.

Но я уже давно заметила, что мы служим только предлогом.

Теперь обе молчат. Разговор как будто закончен.

Обе погружены в свои мысли или, быть может, в сон.

И еще раз из мрака слышится беспомощный голос младшей:

— Но отчего же она плачет? Он ведь любит ее; я всегда думала: как это хорошо — быть влюбленной.

— Я не знаю, — говорит старшая сонным голосом, — я тоже думала, что это должно быть хорошо.

И еще раз, тихо и жалобно, слетают слова с губ засыпающей девочки:

— Бедная фрейлейн!

В комнате воцаряется тишина.

* * *

На другое утро они об этом больше не говорят, но обе чувствуют, что мысли их сосредоточены на одном и том же. Они избегают друг друга, но взоры их невольно встречаются, как только им удастся тайком взглянуть на гувернантку. За столом они наблюдают за Отто, их кузенком, который уже годами живет у них в доме, как за чужим. Они с ним не разговаривают, но, под опущенными ресницами, глаза их искоса следят, не подаст ли он знака их фрейлейн. Они обе встревожены. Сегодня они не играют; нервы, напряженные волнующей тайной, заставляют их заниматься ненужными и безразличными вещами. Вечером одна холодно спрашивает другую, как будто это ее мало интересует:

— Ты опять что-нибудь заметила?

— Нет, — отвечает сестра, отворачиваясь. Обе как будто боятся разговора.

Так проходит несколько дней, в немом наблюдении: дети блуждают вокруг жгучей тайны, к которой их влечет бессознательно и тревожно.

Наконец через несколько дней одна из них замечает, как за столом гувернантка делает Отто знак глазами. Он отвечает кивком головы. Девочка дрожит от волнения. Под столом она тихонько касается руки старшей сестры и, когда та оборачивается, бросает ей сверкающий взгляд. Та мигом поняла ее жест, волнение сестры передается и ей. Едва они встали из-за стола, как гувернантка обращается к девочкам:

— Пойдите к себе и займитесь чем-нибудь. У меня болит голова, я хочу отдохнуть полчаса.

Дети опускают глаза. Насторожившись, они тихонько берутся за руки. Как только гувернантка ушла, маленькая обращается к сестре:

— Смотри, сейчас Отто пойдет к ней в комнату.

— Конечно. Потому-то она нас уснула.

— Давай подслушивать у двери!

— А вдруг кто-нибудь придет?

— Кто может прийти?

— Мама.

Маленькая испугалась:

— Да, тогда...

— Знаешь что? Я буду подслушивать, а ты останешься в коридоре и подашь мне знак, если кто-нибудь придет. Так мы будем в безопасности.

Маленькая делает недовольное лицо:

— Но ты мне ничего не расскажешь!

— Все!

— Точно все?.. Решительно все?

— Да, даю тебе слово. А ты кашлянешь, как только услышишь чьи-нибудь шаги.

Обе ждут в коридоре, дрожа и волнуясь. Сердце сильно

колотится. Что-то будет? Они тесно прижимаются друг к другу.

Шаги. Они разбегаются. В темноту. Так и есть: это Отто. Он берется за ручку, дверь за ним закрывается. Старшая вылетает стрелой и прижимается к двери; прислушивается, затаив дыхание. Младшая с тоской следит за нею. Любопытство мучит ее, она срывается со своего поста. Подкрадывается к сестре, но та сердито ее отталкивает. Она возвращается на свое место. Проходят две-три минуты, которые кажутся ей вечностью. Ее лихорадит от нетерпения; она приплясывает, как на горячих углях, она готова расплакаться от возбуждения и злости, что сестра все слышит, а она ничего. Но вот из третьей комнаты слышен стук двери. Она кашляет. Обе убегают в свою комнату. Там стоят с минуту, почти не дыша, с бьющимся сердцем.

Младшая жадно требует:

— Ну, теперь рассказывай!

Старшая стоит в раздумье. Наконец, говорит, будто в ответ своим мыслям:

— Я ничего не понимаю.

— Что?

— Это так странно.

— Что?.. Что?.. — с трудом произносит младшая, задыхаясь. Сестра пытается вспомнить. Маленькая крепко прижалась к ней, чтобы не упустить ни одного слова.

— Все это так странно... Совсем не так, как я себе представляла. Когда он вошел в комнату, он, кажется, хотел ее обнять или поцеловать, потому что она сказала ему: «Оставь, мне нужно поговорить с тобой серьезно». Мне ничего не было видно, ключ был вставлен изнутри, но я слышала все совершенно ясно. «В чем дело?» — спросил Отто, но я никогда не слышала, чтобы он говорил так. Ты ведь знаешь, обычно он говорит так громко и нахально, а тут вдруг так робко, — я сразу почувствовала, что он чего-то боится. И она как будто заметила, что он лжет, и сказала совсем тихо: «Ведь ты уже знаешь». — «Нет, я ничего не знаю». — «В самом деле? — сказала она, и так

печально, страшно печально: — Отчего же ты вдруг стал избегать меня? Вот уже неделя, как ты не говоришь со мною ни слова, удаляешься от меня, как только можешь, не гуляешь с детьми, не бываешь в парке! Неужели я сразу стала тебе чужой? О, ты прекрасно знаешь, почему ты стал избегать меня». Он помолчал и потом сказал: «У меня скоро экзамены, я должен много работать, и у меня ни для чего нет времени. Теперь я не могу иначе». Она заплакала и сказала ему сквозь слезы, но так нежно и кротко: «Отто, зачем ты лжешь? Скажи правду, я ведь этого не заслужила. Я ничего от тебя не требую, но поговорить об этом мы должны. Ты не знаешь, что я хочу тебе сказать, я вижу по твоим глазам». — «Что же именно?» — пролепетал он, но совсем, совсем тихо. И тогда она сказала...

Девочка начинает вдруг дрожать и не может продолжать от волнения. Младшая еще крепче прижимается к ней.

— Что же... что?

— И вот она сказала: «Ведь у меня ребенок от тебя».

Младшая подскочила с быстротой молнии:

— Ребенок! ребенок! Но это невозможно!

— Но она это сказала.

— Ты не расслышала!

— Нет, нет! И он повторил это; подскочил точно так же, как ты, и крикнул: «Ребенок!» Она долго молчала и, наконец, проговорила: «Что теперь будет?» И потом...

— Что потом?

— Потом ты кашлянула, и мне пришлось убежать.

Младшая растерянно смотрит перед собой:

— Ребенок. Это невозможно. Где же у нее ребенок?

— Я не знаю. Это как раз то, чего я не понимаю.

— Может быть, где-нибудь дома... Раньше, чем она поселилась у нас. Мама, конечно, не позволила ей взять его с собой из-за нас. Поэтому она так грустит.

— Глупости, тогда она не была даже знакома с Отто.

Они умолкают, беспомощно размышляя и не находя разгадки. Эта мысль их мучит. Младшая заговорила снова:

— Ребенок, это совершенно невозможно! Откуда у нее

может быть ребенок? Она ведь не замужем, а только у замужних бывают дети, это я знаю точно.

— Может быть, она была замужем.

— Не говори глупостей, не за Отто же!

— Но откуда же...

Растерянно они глядят друг на друга.

— Бедная фрейлейн, — говорит одна из них с грустью.

Все время срывается с их уст это слово со вздохом страдания. И тут же снова вспыхивает любопытство.

— Девочка или мальчик?

— Кто может знать?

— Как ты думаешь... если бы ее спросить, осторожненько?..

— Ты с ума сошла!

— Почему?.. Она ведь так добра с нами.

— Что тебе пришло в голову? Нам этого не скажут. От нас все скрывают. Когда мы входим в комнату, они прекращают разговор и начинают болтать глупости с нами, как будто мы дети. Ведь мне уже тринадцать лет. Зачем же их спрашивать? Нам все равно скажут неправду.

— А как бы я хотела знать.

— А разве я не хотела бы?

— Знаешь... что мне совсем непонятно, — как Отто ничего не знал об этом. Всякий знает, что у него есть ребенок, как всякий знает, что у него есть родители.

— Он представляется, негодяй, он вечно представляется.

— Но не в таких жеделах. Только... только... когда он хочет нас надуть...

Входит фрейлейн. Они сразу умолкают, делая вид, что работают. Но украдкой они поглядывают на нее. Ее глаза кажутся им покрасневшими, голос ее глубже, чем обычно, и дрожит. Они ведут себя тихо и поднимают на нее глаза с благоговейным страхом. Их не покидает мысль: «У нее ребенок, потому она так печальна». И медленно ее печаль передается им.



На другой день, за столом, их ждет неожиданная весть. Отто покидает их дом. Он заявил дяде, что экзамены у него на носу, и он должен усиленно работать, а тут ему мешают заниматься. Он снимет себе где-нибудь комнату на один-два месяца, пока не закончатся экзамены.

Узнав об этом, дети приходят в ужасное волнение. Они угадывают тайную связь этого события со вчерашним разговором, своим обостренным инстинктом чувствуют какую-то трусость, бегство. Когда Отто прощается с ними, они грубо отворачиваются. Но исподтишка следят за ним, когда он подходит к фрейлейн. У фрейлейн дрожат губы, но, не говоря ни слова, она подает ему руку.

За последние дни дети стали совершенно иными. Они не играют, не смеются, глаза потеряли веселый беззаботный блеск. Ими владеют беспокойство и неуверенность, угрюмое недоверие ко всем окружающим. Они не верят тому, что им говорят, в каждом слове подозревают ложь и заднюю мысль. Целыми днями они высматривают и наблюдают, следят за каждым движением, ловят каждый жест, каждую интонацию. Как тени, они бродят по комнатам, подслушивают у дверей, стараясь что-нибудь уловить. Страстным усилием они пытаются стряхнуть со своих плеч темную сеть этих тайн или бросить хоть один взгляд сквозь нее в мир действительности. Детская вера — эта веселая, беззаботная слепота — спала с их глаз. И еще: в напряженности событий они предчувствуют новый взрыв и боятся, как бы он не ускользнул от них. С тех пор как они знают, что они опутаны ложью, они стали упрямы, подозрительны, даже хитры и лживы. В присутствии родителей они надевают на себя личину детской простоты и проявляют чрезмерную живость. Все их существо полно нервного беспокойства, их глаза, прежде светившиеся мягким и поверхностным блеском, стали сверкающими и глубокими. Они так беспомощны в своем постоянном выслеживании и шпионстве, что их взаимная любовь становится все глубже. Иногда они вдруг обнимут порывисто друг друга, сближенные чувством

своего неведения, обуреваемые внезапно вспыхнувшей потребностью ласки; иногда заливаются слезами. Без всякой видимой причины в их жизни наступил кризис.

Среди многих обид, к которым они стали теперь очень чувствительны, одна особенно задевает их. Без всякого уговора они как бы условились доставлять своей опечаленной фрейлейн как можно больше удовольствий. Уроки свои они готовят прилежно и старательно, помогая друг другу; их не слышно, они не подают никакого повода к жалобам, стараются предупредить каждое ее желание. Но фрейлейн этого не замечает, и им это очень больно. Она стала совсем другой в последнее время. Иногда, когда одна из девочек обращается к ней, она вздрагивает, как будто нарушили ее сон. Ее блуждающий взор как будто возвращает ее из дальних странствий. Часами она сидит, погруженная в раздумье. Девочки ходят на цыпочках вокруг нее, чтобы не мешать ей; они чувствуют смутно и таинственно: теперь она думает о своем ребенке, который где-то далеко. И все больше, из глубины своей пробуждающейся женственности, они привязываются к фрейлейн, которая стала теперь такой кроткой и милой. Ее обычно быстрая и гордая походка стала спокойнее, ее движения осторожнее, и во всем дети угадывают какую-то скрытую печаль. Слез ее они не видели, но веки ее часто красны. Они замечают, что фрейлейн старается скрыть от них свою печаль, и они в отчаянии, что не могут ей помочь.

И вот однажды, когда фрейлейн отвернулась к окну и платком провела по глазам, младшая, набравшись храбрости, тихонько берет ее за руку и говорит:

— Фрейлейн, вы так грустны последнее время. Это не наша вина, не правда ли?

Фрейлейн растроганно смотрит на нее и гладит рукой ее мягкие волосы.

— Нет, дитя мое, нет, — говорит она, — конечно, не ваша. — И нежно целует ее в лоб.

Выжидая и наблюдая, не упуская ничего, что попадало в их поле зрения, одна из них, входя в комнату, уловила несколько слов. Это была всего одна фраза, — родители тотчас же оборвали разговор, — но каждое слово возбуждает в них теперь тысячи предположений. «Мне тоже что-то показалось, — сказала мать, — я учиню ей допрос». Девочка сначала отнесла это к себе и, полная тревоги, поспешила к сестре за советом и помощью. Но за обедом они замечают, что взоры родителей испытующе обращаются сперва к безразлично-задумчивому лицу фрейлейн, а затем друг к другу.

После обеда мать, как бы между прочим, обращается к фрейлейн: «Зайдите, пожалуйста, ко мне в комнату. Мне нужно с вами поговорить». Фрейлейн тихо кивает головой. Девочки дрожат, они чувствуют: теперь что-то должно случиться.

И как только фрейлейн выходит из комнаты, они бегут вслед за ней. Прилипая к дверям, прятаться по углам, подслушивать и выслеживать — стало для них совершенно естественным. Они уже не чувствуют ни безобразия, ни смелости своего поведения: у них только одна мысль — овладеть всеми тайнами, которые старшие так тщательно скрывают от их взоров.

Они подслушивают. Но до их слуха доносится только слабый шелест произносимых шепотом слов. Их тела охвачены нервной дрожью. Они боятся, что все ускользнет от них.

Но вот оттуда раздается громкий голос. Это голос их матери. Он звучит сердито и сварливо.

— Что же, вы думали, что все люди слепы и никто этого не заметит? Могу себе представить, как вы исполняли свои обязанности, с такими мыслями и с такой нравственностью. И подобной особе я доверила воспитание своих детей, своих дочерей, которыми вы — Бог знает как — пренебрегали!..

Фрейлейн, кажется, что-то возражает, но она говорит слишком тихо, и дети ничего не могут разобрать.

— Отговорки, отговорки! У всякой легкомысленной жен-

щины наготове отговорки. Отдается первому встречному, ни о чем не думая. Авось Бог поможет. И это — воспитательница, берется воспитывать девочек! Это наглость! Надеюсь, вы не рассчитываете, что в таком положении я вас буду держать у себя в доме?

Дети подслушивают у двери. Их охватывает дрожь. Они не все понимают, но их приводит в ужас гневный голос матери и — в ответ — тихие, безудержные рыдания фрейлейн. Слезы наполняют их глаза; но раздражение матери, кажется, все увеличивается.

— Это единственное, что вы умеете, — проливать теперь слезы. Меня это не трогает. К таким людям у меня нет сострадания. Что с вами будет, меня совершенно не касается. Вы знаете, к кому вам нужно обратиться, я вас даже не спрашиваю об этом. Я знаю только одно: того, кто так низко пренебрег своим долгом, я ни одного дня не потерплю в своем доме.

В ответ — одни рыдания, отчаянные, дикие, звериные рыдания, от которых девочек за дверью трясет лихорадка. Никогда они не слышали таких рыданий. И смутно они чувствуют: кто так плачет, не может быть виноватым. Мать умолкла и ждет. Вдруг она опять заговорила резко:

— Вот это я хотела вам сказать. Уложите сегодня свои вещи и завтра утром приходите за жалованьем. Прощайте.

Дети отскакивают от дверей и спасаются бегством в свою комнату. Что это было? Будто молния упала перед ними. Они стоят, бледные, трепещущие. В первый раз они как будто коснулись действительности. И в первый раз они осмеливаются испытывать возмущение против своих родителей.

— Это было низко со стороны мамы так говорить с ней, — бросает старшая, закусив губы.

Младшую пугает смелость этих слов.

— Но мы ведь не знаем, что она сделала, — лепечет она жалобно.

— Наверное, ничего дурного. Фрейлейн не сделает ничего дурного. Мама ее не знает!

— А как она плакала! Мне стало страшно.

— Да, это было ужасно. Но как мама на нее кричала. Это было подло, говорю тебе, подло!

Она топает ногой. Слезы застилают ей глаза. Входит фрейлейн. Она выглядит очень усталой.

— Дети, я занята сегодня после обеда. Вы останетесь одни, на вас можно положиться, не правда ли? Вечером я к вам приду.

Она уходит, не замечая волнения, овладевшего детьми.

— Ты видела, у нее заплаканные глаза. Я не понимаю, как мама могла с ней так обращаться.

— Бедная фрейлейн!

Опять прозвучали эти слова, полные сострадания и слез. Растерянно стоят они. Входит мать и спрашивает, не хотят ли они покататься с ней. Дети уклоняются. Они боятся матери. И они возмущены, что им ничего не говорят об уходе фрейлейн. Они предпочитают остаться одни. Как ласточки в тесной клетке, они перебегают с места на место, задыхаясь в этой атмосфере лжи и замалчивания. Они размышляют, не пойти ли им к фрейлейн — спросить ее, поговорить с нею обо всем, сказать ей, что она должна остаться и что мама не права, — но они боятся обидеть ее. И потом им стыдно: все, что они знают, они ведь подслушали и выследили. Они должны претворяться глупыми, такими же глупыми, какими были две-три недели тому назад. Они остаются одни все нескончаемо долгое послеобеденное время, в раздумье и слезах, а в ушах все звучат эти ужасные голоса — злой, бессердечный гнев матери и отчаянные рыдания фрейлейн.

Вечером фрейлейн мельком заглядывает к ним и говорит им «спокойной ночи». Дети дрожат, видя, что она уходит, хочется что-то еще сказать ей. Но вот, подойдя уже к двери, она вдруг оборачивается еще раз, как будто остановленная этим немым желанием. Что-то блестит в ее глазах, влажных и печальных. Она обнимает детей, которые начинают неудержимо рыдать, целует их еще раз и быстро уходит.

Дети в слезах. Они чувствуют, что это было прощание.

— Мы ее больше не увидим! — говорит одна.

— Я уверена, когда мы завтра придем из школы, ее уже не будет.

— Может быть, мы когда-нибудь навестим ее. Тогда она, наверное, покажет нам своего ребенка.

— Да, она так добра.

— Бедная фрейлейн! — Эти слова прозвучали, как вздох о их собственной судьбе.

— Ты можешь представить себе, как все будет без нее?

— Я никогда не полюблю другую фрейлейн.

— Я тоже.

— Ни одна не будет так добра к нам. И потом...

Она не решается сказать. Но неосознанное женское чувство внушает им уважение к ней, с тех пор как они знают, что у нее есть ребенок. Обе беспрестанно думают об этом и теперь уже не с прежним детским любопытством, но глубоко растроганные и полные сочувствия.

— Послушай, — говорит одна из них, — послушай...

— Что?

— Знаешь, мне бы хотелось сделать удовольствие фрейлейн. Пусть она знает, что мы ее любим и что мы не такие, как мама. Хочешь?

— Как ты можешь спрашивать!

— Я вспомнила, она очень любит белые розы, и мы могли бы завтра утром, перед школой, купить несколько роз и поставить ей в комнату.

— Когда же?

— К обеду.

— Ее, наверное, уже не будет. Знаешь, я лучше сбегаю раненько и принесу так, чтобы никто не заметил. И мы поставим их к ней в комнату.

— Да, и встанем пораньше.

Они достают свои копилки и честно высыпают все свои деньги. Теперь они повеселели от сознания, что они смогут выразить фрейлейн свою немую, преданную любовь.

* * *

Они встают чуть свет. В их слегка дрожащих руках прекрасные, свежие розы. Они стучатся в дверь к фрейлейн, но ответа нет. Решив, что фрейлейн еще спит, они осторожно входят. Комната пуста, постель не смята.

Все разбросано, в беспорядке, на темной скатерти белеют несколько писем.

Дети испуганы. Что случилось?

— Я пойду к маме, — решительно заявляет старшая.

И упрямо, с мрачным выражением глаз, без малейшего страха, она появляется перед матерью и спрашивает:

— Где наша фрейлейн?

— Она, вероятно, у себя в комнате, — удивленно отвечает мать.

— Ее комната пуста, постель не смята. Она, должно быть, ушла еще вчера вечером. Почему нам ничего не сказали об этом?

Мать совершенно не замечает сердитого, вызывающего тона. Она побледнела, входит к отцу, который быстро исчезает в комнате фрейлейн.

Долго он остается там. Девочка гневными глазами следит за матерью, которая, по-видимому, сильно взволнована и не решается встретиться с нею взглядом.

Отец возвращается. Он бледен; у него в руках письмо. Он идет с матерью в комнату и тихо говорит ей что-то. Дети стоят за дверью, но не решаются подслушивать. Они боятся гнева отца: таким они его никогда не видели.

Мать выходит из комнаты с заплаканными глазами и смотрит растерянно. Дети, не отдавая себе отчета, точно под влиянием ее страха, идут ей навстречу с вопросом на устах. Но она резко говорит им:

— Идите в школу, уже поздно.

И дети должны идти. Как во сне сидят они в школе четыре-пять часов вместе с другими, но не слышат ни слова. Стремительно мчатся они домой.

Там все по-старому. Только одна ужасная мысль будто овладела всеми. Никто ничего не говорит, но все, даже прислуга, глядят как-то странно. Мать идет детям навстречу. Она как будто приготовилась сказать им что-то. Она начинает:

— Дети, ваша фрейлейн больше не вернется, она...

Она не решается договорить. Сверкающие взоры девочек так угрожающе впились в ее глаза, что она не решается солгать. Она отворачивается и уходит, спасается бегством в свою комнату.

После обеда вдруг появляется Отто. Его вызвали, для него есть письмо. Он тоже бледен. Растерянно оглядывается. Никто с ним не разговаривает. Все его избегают. Он видит притаившихся в углу девочек и хочет с ними поздороваться.

— Не тронь меня, — говорит одна, вздрагивая от отвращения. Другая плюет перед ним на пол. Смущенный, растерянный, он блуждает по комнате. Потом исчезает.

Никто не разговаривает с детьми. Они сами хранят молчание. Бледные и растерянные, беспомощные, как звери в клетке, бродят они по комнатам, встречаются, глядят друг другу в заплаканные глаза и не говорят ни слова.

Они знают теперь все. Они знают, что им лгали, что все люди могут быть дурными и подлыми. Родителей своих они не любят, они потеряли веру в них. Они знают, что никому нельзя доверять. Теперь вся чудовищная тяжесть жизни обрушится на их хрупкие плечи. Из веселого уюта своего детства они как будто упали в пропасть. Они еще не могут постигнуть всего ужаса происшедшего, но все их мысли вертятся вокруг него и грозят задушить их. Лихорадочный жар окрасил их щеки, взгляд у них злой и раздраженный. Как бы замерзая в своем одиночестве, ходят они взад и вперед. Никто, даже родители не решаются с ними заговорить, — так ужасен их взгляд. Их беспрестанное хождение по комнатам выдает терзающее их волнение. И пугающая связь между обеими, ясная без слов. Это молчание, это непроницаемое, ни о чем не спрашивающее молчание, эта коварная замкнувшаяся боль, без крика и без слез, делает их для всех чужими и опасными. Никто не при-

ближается к ним, путь к их душам закрыт, — быть может, на целые годы. Все чувствуют в них врагов — врагов беспощадных, не умеющих прощать. Со вчерашнего дня они уже не дети.

Этот день состарил их на много лет. И только вечером, когда они остались одни во мраке своей комнаты, пробуждается в них детский страх — страх перед одиночеством, перед призраками умерших и полный предчувствий страх перед неизвестностью. Среди общего волнения в доме позабыли протопить в их комнате. Ежась от холода, они ложатся в одну постель, худенькими детскими ручонками обвивают друг друга, прижимаются друг к другу своими детскими, еще не расцветшими телами, как бы ища защиты от обуревающего их страха. Они все еще не решаются говорить друг с другом. Наконец, младшая разражается слезами, и старшая рыдает вместе с нею. Крепко обнявшись, они плачут. По их лицам текут горячие слезы — сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Прижавшись друг к другу, они судорожно рыдают. Объятые одним горем, они составляют одно тело, плачущее во мраке. Теперь они оплакивают уже не свою фрейлейн, не родителей, которые с этих пор вычеркнуты из их жизни: их охватывает внезапный ужас — страх перед тем, что ждет их в неведомом для них мире, в который они бросили сегодня первый испуганный взгляд. Им страшно перед жизнью, в которую они вступают, — перед жизнью, мрачной и угрожающей, как темный лес, через который им предстоит пройти.

Тускнеет смутное чувство страха; постепенно переходя в сон, утихают рыдания. Их дыхания сливаются в одно, как сливались только что их слезы. Наконец они засыпают.





ЖГУЧАЯ ТАЙНА

ПАРТНЕР

Локомотив хрипло засвистел: поезд подходил к Земмерингу. В серебристом свете горных вершин черные вагоны на минуту останавливаются, чтобы выбросить нескольких пассажиров и проглотить других. Раздаются сердитые голоса, и снова засвистала впереди осипшая машина, увлекая за собой в пещеру туннеля черную громыхающую цепь. Опять расстилается перед глазами ясный ландшафт на чисто выметенном влажным ветром фоне.

Один из прибывших, молодой человек, приятно выделяющийся изяществом одежды и природной легкостью походки, поторопился раньше других взять извозчика до гостиницы. Не спеша, лошади подымаются по горной дороге. В воздухе чувствуется весна. По небу пробегают белые облака — беспокойные, какими они бывают только в мае и июне. Как юные, легкомысленные гуляки, они мчатся, играя, по синей дороге, то прячутся за высокие горы, то обнимаются и убегают, то складываются в платочек, то разрываются на полоски и, наконец, дурачась, нахлобучивают белую шапку на вершины гор. Непокойно ведет себя и ветер: он так буйно раскачивает тощие, еще влажные после дождя деревья, что они тихо хрустят в суставах и сбрасывают на землю тысячи капель, словно искры. Порою с вершин доносится свежий запах снега, а затем дыхание ловит что-то одновременно сладкое и острое. Все в воздухе и на земле полно движения и нетерпеливо бродящих

сил. Слегка фыркая, лошади бегут по спускающейся дороге; далеко впереди слышен звон их бубенцов.

В гостинице молодой человек первым делом просмотрел список приезжих, который быстро его разочаровал. В нем уже зашевелился беспокойный вопрос: «Зачем, собственно, я приехал сюда? Сидеть тут, на горе, без общества — это, право, хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал не то слишком рано, не то слишком поздно. Мне всегда не везет с отпуском. Ни одной знакомой фамилии во всем этом списке. Было бы хоть несколько дам на худой конец — маленький, невинный флирт, чтобы не проскучать целую неделю».

Молодой человек — барон, принадлежавший к не слишком громкой фамилии австрийского чиновного дворянства, служил в наместничестве и взял себе этот маленький отпуск без особой надобности: все его коллеги выхлопотали себе эту весеннюю неделю, и он тоже не пожелал посвящать ее служебным обязанностям. Не лишенный некоторых дарований, он любил общество; его охотно принимали во всех кругах. У него не было ни малейшей склонности оставаться наедине с самим собой, и он, по возможности, избегал этих встреч, не стремясь к более интимному знакомству со своей особой. Он вполне сознавал свою непригодность к одиночеству; он знал, что ему нужно соприкосновение с людьми, чтобы в общении с ними могли развернуться все его таланты — его сердечность и темперамент, — в одиночестве он был холоден и бесполезен, как спичка в коробке.

Недовольный, он ходил взад и вперед по пустому залу, то нерешительно перелистывая газеты, то пытаясь наигрывать на рояле вальс, но ритм ему не удавался. Наконец, раздосадованный, он уселся у окна и смотрел, как медленно спускались сумерки и из-за сосен подымался седой туман. Так убил он, нервничая, целый час и наконец попробовал спастись бегством в столовую.

Там было занято всего несколько столиков, которые он окинул быстрым взглядом. Напрасно! Ни одного знакомого. Вон там — он лениво ответил на поклон — берейтор с ипподрома,

да там еще знакомое лицо с Рингштрассе — и больше никого. Ни одной женщины, никакой надежды хотя бы на мимолетное приключение. Его скверное настроение возрастало. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые, благодаря красивой наружности, пользуются успехом, всегда готовы к новым встречам, к новым впечатлениям и напряженно ищут приключений с неверным исходом. Их ничто не поражает, все точно рассчитано, ничто эротическое не ускользает от них; первый взгляд, который они бросают на женщину, уже оценивает ее с чувственной стороны, — все равно, будь это жена их друга или горничная, открывающая им дверь. Таких людей с некоторым презрением называют «охотниками за женщиной», но при этом обычно не замечают, сколько наблюдательности и правды заключено в этом определении; в самом деле, все страстные инстинкты охоты — выслеживание, возбужденность и жестокость — разгораются в неутомимой бдительности этих людей. Они постоянно начеку и всегда готовы в своих приключениях дойти до края пропасти. Они всегда заряжены страстью, но страстью не любовника, а игрока — холодной, расчетливой и опасной. Между ними есть упорные, которых не только юность, но и вся жизнь в этом вечном ожидании становится сплошным приключением: их день распадается на сотни мелких чувственных впечатлений — мимолетный взгляд, украденная улыбка, прикосновение к колену соседки, а год — на сотни таких дней; чувственные переживания служат для них неиссякаемым питательным и воспламеняющим источником жизни.

Здесь не было партнера для игры, — он определил это сразу. Нет большей досады для игрока, сидящего за зеленым столом с картами в руках и с сознанием своего превосходства, как тщетное ожидание партнера. Барон потребовал газету. Раздраженно скользил его взор по строкам, но его мысли хромали и, точно пьяные, спотыкались о слова.

Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, слегка сердитый и аффектированный: «*Mais tais-toi donc, Edgar!*»*

*Замолчишь ли ты, наконец, Эдгар! (франц.)

У его стола прошумело шелковое платье, и высокая, пышная фигура проплыла мимо него; за ней следовал маленький бледный мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на него любопытный взгляд. Они сели против него за оставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя корректно, но это не вязалось с беспокойным выражением его черных глаз. Дама — на нее было устремлено все внимание барона — была одета тщательно и с видимой элегантностью. К тому же она принадлежала к излюбленному бароном типу: еврейка, слегка полная, еще не перезрелая; по-видимому, страстная натура, но умеющая скрывать свой темперамент под маской благородной меланхолии. Ему не удалось сразу заглянуть в ее глаза, и он восхищался пока лишь тонко очерченной линией бровей, красиво закругленных над тонким носом, который хотя и выдавал ее происхождение, но своей благородной формой сообщал профилю изящество и отчетливость. Волосы, как и все женственное в этой полной фигуре, отличались чрезвычайной пышностью. Полное сознание своей красоты, пресыщенной поклонением, придавало ей самоуверенный вид. Тихим голосом она заказывала обед и делала замечания мальчику, бренчавшему вилкой, — все это с видимым безразличием, как будто не замечая осторожных, украдкой обращавшихся к ней взглядов барона; в действительности же только настойчивое его внимание было причиной ее сдержанности.

Мрачность в лице барона мигом рассеялась, невидимый ток пробежал по нервам, складки разгладились, мускулы напряглись; вся его фигура выпрямилась, и глаза засверкали. Он сам был немного похож на тех женщин, которым необходимо присутствие мужчины для того, чтобы развернуть все свои силы. Только чувственное возбуждение напрягало его энергию. Охотник почуял добычу. Вызывающе он искал глазами ее взгляда, не раз неопределенно сверкнувшего мимо него; но желанного, решительного ответа на его вызов не было в этих беглых взглядах. Ему казалось, что губы ее складываются в чуть заметную улыбку, но все это было неопределенно, и эта неопределенность еще больше возбуждала его. Единственное,

что подавало ему надежду, — это был ее взгляд, упорно скользивший мимо него, он чувствовал в нем противодействие и в то же время робость, и еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком. Он чувствовал, что за ее видимо подчеркнутым спокойствием скрывается волнение. И он тоже был взволнован: игра началась. Он не торопился с обедом, в течение получаса он почти не отрывал глаз от этой женщины, пока не запечатлел каждую черту ее лица, не коснулся незаметным взглядом всего ее роскошного тела. За окном грузно спускались сумерки, лес вздыхал в детском страхе, огромные дождевые тучи протягивали к ним свои серые руки, все мрачнее ползли в комнату тени, люди казались здесь все более подавленными молчанием. Разговор матери с сыном, под угрозой этой тишины, замечал он, становился все более принужденным, все более искусственным; скоро — можно было предвидеть — разговор прекратится.

Он решил сделать опыт. Он встал первым и, глядя мимо нее в окно, медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, и поймал ее живой взгляд, провожавший его.

Это его заинтересовало. Он подождал в зале. Она скоро появилась, ведя мальчика за руку, мимоходом перелистала журналы и показала сыну несколько картинок. Но когда барон, как бы случайно, подошел к столу, чтобы поискать журнал, в действительности же — заглянуть поглубже в ее влажно блестящие глаза, может быть даже — завязать разговор, она отвернулась, проговорила, слегка хлопнув мальчика по плечу: «Viens, Edgar! Au lit!» и — холодно прошумела мимо него. Несколько разочарованный, барон посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и резкий отказ удивил его. Но, в конце концов, в этом противодействии была своя прелесть, и как раз эта неуверенность подзадоривала его. Все равно: он нашел партнера; можно начать игру.

*Идем, Эдгар! Спать пора! (франц.)

БЫСТРАЯ ДРУЖБА

Когда на другое утро барон вошел в зал, он увидел сына прекрасной незнакомки оживленно беседующего с двумя мальчиками, дежурившими у лифта: он показывал им картинки в книге Карла Мая. Его матери не было; вероятно, она была еще занята своим туалетом. Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Это был застенчивый, физически неразвитый, нервный мальчик, приблизительно двенадцати лет, с резкими движениями и темными, блуждающими глазами. Как многие дети в этом возрасте, он производил впечатление несколько запуганного, как будто его только что разбудили и перенесли в чуждую обстановку. Его нельзя было назвать некрасивым, но была в нем какая-то неопределенность: борьба мужского начала с детским, по-видимому, только еще начиналась; его формы были в процессе лепки, еще не законченном, его лицо, лишенное определенно очерченных линий, было бледно и беспокойно. Он был в том невыгодном возрасте, когда костюм всегда не по ребенку, рукава и брюки болтаются на худых конечностях; тщеславие еще не заставляет следить за своей наружностью.

Слоняясь без дела, мальчик производил довольно жалкое впечатление. Собственно говоря, он мешал здесь всем. То отстранит его швейцар, к которому он пристаёт со всякими расспросами, то он трется у входной двери. По-видимому, он томился из-за отсутствия товарищей. Детская потребность в болтовне побуждала его искать собеседников среди служащих отеля, которые отвечали ему, когда у них было время, и прекращали разговор, как только показывался кто-нибудь из взрослых. Барон, улыбаясь, с интересом наблюдал за бедным мальчиком, который на все смотрел с таким любопытством и от которого все недружелюбно отворачивались. Вот он поймал один из этих любопытных взглядов, но черные глаза сейчас же испуганно ушли внутрь и спрятались за опущенными веками. Это забавляло барона; мальчик заинтересовал его, и он задал

себе вопрос, не может ли этот ребенок, застенчивость которого объясняется, вероятно, только страхом, послужить посредником для скорейшего сближения. Во всяком случае, надо попытаться. Незаметно он пошел за мальчуганом, который только что выскочил во двор и, побуждаемый детской потребностью в ласке, стал гладить розовые ноздри белой лошадки; но и здесь — ему положительно не везло — кучер довольно грубо остановил его. Обиженный и скучающий, он опять слонялся с пустым и печальным выражением глаз. Тут барон заговорил с ним.

— Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится? — спросил он, стараясь придать своему обращению самый простой и веселый тон.

Мальчик покраснел до корней волос и посмотрел на него смущенно. Точно в испуге, он прижал руку к груди и застенчиво переминался с ноги на ногу. Никогда до сих пор не случилось, чтобы с ним заговорил чужой господин.

— Благодарю вас, очень нравится, — с трудом проговорил он. Последние слова он точно выдавил из себя.

— Это меня удивляет, — сказал барон, смеясь, — в сущности, это довольно скучное место, особенно для молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?

Мальчуган был еще слишком смущен и не нашел сразу, что ответить. Ведь до сих пор его никто знать не хотел, и вдруг этот элегантный господин вступил с ним в разговор. Неужели это правда? Эта мысль наполняла его сразу и робостью и гордостью. С трудом он собрал все свое мужество.

— Я читаю, и потом мы ходим много гулять. Иногда мы ездим кататься — мама и я. Я должен здесь поправляться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце.

Последние слова он проговорил увереннее. Дети всегда гордятся перенесенной болезнью: они знают, что опасность делает их в глазах близких более значительными.

— Да, солнце полезно для таких молодцов, как ты, ты загорись хорошенько. Но зачем ты сидишь здесь целый день?

Юноша в твоём возрасте должен больше бегать, и быть смелым, и пошалить немного. Мне кажется, ты слишком благонаравен, ты такой комнатный, с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твоём возрасте! Каждый вечер приходил домой в рваных брюках. Не надо быть слишком послушным!

Мальчик невольно улыбнулся, и страх его исчез. Он хотел что-то возразить, но это казалось ему слишком смелым, слишком дерзким по отношению к этому милому незнакомцу, который так ласково разговаривал с ним. Он никогда не был нескромным, всегда быстро конфузился, а сейчас от счастья и стыда пришел в совершенное смущение. Ему очень хотелось продолжать беседу, но ничего не приходило в голову. К счастью, явился большой желтый сенбернар, обнюхал их обоих и позволил себя погладить.

— Ты любишь собак? — спросил барон.

— Очень! У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене, на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим.

— У нас в имении их, наверное, дюжины две. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?

Мальчик покраснел от радости.

— О, да!

Это вырвалось у него горячо и жадно. Но за этим сейчас же последовало боязливое и испуганное раздумье.

— Но мама не позволит. Она говорит, что не любит собак в доме: с ними слишком много хлопот.

Барон улыбнулся. Наконец-то разговор коснулся мамы.

— Разве мама так строга?

Ребенок подумал, посмотрел на него, будто спрашивая, можно ли довериться этому чужому человеку. Ответ последовал осторожный.

— Нет, мама не очень строга. Теперь, после болезни, она позволяет мне все. Может быть, она позволит мне взять и собаку.

— Хочешь, я попрошу ее?

— Да, пожалуйста, попросите, — обрадовался мальчуган. — Тогда мама, наверное, позволит. Какого цвета ваша собака? У нее белые уши, не правда ли? Она умеет носить поноску?

— Да, она умеет все. — Барон улыбнулся, заметив блеск в глазах мальчугана: так легко оказалось зажечь в нем искру! Сразу исчезла застенчивость, и страстность, сдерживаемая робостью, закипела. Боязливый, запуганный ребенок с быстротой молнии преобразился в шалуна.

«Если бы и у матери за этим страхом скрывалась такая страстность!» — невольно подумал барон. Но мальчик уже осыпал его вопросами:

— Как зовут вашу собаку?

— Каро.

— Каро! — восторгался мальчик. Ему хотелось смеяться и радоваться каждому слову. Он был совершенно опьянен этим неожиданным событием: кто-то дружески подошел к нему. Барон сам удивлялся своему быстрому успеху и решил, что надо ковать железо, пока горячо. Он пригласил мальчика пойти погулять, и бедный ребенок, изголодавшийся за целые недели по обществу, был в восторге от этого предложения. Он беспечно болтал обо всем, на что наводил его новый друг. При помощи мелких, как бы случайных вопросов барон быстро узнал все, что касалось их семьи: что Эдгар был единственным сыном венского адвоката, принадлежащего, видимо, к состоятельной еврейской буржуазии; что мать не в восторге от пребывания в Земмеринге и жалуется на отсутствие приятного общества; из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли мама любит папу, он уловил, что дело обстоит не вполне благополучно. Ему стало почти стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти мелкие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что может удовлетворить своими рассказами интерес своего взрослого друга, почти навязывал ему свою откровенность. Его детское сердце наполнилось гордостью, когда барон во время прогулки положил руку ему на

плечо: все могут видеть его дружбу с взрослым человеком. Забыв о своих годах, он болтал с ним свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по разговору, очень умен, не по возрасту развит, как большинство болезненных детей, которые проводят много времени со взрослыми, и отличался острой страстностью в своих симпатиях или вражде. Ни к чему у него не было спокойного отношения; о каждом человеке, о каждой вещи он говорил или восторженно, или с такой резкостью, что лицо его перекашивалось и становилось почти злым и безобразным. Что-то дикое и неровное, вызванное, быть может, недавно перенесенной болезнью, сообщало его речам фанатический огонь. Казалось, что его неловкость была не что иное, как с трудом подавляемый страх перед собственной страстностью.

Барону нетрудно было приобрести его доверие. Всего полчаса потребовалось для того, чтобы завладеть этим горячим, нервно вздрагивающим сердцем. Так бесконечно легко обманывать детей: это доверчивые существа, любви которых так редко добиваются. Ему стоило только перенестись в прошлое, — и с такой легкостью, с такой непринужденностью он вошел в тон детского разговора, что мальчику казалось, будто он разговаривает с равным; разделявшая их пропасть скоро исчезла. Он был счастлив, что здесь, в этом пустынном месте, неожиданно нашел друга — и какого друга! Забыты венские товарищи с их тоненькими голосами и наивной болтовней: точно стерты из памяти их образы с этого знаменательного часа. Вся его восторженная страстность принадлежала теперь этому новому, взрослому другу. Его сердце ширилось от гордости, когда барон, прощаясь, еще раз пригласил его прийти завтра утром и когда новый друг, удаляясь, кивнул ему, как брату. Это была, может быть, лучшая минута в его жизни. Ничего нет легче, как обманывать детей. Барон улыбнулся вслед убегающему мальчику. Посредник был найден. Он знал, что мальчик замучит свою мать рассказами, повторением каждого слова, и с удовольствием вспоминал, как ловко он вставил в разговор несколько комплиментов по адресу матери,

называя ее все время «красавицей». Для него не было сомнений в том, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит его со своей матерью. Он сам больше палец о палец не ударит, чтобы сократить расстояние между собой и прекрасной незнакомкой; он может спокойно наслаждаться природой и мечтать: он знает, что горячие детские руки прокладывают ему путь к ее сердцу.

ТРИО

План был великолепен, как обнаружилось через час, и удался до мельчайших подробностей. Когда барон намеренно с опозданием вошел в столовую, Эдгар вскочил со своего стула, поклонился со счастливой улыбкой и замахал ему рукой. В то же время он потянул свою мать за рукав; быстро и взволнованно он что-то объяснял ей, указывая жестами на барона. Она, краснея и смущаясь, сделала ему выговор за чрезмерную живость, но, уступая желанию мальчика, была вынуждена взглянуть в сторону барона, который усмотрел в этом повод для почтительного поклона. Знакомство было завязано. Она ответила на поклон, но затем склонила лицо над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не взглянула на него. Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона и раз даже пытался заговорить с ним через стол. Энергичный выговор был следствием столь неприличного поведения. После обеда ему было сказано, что он должен идти спать, и между ним и матерью начались тихие переговоры; в результате его горячих просьб ему было разрешено подойти к другому столу и проститься со своим другом. Барон сказал ему несколько ласковых слов, снова вызвавших блеск в глазах мальчика. Поболтав с ним несколько минут, барон вдруг повернулся, встал и подошел к другому столу. Он поздравил несколько смущенную соседку с умным, развитым сыном, упомянул об удовольствии, которое доставили ему проведенные с ним часы, — Эдгар стоял рядом, краснея от гордости и

счастья, — и, в заключение, стал расспрашивать о его здоровье. Его вопросы были так внимательны и подробны, что мать Эдгара была вынуждена отвечать ему. Так завязалась продолжительная беседа, к которой мальчик прислушивался, сияя от счастья и преисполненный благоговения. Барон представился, и ему показалось, что его звучная фамилия польстила ее тщеславию. Во всяком случае, она была чрезвычайно предупредительна, хотя не сказала ничего лишнего и даже рано простилась, сославшись на необходимость уложить мальчика.

Мальчик энергично протестовал, уверяя, что не устал, и выразил готовность просидеть хоть всю ночь. Но мать уже протянула барону руку, которую тот почтительно поцеловал. Эдгар плохо спал эту ночь. В нем бушевало какое-то смешанное чувство счастья и детского отчаянья. Что-то новое вступило сегодня в его жизнь. Впервые он принял участие в жизни взрослых. В полусне он забыл свой возраст, и ему казалось, будто он сразу вырос. До сих пор он жил в одиночестве и часто болел, поэтому у него было мало друзей. Для удовлетворения потребности в ласке он мог обращаться только к родителям, которые мало им занимались, и к прислуге. Сила любви измерится не вызвавшим ее поводом, а напряжением, которое ей предшествует, — той пустой, темной полосой разочарования и одиночества, которая предваряет все большие события в жизни сердца. Давившее его, нерастраченное чувство давно ждало и с распростертыми объятиями кинулось навстречу первому, кто казался достойным его. Лежа в темноте, Эдгар был счастлив и взволнован; ему хотелось смеяться, но из глаз текли слезы. Он любил этого человека, как никогда не любил ни одного друга, ни отца, ни мать, ни даже Бога. Вся незрелая страстность, накопившаяся за прежние годы, сосредоточилась на образе человека, имени которого он не знал еще два часа тому назад.

Но он был достаточно умен, и неожиданность и необычайность этой новой дружбы не могли не угнетать его. Особенно смущало его чувство своей недостойности и ничтожности.

«Достоин ли я его, — я, двенадцатилетний мальчик, который должен ходить в школу, которого раньше всех посылают спать? — задавал он себе мучительные вопросы. — Чем я могу быть для него, что я могу ему дать?» Это мучительное сознание бессилия выразить свое чувство делало его несчастным. Обычно, полюбив кого-нибудь из товарищей, он, прежде всего, делил с ним драгоценности своего письменного стола — камни или марки — свои детские богатства; но все эти вещи, еще вчера представлявшие для него чрезвычайную ценность, теперь сразу показались ему ничтожными, ненужными и достойными презрения. Мог ли он предложить их своему новому другу, к которому он даже не смел обратиться на «ты»? Есть ли путь, есть ли возможность выразить ему свои чувства? Он все больше мучился от сознания своей незрелости; сознания, что он еще не настоящий человек, а только двенадцатилетний ребенок. Никогда он не проклинал так бурно свой детский возраст, никогда не испытывал такой жажды проснуться иным, каким он видел себя во сне: большим и сильным, мужчиной, взрослым, как все.

Эти тревожные мысли переплетались с первыми яркими снами о новом мире мужчины. Эдгар наконец заснул с улыбкой на устах; но мысль о завтрашней встрече прерывала его сон. Он вскочил уже в семь часов, боясь опоздать. Поспешно оделся, поздоровался с удивленной матерью, которая обычно не могла поднять его с постели, и, не отвечая на ее вопросы, побежал вниз. До десяти часов он нетерпеливо бродил, забыв о завтраке, занятый одной мыслью — не заставить ждать своего друга.

В половине десятого барон, наконец, спустился не торопясь. Он, конечно, давно забыл о данном обещании, но теперь, когда мальчик так стремительно бросился к нему, он улыбнулся избытку его страстности и выразил готовность сдержать свое слово. Он снова взял мальчика под руку, прошелся с ним, сияющим от счастья, взад и вперед, однако отказался — мягко, но решительно — предпринять сейчас же совместную прогулку. Он как будто чего-то ждал, судя по взглядам, которые он

нервно бросал на входную дверь. Вдруг он насторожился. Мать Эдгара вошла и, отвечая на поклон, с приветливым видом направилась к ним. Она одобрительно улыбнулась, услышав о предполагаемой прогулке, о которой Эдгар не рассказал ей, как о чем-то слишком интимном, и сразу согласилась на приглашение барона принять в ней участие. Эдгар нахмурился и кусал губы. Как досадно, что она должна была войти как раз в эту минуту! Эта прогулка всецело принадлежала ему: если он и представил своего друга маме, то это была лишь любезность с его стороны, а уступать его он не намерен. Видя внимание барона к его матери, он испытывал уже нечто вроде ревности.

Они отправились на прогулку втроем, и чрезвычайный интерес, который оба взрослых спутника проявляли к ребенку, поддерживал в нем опасное сознание собственной ценности и внезапной важности. Эдгар был почти исключительным предметом их беседы: мать с несколько преувеличенной озабоченностью говорила о его бледности и нервности, а барон, со своей стороны, возражал ей, улыбаясь, и рассыпался в похвалах своему «другу», как он его называл. Это был лучший час в жизни Эдгара. Ему предоставлялись права, которыми он никогда не пользовался в детстве. Он мог принимать участие в разговоре, не получая за это замечаний, и даже выражать смелые пожелания, о которых он до сих пор не позволил бы себе заикнуться. Неудивительно, если в нем с каждой минутой разрасталось обманчивое чувство, что он уже взрослый. Детство в его радужных мечтах оставалось уже позади, как сброшенное платье, из которого он вырос.

За обедом, следуя приглашению все более и более любезной матери Эдгара, барон сидел за их столом. Визави обратился в соседа, знакомый — в друга. Трио было налажено, и три голоса — женский, мужской и детский — звучали в полной гармонии.

АТАКА

Нетерпеливому охотнику уже казалось, что настало время подкрасться к дичи. Семейственное тройственное созвучие в этом деле перестало ему нравиться. Болтать втроем было довольно приятно, но, в конце концов, не болтовня же была его целью. Он знал, что салонный тон с неизбежной маскировкой желаний всегда задерживает эротическую игру между мужчиной и женщиной, лишает слова горячности и натиск — пламенности. Она не должна была за беседой забывать о его истинных намерениях, которые — он знал это наверняка — были ею поняты.

Было много шансов, что его ухаживания за этой женщиной увенчаются успехом. Она была в тех решительных годах, когда женщина начинает раскаиваться в том, что оставалась верна мужу, которого она, в сущности, никогда не любила, и когда пурпуровый закат ее красоты еще позволяет ей в последний раз сделать выбор между материнством и женственностью. Жизнь, которая, казалось, давно нашла свое разрешение, в эту минуту еще раз поставлена перед вопросом; в последний раз магнит воли колеблется между эротическим соблазном и полным самоотречением. Женщине предстоит трудный выбор — жить своей личной жизнью или жизнью своих детей, быть женщиной или матерью. И барон, проницательный в такого рода вещах, подметил у нее как раз это опасное колебание между жадой жизни и самоотречением. Она постоянно забывала в разговоре о своем муже, который, видимо, удовлетворял лишь ее внешние потребности, но не ее снобизм, воспитанный светским образом жизни; она чрезвычайно мало была посвящена во внутреннюю жизнь своего ребенка. Тень скуки, отражаясь меланхолией в ее темных глазах, расстилалась над ее жизнью и заволакивала ее чувственность. Барон решил быстро идти к цели, избегая вместе с тем всякого подозрения в поспешности. Напротив, как рыболов, который приманивает добычу, отдергивая крючок, он хотел этой новой дружбе противопоставить внешнее равнодушие, хотел заставить доби-

ваться себя, в то время как в действительности, он вел наступление. Он решил утрировать известное высокомерие, резко подчеркнуть различие в социальном положении. Его привлекала мысль овладеть этим прекрасным телом при помощи чисто внешних качеств — звучной фамилии и холодности обращения.

Игра начинала уже серьезно волновать его, и он насторожился. Послеобеденные часы он провел у себя в комнате, в приятном сознании, что его отсутствие будет замечено. Оно не произвело особенно сильного впечатления на ту, для кого оно было инсценировано, но бедный мальчик буквально измучился. Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно беспомощным и потерянным. С упорной, свойственной мальчикам верностью все эти долгие часы он неустанно поджидал своего друга.

Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему преступлением против дружбы. Он болтался без всякого дела в коридорах и с каждым часом чувствовал себя все более несчастным. Беспокойное воображение наводило его на мысль о каком-нибудь несчастье или невольном нанесенном оскорблении; он готов был расплакаться от нетерпения и страха.

Когда барон явился вечером к столу, ему был оказан блестящий прием. Эдгар, невзирая на укоризненный окрик матери и удивление посторонних, бросился к нему навстречу и бурно обнял его худенькими ручонками. «Где вы были? Где вы были? — поспешно говорил он. — Мы искали вас всюду». Мать покраснела при этом нетактичном включении ее особы и сказала довольно строго: «*Sois sage, Edgar! Assieds-toi!*» . (Она всегда говорила с ним по-французски, хотя владела этим языком далеко не в совершенстве и при более подробных объяснениях легко садилась на мель.)

Эдгар повиновался, но не переставал расспрашивать барона.

— Не забывай, что барон может делать что ему угодно.

* Будь благоразумным, Эдгар! Сядь на место! (*франц.*)

Может быть, ему было скучно в нашем обществе. — На этот раз она сама говорила от имени обоих, и барон с радостью почувствовал, что этот упрек рассчитан на комплимент.

Охотник пробудился в нем. Он был опьянен, взволнован; так быстро был найден след, и дичь — всего на шаг от выстрела. Его глаза заблестели, кровь кипела, речь лилась свободно, он сам не знал как, с его уст. Как всякий мужчина, склонный к эротике, он становился вдвойне добрее, вдвойне самим собой, как только замечал, что нравится женщинам. Так многие актеры испытывают вдохновение только тогда, когда чувствуют, что всецело завладели зрителями — всей этой массой тяжело дышащих, превращенных в слух людей. Он всегда был хорошим рассказчиком и владел чувственными образами, но сегодня — он выпил несколько бокалов шампанского, заказанного в честь новой дружбы — он превзошел самого себя. Он рассказывал об индийских охотах, в которых принимал участие, будучи в гостях у одного из самых аристократических английских друзей. Он обдуманно выбрал эту тему, как будто безразличную; он чувствовал, что эту женщину волнует все экзотическое и для нее недоступное. Эдгара же он пленил окончательно: его глаза сверкали от восторга. Он не ел и не пил, жадно ловя каждое слово рассказчика. Он никогда не думал, что увидит наяву человека, в действительности пережившего все эти невероятные приключения, о которых он читал в книгах, — человека, который охотился на тигров, видел темнокожих людей-индусов и Джаггернаур — ужасную колесницу, которая похоронила под своими колесами тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран, и эти минуты впервые пробудили в нем какое-то великое чувство.

Он не сводил глаз со своего друга; затаив дыхание, смотрел на его сильные руки, убившие тигра. Он еле осмеливался обратиться к нему с вопросом, и в голосе его звучало лихорадочное волнение. Его живое воображение все время рисовало ему картины к этим рассказам. Он видел своего друга восседающим на слоне, покрытом пурпурным чепраком, справа и

слева — темнокожие люди в великолепных тюрбанах, и вдруг из джунглей выскакивает тигр с оскаленными зубами и ударяет лапой по хоботу слона. Барон рассказывал теперь еще более интересные вещи: к каким хитростям прибегают при охоте на слонов — старых, ручных животных заставляют завлекать молодых, диких и резвых, в загороженные ловушки. Глаза мальчика загорелись. И вдруг — ему показалось, что нож, сверкая, упал к его ногам — мама проговорила, указывая на часы:

— Neuf heures! Au lit!*

Эдгар побледнел от ужаса. Для всех детей слова «иди спать» ужасны; в них явное унижение перед взрослыми, клеймо детскости, младенчества, детской потребности в сне. Но во сколько раз убийственнее был этот позор сейчас, в самый интересный момент, когда он должен был отказаться от таких необычайных вещей!

— Еще минутку, мама, позволь мне послушать про слонов.

Он хотел начать кланяться, но сейчас же вспомнил о своем новом достоинстве взрослого. Он решился лишь на одну попытку. Но мама была сегодня особенно строга:

— Нет, уже поздно. Иди наверх. Sois sage, Edgar. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон.

Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его. Но он не настаивал, не желая унижаться перед другом. Детская гордость хотела сохранить хотя бы видимость добровольного ухода.

— Но, мама, ты в самом деле расскажешь мне все-все? О слонах и обо всем остальном?

— Да, дитя мое.

— И сейчас же? Сегодня же?

— Да, да, но теперь иди спать. Иди.

Эдгар сам был удивлен тем, что ему удалось, не покраснев, подать руку барону и маме, хотя рыдания уже сдавливали ему горло. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это еще вы-

*Девять часов! Спать пора! (франц.)

звало улыбку на его напряженном лице. Но затем ему нужно было поторопиться уйти: иначе они увидели бы, как крупные слезы потекли по его щекам.

СЛОНЫ

Мать оставалась еще некоторое время внизу, за столом, с бароном, но разговор о слонах и охоте прервался. Какая-то тяжесть, какое-то все возрастающее смущение возникло в их беседе, как только мальчик ушел. Наконец они перешли в зал и уселись в уголке. Барон был остроумнее, чем когда-либо, она сама была слегка разгорячена несколькими бокалами шампанского, и их разговор сразу принял опасный характер. Барона нельзя было назвать красивым; но он был молод, его смуглое энергичное, мальчишеское лицо с коротко остриженными волосами выглядело мужественно, и он пленял ее своими сильными, почти резкими движениями. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и больше не боялась его взгляда. Но в его речи постепенно закрадывалась смелость, несколько смущавшая ее, как будто он прикасался к ее телу, — какое-то неуловимое вожделение, которое заставляло ее краснеть. Потом он снова смеялся легко, непринужденно, по-мальчишески, и это сообщало всем этим маленьким нескромностям характер детской шутки. Ей иногда казалось, что она должна бы его строго остановить, но она была кокетка по природе, и это легкое вожделение волновало ее и заставляло выжидать. Увлеченная этой опасной игрой, она, в конце концов, даже пробовала подражать ему. Она бросала на него слегка обещающие взгляды, в словах и в движениях уже отдавалась ему, допуская даже его близость, и ощущала на своем плече его теплое прерывистое дыхание. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и, увлеченные своим жгучим разговором, опомнились только в полночь, когда в зале начали гасить огни.

Она вскочила, повинувшись первому испугу, и сразу почувст-

вовала, как безумно далеко она зашла. Игра с огнем не была для нее новинкой, но теперь пробудившимся инстинктом она почуяла, насколько эта игра была серьезна. С ужасом она открыла, что теряет уверенность в себе, что почва ускользает из-под ног и она втягивается в опасный водоворот. Голова кружилась от испуга, вина и горячих речей; глупый, бессмысленный страх овладел ею — страх, который она испытывала несколько раз в своей жизни в такие опасные минуты, но никогда с такой головокружительной силой.

— Спокойной ночи, спокойной ночи. До завтра, — проговорила она, готовясь убежать. Убежать не столько от него, сколько от опасности этой минуты и новой странной неуверенности в самой себе. Но барон, с мягкой настойчивостью удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее, и не один раз, как требует вежливость, а несколько раз — от тонких кончиков пальцев до сгиба кисти, и она с легкой дрожью почувствовала на своей руке щекочущее прикосновение его жестких усов. Какое-то горячее и щемящее чувство разлилось по всему ее телу, страх обуял ее, угрожающе стучало в висках, голова горела; страх, бессмысленный страх, охватил ее всю, и она быстро отдернула руку.

— Не уходите, — прошептал барон.

Но она уже убегала с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Ею овладело волнение, которого он добивался; она чувствовала, что в ней все смешалось. Ее гнал жестокий, жгучий страх, что он может поймать и завладеть ею, и тут же сожаление, что он этого не сделал. В этот час могло бы случиться то, чего она ждала годами, сама того не сознавая: увлечение, о котором она всегда мечтала сладострастно, но от которого всегда убегала в последнюю минуту, глубокое и опасное переживание, а не мимолетный, раздражающий флирт. Но барон был слишком горд, чтобы воспользоваться удобным моментом. Он был слишком уверен в победе, чтобы взять эту женщину насильно, в минуту слабости и опьянения; страстного игрока привлекала только борьба: она должна ему отдаться с полным сознанием. Ускользнуть от

него она не могла. Он видел, что жгучий яд уже разлился по ее жилам.

На лестнице она остановилась, прижав руку к бьющемуся сердцу. Она должна была передохнуть. Нервы были напряжены до крайности. Из груди вырвался вздох наполовину облегчения, наполовину сожаления; но ощущения ее были смутны и отдавались в ней легким головокружением. С полузакрытыми глазами, как пьяная, она добралась до своей комнаты и вздохнула свободно лишь тогда, когда схватилась за холодную ручку двери. Только теперь она почувствовала себя вне опасности!

Тихо открыла она дверь и сейчас же испуганно отшатнулась. В темноте что-то зашевелилось в глубине комнаты. Нервы ее сдали, и она была готова позвать на помощь, когда раздался тихий, сонный голос:

— Это ты, мама?

— Ради Бога, что ты здесь делаешь? — Она бросилась к дивану, где лежал, свернувшись, Эдгар. Ее первой мыслью было, что ребенок заболел или нуждается в помощи.

Но Эдгар, совершенно сонный, сказал с легким упреком:

— Я так долго ждал тебя, а потом заснул.

— Зачем же ты ждал меня?

— А слоны?

— Какие слоны?

Теперь только она поняла. Она ведь обещала ему еще сегодня рассказать все «об охоте и приключениях». И мальчик прокрался в ее комнату, этот глупый мальчик, и заснул, доверчиво ожидая ее возвращения. Этот своевольный поступок возмутил ее. Или скорее она сердилась на себя, в ней зашевелилось чувство стыда и вины, которое она хотела заглушить.

— Иди сию минуту спать, негодный мальчишка! — крикнула она. Эдгар смотрел на нее с изумлением. Почему она так сердится на него, — ведь он ничего не сделал? Но его удивление еще больше раздражало возбужденную мать.

— Иди сейчас же к себе в комнату! — кричала она в бешенстве, чувствуя, что была не права.

Эдгар ушел, не говоря ни слова. Он ужасно устал и, сквозь давивший его сонный туман, глухо чувствовал, что его мать не сдержала слова и что с ним поступили нехорошо. Но он не спорил. Все в нем отупело от усталости. Кроме того, он очень сердился на себя за то, что заснул здесь, вместо того чтобы дождаться матери. «Совсем как ребенок», — говорил он себе возмущенно, прежде чем заснуть окончательно.

Со вчерашнего дня он ненавидел свое детство...

ПЕРЕСТРЕЛКА

Барон плохо спал эту ночь. Всегда опасно ложиться в постель после прерванного приключения: беспокойная ночь, полная тяжелых снов, заставила его пожалеть об упущенном моменте. Когда утром, сонный и мрачный, он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу, восторженно обнял его и замучил его вопросами. Он был счастлив хоть на минуту всецело завладеть своим взрослым другом, не деля его с матерью. Пусть он рассказывает только ему, а не маме, умолял он; она не сдержала слова и ничего ему не рассказала о всех чудесах. Он засыпал застигнутого врасплох барона, не скрывавшего своего дурного настроения, сотней навязчивых детских вопросов. К ним он примешивал бурные изъявления своей любви, счастливый этим долгожданным свиданием наедине.

Барон отвечал неприветливо. Это вечное выслеживание, глупые вопросы мальчика и его чрезмерная страстность становились ему в тягость. Он устал изо дня в день возиться с двенадцатилетним мальчуганом и болтать чепуху. Его единственная цель теперь — ковать железо, пока горячо, и застичь мать одну, а это становилось нелегкой задачей, благодаря постоянному присутствию мальчика. Впервые им овладело недовольство этой неосторожно разбуженной нежностью, но пока он не видел возможности отделаться от чересчур привязчивого друга.

Все же надо было попытаться. До десяти часов, когда он условился идти на прогулку с матерью, он терпел оживленную болтовню мальчика, не обращая на него внимания; просматривая газету, он лишь изредка вставлял слово, чтобы не обидеть его. Наконец, когда часовая стрелка стояла почти вертикально, он, как бы спохватившись, попросил Эдгара сходить напротив в другую гостиницу и узнать, не приехал ли его кузен, граф Грунднейм.

Ничего не подозревая, мальчик, счастливый, что может наконец услужить своему другу, гордясь званием посланца, сейчас же сорвался с места и побежал по дороге, как сумасшедший, так что прохожие удивленно смотрели ему вслед. Но ему хотелось показать, как проворно он исполняет данные ему поручения. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и пока даже не давал знать о себе. С этим известием он прибежал обратно в том же бешеном темпе. Но барона в зале не было. Он постучал к нему в комнату — тишина. Он обегал в тревоге все помещения, концертную комнату, кафе; взволнованный, он бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее: ее тоже не было. Швейцар, к которому он обратился в отчаянии, сказал, к крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе.

Эдгар ждал терпеливо. В своей простоте он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, что они скоро вернутся, — ведь барону нужно было получить ответ. Но проходили часы, им овладело беспокойство. Вообще, с того дня, как этот чужой обольстительный человек вторгся в его маленькую беззаботную жизнь, мальчик был напряжен, смущен, почти затравлен. В хрупком, детском организме всякая страсть оставляет след, как на мягком воске. Нервное вздрагивание тела возобновилось, он побледнел. Эдгар ждал и ждал — сперва терпеливо, потом в диком волнении и, наконец, едва удерживаясь от рыданий. Но он все еще ничего не подозревал. Его слепая вера в этого чудного друга предполагала какое-нибудь недоразумение, и его мучил тайный страх, что он не понял данного ему поручения.

Но как странно ему показалось, что, наконец, вернувшись, они продолжали весело разговаривать и не выразили ни малейшего удивления. Как будто они совершенно не заметили его отсутствия.

— Мы пошли тебе навстречу, Эди, и думали встретить тебя по дороге, — сказал барон, не интересуясь данным поручением. И когда мальчик, испугавшись, что они напрасно его искали, начал уверять, что он бежал прямым путем по Гохштрассе, и стал расспрашивать, в каком направлении шли они, мама оборвала разговор словами:

— Будет, будет, детям не следует много болтать.

Эдгар покраснел от досады. Это была уже вторая попытка унижить его в глазах друга. Для чего она это делала? Зачем она так старалась представить его ребенком, которым — в этом он не сомневался — он перестал быть? Очевидно, она завидовала ему и намеревалась отнять у него друга. И это, наверное, она нарочно повела его по другой дороге. Но он не допустит, чтобы с ним так обращались, — он ей это докажет. И Эдгар решил ни слова не говорить с ней сегодня за столом и обращаться только к другу.

Но эта уловка не удалась. Случилось то, чего он меньше всего ожидал: его борьба осталась незамеченной. Да, они его как будто не замечали; еще вчера он был в центре их внимания, теперь они разговаривали между собой, шутили, смеялись, как будто бы он сидел под столом. Кровь бросилась ему в лицо, комок подступал к горлу, дыхание стеснилось. С ужасом он понял свое бессилие. Он осужден спокойно сидеть и наблюдать, как мать отнимает у него друга — единственного человека, которого он любил, — и выражать свой протест одним только молчанием. Ему казалось, что он должен вскочить и застучать кулаками по столу. Только для того, чтобы они заметили его присутствие. Но он сдержался, положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Однако и этот упорный пост долго оставался незамеченным, и только когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание и спросила его, не болен ли он. «Противно, — подумал он, — у нее только одна мысль,

не болен ли я, все остальное ее не касается». Он коротко ответил, что у него нет аппетита, и она этим удовлетворилась. Ничем, решительно ничем он не мог привлечь к себе внимание. Барон как будто совершенно забыл о нем; по крайней мере, он ни разу не обратился к нему. Что-то горячее закипало у него в глазах, и ему пришлось прибегнуть к детской хитрости — нагнуться за брошенной на пол салфеткой, чтобы скрыть слезы, которые потекли из глаз, оставляя на губах соленый след. Наконец обед кончился, и он вздохнул свободно.

Во время обеда мать предложила совместную поездку в Мариа-Шуц. Эдгар закусил губы. Ни на минуту она не хотела оставить его наедине с другом. Но дикая ненависть поднялась в нем, когда она сказала, вставая из-за стола:

— Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе, ты бы посидел немного дома и позанимался.

Снова детская рука сжалась в кулак. Она не переставала унижать его перед другом, все время напоминала, что он еще ребенок, что он должен ходить в школу и что его только терпят среди взрослых. Но на этот раз ее намерение показалось ему чересчур прозрачным. Он не ответил и только отвернулся.

— Опять он обижен, — проговорила она, улыбаясь и обращаясь к барону. — Неужели так ужасно посидеть часок за работой?

И вот — сердце как будто заглодело и остановилось — барон, называвший себя его другом, еще так недавно смеявшийся над его домоседством, сказал:

— Ну, позаниматься часок-другой было бы не вредно.

Что это, сговор? Неужели они оба в союзе против него? Гневно сверкнули глаза ребенка.

— Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправлялся, — бросил он со всею гордостью своей болезни, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Он произнес это как угрозу. И удивительно: эти слова произвели на обоих неприятное впечатление. Мать отвернулась и нервно забарабанила пальцами по столу. Наступило неловкое молчание.

— Как хочешь, Эди, — сказал, наконец, барон, принуж-

денно улыбаясь. — Мне экзаменов не сдавать, я давно провалился по всем предметам.

Но Эдгар не улыбнулся этой шутке, а посмотрел на него таким испытующим, пронизательным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в душу. Что случилось? Что-то изменилось в их отношениях, и ребенок не мог понять причину. Беспокойно блуждали его глаза. В его сердце быстро стучал маленький молоток: в нем пробудилось первое подозрение.

ЖГУЧАЯ ТАЙНА

«Что с ними произошло? — размышлял мальчик, сидя против них в быстро катящейся коляске. — Почему они со мной не такие, как были раньше? Почему мама избегает моего взгляда, когда я смотрю на нее? Почему он все шутит со мной, и валяет дурака? Они не разговаривают со мной как вчера и позавчера. Мне кажется даже, что у них совсем другие лица. У мамы такие красные губы, — верно, она их накрасила. Этого я никогда не замечал у нее. А он все морщит лоб, как будто чем-то обижен. Ведь я им ничего не сделал, не сказал ни слова. Чем же я мог их огорчить? Нет, не во мне причина, они сами не такие друг с другом, как были раньше. Как будто они затеяли что-то, чего не решаются сказать. Они не разговаривают так просто, как вчера, не смеются, они смущены, они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдать. Тайна, которую я должен раскрыть во что бы то ни стало. Я знаю: это, должно быть, то же самое, перед чем они всегда закрывают двери от меня, о чем пишут в книгах и поют в операх, когда женщины и мужчины с распростертыми объятиями приближаются друг к другу, обнимаются или отталкивают друг друга. Должно быть, это похоже на то, что произошло между моей француженкой и папой, с которым она не поладила, и тогда ей отказали. Все это как-то связано, я чувствую это, но не знаю как. О, я должен все узнать, проникнуть, наконец, в эту тайну, завладеть ключом, который откроет

все двери, перестать быть ребенком, от которого все прячут и скрывают, не давать больше себя обманывать. Теперь или никогда! Я должен вырвать у них эту тайну, эту ужасную тайну!»

Лоб его прорезала морщина. Этот худенький двенадцатилетний мальчик, застывший в глубоком раздумье, выглядел почти стариком. Он не обращал внимания на пейзаж, на горы, покрытые свежей зеленью сосновых лесов, на долины в нежном блеске запоздалой весны. Он видел только сидящих напротив него в коляске. Он как будто хотел своими горячими взорами, как ключиком, выудить тайну из глубины их сверкающих глаз. Ничто так не изощряет ум, как страстное подозрение, ничто не разворачивает в такой полноте все возможности незрелого рассудка, как след, ведущий во мрак. Иногда одна тонкая дверь отделяет детей от мира, который мы называем действительностью, и случайный ветерок может распахнуть ее перед ними.

Эдгар сразу почувствовал себя в такой непосредственной близости от неизвестного, от великой тайны, как никогда; он осязал ее, пока еще не открытую, не разгаданную, но совсем, совсем близкую. Это волновало его и сообщало ему эту внезапную торжественную серьезность. Бессознательно он угадывал, что он стоит на рубеже своего детства. Сидя напротив него, они чувствовали перед собой какое-то глухое сопротивление, не догадываясь, что оно исходит от мальчика. Им было тесно и неловко втроем в коляске. Пара глаз, сверкавшая против них, своим мрачным огнем стесняла их. Они почти не решались говорить, не решались смотреть друг на друга. К прежней легкой салонной беседе путь был закрыт, они слишком втянулись в тон горячей интимности, в тон опасных слов, в которых дрожит ласкающая нескромность тайных прикосновений. Их разговор все время прерывался и, возобновляясь, всякий раз натыкался на упорное молчание мальчика.

Особенно тягостно было его мрачное молчание для матери. Она осторожно взглянула на него со стороны и испугалась, впервые заметив в манере мальчика закусывать губы сходство

с мужем в минуты раздражения или досады. Мысль о муже была ей особенно неприятна как раз теперь, когда она была на пороге приключения. Призраком, блюстителем совести, вдвойне невыносимым здесь, в тесноте коляски, в десяти дюймах от нее, казался ей мальчик со своим бледным лбом и темными глазами, за которыми скрывалось напряженное внимание. Вдруг Эдгар на мгновение поднял глаза. И оба сейчас же опустили взоры: в первый раз в жизни они почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они слепо доверяли друг другу, но теперь что-то произошло между матерью и сыном, что-то изменилось в их отношениях. В первый раз в жизни они стали наблюдать друг за другом, разделять свою судьбу — оба с затаенной ненавистью, столь новой для них, что они не решались в ней сознаться.

Все трое облегченно вздохнули, когда лошади остановились перед гостиницей. Они чувствовали, что прогулка не удалась, но никто не решался сказать этого. Эдгар первый выпрыгнул из коляски. Его мать, под предлогом головной боли, поспешно пошла к себе наверх. Она устала и хотела остаться одна. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в зал, не обращая внимания на мальчика. Повернувшись к нему своей стройной спиной, он прошел мимо него легкой походкой, которая так пленяла Эдгара и которой он пытался уже подражать вчера. Он прошел мимо него, не говоря ни слова. Очевидно, он забыл о мальчишке, оставил его стоять рядом с кучером, рядом с лошадьми, как будто ему нет до него никакого дела.

У Эдгара что-то оборвалось, когда он увидел его так равнодушно проходящим мимо, — его, которого он, несмотря ни на что, все еще обожал. Отчаяние охватило его, когда барон прошел, не задев его плащом, не обмолвившись словом. За что? Он не сознавал за собой никакой вины. Самообладание, стоявшее ему такого труда, изменило ему; искусственно поддерживаемая тяжесть достоинства спала с его узких плеч, и опять он стал ребенком — маленьким, смиренным, каким был вчера и прежде. Он, против воли, уступил непреодолимому порыву.

Весь дрожа, быстрыми шагами он пошел за бароном, загородил ему путь к лестнице и сказал сдавленным голосом, с трудом сдерживая слезы:

— Что я вам сделал, что вы не обращаете на меня внимания? Почему вы так изменились ко мне? И мама тоже. Почему вы стараетесь отсылать меня? Разве я вам в тягость, или я в чем-нибудь провинился?

Барон испугался. В голосе ребенка было что-то, что его смутило и смягчило. В нем зашевелилось сострадание к невинному мальчику.

— Эди, ты дурачок! Просто я был сегодня в дурном настроении. А ты милый мальчик, которого я люблю. — Он потрепал ему вихор, но отвернулся, чтобы избежать взгляда этих больших, влажных, молящих детских глаз. Комедия, которую он разыгрывал, начинала его тяготить. Ему стало стыдно, что он так цинично играл любовью этого ребенка, и этот тонкий, вздрагивающий от затаенных рыданий голос причинял ему боль. — Иди наверх, Эди, сегодня вечером мы опять поладим, ты увидишь, — сказал он примирительно.

— И вы не позволите маме посылать меня спать? Правда?

— Нет, нет, Эди, я этого не допущу, — улыбнулся барон. — Теперь иди наверх, я должен переодеться к ужину.

Эдгар ушел, на минуту счастливый. Но скоро в его сердце опять застучал молоток. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет; неведомый гость — недоверие — крепко засел в его детской груди.

Эдгар ждал. Это было решительное испытание. Они сидели вместе за столом. Было девять часов, но мать не посылала его спать. Он стал беспокоиться, почему она, забыв о своей обычной пунктуальности, позволяла ему сегодня так долго оставаться внизу? Неужели барон передал ей его желание и весь разговор с ним? Им овладело жгучее раскаяние, когда он вспомнил, как он бежал за ним сегодня, чтобы раскрыть ему свое сердце. В десять часов мать вдруг поднялась и простилась с бароном. И странно: казалось, что он не был удивлен этим

ранним уходом и не старался удержать ее, как обычно. Все сильнее стучал молоточек в груди мальчика.

Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту минуту он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона, — взгляд, изобличивший тайное соглашение. Итак, барон предал его. Вот чем объясняется этот ранний уход: его надо сегодня убаюкать, внушить ему доверие, чтобы он не мешал им завтра.

— Негодяй, — пробормотал он.

— Что ты говоришь? — спросила мать.

— Ничего, — процедил он сквозь зубы. Теперь и у него есть своя тайна. Имя ей — ненависть, безграничная ненависть к ним обоим.

МОЛЧАНИЕ

Беспокойство Эдгара улеглось. Наконец он обрел определенность и ясность чувств: ненависть и открытая вражда. Теперь, когда он убедился в том, что он им мешает, быть в их обществе стало для него изысканным и жестоким наслаждением. Он упивался мыслью, что мешает им, что может, наконец, выступить против них во всеоружии своей вражды. Сначала он показал зубы барону. Когда тот утром спустился вниз и, проходя мимо, обратился к нему с любезным приветствием: «Мое почтение, Эди», — Эдгар, не глядя на него и не вставая с кресла, сухо ответил ему: «Доброе утро», — а на вопрос: «Мама уже внизу?» — не отрывая глаз от газеты, сказал: «Не знаю».

Барон был изумлен: что с ним случилось?

— Ты плохо спал, что ли, Эди? — Шутка, как всегда, должна была спасти положение. Но Эдгар презрительно бросил:

— Нет, — и опять углубился в газету.

— Глупый мальчишка, — пробормотал барон, пожал плечами и пошел дальше. Война была объявлена.

По отношению к матери Эдгар был холоден, но вежлив. Неловкая попытка послать его играть в теннис потерпела неудачу. Его горькая улыбка в углах крепко стиснутых, слегка искривленных губ показывала, что обмануть его больше не удастся.

— Лучше я пойду с вами гулять, мама, — сказал он с притворной нежностью и заглянул ей в глаза. Было заметно, что ответ ей не понравился. Она медлила и, казалось, чего-то искала.

— Подожди меня здесь, — решила она, наконец, и пошла завтракать.

Эдгар ждал. Но его недоверие было разбужено. Беспокойным инстинктом он подозревал в каждом их слове какое-то скрытое враждебное намерение. Подозрение внушало ему теперь удивительно проницательные решения. И, вместо того чтобы ждать на галерее, как ему было сказано, Эдгар предпочел установить наблюдательный пост на улице, откуда он мог следить не только за главным подъездом, но и за всеми остальными выходами. Инстинктивно он чуял обман. Но он не даст им ускользнуть. На улице он спрятался за дровами — совсем так, как читал в индейских рассказах. Он с удовлетворением улыбнулся, увидев через полчаса, что мать его действительно выходит из боковой двери с букетом роскошных роз в руках и в сопровождении предателя-барона.

Оба казались очень веселыми. Они, верно, свободно вздохнули, ускользнув от него и оставшись наедине со своей тайной. Они разговаривали, смеясь, и собирались повернуть на лесную дорогу.

Наступил решительный момент. Спокойно, как будто случай завел его сюда, Эдгар вышел из-за кучи дров. Он медленно приблизился к ним, оставляя себе достаточно времени насладиться их смущением. Они в изумлении переглянулись. Не спеша, точно его участие в прогулке разумелось само собой, он подошел к ним, не спуская с них насмешливого взора.

— А, вот и ты, Эди, мы тебя искали, — проговорила мать.

«Врет и не краснеет», — подумал мальчик. Но губы его не разомкнулись. Тайну ненависти он крепко держал за стиснутыми зубами.

В нерешительности они стояли на дороге. Каждый следил за обоими другими.

— Ну, идем, — покорно сказала рассерженная мать, обрывая лепестки прекрасной розы. Легкое вздрагивание ноздрей выдавало ее гнев. Эдгар стоял, как будто это его не касалось, смотрел по сторонам, ждал, чтобы они двинулись, и приготовился идти за ними. Барон сделал еще одну попытку:

— Сегодня теннисный турнир. Тебе не интересно посмотреть?

Эдгар ответил презрительным взглядом — он с ним больше не разговаривал — и только сложил губы, как будто собирался свистнуть. Это был его ответ. Его ненависть показывала зубы.

Присутствие мальчика невыносимой тяжестью давило на них. Так ходят арестанты за своим сторожем, тайком сжимая кулаки. В сущности, мальчик ничего не делал и все же с каждой минутой становился несноснее — со своими выслеживающими взглядами, влажными от сдерживаемых слез, со своей раздраженной угрюмостью, отталкивающей всякую попытку к сближению.

— Иди вперед! — вдруг вспыхнула мать, которую нервировало его беспрестанное подслушивание. — Не болтайся под ногами, это мне действует на нервы.

Эдгар послушался, но через каждые несколько шагов он оборачивался, останавливался, когда они отставали, окидывая их взглядом Мефистофеля в образе пуделя и опутывая их огненной сетью ненависти, из которой — они чувствовали — им нет выхода.

Его озлобленное молчание портило им настроение, его желчный взгляд замораживал их разговор. Барон не решался более произнести ни одного смелого слова. Он со злобой чувствовал, что эта женщина ускользала от него, что с трудом

разожженная в ней страсть охлаждалась в страхе перед этим надоедливым, противным мальчишкой. Они пытались возобновлять беседу, — и каждый раз она обрывалась. Наконец, все трое молча шли по дороге, прислушиваясь к шелесту деревьев и к собственным сердитым шагам. Мальчик задушил всякую возможность разговора.

Теперь все трое были охвачены раздражением и враждебностью. С наслаждением чувствовал обманутый мальчик, как бессилен их гнев, направленный против его существования, с которым они не хотели считаться. Насмешливо моргая, окидывал он временами сердитое лицо барона. Он замечал, что барон едва сдерживает поток ругательств, готовых сорваться с языка; и с демонической радостью он наблюдал за все возрастающей злостью матери; оба они явно ждали предложения наброситься на него, устранить его или усмирить. Но он не подавал ни малейшего повода. Его ненависть, взлелеянная долгими часами, не открывала уязвимых мест.

— Вернемся, — сказала вдруг мать. Она чувствовала, что дольше не выдержит, что она должна будет что-то сделать — по меньшей мере, закричать от этой пытки.

— Как жалко, — спокойно сказал Эдгар, — здесь так хорошо.

Им обоим было ясно, что мальчик издевается над ними. Но они не решились ничего сказать, — так изумительно этот тиран научился за два дня владеть собою. Ни один мускул на его лице не выдал злой иронии. Не проронив ни слова за весь длинный путь, они вернулись домой. Ее раздражение долго не могло улечься; когда они уже очутились одни в комнате, она сердито бросила зонтик и перчатки. Эдгар сразу заметил, что ее нервы возбуждены и что это возбуждение ищет выхода. Но он добивался взрыва и нарочно не уходил, чтобы дразнить ее. Она ходила взад и вперед по комнате, села, барабаня пальцами по столу, и, наконец, опять вскочила.

— Какой ты растрепа, каким грязным ты бегаешь! Стыд перед людьми! Как тебе не стыдно, в твоем возрасте!

Не возражая, мальчик пошел и причесался. Его молчание,

его упорное, холодное молчание с дрожащей насмешкой на губах приводило ее с бешенство. Охотнее всего она бы его поколотила.

— Иди в свою комнату! — крикнула она. Она больше не могла выносить его присутствия. Эдгар улыбнулся и ушел.

Как они оба дрожали теперь перед ним, как они боялись — барон и она — каждого часа в его обществе, боялись немилосердно жестокого выражения его глаз! Чем хуже они себя чувствовали, тем большее наслаждение светилось в его глазах и все более вызывающей становилась его радость. Эдгар мучил их, наслаждаясь их беспомощностью, с почти звериной жестокостью, свойственной детям. Барон еще сдерживал свой гнев, надеясь, что ему удастся перехитрить мальчика, и думал только о своей цели. Но мать то и дело теряла самообладание. Для нее было облегчением прикрикнуть на него.

— Не играй вилкой! — набросилась она на него за столом. — Ты невоспитанный мальчишка, тебя нельзя сажать со взрослыми!

Эдгар только улыбался — улыбался, слегка склонив голову набок. Он знал, что этот крик был криком отчаяния, и гордился тем, что они до такой степени выдавали себя. Его взгляд был теперь совершенно спокоен, как у врача. Прежде он, наверное, говорил бы дерзости, чтобы досадить ей; но ненависть быстро учит многому. Теперь он только молчал, молчал и молчал, пока она не начинала кричать под гнетом его молчания.

Она больше не могла сдерживаться. Когда они встали из-за стола и Эдгар все с той же прилипчивостью собрался следовать за ними, она взорвалась. Она забыла всякую осторожность и швырнула ему в лицо всю правду. Выведенная из себя его неотступным присутствием, она встала на дыбы, как измученная мухами лошадь.

— Что ты все бегаешь за мной, как трехлетний ребенок? Я не желаю, чтобы ты все время болтался у меня перед глазами. Детям не полагается быть со взрослыми. Запомни это! Займись сам собой, хоть на час. Читай или делай что хочешь. Оставь

меня в покое! Ты действуешь мне на нервы этим выслеживанием, этой противной угрюмостью!

Наконец-то он вырвал у нее признание! Эдгар улыбнулся, в то время как барон и она были смущены. Она отвернулась и хотела уйти, раздосадованная, что созналась сыну в своей пытке. Но Эдгар холодно ответил:

— Папа не хочет, чтобы я оставался один. Я дал папе слово, что буду все время с тобой.

Он подчеркнул слово «папа», потому что уже прежде заметил, что оно действует на них угнетающе. Значит, отец имел какое-то отношение к этой жгучей тайне; по-видимому, папа имел над ними какую-то тайную власть, раз одно упоминание о нем причиняло им страх и неловкость. И на этот раз они опять ничего не ответили. Они сложили оружие. Мать пошла вперед, барон вместе с ней. Эдгар шел за ними, но не покорно, как слуга, а сурово и неумолимо, как страж. Незаметно он звенел цепью, которой они потрясали, но которую не могли разорвать. Ненависть закалила его детскую силу; непосвященный, он был сильнее тех, кому тайна сковывала руки.

ЛЖЕЦЫ

Но время не ждет. У барона оставалось не много дней, и надо было их использовать. Бороться с упорством раздраженного мальчика — они сознавали — было бесполезно, и они прибегли к последнему, к самому постыдному средству — к бегству, чтобы хоть на час или на два ускользнуть от его тирании.

— Отнеси эти заказные письма на почту, — сказала мать Эдгару. Они стояли в зале, барон на улице говорил с извозчиком.

С недоверием Эдгар взял эти письма; незадолго до того он заметил, что слуга передал матери какое-то поручение. Не затевают ли они оба чего-нибудь против него?

Он медлил.

— Где ты будешь меня ждать?

— Здесь.

— Наверное?

— Да.

— Но ты не думай уходить. Значит, ты ждешь меня здесь, в зале, пока я не вернусь?

В сознании своего превосходства он говорил с матерью уже повелительным тоном. С позавчерашнего дня многое изменилось.

Он отправился с письмами. У дверей он столкнулся с бароном. Он обратился к нему в первый раз за последние два дня.

— Я только сдам эти два письма. Мама будет ждать меня. Пожалуйста, не уходите раньше.

Барон быстро прошмыгнул мимо.

— Да, да, мы подождем.

Эдгар поспешил на почту. Ему пришлось ждать: господин, стоявший перед ним, задавал десятки скучных вопросов. Наконец он исполнил поручение и побежал обратно с расписками. Он пришел как раз вовремя, чтобы увидеть, как барон с его матерью уезжали на извозчике.

Он был вне себя от бешенства. Он был готов поднять камень и бросить им вслед. Они все-таки улизнули от него! И такая подлая, такая низкая ложь! Что его мать лгала, он знал со вчерашнего дня. Но то, что она могла с таким бесстыдством нарушить данное обещание, отняло у него последнюю каплю доверия к ней. Он перестал понимать жизнь, с тех пор как увидел, что слова, за которыми он до сих пор предполагал действительность, не что иное, как мыльные пузыри. Но что это за ужасная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут ему, ребенку, и убегают, как преступники? В книгах, которые он читал, люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги, или могущество, или царство. Но какая же тут причина? Чего они хотели, почему они прятались от него, что скрывали под этой грудой лжи? Он ломал себе голову. Смутно он сознавал, что эта тайна — замок детства; сломать его — значит стать взрослым, стать наконец мужчиной. О, только бы узнать

ее! Но он не был в состоянии рассуждать. Злость, что они ускользнули от него, кипела в нем и лишала его рассудка.

Он побсжал в лес, спасаясь в темноте, где его никто не видел, и там горячие слезы полились из его глаз. «Лжецы, собаки, обманщики, подлецы!» — выкрикивал он слова, которые иначе грозили его задушить. Злость, нетерпение, досада, любопытство, беспомощность и предательство последних дней, подавляемые детской борьбой и иллюзией своей взрослости, рвались из груди и излились в слезах. Это были последние слезы его детства, последние неуправляемые слезы; и последний раз он по-женски отдавался сладострастию слез. Он оплакивал в этот час неистовой ярости доверчивость, любовь, веру и уважение — все свое детство.

Мальчик, который возвращался теперь в гостиницу, был уже иной. Он был холоден и действовал предусмотрительно. Прежде всего он пошел к себе в комнату, тщательно умылся, не желая доставить им удовольствие видеть следы его слез. Затем он обдумал, как свести с ними счеты. Он ждал терпеливо, в полном спокойствии.

В зале было довольно много народу, когда коляска с беглецами остановилась у подъезда. Несколько мужчин играли в шахматы, другие читали газеты, дамы болтали. Среди них безучастно сидел бледный мальчик с дрожащими веками. Когда его мать и барон вошли, несколько смущенные его присутствием, и хотели пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно пошел им навстречу и сказал вызывающим тоном:

— Господин барон, мне надо кое-что сказать вам!

Барону стало не по себе. Он чувствовал себя точно пойманный с поличным.

— Хорошо, хорошо... потом... сейчас!

Но Эдгар повысил голос и сказал ясно и резко, так, чтобы все кругом могли слышать:

— Я хочу поговорить с вами сейчас. Вы поступили подло. Вы мне солгали. Вы знали, что моя мать ждет меня, и вы...

— Эдгар! — крикнула мать, видя, что взоры присутствующих обращены на нее, и бросилась к нему.

Но мальчик, решив, что они хотят перекричать его, пронзительно завопил:

— Я повторяю вам еще раз при всех. Вы нагло солгали, и это низко, это подло!

Барон побледнел. Все смотрели на них, иные улыбались.

Мать схватила дрожащего от волнения мальчика за руку.

— Иди сейчас же к себе, или я поколочу тебя здесь, при всех! — пробормотала она хрипло.

Но Эдгар уже успокоился. Он жалел о своей вспышке и был недоволен собой: он хотел говорить с бароном спокойно, но бешенство оказалось сильнее его воли. Не торопясь, он направился к лестнице.

— Простите, барон, его невоспитанность. Вы знаете, какой он нервный! — бормотала она, смущенная насмешливыми взорами окружающих. Ничего на свете не было для нее ужаснее скандала, и она сознавала, что ей надо было сохранить достоинство. Вместо того чтобы убежать как можно скорее, она пошла к швейцару, спросила о письмах и еще о каких-то пустяках и только затем, шелестя платьем, поднялась наверх, как будто ничего не произошло. Но за ее спиной слышался шепот и сдержанный смех.

Поднимаясь, она замедлила шаг. Она всегда была беспомощна в серьезных положениях и, в сущности, боялась предстоящего объяснения. Она не могла отрицать своей вины, и кроме того, она боялась взгляда мальчика — этого нового, чужого, такого странного взгляда, который парализовал ее и лишал уверенности в себе. Из страха она решила действовать мягкостью. Она знала, что в случае борьбы раздраженный мальчик оказался бы более сильным.

Она тихо открыла дверь. Мальчик сидел, спокойный и холодный. В глазах, обращенных на нее, не было страха, не было даже любопытства. Он казался очень уверенным в себе.

— Эдгар, — начала она матерински нежно, — что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя. Как можно быть таким невоспитанным! Ты — мальчик, и так разговариваешь со взрослыми! Ты должен сейчас же извиниться перед бароном.

Эдгар смотрел в окно. Его «нет» было как будто обращено к деревьям.

Его самоуверенность поразила ее.

— Эдгар, что с тобой случилось? Ты совсем не тот, что был прежде. Я не узнаю тебя. Ты был всегда умным, воспитанным мальчиком, с тобой можно было говорить. И вдруг ты стал вести себя так, как будто бес в тебя вселился. Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он был всегда так мил с тобой.

— Да, потому что он хотел познакомиться с тобой.

Ей стало неловко.

— Вздор! Что тебе приходит в голову! Как ты можешь думать что-нибудь подобное?

Мальчик вспыхнул.

— Он лгун, он фальшивый человек. Во всем, что он делает, только расчетливость и низость. Он хотел с тобой познакомиться, поэтому он был любезен со мной и обещал мне собаку. Я не знаю, что он обещал тебе и почему он с тобой так любезен, но и от тебя он чего-то хочет. Наверное, мама. Иначе он бы не был так вежлив и любезен. Он дурной человек. Он лжет. Посмотри на него хорошенько. Какой лживый у него взгляд! О, я ненавижу его, этого жалкого лгуна, этого негодяя...

— Эдгар, можно ли так говорить! — Она была смущена и не знала, что ответить. Что-то ей подсказывало, что мальчик прав.

— Да, он — негодяй, в этом меня никто не разубедит. Ты сама увидишь. Почему он боится меня? Почему он прячется от меня? Потому что знает, что я вижу его насквозь, что я раскусил его, негодяя.

— Как можно так говорить, как можно так говорить! — Ее мозг не работал, ее бескровные губы повторяли одни и те же слова. На нее напал какой-то страх, она не знала, перед кем — перед бароном или перед мальчиком.

Эдгар заметил, что его предостережение произвело свое действие. И ему захотелось переманить ее на свою сторону, приобрести союзника в этой вражде, в этой ненависти к нему.

Нежно он приблизился к матери, обнял ее, и голос его зазвучал льстиво и взволнованно.

— Мама, — начал он, — ты сама должна была заметить, что он задумал что-то недоброе. Он сделал тебя совсем другой. Не я переменялся, а ты. Он восстановил тебя против меня, чтобы ты одна была с ним. Он, наверное, хочет тебя обмануть. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит своего слова. Остерегайся его! Кто лжет одному, тот лжет и другому. Он злой человек, ему нельзя доверять.

Этот голос, мягкий и полный слез, звучал как будто из ее собственного сердца. Со вчерашнего дня в ней пробудилось какое-то неприятное чувство, говорившее ей то же самое — все настойчивей и настойчивей. Но ей было стыдно получить урок от собственного сына. Как часто бывает, она, не будучи в состоянии справиться с сильным чувством, нашла выход в резкости слов. Она поднялась:

— Дети не могут этого понять. Ты не должен вмешиваться в эти дела. Ты должен вести себя прилично. Вот и все.

Лицо Эдгара снова приняло ледяное выражение.

— Как хочешь, — сказал он сухо, — я предостерег тебя.

— Значит, ты не извинишься?

— Нет.

Они упрямо стояли друг против друга. Она чувствовала, что ее авторитет колеблется.

— В таком случае ты будешь обедать здесь, наверху, один. И ты не сядешь с нами за стол, пока не извинишься. Я тебя научу хорошим манерам. Ты не выйдешь из комнаты, пока я тебе не позволю. Понял?

Эдгар улыбнулся. Эта коварная улыбка как будто срослась с его губами. В душе он сердился на себя. Как глупо, что он опять дал волю своему сердцу и захотел предостеречь эту лгунью!

Мать, шурша платьем, вышла, не оглянувшись на него. Она боялась этих пронзительных глаз. Мальчик стал ей неприятен с тех пор, как она почувствовала, что глаза его открылись, и он стал ей говорить как раз то, чего она не хотела

слышать, не хотела знать. Ее пугало, что внутренний голос, голос совести, отделившись от нее, в образе ребенка, ее собственного ребенка, не дает ей покоя, предостерегает ее, издевается над ней. До сих пор этот ребенок был придатком к ее жизни, украшением, игрушкой, чем-то милым и близким; иногда он был немного в тягость, но все же жизнь его протекала в одном русле и в такт с ее жизнью. Сегодня впервые он восстал против нее и отказался подчиниться ее воле. Нечто вроде ненависти примешивалось теперь к мысли о ребенке.

И все же теперь, когда она, утомленная, спускалась с лестницы, этот детский голос прозвучал в ее собственной груди. «Остерегайся его!» Этого предостережения нельзя было заглушить. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него вопросительно, — все пристальнее и пристальнее, — пока в нем не отразились слегка улыбающиеся губы, округленные, словно готовые произнести опасное слово. Все еще звучал внутри этот голос; но она пожала плечами, как будто сбрасывая с себя все эти невидимые сомнения, бросила в зеркало веселый взгляд, подобрала платье и спустилась с решительным жестом игрока, звонко бросающего на стол последний червонец.

СЛЕДЫ ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ

Кельнер, принесший обед арестованному в своей комнате Эдгару, запер дверь. Замок щелкнул за ним. Мальчик вскочил в бешенстве: это было сделано, конечно, по приказанию матери; его запирали в клетку, как дикого зверя. Мрачные мысли овладели им.

«Что происходит внизу, пока я сижу здесь взаперти? О чем они говорят теперь? Может быть, теперь и делается то таинственное дело, и оно ускользнет от меня? О, эта тайна, которую я ощущаю всегда и повсюду, когда я среди взрослых, которая творится ночью, за закрытыми дверями, заставляет их понижать голос, если я случайно вхожу, — эта великая тайна, которая в эти дни почти дается мне в руки, все эти дни, и

которую я все-таки не могу схватить! Чего только я ни делал, чтобы раскрыть ее! Я стащил книги у папы из письменного стола, я читал про все эти удивительные вещи, но ничего не понял. Должно быть, есть какая-то печать, которую надо сорвать, чтобы понять все это, — может быть, во мне самом, может быть, в других. Я спрашивал горничную, просил ее объяснить мне эти места в книгах, но она только смеялась надо мной. Как ужасно быть ребенком, полным любопытства, и не сметь никого спросить, быть смешным в глазах взрослых, казаться глупым и бесполезным! Но я узнаю, я чувствую: скоро я буду знать все. Часть этой тайны уже в моих руках, и я не успокоюсь, пока не буду знать всего».

Он прислушался, не идет ли кто-нибудь. Легкий ветер пронесся за окнами по деревьям и раздробил зеркало лунного света между ветвями на сотню зыбких осколков.

«Ничего хорошего не может быть у них на уме, иначе они не прибегали бы к такой жалкой лжи, чтобы отделаться от меня. Наверное, они теперь смеются надо мной, проклятье, но последним буду смеяться я. Как глупо, что я позволил запретить себя здесь, дал им свободу хоть на секунду, вместо того чтобы прилипнуть к ним и следить за каждым их движением! Я знаю, взрослые всегда неосторожны, и эти тоже выдадут себя. Они всегда думают, что мы еще совсем маленькие и вечером всегда спим. Они забывают, что можно притвориться спящим и подслушивать, что можно казаться глупым, а быть очень умным. Недавно, когда у тети появился ребенок, они это знали заранее, а в моем присутствии прикинулись удивленными. Но я тоже знал это: я слышал их разговор однажды вечером за несколько недель до этого, когда они думали, что я сплю. И на этот раз я опять удивлю их, подлецов. О, если бы я мог взглянуть на них в щелку, понаблюдать за ними теперь, когда они чувствуют себя в безопасности! Не позвонить ли мне? Придет горничная, откроет дверь и спросит, что мне нужно. Или поднять шум, бить посуду, — тогда тоже откроют. И в эту минуту я бы мог выскочить и проследить за ними. Но нет, этого я не хочу. Пусть никто не видит, как подло они со

мною обращаются. Я слишком горд для этого. Завтра я им отплачу».

Внизу раздался женский смех. Эдгар вздрогнул: может быть, это его мать. У нее был достаточный повод смеяться, издеваться над ним, маленьким, беспомощным, которого запирают, когда он становится в тягость, которого бросают в угол, как мокрое платье. Осторожно он взглянул в окно. Нет, это не она, — это чужие веселые девушки, которые поддразнивают парня.

Тут он заметил, как невысоко от земли было его окно. И сейчас же, незаметно, явилась мысль: выпрыгнуть теперь, когда они считают себя вне опасности, и выследить их. Его лихорадило от радости. Ему казалось, что великая, ослепительная тайна детства уже у него в руках. «Выйти, выскочить!» — что-то толкало его. Опасности никакой. Никто не проходит мимо, — и он выскочил. Раздался легкий хруст щебня, которого никто не слышал.

Подкрадываться, подслушивать — за эти два дня стало наслаждением его жизни. И наслаждение смешивалось теперь с легким трепетом страха, когда он тихонько, на цыпочках обходил вокруг гостиницы, тщательно избегая ярких пятен света. Прежде всего, осторожно прижав лицо к стеклу, он заглянул в столовую. Их обычное место пусто. Он продолжал поиски, переходя от окна к окну. Войти в гостиницу он не решался, из опасения нечаянно встретиться с ними в коридоре. Нигде их не было видно. Он начинал уже приходить в отчаяние, когда вдруг из двери скользнули две тени, — он подался назад и спрятался в темноте, — его мать со своим неизбежным спутником. Он пришел как раз вовремя. О чем у них разговор? Он не мог расслышать. Они говорили тихо, и ветер слишком беспокойно шелестел в деревьях. Но вот совершенно отчетливо до него донесся смех — голос матери. Такого смеха у нее он не слышал: странно резкий, точно от щекотки, возбужденный, нервный смех, который прозвучал чужим и испугал его. Она смеется. Значит, нет ничего опасного, ничего серьезного и

значительного, что от него могли скрывать. Эдгар был немного разочарован.

Но почему они ушли из гостиницы? Куда они идут теперь вдвоем, ночью? Ветры, должно быть, неслись наверху на гигантских крыльях, и небо, только что ясное и освещенное луной, потемнело. Черные платки, брошенные невидимыми руками, окутывали временами луну, и ночь становилась настолько непроницаемой, что не видно было дороги. Но освободился снова месяц и озарял ее своим сиянием. Ландшафт купался в холодном серебре. Таинственна была эта игра света и теней и пленительна, как игра женщины с наготой и покровами. В эту минуту ландшафт был обнажен. Эдгар увидел движущиеся силуэты, пересекавшие дорогу, вернее, один силуэт — так тесно они прижимались друг к другу, можно было подумать, что их сближает тайный страх. Но куда же они идут? Сосны стонали, какое-то смятение царило в лесу, как будто по нему проносился дикий охотник. «Я пойду за ними, — подумал Эдгар, — они не услышат моих шагов за шумом ветра и леса». И, пока они шли вниз по широкой светлой дороге, он тихо пробирался над ними по лесу, от дерева к дереву, от тени к тени. Он следовал за ними упорно и неумолимо, благословлял ветер, который заглушал его шаги, и проклинал его за то, что он уносил от него слова. Если бы ему удалось хоть раз услышать их разговор, он, конечно, узнал бы тайну.

Две тени внизу скользили, ничего не подозревая. Они блаженствовали одни в этом просторе бурной ночи и отдавались все растущему волнению. Ничто не наводило их на мысль, что наверху, во мраке ветвей, кто-то следит за каждым их шагом и два глаза прикованы к ним со всей силой ненависти и любопытства.

Вдруг они остановились. Эдгар тоже. Он плотно прижался к дереву. Им овладел бешеный страх. Что, если они повернут и раньше его вернуться в гостиницу, если ему не удастся скрыться в свою комнату и мать найдет ее пустой? Тогда все погибло. Они узнают, что он за ними следил, и тогда уже не

останется никакой надежды вырвать у них тайну. Но они медлили. По-видимому, между ними возникло какое-то разногласие. К счастью, показался месяц, и он мог все ясно видеть. Барон указывал на темную узкую тропинку, ведущую в долину, где лунный свет не разливался, как здесь, на дороге, широким, полным потоком, а каплями и редкими лучами пробирался сквозь чащу. «Зачем ему туда?» — изумился Эдгар. Его мать, по-видимому, сказала «нет», но он ее уговаривал. Эдгар видел по его жестам, что он настаивает. Страх обуял ребенка. Чего хочет этот человек от его матери? Зачем этот негодяй хочет заманить ее в темноту? Из книг, которые заменяли ему действительность, ему вспомнились картины убийств, похищений, темных преступлений. Он, наверное, хотел ее убить и для этого, освободившись от него, завлек ее сюда одну. Звать на помощь? Убийца! Крик был готов вырваться из горла, но губы пересохли, и он не издал ни звука. Его нервы были напряжены, он еле держался на ногах; в испуге искал он опоры, — и под руками его хрустнула ветка.

Они испуганно повернулись и уставились в темноту. Эдгар стоял, молча прислонившись к дереву. Маленькое тело глубоко спряталось в тень. Была мертвая тишина. Все же они казались встревоженными. «Повернем», — услышал он голос матери. Испуганно сорвались эти слова с ее уст. Барон, сам, очевидно, обеспокоенный, согласился. Они пошли обратно, медленным шагом, тесно прижавшись друг к другу. Их замешательство спасло Эдгара. На четвереньках он пополз между деревьями, царапая до крови руки. Достигнув поворота, он бросился бежать изо всей силы, так что дух захватывало. Так он добежал до гостиницы и в несколько прыжков был наверху. Ключ, запиравший его комнату, к счастью, торчал снаружи. Он повернул его, открыл дверь и бросился на постель. Хоть несколько минут он должен был отдохнуть, сердце бурно билось в груди — точно язык раскачиваемого колокола.

Затем он решился встать и прислонился к окну в ожидании их возвращения. Это продолжалось долго. Они, должно быть, шли очень, очень медленно. Осторожно он выглянул из зате-

ненного окна. Вот они медленно приближаются, их одежда залита лунным светом. В этом зеленом свете они выглядели как призраки, и снова им овладела сладостная жуть: может быть, это в самом деле убийца, и тогда — какому страшному делу он помешал своим присутствием! Ясно различал он белые, как мел, лица. В лице его матери было незнакомое ему выражение восторга, барон, напротив, был суров и недоволен. Очевидно, потому, что его намерение не удалось.

Они подошли уже совсем близко. Лишь перед самой гостиницей их фигуры разъединились. Взглянут ли они вверх? Нет, никто не взглянул. «Вы обо мне забыли, — подумал мальчик с дикой злобой и с тайным торжеством, — но я вас не забыл. Вы думаете, что я сплю или что меня нет на свете, но вы убедитесь в своем заблуждении. Я буду подстерегать вас на каждом шагу, пока не вырву у этого негодяя тайну, ужасную тайну, которая не дает мне спать. Я разорву ваш союз. Я не сплю».

Медленно они вошли в дверь. И, когда они проходили один за другим, их силуэты снова слились на мгновение; одна черная полоса тени скользнула в освещенную дверь. Площадь перед домом снова лежала в лунном свете, как широкий луг, покрытый снегом.

НАПАДЕНИЕ

Эдгар, тяжело дыша, отошел от окна. Он содрогался от ужаса. Никогда в жизни он не стоял так близко к тайне. Мир тревог и захватывающих приключений, мир убийств и обмана, о котором он читал в книгах, находился, по его представлению, в царстве сказок, в близком соседстве с царством снов — мир несуществующего и недостижимого. Теперь же он, казалось, попал в этот ужасный мир, и все его существо было лихорадочно потрясено этой неожиданной встречей. Кто был этот таинственный человек, так внезапно вторгшийся в их спокойную жизнь? Настоящий ли убийца? Недаром он все

искал уединения и старался завлечь его мать в темноту. Надвигалось что-то ужасное. Он не знал, что делать. Завтра — он твердо решил — он напишет или пошлет телеграмму отцу. Но не будет ли поздно? Не может ли это случиться сегодня ночью? Ведь мамы еще нет в комнате; она все еще с этим ненавистным чужим человеком.

Между внутренней дверью и тонкой наружной дверью был промежуток не шире платяного шкафа. Он втиснулся в этот мрак, чтобы подслушать ее шаги в коридоре. Ни на минуту он не оставит ее одну. В этот поздний час коридор был пуст и слабо освещен единственной лампой.

Наконец — минуты тянулись страшно медленно — он услышал осторожные шаги. Он напряженно прислушивался. Это была не быстрая, свободная походка человека, направляющегося прямо к себе в комнату, а тягучие, нерешительные, замедленные шаги, как бы преодолевающие бесконечно тяжелый и крутой путь. Время от времени шаги прерывались и слышался шепот. Эдгар дрожал от волнения. Может быть, это они вдвоем? Неужели она все еще с ним? Шепот был слишком далеко, но шаги, по-прежнему замедленные, приближались. Теперь он слышал ненавистный голос барона — тихий и хриплый, но не мог разобрать его слов, и затем поспешный, обороняющийся голос матери: «Нет, не сегодня! Нет!»

Эдгар дрожал; они приближались, и он мог услышать все. Каждый едва слышный шаг отзывался болью в его груди. И этот голос — каким ужасным казался он ему, — этот жадно домогающийся, отвратительный голос его врага! «Не будьте жестоки. Вы были так прекрасны сегодня вечером». И снова голос матери: «Нет, я не должна, я не могу, оставьте меня».

В ее голосе было столько тревоги, что мальчик испугался. Чего он хочет от нее? Чего она боится? Они все приближались; сейчас они подойдут к его двери. Вот он стоит за их спиной, дрожащий и невидимый, на расстоянии ладони от них, скрытый только тонкой перегородкой. Голоса как будто шепчут ему на ухо.

«Идемте, Матильда, идемте!» Снова стон матери, теперь еще тише, — стон почти уже сломленного сопротивления.

Но что это? Они прошли дальше. Его мать прошла мимо своей комнаты. Почему она больше ничего не говорит? Не заткнул ли он ей рот? Может быть, он ее душит?

Он обезумел от этих мыслей. Дрожащей рукой он приоткрывает дверь. Он увидел их обоих в полутемном коридоре. Барон обнял его мать за талию и тихо уводит ее; она, по-видимому, уступает ему. Вот он останавливается перед своей комнатой. «Он хочет затащить ее туда, — испуганно подумал мальчик, — теперь случится самое ужасное».

Диким толчком он распахивает дверь, выбегает, бросается за ними. Мать испуганно вскрикивает, увидев, как что-то мчится на нее из темноты; она готова упасть без чувств, барон с трудом поддерживает ее. Но в эту самую секунду барон почувствовал, как маленький, слабый кулак бьет его по губам и какое-то существо, точно кошка, вцепилось в его тело. Он выпускает из своих объятий испуганную женщину, которая быстро убегает, и, еще не зная, с кем он борется, в темноте наносит удары.

Мальчик сознает, что он слабее противника, но не уступает. Наконец, наконец настала долгожданная минута расплаты за измену, когда он может излить всю накопившуюся ненависть. Со стиснутыми зубами, в лихорадочном, безумном возбуждении, он колотит своими кулачками куда попало. Теперь барон узнал его; и он преисполнен ненависти к этому тайному шпиону, который отравил ему последние дни и испортил игру; он, не стесняясь, возвращает удары. Эдгар стонет, но не выпускает его и не зовет на помощь. С минуту они борются, озлобленно и безмолвно, в темноте коридора. Наконец барон понял дикость этой борьбы с ребенком; он крепко схватил его, чтобы отбросить прочь. Но мальчик, чувствуя, что его мускулы слабеют, зная, что через минуту он будет побежден и избит, в ярости впивается зубами в эту крепкую, твердую руку, которая хочет схватить его за шиворот. Враг невольно вскрикивает и выпускает мальчика, который вос-

пользовался этой секундой, чтобы скрыться в свою комнату и запереть дверь на задвижку.

Всего минуту длилась эта полуночная борьба. Никто в коридоре ее не заметил. Все тихо, все погружено в сон. Барон вытирает окровавленную руку платком и беспокойно глядит в темноту. Нет, никто не слышал. Только сверху — точно издеваясь — мерцает беспокойный свет.

ГРОЗА

«Что это было — сон? Дурной, страшный сон?» — спрашивал себя на другое утро Эдгар, очнувшись с растрепанными волосами от власти ужасов. В висках глухо стучало, все тело одеревенело, и, посмотрев на себя, он испуганно заметил, что спал не раздеваясь. Он вскочил, с трудом добрал до зеркала и отшатнулся, увидев свое бледное, искаженное лицо с красноватой шишкой на лбу. Он собрался мыслями и с ужасом восстановил в памяти ночную борьбу в коридоре; он вспомнил, как влетел в комнату, лихорадочно дрожа, бросился на постель, одетый, готовый к бегству. Тут он, должно быть, заснул — погрузился в этот тяжелый, глухой сон, еще раз переживая в нем все, но по-иному — еще ужаснее, ощущая влажный запах свежей, струящейся крови.

Снизу доносились хрустящие по щебню шаги. Голоса, как невидимые птички, взлетали вверх, и солнце бросало свои лучи в глубь комнаты. Должно быть, было уже позднее утро. Но, взглянув с испугом на часы, он увидел, что стрелка показывает полночь; в своем волнении он забыл их завести вчера. И эта неопределенность времени вызвала в нем чувство беспокойства, удвоенное неведением того, что, собственно, случилось. Он быстро собрался с силами и спустился вниз, с чувством вины и беспокойства в душе.

За завтраком его мать сидела одна на обычном месте. Эдгар вздохнул свободно, видя, что его врага нет, что ему не придется смотреть на это ненавистное лицо, которое он вчера бил

кулаками. Все же, подходя к столу, он ощутил в себе некоторую неуверенность.

— С добрым утром, — поздоровался он.

Мать не ответила. Она даже не взглянула на него; ее взгляд был как-то странно-неподвижно устремлен на окно. Она была очень бледна, синие круги вокруг глаз, ноздри нервно вздрагивали, выдавая, как всегда, ее возбуждение. Эдгар закусил губы. Это молчание смущало его. Он, в сущности, не был уверен, не ранил ли он вчера серьезно барона, — и знает ли она вообще о ночном столкновении? Эта неизвестность мучила его. Но ее лицо было так неподвижно, что он даже не пытался на нее взглянуть, боясь, что опущенные сейчас глаза вдруг подымутся из-за скрывающих их век и уставятся на него. Он сидел совершенно спокойно, боясь произвести малейший шум. Осторожно подымал чашку и ставил ее на блюдечко, украдкой посматривая на пальцы матери, нервно игравшие ложкой: они были все время в движении и, казалось, выдавали ее скрытый гнев. Так он просидел четверть часа, с тяжелым чувством ожидания чего-то, что не наступало. Ни один звук, ни одно слово не облегчило его. И теперь, когда мать поднялась, все еще не замечая его присутствия, он не знал, что ему делать — оставаться здесь одному за столом или пойти за ней. В конце концов он поднялся и покорно пошел за матерью, которая нарочно не обращала на него внимания. Чувствуя, как смешно плестись за ней хвостом, он замедлил шаги и постепенно отстал от нее. Не взглянув на него, она вошла в свою комнату. Когда Эдгар поднялся наверх, он очутился перед запертой дверью.

Что случилось? Он ничего не понимал. Вчерашняя уверенность оставила его. Может быть, он был неправ вчера с этим нападением? И что они ему готовили: наказание или новое унижение? Он чувствовал: что-то должно случиться, что-то ужасное, неминуемое. Он чувствовал тяжесть приближающейся грозы, напряжение двух заряженных электричеством полюсов, которое должно было разрядиться молнией. И это бремя предчувствий он влачил в продолжение четырех одино-

ких часов, до самого обеда, блуждая по комнатам, пока его узкие, детские плечи не согнулись под незримою тяжестью; он сел за стол, уже готовый покориться.

— Добрый день, — снова сказал он. Он должен был разорвать это молчание, это угрожающее молчание, нависшее над ним черной тучей.

Ответа опять не последовало, опять мать смотрела мимо него. И с новым испугом Эдгар увидел себя лицом к лицу с сознательной, зловещей злобой, какой он еще не знал в своей жизни. До сих пор их ссоры бывали гневными вспышками, вызванными скорее нервным возбуждением, чем чувством, и быстро разрешались улыбкой примирения. Но на этот раз — ему было ясно — он вызвал яростное чувство из самых глубин ее существа, и сам испугался этой неосторожно пробужденной силы. Он почти не дотронулся до еды. Что-то сухо сдавливало его горло, грозя его задушить. Его мать словно ничего не замечала. Только вставая из-за стола, она обернулась, как будто случайно, и сказала:

— Приходи наверх, Эдгар, мне надо с тобой поговорить.

Эти слова не звучали угрозой, но в них было столько ледяной холодности, что Эдгару показалось, будто его вдруг обвили железной цепью. Его сопротивление было сломлено. Молча, как побитая собака, он пошел за ней в комнату.

Она продлила его муки, помолчав еще несколько минут. О, эти минуты, когда он слышал, как били часы, во дворе смеялся ребенок, а в груди стучало сердце! Но и она как будто не была уверена в себе: она заговорила, не глядя на него, повернувшись к нему спиной.

— Я не буду больше говорить о твоём вчерашнем поведении. Это было неслыханно, и мне стыдно вспоминать о нём. За последствия его ты должен пенять на себя. Теперь я хочу тебе сказать, что в последний раз ты был один со взрослыми. Я написала сейчас отцу, что тебе нужен воспитатель, или придется отдать тебя в пансион, чтобы ты научился приличному поведению. Я больше не могу с тобой возиться.

Эдгар стоял, потупив голову. Он чувствовал, что это было только введение, угроза, и в беспокойстве ждал самого главного.

— Ты сейчас же извинишься перед бароном.

Эдгар вздрогнул, но она не дала перебить себя.

— Барон сегодня уехал, и ты напишешь ему письмо, которое я тебе продиктую.

Эдгар сделал движение, но мать была непреклонна:

— Без разговоров. Вот бумага и перо. Садись.

Эдгар поднял глаза. Ее взгляд выражал непоколебимую решимость. Он никогда не видел свою мать такой суровой и спокойной. Им овладел страх. Он сел, взял перо и низко опустил голову над столом.

— Сверху число. Написал? Перед обращением пропусти строку. Так. «Глубокоуважаемый барон! — восклицательный знак, опять пропусти строку. — Я только что узнал, к своему сожалению, — написал? — что вы уже покинули Земмеринг, — Земмеринг — с двумя «м», — и я вынужден сделать письменно то, что хотел сделать лично, а именно, — немного поскорее, каллиграфии не требуется, — извиниться перед вами за свое вчерашнее поведение. Как вы, вероятно, знаете со слов моей мамы, я поправляюсь после тяжелой болезни и очень раздражителен. Многое мне представляется в преувеличенном виде, и мне приходится быстро раскаиваться...»

Согнутая над столом спина выпрямилась. Эдгар повернулся: его упрямство пробудилось снова.

— Этого я не напишу, это неправда.

— Эдгар!

В ее голосе была угроза.

— Это неправда. Я ничего не сделал, в чем должен раскаиваться. Я не сделал ничего дурного, и мне не в чем извиняться. Я побежал тебе на помощь, когда ты позвала.

Ее губы побледнели, ноздри расширились.

— Я звала на помощь? Ты с ума сошел!

Эдгар пришел в ярость. Он порывисто вскочил.

— Да, ты позвала на помощь, там, в коридоре, вчера ночью, когда он тебя схватил. Ты крикнула: «Оставьте, оставьте меня!» И так громко, что я слышал у себя в комнате.

— Ты лжешь, я ни разу не была с бароном здесь, в коридоре. Он меня проводил только до лестницы...

У Эдгара сердце остановилось от этой бесстыдной лжи. Голос оборвался; стеклянными глазами он уставился на нее.

— Ты... не была... в коридоре? И он... он тебя не схватил? Не потащил тебя насильно?

Она рассмеялась. Сухой холодный смех.

— Тебе приснилось.

Это было уже слишком. Он знал теперь, что взрослые лгут, что они прибегают к мелким, ловким уверткам, прозрачной лжи и хитрой двусмысленности. Но это наглое, хладнокровное запирательство, с глазу на глаз, приводило его в бешенство.

— И эта шишка мне тоже приснилась?

— Откуда мне знать, с кем ты дрался! Но мне незачем с тобой препираться. Ты должен слушаться, и все. Садись и пиши.

Она была очень бледна и напрягала последние силы, чтобы сохранить самообладание.

Но в Эдгаре будто что-то оборвалось, погасла последняя искра веры. В его голове не укладывалось, как можно было так топтать ногами правду, — будто горящую спичку. В нем все затянулось ледяной коркой, и слова его были остры, злы, несдержанны.

— Да, все это мне приснилось? Все, что было в коридоре, и эта шишка? И что вы вчера гуляли вдвоем в лунную ночь, и что он хотел повести тебя по темной дороге — и это тоже приснилось? Ты думаешь, что меня можно запереть в комнате, как маленького ребенка? Нет, я не так глуп, как вы полагаете. Я знаю то, что знаю.

Он дерзко посмотрел ей в лицо, и это сломило ее силу: видеть прямо перед собой лицо собственного ребенка, искаженное ненавистью!

Ее гнев бурно прорвался.

— Марш! Пиши сейчас же! Или...

— Или что?.. — вызывающе дерзким стал его голос.

— Или я высеку тебя, как маленького ребенка.

Эдгар сделал шаг к ней, насмешливо улыбаясь. И тут же почувствовал ее руку на своем лице. Эдгар вскрикнул. И, как утопающий, который размахивает вокруг себя руками, ощущая только глухой шум в ушах и красные искры перед глазами; он слепо возвращал ей удары кулаком. Он ощутил что-то мягкое, вот ее лицо, услышал крик...

Этот крик вернул его к действительности. Он пришел в себя, и ему представилась вся чудовищность его поступка... Он бил свою мать. Страх овладел им, и стыд, и ужас, неудержимое желание исчезнуть, провалиться сквозь землю, убежать, убежать, — только бы не встречаться в этом взглядом. Он бросился к двери, быстро спустился по лестнице, выскочил на улицу, — скорей, скорей, — будто его преследовала стая бешеных собак.

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Внизу, на дороге, он наконец остановился. Он должен был прислониться к дереву, до того дрожали его ноги от страха и волнения, до того хрипло вырывалось дыхание из его переполненной груди. За ним гнался ужас перед собственным поступком; он душил его за горло и тряс его, как в лихорадке. Что ему оставалось делать? Куда бежать? Уже здесь, среди леса, всего в пятнадцати минутах от дома, где он жил, им овладело чувство покинутости. Все казалось иным — неприязненным и враждебным — с тех пор, как он остался один и без опоры. Деревья, которые еще вчера по-братски шумели вокруг него, сжимались мрачно, как угроза. А ведь все то, что предстоит впереди, должно быть еще более чуждым и неизвестным! Голова кружилась у мальчика от одиночества в этом огромном, неведомом мире. Нет, этого он еще не может вынести, не

может вынести один. Но к кому бежать? Отца он боялся: тот был вспыльчив, неприступен и немедленно отправил бы его обратно. Но назад он не хотел: лучше кинуться в этот мир неведомых опасностей; ему казалось, что он уже никогда не сможет взглянуть в лицо матери, которое он ударил кулаком.

Тогда он вспомнил о своей бабушке, об этой доброй, милой старушке, которая баловала его с детства и всегда защищала, когда ему грозило дома наказание или обида. Он укроется у нее в Бадене, пока пройдет первый гнев, оттуда напишет письмо родителям и попросит прощения. За эти четверть часа он почувствовал себя до того уничтоженным, — от одной мысли, что он, неопытный мальчик, одинок во всем мире, — что он проклял свою гордость, эту глупую гордость, которую вызвал в нем своей ложью чужой человек. Ему хотелось опять стать ребенком, как прежде, — послушным, терпеливым, без претензий, смешную преувеличенность которых он теперь сознавал.

Но как попасть в Баден? Как перелететь это расстояние? Поспешно он нащупал свой маленький кожаный кошелек, который он всегда носил с собой. Слава Богу, там еще блеснул новый золотой в двадцать крон, который ему подарили ко дню рождения. Он все не мог решиться истратить его. Почти каждый день он проверял, лежит ли он на месте, наслаждался, разглядывая его, чувствовал себя богачом и, с благодарной нежностью, старательно чистил монету платком, пока она не заблестит, как маленькое солнце. Но внезапно его охватила мысль: хватит ли этих денег? Так часто ездил он по железной дороге и ни разу не подумал о том, что за это надо платить и сколько это может стоить — одну крону или сто. Впервые он заметил, что существуют в жизни вещи, о которых он никогда не задумывался, что все окружающие его предметы, которые он держал в руках, которыми он играл, имели каждый свою стоимость, свой особый вес. Он, еще час тому назад мнивший себя всезнающим, проходил, оказывается, без всякого внимания мимо тысячи тайн и загадок. Теперь он стыдился, что его

бедная мудрость спотыкалась уже на первой ступени у входа в жизнь. Все больше он падал духом, все медленнее становились его неуверенные шаги по пути к станции. Как часто он мечтал о таком побеге, мечтал окунуться в жизнь, стать императором или королем, солдатом или поэтом, а теперь он нерешительно смотрел на этот маленький светлый дом с одной только мыслью в голове: хватит ли ему двадцати крон, чтобы добраться до бабушки? Рельсы, блестя, убегали вдаль. Вокзал был пуст. Эдгар робко подошел к кассе и шепотом, чтобы никто не слышал, спросил, сколько стоит билет в Баден. Удивленное лицо выглянуло из темного окошечка, два глаза улыбнулись из-за очков робкому ребенку.

— Целый билет?

— Да, — пробормотал Эдгар без малейшей гордости, скорее со страхом, что билет стоит слишком дорого.

— Шесть крон.

— Пожалуйста.

Облегченно он просунул в окошко свою любимую блестящую монету. Деньги зазвенели, и Эдгар опять почувствовал себя несказанно богатым, держа в руках коричневый кусок картона, обещавший ему свободу, и слыша в кармане приглушенный звон серебра.

Из расписания он узнал, что поезд должен прибыть через минуту. Эдгар уселся в углу. На платформе стояло несколько человек, без дела и без всяких мыслей в голове. Но Эдгару казалось, что все смотрят на него и удивляются, что такой ребенок путешествует один, как будто преступление и побег были написаны у него на лбу. Он вздохнул свободно, когда поезд наконец загудел и со свистом подошел к станции, — поезд, который должен был увезти его в мир. Садясь в вагон, он заметил, что у него был билет третьего класса. До сих пор он ездил только в первом, и снова он почувствовал, что здесь что-то новое, что есть различия, которых он не замечал. Несколько итальянцев-рабочих, с жесткими руками, с грубыми голосами, держа заступы и лопаты в руках, сидели против него с мрачными, безнадежными взорами. По-видимому, они уста-

ли от тяжелой работы; некоторые из них спали с открытым ртом в гремящем поезде, прислонившись к жесткой и грязной стенке. «Они работали, чтобы получить деньги», — подумал Эдгар; он не представлял себе, сколько они могли заработать, но опять почувствовал, что деньги — вещь, которую не всегда имеешь и которую надо как-то добывать. Впервые вошла в его сознание мысль, что он привык к атмосфере достатка, тогда как справа и слева от него зияли глубокие и темные пропасти, в которые он никогда не заглядывал. Тут же он заметил, что существует различие профессий и призваний, что жизнь окружена тайнами, которые можно схватить руками, но на которые он никогда не обращал внимания. Эдгар многому научился за этот час самостоятельной жизни; многое он увидел из этого тесного отделения вагона с окнами в открытое поле. И сквозь темный страх в его сердце стало расцветать что-то — еще не счастье, но изумление перед многообразием жизни. Он убежал из страха и трусости, — это сознание не покидало его ни на одну минуту, — но в первый раз в жизни он действовал самостоятельно, пережил кусочек действительности, мимо которой он до сих пор проходил без внимания. Иными глазами он смотрел теперь в окно. Ему казалось, будто впервые он видит действительность, будто снято покрывало со всех вещей, и они показывали ему свое внутреннее назначение и тайный нерв своей деятельности. Дома пролетали, словно уносимые ветром, и мысли его обращались к людям, живущим в этих домах. Он старался угадать, богаты они или бедны, счастливы или несчастны, жаждут ли они так же, как и он, все знать, есть ли там дети, которые до сих пор тоже только играли с вещами, как и он. Железнодорожные сторожа, стоявшие на пути с развевающимися флагами, в первый раз не казались ему, как до сих пор, просто куклами, мертвыми игрушками, поставленными здесь случайно: он начал понимать, что в этом их судьба, борьба за существование. Все быстрее катились колеса, поезд змеей спускался в долину, все ниже становились горы; впереди расстилалась равнина. Еще раз он оглянулся назад, — вот они, эти горы, уже голубые, призрач-

ные, далекие и недостижимые, и ему казалось, что там, где они постепенно сливались с туманным небом, осталось его детство.

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ МРАК

Когда поезд остановился в Бадене и Эдгар очутился один на платформе, где уже горели огни и мерцали издали зеленые и красные сигналы, — к этому зрелищу присоединился внезапный страх перед надвигающейся ночью. Днем он чувствовал себя увереннее: кругом были люди, можно было отдохнуть, сесть на скамейку или смотреть в окна магазинов. Но как это вынести, когда люди спрячутся в дома, где каждого ждет своя постель, мирная беседа, а затем спокойная ночь, а он, с сознанием своей вины, должен блуждать в одиночестве, в чужом городе? О, только бы иметь кровлю над головой, не оставаться ни одной минуты под открытым чужим небом! — это было его единственным отчетливым желанием.

Поспешно он шагал по хорошо знакомой дороге, не глядя по сторонам, пока не подошел к вилле, где жила его бабушка. Вилла была красиво расположена на широкой улице и скрыта от взоров прохожих виноградными лозами и плющом. За облаком зелени белым пятном выделялся приветливый старинный дом. Эдгар смотрел через решетку сада, как чужой. В доме не было движения, окна закрыты; вероятно, все — и хозяева и гости — были в глубине сада. Он уже прикоснулся к холодной задвижке, как вдруг произошло что-то непонятное: то, что два часа тому назад представлялось ему таким легким и естественным, теперь показалось ему невозможным. Как войти, как поздороваться, вынести все вопросы и отвечать на них? Как выдержать первые взгляды, когда он скажет, что тайком убежал от матери? И как объяснить весь ужас его поступка, которого он сам теперь не понимал? В доме открыли дверь. Его обуял глупый страх, что кто-нибудь может выйти, и он побежал сам не зная куда.

Он остановился перед парком: там было темно, и он не

ожидал встретить людей. Может быть, ему удастся присесть и, наконец, спокойно обдумать свое положение — отдохнуть и решить свою судьбу. Робко он вошел в парк. У входа горело несколько фонарей, придававших еще молодой листве прозрачный блеск зеленоватой воды; в глубине парка, куда он спустился с холма, все представляло собой сплошную душную, черную, волнующуюся массу, тонувшую в смутном мраке весенней ночи. Эдгар боязливо скользнул мимо людей, сидевших под фонарями за разговором или чтением: ему хотелось быть одному. Но и там, в прозрачном мраке неосвещенных аллей, было беспокойно. Все было насыщено тихим журчаньем и воркованьем, доносившимся из мрака и смешанным с дыханьем ветра в гибких ветвях, шорохом далеких шагов, шепотом сдержанных голосов, каким-то сладострастным, вздыхающим, стонущим гулом, исходившим одновременно от людей, животных и беспокойно спящей природы. Здесь царила опасная тревога, придавленная, скрытая и пугающая, какое-то загадочное подземное брожение в гуще леса, вызванное, быть может, только весной, но наводившее страх на беспомощного ребенка.

Он прижался к скамейке в этом бездонном мраке и пытался придумать, что ему рассказать дома. Но мысли ускользали раньше, чем ему удавалось их поймать; против воли он все прислушивался к заглушенным звукам, к таинственным голосам ночи. Как ужасна была эта тьма, как непроницаема, и все же как таинственно прекрасна! Люди, звери или только прозрачная рука ветра производила этот шум и шелест, это манящее жужжание? Он прислушивался. Это был ветер, беспокойно пронесившийся по деревьям, но — он ясно видел — проходили люди, обнявшись парами; это они, подымаясь из города, оживляли своим загадочным присутствием эту тьму. Чего им надо? Он не мог постичь. Они не разговаривают между собою, — не слышно их голосов, — только шаги беспокойно хрустят щепнем; тут и там он различал в просвете их силуэты, быстро пробегающие, как тени, но все так же тесно прижимающиеся друг к другу, как тогда его мать с бароном. Эта тайна,

эта великая, жгучая, роковая тайна была и здесь. Шаги приближаются. Вот раздается сдержанный смех. Его охватил страх быть замеченным, он прячется еще глубже в темноту. Но те двое, ощупью продвигаясь сквозь мрак, не замечают его. Они проходят, обнявшись. Эдгар облегченно вздохнул. Но вдруг, перед самой скамейкой, они замедляют шаги. Их лица прижимаются друг к другу. Эдгару ничего не видно, он только слышит стон, срывающийся с уст женщины, и горячие, безумные слова мужчины. Какое-то душное предчувствие пронзает его страх сладострастным трепетом. Так они стоят с минуту, и опять раздается хруст щебня под их удаляющимися шагами, затихающими в темноте.

Эдгар содрогнулся. Кровь быстрее и жарче разливается по телу. И вдруг он почувствовал себя невыносимо одиноким в этом непроницаемом мраке. С непреодолимой силой им овладело желание услышать дружелюбный голос, ощутить ласку, быть в светлой комнате, с людьми, которых любишь. Ему казалось, что вся бездонная тьма этой непроницаемой ночи вселилась в него и разрывала ему грудь.

Он вскочил. Домой, домой, только бы быть где-нибудь в доме, в теплой, светлой комнате, вместе с людьми! Что могли с ним сделать? Пусть его бьют, бранят — ничто его не страшит, после того как он познал этот мрак и ужас одиночества.

Какая-то сила гнала его вперед, — сам не зная как, он опять очутился перед виллой, опять рука его прикасается к холодной задвижке. Сквозь гущу зелени он видел теперь освещенные окна и за каждым освещенным окном представлял себе знакомую комнату и родных людей. Одна эта близость, одно это успокаивающее сознание, что сейчас он увидит людей, любящих его, наполняло его счастьем. Он еще медлил, но только для того, чтобы продлить это сладостное предвкушение.

Вдруг за его спиной раздается испуганный, пронзительный голос:

— Эдгар, да вот же он!

Бабушкина горничная увидела его, бросилась к нему и

схватила за руку. Дверь в доме открылась; лая и прыгая, к нему кинулась собачка; из дома выходили со свечами. Он услышал испуганные и счастливые голоса, радостную суматоху криков и шагов и увидел знакомые фигуры. Раньше всего — бабушку, простирающую к нему руки, а за ней — он не верит своим глазам — свою мать. С заплаканными глазами, дрожащий, запуганный, стоит он среди взрыва нежности, в нерешительности, что сделать, что сказать, сам не зная, что он испытывает — страх или счастье.

ПОСЛЕДНИЙ СОН

Вот как это случилось. Его здесь искали и ждали уже давно. Мать, несмотря на свой гнев, испуганная диким бегством возбужденного ребенка, искала его по Земмерингу. Все были в страшном волнении и предполагали самое худшее, когда один господин сообщил, что он видел мальчика около трех часов у станционной кассы. Там узнали, что Эдгар взял билет в Баден, и мать немедленно поехала вслед за ним. Ей предшествовали, распространяя волнение, телеграммы в Баден и Вену, к отцу, и уже в течение двух часов все были подняты на ноги в погоне за беглецом.

Теперь они держали его крепко, но он и не пытался ускользнуть. Стараясь не показывать своего торжества, они ввели его в комнату. Но как странно: он не замечал обрушившихся на него упреков, так как в их глазах светились любовь и радость. Даже и этот притворный гнев был непродолжителен. Бабушка со слезами обнимала его, и никто больше не заговаривал о его проступке; его окружили исключительным вниманием. Горничная снимала с него костюм и переодевала его в более теплую одежду, бабушка спрашивала, не голоден ли он, не нужно ли ему чего-нибудь; все спрашивали и мучили его с нежной заботливостью, а когда заметили его смущение, оставили его в покое. Его охватило сладостное чувство быть снова ребенком, — чувство, которым он пренебрег и которого ему все же

так не хватало. Он стыдился, вспоминая свое высокомерие последних дней, свое желание променять все это на обманчивую радость одиночества.

В соседней комнате зазвенел телефон. Он слышал голос своей матери, слышал отрывочные слова: «Эдгар... вернулся... приезжай... последним поездом», и удивлялся, что она не набросилась на него, а только обняла и задержала на нем какой-то особенный взгляд. Чувство раскаяния говорило в нем все сильнее, и охотнее всего он сбежал бы от забот бабушки и тети и пошел бы к ней попросить у нее прощения; в полном смиреннии, ей одной он сказал бы, что хочет быть опять ребенком и будет слушаться. Но едва он поднялся, бабушка испуганно обратилась к нему:

— Куда ты?

Он остановился, пристыженный. Они приходили в ужас, как только он вставал с места. Напуганные им, они боялись, что он снова убежит. Откуда им знать, что он так раскаивается в своем бегстве!

Стол был накрыт, ему принесли наскоро приготовленный ужин. Бабушка сидела с ним рядом и не сводила с него глаз. Она, тетя и горничная как бы заключили его в круг тепла и тихого уюта, и эта обстановка вызывала в нем удивительное чувство успокоения. Его смущало только, что мать не входила в комнату. Если бы она знала, как он смирился, она бы, наверное, пришла!

За окнами послышался стук колес. У калитки остановилась коляска. Все заволновались, общее волнение передалось и Эдгару. Бабушка вышла, в темноте раздались громкие голоса, и он догадался, что приехал отец. Эдгар испуганно заметил, что он остался один в комнате; даже минута одиночества была для него страшна. Отец его был строг; это был единственный человек, которого он действительно боялся. Эдгар прислушался. Отец казался возбужденным, он говорил громко, и в голосе его слышалось раздражение. Ему отвечали успокаивающие голоса бабушки и матери, по-видимому старавшиеся смягчить его. Но голос отца оставался таким же суровым, как его шаги. Вот

они все ближе и ближе, уже в соседней комнате, вот уже у самой двери, которая широко распахнулась.

Отец был высокого роста. И невыразимо маленьким казался себе рядом с ним Эдгар. Отец был не в духе и, по-видимому, очень сердит.

— Как тебе пришло в голову убежать, скверный мальчишка? Как ты мог себе позволить так напугать свою мать?

Голос его звучал сердито, и руки нервно шевелились. За ним тихо вошла мать. Ее лицо было в тени.

Эдгар не отвечал. Он понимал, что должен оправдываться; но как рассказать, что его обманули и побили?

Разве отец мог бы понять это?

— Что же ты не отвечаешь? Что случилось? Говори толком. Что тебе пришлось не по вкусу? Должна же быть какая-нибудь причина! Тебя кто-нибудь обидел?

Эдгар медлил. Нахлынули воспоминания и с ними прежний гнев, он уже готов был обвинять. Но тут он увидел, — сердце у него замерло, — что мать за спиной отца делает ему какой-то странный знак. Он его не сразу понял. Но она посмотрела на него, и он прочел в ее глазах мольбу. Тихо-тихо она поднесла палец к губам в знак молчания.

И вдруг его охватило огромное, неимоверное чувство счастья. Он понял, что она молила его сохранить тайну и что в своих маленьких детских руках он держит ее судьбу. Им овладела буйная, радостная гордость: она доверилась ему. Он ощутил страстное желание принести себя в жертву, преувеличить свою вину, чтобы показать, насколько он уже взрослый. Он собрался с силами.

— Нет, нет... не было никакой причины. Мама была очень добра со мной, но я был непослушен, я плохо себя вел... и вот... вот я убежал, потому что... я боялся.

Отец посмотрел на него изумленно. Менее всего он ожидал такого признания. Его гнев был обезоружен.

— Ну, хорошо, если ты сам сожалеешь... Не будем сегодня говорить об этом. Надо думать, что это больше не повторится.

Он остановился и взглянул на него. Голос его стал мягче.

— Как ты бледен! Но мне кажется, ты снова вырос. Я надеюсь, что ты больше не будешь делать таких глупостей; ты, в самом деле, уже не ребенок и мог бы быть благодарнее.

Эдгар все время смотрел на мать. Что-то блеснуло в ее глазах. Или это просто отблеск пламени? Нет, в самом деле, что-то блестит, влажное и светлое; на ее губах играет благодарная улыбка. Его послали спать, но это его не огорчило: ему хотелось остаться одному. У него было о чем подумать: столько сложных и богатых впечатлений! Все горе последних дней забылось под наплывом властного чувства первого переживания. Он чувствовал себя счастливым в таинственном предчувствии будущих событий. На дворе, среди темной ночи, шелестели во мраке деревья, но он уже не боялся. С тех пор как он познал, как богата жизнь, он уже утратил нетерпение. Ему казалось, что сегодня он впервые увидел жизнь, не прикрытую тысячью детских обманов, во всей ее наготе, во всей ее сладострастной опасной красоте. Он никогда не думал, что день может быть так насыщен сменами горя и радости, и был счастлив от мысли, что предстоит еще много таких дней, что впереди целая жизнь, которая раскроет ему свои тайны. Сегодня ему был дан первый намек на многообразие жизни, в первый раз, казалось ему, он понял человеческую природу, понял, что люди нуждаются друг в друге — даже тогда, когда кажутся врагами, — и что сладко быть любимым ими. Он не был способен думать о чем-нибудь или о ком-нибудь с ненавистью; он ни о чем не жалел, и даже для барона, для этого соблазнителя, злейшего своего врага, он нашел новое чувство благодарности: это он раскрыл ему дверь в этот мир первых переживаний.

Было так сладостно думать об этом в темноте; его мысли уже сливались с образами сновидений — это был почти сон. И ему показалось, будто раскрылась дверь и кто-то тихо вошел. Он думал, что это уже во сне, и не мог открыть глаз. Он почувствовал чье-то дыхание, прикосновение другого лица,

теплого и нежного, и знал, что это была его мать. Она целовала его и ласково гладила его голову. Он чувствовал ее поцелуи и ее слезы; отвечая на ласку, он принимал ее как знак примирения и благодарности за его молчание. Только позже, много лет спустя, он понял, что эти немые слезы были обетом стареющей женщины принадлежать с этих пор только ему, только своему ребенку; понял, что это был отказ от смелых надежд, прощанье с личными желаниями. Он не знал, что она ему была благодарна за то, что он спас ее от бесплодного приключения; не знал, что вместе с этой лаской она передала ему в наследство на всю его будущую жизнь горькое и сладостное время любви. Всего этого ребенок не понял тогда, но он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым, что этой любовью он уже связан с великой тайной мира.

Когда она уже отняла свою руку, свои губы и тихо вышла, на его губах еще оставалось ощущение теплоты ее дыхания. И родилось сладостное желание чаще прижиматься к таким мягким губам и испытывать такое нежное объятие. Но это вещее предвкушение все той же мучительной тайны было уже затуманено сном. Еще раз пронеслись в его воображении пестрые картины последних часов, еще раз заманчиво раскрылась перед ним книга юности. Потом он заснул. Так начался для него более глубокий сон — сон его жизни.





ЛЕТНЯЯ НОВЕЛЛА

Август прошлого лета я провел в Каденаббии, одном из маленьких местечек на берегу озера Комо, которые так очаровательно скрываются между белыми виллами и темным лесом. Тихий даже в более оживленные весенние дни, когда на узком пляже толпятся туристы из Белладжио и Менаджио, в эти теплые недели городок представлял благоухающую пустыню, залитую солнцем. Гостиница была почти необитаема: несколько случайных гостей, возбуждавших друг в друге взаимное недоумение выбором такого глухого местечка для летнего отдыха, каждое утро сами удивлялись своей стойкости. Больше всего изумляла меня стойкость одного пожилого господина, очень представительной и элегантной наружности, который, по внешнему виду, представлял собою нечто среднее между корректным английским парламентарием и парижским фланером. Он не предавался ни одному из видов водного спорта и проводил целые дни, залучившись следя за дымом своей папиросы или перелистывая книгу. Тягостное одиночество двух дождливых дней и его приветливость быстро сообщили нашему знакомству сердечность, которая почти совершенно стерла разницу в возрасте. Лифляндец по рождению, получивший воспитание во Франции, а затем в Англии, без профессии, без постоянного места жительства, он был человеком, лишенным родины, в благородном смысле этого слова, и принадлежал к числу викингов, пиратов красоты, которые разбойничьими налетами присваивают себе драгоценности всех городов. Как дилетант, он стоял

близко ко всем искусствам, но сильнее любви к ним было аристократическое презрение, которое он проявлял в служении им: он был обязан им лучшими часами своей жизни, но не посвятил им ни одного часа творческих мук. Его жизнь была одной из тех, которые кажутся лишними, потому что не скованы цепями общественности: все их богатство, накопленное тысячами драгоценных переживаний, исчезает, не оставляя следа, с их последним вздохом.

Об этом я говорил ему однажды, когда мы сидели после обеда перед гостиницей и смотрели, как светлое озеро медленно покрывается тенью. Он улыбнулся:

— Может быть, вы и правы. Я не верю в воспоминания; пережитое умирает в то мгновение, когда оно покидает нас. А поэзия? Разве ее сокровища не погибают через двадцать, пятьдесят, сто лет? Но я расскажу вам нечто, что могло бы послужить прекрасным сюжетом для новеллы. Пройдемся! О таких вещах легче говорить на ходу.

Мы направились к пляжу по чудесной дороге, затененной вечными кипарисами и густыми каштанами, сквозь ветви которых беспокойно блестело озеро. На другом берегу, подобно белому облаку, лежало Белладжио, мягко озаренное быстро меняющимися красками закатного солнца, и высоко-высоко над темным холмом пылала в алмазах лучей каменная корона виллы Сербеллони. Воздух был слегка душный, но не тяжелый; как нежная рука женщины, он мягко спускался на тени и наполнял дыхание запахом невидимых цветов. Он начал:

— Прежде всего — одно признание. До сих пор я не говорил вам, что я уже был здесь, в Каденаббии, в прошлом году, в это же время года и в той же гостинице. Это должно вас удивить, тем более что, как я уже говорил вам, я избегаю в своей жизни всяких повторений. Но слушайте! Здесь было, конечно, так же пустынно, как и сейчас. Был тот же господин из Милана; он целый день ловил рыбу, чтобы вечером выпустить ее и снова поймать на следующее утро. Были две старые англичанки, тихое, растительное существование которых было малозаметно. Затем — красивый молодой человек с миленькой бледной

девушкой; я до сих пор думаю, что она не была его женой: они казались слишком влюбленными друг в друга. И наконец, одна немецкая, северонемецкая семья самого строгого типа. Пожилая сухопарая белокурая дама, с угловатыми, некрасивыми движениями, с колючими стальными глазами и словно ножом вырезанным сварливым ртом. С ней была сестра — несомненно, сестра — с теми же чертами, только более расплывчатыми, смягченными. Всегда они были вместе, но никогда не разговаривали между собой: сидели, молча склонившись над вышиванием, в которое, казалось, вплетали всю свою бездумность — неумолимые парки мира скуки и ограниченности. И между ними молодая, шестнадцатилетняя девушка, дочь одной из них, не знаю, которой, так как резкость ее незаконченных линий уже уступала легкой женственной округленности. Она была, в сущности, некрасива — слишком тонка, незрела и, конечно, безвкусно одета, но было что-то трогательное в ее беспомощном томлении. Ее большие глаза сияли темным блеском, но все время смущенно убегали, раздробляя его в мигающих вспышках. Она тоже приходила всегда с работой, но руки ее часто замедлялись, пальцы засыпали, и она тихо сидела, устремив мечтательный, неподвижный взор на другой берег озера. Я не знаю, почему меня так трогало это зрелище. Может быть, это была банальная и все же неизбежная мысль, на которую наводит вид увядшей матери рядом с цветущей дочерью, — вид тени за живым человеком; мысль, что в каждой черте уже кроется морщина, в каждой улыбке — усталость, в каждой мечте — разочарование? Или это было бурное, только что вспыхнувшее, бесцельное томление, неповторимая, чудесная минута в жизни девушки, когда она жадно простирает взор ко всему, потому что не владеет еще тем одним, к чему она впоследствии прилепится, будет цепляться в ленивом гниении, как водоросль к плавучему лесу? Мне казалось чрезвычайно заманчивым наблюдать за ней — за ее мечтательным, влажным взором, за бурными ласками, которые она расточала каждой собаке, каждой кошке, за беспокойством, с которым она все начинала и ничего не доводила

до конца. И потом — эта пылкая поспешность, с которой она по вечерам глотала несколько жалких книжонок из библиотеки отеля или перелистывала два привезенных с собою зачитанных томика стихотворений Гете и Баумбаха... Но почему вы улыбаетесь?

Я должен был извиниться:

— Это странное сочетание — Гете и Баумбах.

— Ах, вот что! Конечно, это забавно. Но поверьте, молодым девушкам в этом возрасте все равно, что читать — хорошие или скверные стихи, подлинную или фальшивую поэзию. Стихи для них — только кубок, из которого они утоляют жажду, они не обращают внимания на вино; хмель бродит в них и без вина. Эта девушка была до краев полна томления; оно блесело в ее глазах, заставляло дрожать кончики ее пальцев за столом и гридало ее походке неловкость и в то же время окрыленность — нечто среднее между полетом и страхом. Видно было, что она жаждала поговорить с кем-нибудь, отдать что-нибудь от своего избытка, но никого не было вокруг: только шелест иголок справа и слева и холодные, осторожные взгляды обеих дам. Бесконечное сострадание охватило меня. И все же я не мог приблизиться к ней. Во-первых, что может дать пожилой человек девушке в такую минуту? И потом, мое отвращение к семейным знакомствам и, особенно, к знакомству с пожилыми дамами убивало всякую возможность сближения. Тогда мне пришла в голову замечательная мысль. Я подумал: «Молодая девушка наивна, в первый раз попала в Италию, страну, которая, благодаря англичанину Шекспиру, никогда там не бывавшему, слывет краем романтической любви, пылких Ромео, тайных приключений, падающих вееров, сверкающих кинжалов, масок, дуэний и любовных писем. Она, конечно, мечтает о приключениях, и — кто не знает девичьих грез, этих белых, пролетающих облаков, которые беспцельно плывут по лазури и по вечерам разгораются сначала розовым, потом ярким алым светом! Для нее нет невероятного, невозможного». И я решил найти ей таинственного возлюбленного.

В тот же вечер я написал длинное письмо, нежное, скромное и почтительное, полное таинственных намеков и без подписи, — письмо, ничего не требующее, ничего не обещающее, страстное и в то же время сдержанное — словом, романтическое любовное письмо, точно взятое из поэмы. Зная, что, гонимая своим беспокойством, она каждый день первая является к завтраку, я вложил письмо в ее салфетку. Настало утро. Я наблюдал за ней — из сада, видел ее недоверчивое изумление, ее внезапный испуг и яркую краску, покрывшую бледные щеки и шею; видел ее беспомощные взгляды, ее вздрагивание, воровское движение, которым она спрятала письмо; видел, как нервно она сидела за завтраком, почти не прикасаясь к еде, как убежала куда-то — наверное, в тихую, тенистую аллею расшифровывать таинственное послание... Вы хотите что-то сказать?

Я невольно сделал движение, которое должен был объяснить:

— Я нахожу это очень смелым. Разве вы не подумали, что она могла дознаться или что, проще всего, спросить кельнера, как письмо попало в салфетку? Или показать его матери?

— Конечно, я подумал об этом. Но если бы вы видели девушку, у вас не было бы на этот счет никаких сомнений. Это боязливое, запуганное милое создание со страхом оглядывалось всякий раз, как ей случалось повысить голос. Есть девушки, застенчивость которых так велика, что вы можете позволить себе, что угодно: они совершенно беспомощны и готовы все перенести, лишь бы не доверить кому-нибудь свою тайну. Улыбаясь, я смотрел ей вслед и радовался, что моя игра удалась. Вот она возвращается, и я почувствовал, как кровь ударила мне в голову: это была другая девушка, другая походка. Она приближалась, беспокойная и рассеянная, алая волна разлилась по лицу, и сладостное смущение делало ее неловкой. И так целый день. Она бросала взор в каждое окно, как бы ища разгадку тайны; ее глаза встречали каждого проходящего; раз ее взгляд упал и на меня, но я осторожно отвернулся, чтоб не выдать себя; но в эту короткую секунду я почувство-

вал жгучий вопрос, который почти испугал меня; и впервые после многих лет я почувствовал, что нет наслаждения более опасного, заманчивого и губительного, чем зажечь первую искру в глазах девушки. Я видел ее потом сидящей с вялыми пальцами между обеими дамами и видел, как время от времени она поспешно дотрагивалась до платья, до того места, где, я был уверен, она спрятала письмо. Игра показалась мне увлекательной. В тот же вечер я написал ей второе письмо, и так в течение нескольких дней: я нашел особую, волнующую прелесть в том, чтобы воплощать в своих письмах переживания влюбленного молодого человека, рисовать возрастающую страсть, которая была целиком выдумана. Это стало для меня заманчивым спортом, которому, вероятно, предаются охотники, когда они расставляют силки или заманивают дичь. И так неопишем, почти страшен был для меня мой собственный успех, что я уже хотел прервать начатую игру, но жгучий соблазн приковал меня к ней. Какая-то легкость, какая-то бурная пляска появилась в походке девушки; своеобразная, лихорадочная красота изменила ее черты; ее сон был, вероятно, полон тревоги и ожидания нового письма; ее глаза по утрам были объаты тенью и горели беспокойным огнем. Она стала следить за своей наружностью, носила в волосах цветы, какая-то нежность ко всем вещам появилась в ее пальцах; в ее взоре был постоянный вопрос: из тысячи мелочей, на которые я намекал в письмах, она должна была заключить, что их автор где-то близко, как Ариэль, наполняющий воздух музыкой, витающий вблизи, тайно следящий за каждым ее шагом и, по собственной воле, незримый. Она настолько оживилась, что эта перемена не ускользнула от тупых дам: по временам они устремляли благосклонно-любопытный взор на ее торопливые движения, на ее расцветшие щеки и улыбались, переглядываясь украдкой. Ее голос стал звучнее, громче, смелее, в нем появилось дрожание, как будто она собирается запеть, вот-вот польются радостные трели, как будто... Но вы опять улыбаетесь!

— Нет, нет, продолжайте. Я только подумал, что вы очень

хорошо рассказываете. У вас — простите меня — настоящий талант, вы могли бы рассказать это, наверное, не хуже любого новеллиста.

— Этим вы, вероятно, хотите вежливо и осторожно намекнуть мне, что я рассказываю, как ваши немецкие новеллисты, с их напыщенной лирикой, растянутостью, сентиментальностью и скукой. Хорошо, я буду краток.

Марионетка плясала, и я обдуманно управлял нитями. Чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, — я иногда чувствовал, что ее испытующий взор был обращен на меня, — я дал ей повод думать, что пишущий живет не здесь, а в одном из близких курортов и каждый день переправляется сюда на лодке или на пароходе. И теперь, как только раздавался звонок пристающего парохода, она под каким-нибудь предлогом ускользала от бдительного материнского надзора, бежала к берегу и из какого-нибудь уголка, затаив дыхание, следила за приезжающими.

И вот, однажды — это было в пасмурный день, после обеда, когда я не мог придумать ничего лучшего, как наблюдать за ней, — случилось нечто из ряда вон выходящее. Среди пассажиров был красивый молодой человек, одетый с преувеличенной элегантностью итальянской молодежи. Оглядываясь вокруг, он поймал отчаянно-испытующий, вопрошающий, пронизывающий взор молодой девушки. И тут же краска стыда, заливая тихую улыбку, покрыла ее лицо. Молодой человек изумился, насторожился, — что понятно для всякого, кто встретит столь горячий взор, полный тысячи недосказанных вещей, — улыбнулся и попытался следовать за нею. Она убежала, остановилась в уверенности, что это был именно он, кого она так долго искала, побежала дальше, но опять оглянулась, — это была вечная игра между желанием и страхом, между желанием и стыдом, игра, в которой пленительная слабость всегда оказывается более сильной. Он, очевидно обнадеженный, хотя изумленный, поспешил за ней и был уже совсем близко, — я со страхом предчувствовал, как все должно было запутаться в диком хаосе, — как вдруг на дороге показались

обе дамы. Девушка бросилась им навстречу, как испуганная птичка. Молодой человек осторожно удалился, но она оглянулась, и еще раз встретились их взоры и лихорадочно впились друг в друга. Этот случай показал мне, что пора прекратить игру, но соблазн был слишком велик, и я решил использовать эту неожиданно подвернувшуюся ситуацию. Я написал ей в этот вечер необычайно длинное письмо, которое должно было подтвердить ее предположение. Меня увлекла теперь игра с двумя действующими лицами.

На другое утро меня испугало смятение, дрожавшее в ее чертах. Очаровательное беспокойство уступило место непонятной мне нервности; ее глаза были влажны и красны, как будто от слез; какое-то горе, по-видимому, охватило все ее существо. Казалось, обычная ее молчаливость вот-вот прорвется и выльется в диком крике; лоб ее был омрачен; во взорах можно было прочесть мрачное, горькое отчаяние, — а я ожидал, что именно на этот раз увижу ее ясной и радостной. Мне стало страшно. В первый раз в мою игру вторглось что-то чуждое: марионетка перестала слушаться и танцевала не так, как я хотел. Я взвешивал все возможности и не мог остановиться ни на одной. Я испугался своей игры и не возвращался домой до вечера, чтобы не прочесть укора в ее глазах. Когда я вернулся, все стало ясно: стол не был накрыт, семья уехала. Она должна была уехать, не сказав ему ни слова, и не могла поведать своим близким, как жаждало ее сердце еще хоть одного дня, хоть одного часа. Ее вырвали из сладостного сна и увезли в какой-то жалкий городишко. Я уже забыл куда. И теперь я еще чувствую, словно обвинение, этот последний взгляд, эту ужасную силу гнева, муки, отчаяния и горькой боли, которую я — кто знает, на сколько времени — бросил в ее жизнь.

Он умолк. Надвинулась ночь, и от луны, затуманенной тучами, исходил странный мерцающий свет. Меж деревьями как будто висели и искры, и звезды, и бледная поверхность озера. Мы шли молча. Наконец, мой спутник прервал молчание.

— Вот и вся история. Разве она не годится для новеллы?

— Я не знаю. Во всяком случае, это — сюжет, который я сохранил вместе с другими и за который я вам должен быть признателен. Но как новелла?.. Хорошее вступление, которое, пожалуй, могло бы меня соблазнить. Эти фигуры только намечены, они не выявлены, это — намеки на судьбу, но не судьба. Все это надо развить до конца.

— Я понимаю вашу мысль. Жизнь молодой девушки, возвращение в маленький город, ужасный трагизм повседневности...

— Нет, не в этом суть. Молодая девушка меня больше не интересует. Молодые девушки всегда малоинтересны, какими бы замечательными они ни казались: все их переживания только отрицательны и поэтому слишком одинаковы. В данном случае девушка в свое время выйдет замуж за честного бургера, и вся эта история останется цветущим лепестком в ее воспоминаниях. Девушка меня больше не интересует.

— Это странно. Я не могу понять, что вы находите интересного в молодом человеке. Такие взгляды, такие мимолетные вспышки бывают в молодости у всякого. Большинство их не замечает, другие забывают быстро. Нужно состариться, чтобы узнать, что это, может быть, самые благородные, самые глубокие впечатления, самое святое преимущество юности.

— Молодой человек меня не интересует...

— Кто же?

— Я бы занялся пожилым господином, который писал письма. Его я бы довел до конца. Я полагаю, что нет возраста, когда можно безнаказанно писать пламенные письма и разминаться на переживания любви. Я бы попробовал рассказать, как игра превращается в действительность, как он, думая, что он владеет игрой, сам оказывается в ее власти. Пробуждающаяся красота девушки, на которую он смотрит, как ему кажется, глазами наблюдателя, влечет и захватывает его глубоко. И тот миг, когда все ускользает от него, внушает ему бурное желание овладеть игрой и игрушкой. Меня заинтересовала бы эта ирония любви, когда страсть старого человека становится по-

хожа на страсть мальчика: оба они чувствуют себя неполноценными. Я бы вложил в его переживания робость и ожидание. Я заставил бы его почувствовать беспокойство, последовать за ней, чтобы видеть ее, и в последнюю минуту не осмелиться приблизиться к ней. Я заставил бы его вернуться в то же самое место в надежде встретить ее, испытать случай, который всегда бывает жестоким... Вот по такой линии я мог бы представить себе развитие новеллы, и тогда она была бы...

— Лживой, фальшивой, невозможной!

Я испугался. Его голос стал резким, хриплым и дрожащим. Почти угрозой он прозвучал в ответ моим словам. Никогда я не видел своего спутника в таком возбуждении. Мгновенно я угадал, что неосторожной рукой задел больное место. И когда он вдруг остановился, я с мучительным чувством увидел, как светились его седые волосы.

Я хотел быстро перевести разговор на другую тему. Но он заговорил первым; уже тепло и мягко звучал его спокойный глубокий голос, с оттенком меланхолии:

— Может быть, вы и правы. Это много интереснее. *L'amour coute cher aux vieillards**.

Он протянул мне руку. Теперь его голос звучал опять размеренно и холодно.

— Спокойной ночи! Я вижу, что опасно рассказывать истории молодым людям в летнюю ночь. Это наводит на ненужные мысли и вредные сны. Спокойной ночи!

Он ушел в темноту своей эластичной, но отяжеленной годами походкой. Было уже поздно. Но усталость, обычно рано овладевавшая мною в теплоте этих мягких ночей, сегодня была рассеяна возбуждением, которое охватывает человека,

*В старости любовь дается дорогой ценой (*франц.*). — так, кажется, назвал Бальзак один из самых трогательных своих рассказов, и много рассказов можно было бы написать под этим заглавием. Но пожилые люди, которые знают всю тайну этих переживаний, любят рассказывать лишь о своих успехах, умалчивая о своих неудачах. Они боятся стать смешными в вещах, которые в каком-то смысле служат маятником вечности. Вы верите, что действительно «потеряны» те главы в мемуарах Казановы, где он становится старым, из донжуана превращается в рога носца, из обманщика в обманутого? Может быть, просто рука его отяжелела и сердце сжалось?

когда с ним случается что-нибудь необычайное или когда чужое на миг становится его собственным. По тихой темной дороге я дошел до виллы Карлотта, мраморная лестница которой спускается к озеру, и сел на холодные ступени. Была чудесная ночь. Огни Белладжио, которые прежде сквозь листья деревьев блистали близко, как светлячки, казались теперь бесконечно далеко над водой и медленно утопали один за другим в тяжелом мраке. Молчаливо покоилось озеро, сияющее, как черный бриллиант, в оправе причудливых огней. И, словно бледные руки по белым клавишам, набегали и отступали, с легким всплеском, волны по каменным ступеням. Бесконечно высоким казался небесный свод, на котором искрились тысячи звезд. Они сверкали в спокойном молчании; иногда только вырвется одна из них из алмазного хоровода и внезапно упадет в летнюю ночь, упадет во мглу, в долины, в ущелья, в горы или в далекие воды, брошенная слепой силой на землю, как жизнь в стремнины неведомой судьбы





ЗВЕНО ВТОРОЕ

АМОК

**Францу Масерелю,
художнику, другу и брату.**

Зальцбург, весна 1922 г.

**Раскройся, преисподний мир желаний:
Горячим ртом мой рот запечатлейте,
Вы, призраки изведанных мечтаний,
От крови кровь и уст дыханье пейте!**

**Возникните из сумеречной глубины
И не стыдитесь вашей темной боли.
Кто любит страсть, ее страданья любит;
Мы связаны недугом общей доли.**

**Да, только страсть, нисшедшая до края,
В тебе зажжет твой образ сокровенный,
Ты возродишься на своей лишь тризне.**

**Гори же ярче! Только сам сгорая,
Постигнешь духом глубину вселенной:
Лишь там, где тайна, спят истоки жизни.**

Перевел М. Лозинский



АМОК

В марте 1912 года в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия, так как оно случилось в ночное время, при погрузке угля, и мы, чтобы спастись от шума, съехали все на берег и там проводили время в разных кафе и театрах. Как бы то ни было, я лично думаю, что некоторые предположения, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той ужасной сцены, а отдаленность лет позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

* * *

Когда я хотел заказать в пароходной конторе в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами. Он не знал, возможно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением сезона дождей, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дожидаться телеграммы из Сингапура. Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что может предложить мне одну каюту, правда, не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части

парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому не стал медлить и просил закрепить место за мной.

Клерк правильно уведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плоха — тесный четырехугольный закоулок недалеко от паровой машины, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было отойти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над головой. Внизу машина кряхтела и стонала, как грузчик, без конца взбирающийся с углем по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих на палубе. Поэтому, сунув чемодан в какую-то затхлую серую дыру, я поспешил назад на палубу и, поднимаясь из глубины, вдохнул полной грудью мягкий, сладостный воздух, доносившийся к нам с берега.

Но и на палубе для прогулок царили сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервностью, вызванной вынужденным бездействием, без умолку болтали и ходили взад и вперед. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным проходам палубы, возбужденная болтовня пассажиров, скоплавшихся перед стульями для отдыха, — все это почему-то причиняло мне боль. Я видел новый мир, впитывал сливающиеся, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воспроизвести в памяти то, что воспринял глаз, но здесь, на этом тесном бульваре, не было ни минуты покоя. Строчки в книге разбегались от мелькающих теней проходящих мимо людей. Невозможно было оставаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улице.

Я три дня боролся с этим чувством и присматривался к людям и к морю, но море было всегда одним и тем же, пустынным и синим, и только на закате оно вдруг загоралось всеми красками радуги; а людей я уже через трое суток знал наизусть. Все лица были мне знакомы до неприятности; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные

споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство, но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские мисс непрерывно упражнялись на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырнул в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя парой стаканов пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.

Я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, жирный и влажный. Чувства были притуплены, и мне нужно было несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья шагов. Только машина, дышащее сердце Левиафана, кряхтя, толкала потрескивающее тело корабля вперед, в необозримое.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающими тросами, мои глаза озарил вдруг магический свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло; казалось, что бархатный полог застилает какую-то светящуюся поверхность, а звезды — только отверстия и прорези, через которые просвечивает этот неопиcуемый блеск. Никогда не видел я небо таким, как в ту ночь, таким сияющим, таким холодным, как сталь, и в то же время искрящимся, пенящимся, залитым светом, излучаемым луной и звездами, но горящим как будто в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете все очертания парохода, резко выделяясь на темном бархатном фоне неба; канаты, реи, все контуры растворились в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз наблюдательной корзинки — земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие Южный Крест, прибитый мерцающими бриллиантовыми гвоздями к Неведомому; казалось, что он колыхался, тогда как движение

создавал только ход корабля, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, гигантским поплавром подвигался вперед по темным волнам. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя, как в ванне, где сверху падает теплая вода, только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно и чисто и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, шипучий, опьяняющий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом далеких островов. Теперь, теперь впервые с тех пор, как я поднялся по трапу, меня охватила священная радость мечтания и другая, более чувственная, заставлявшая меня, словно женщину, отдавать свое тело окружающей неге. Я хотел лечь и устремить взор вверх на белые иероглифы. Но палубные кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе для прогулок я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал пробираться ощупью вперед, подвигаясь к передней части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и отражения его от вещей — как смотрят на внешний мир из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался, наконец, до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной с обеих сторон лезвия. Неустанно поднимался и опускался плуг в черную жидкую почву, и я чувствовал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искристой игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут; качание чудовищной колыбели корабля унесло меня из пределов времени. Я чувствовал лишь, что мной овладевает усталость, похожая на сладострастие. Я хотел спать, грезить, но только не уходить от

этих чар, не спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый отсвет. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху — неслышимый звон белого потока вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило мою кровь, я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание или биение далекого сердца корабля; я растекался, сливался в этом неугомонном журчании с полуночным миром.

* * *

Тихий сухой кашель возле меня заставил меня вздрогнуть. Я сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись, — как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом там вспыхнула большая круглая искра — несомненно, огонек трубки. Очевидно, сидя и любясь пеной у носа корабля, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все это время. Невольно, не придя еще в себя, я произнес по-немецки:

— Простите!

— О, пожалуйста... — по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого не было видно. Я чувствовал, что этот человек смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так силен, что каждый из нас видел только контур другого в тени. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это казалось мне слишком грубым и внезапным. В смущении я вынул папиросу. Вспыхнула спичка, и огонек ее секунду дрожал в нашем тесном углу. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту — ни за обедом, ни во время прогулки; и не знаю, было ли больно моим

глазам от внезапной вспышки или то была галлюцинация, но это лицо показалось мне мрачным, искаженным ужасом, прозрачным. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота поглотила опять освещенные на миг черты; я видел лишь очертание фигуры, темной на темном фоне, и минутами круглое огненное кольцо трубки среди пустого пространства. Никто из нас не говорил, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.

Наконец, я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный голос.

Я, спотыкаясь, побрел мимо такелажа и стоек. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был мой бывший сосед. Невольно я остановился. Он тоже остановился в нескольких шагах от меня, и я сквозь темноту ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

— Простите, — поспешно заговорил он, — если я обращаюсь к вам с просьбой. Я... я, — он запнулся и от смущения не мог сразу продолжать, — я... у меня есть личные... чисто личные причины искать уединения... у меня траур... я избегаю общества пассажиров... Вас я не имею в виду... нет, нет... Я хотел только попросить вас... вы меня очень обязали бы, если бы никому на борту не говорили о том, что видели меня здесь... На это есть... так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях... да... так вот... мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью... что я...

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул глухим, чрезвычайно тревожным сном, полным причудливых видений.

* * *

Я сдержал обещание и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морских путешествий всякая мелочь превращается в событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над волной дельфин, замеченный новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках его имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они отношения к нему; целый день я был во власти нервного нетерпения и ждал вечера, когда мог бы снова встретиться с незнакомцем. Загадочные психологические явления неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не могу успокоиться, пока мне не удастся разгадать скрытую в них тайну. Люди со странностями могут зажечь во мне жажду узнать их, которая немногим меньше жажды обладания женщиной. День казался мне длинным и пустым. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила меня разбудит.

И действительно, я проснулся в тот же час, как и вчера. На покрытом фосфором циферблате часов обе стрелки перекрывали друг друга, в виде светящейся черты. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали рассеянным светом дрожавший пароход; в вышине горел Южный Крест. Все было как вчера — в тропиках дни и ночи еще более похожи на близнецов, чем в наших широтах — только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, смущало, и я знал, куда меня влекло: туда, к черным лебедкам на носу; я хотел знать, не сидит ли там тот, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то сверкнуло, точно красный глаз, — его трубка. Значит, он сидит там.

Я невольно отступил на шаг и остановился. В следующий миг я ушел бы назад, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал прямо перед собой его голос, вежливый и тихий.

— Простите, — сказал он, — вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, и мне показалось, что вы решили уйти, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, а я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел назад, чтобы ему не помешать.

— Мне вы не мешаете, — с какой-то горечью сказал он, — напротив, я рад не быть некоторое время один. Уже десять дней как я не сказал ни слова... собственно, даже несколько лет... и мне тяжело, я задыхаюсь, верно, оттого, что должен все глотать молча... я больше не могу сидеть в каюте, в этом... в этом гробу... Я больше не могу... и людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются... Я не могу это выносить теперь... я слышу это в своей каюте и затыкаю себе уши... правда, они ведь не знают, что... они и понятия не имеют... а потом, какое дело до этого чужим...

Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал:

— Но я не хочу стеснять вас... простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я настойчиво удерживал его.

— Вы нисколько не стесняете меня. Я тоже рад обменяться здесь, в тиши, парой слов... Не хотите ли папиросу?

Он взял. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно было прямо повернуто ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо, жадно и с какой-то безумной силой. Меня охватил трепет. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что я должен молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. У него был второй палубный стул, который он предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгал в темноте огонек его папиросы, я видел, что его рука

дрожала. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

— Вы очень устали?

— Нет, нисколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

— Мне хотелось спросить вас кое о чем... то есть я хотел бы вам кое-что сказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако... я... я нахожусь в ужасном психическом состоянии... я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить... не то я погибну... Вы поймете меня, когда я... да, когда я вам расскажу... Я знаю, что вы не сможете помочь мне... но я прямо болен от этого молчания... а больной всегда смешон в глазах других...

Я прервал его и просил не терзаться напрасно и, не стесняясь, рассказать мне все... конечно, я не мог ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то естественным образом рождается долг помочь.

— Долг... предложить свою помощь... долг сделать попытку... так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг... долг... предложить свою помощь...

Трижды повторил он эту фразу. Мне стало жутко от этой тупой, упорной манеры повторять слова. Не сумасшедший ли это человек? Не пьян ли он?

И словно угадывая мою мысль, он изменившимся голосом произнес:

— Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного. Нет, этого нет, — пока еще нет. Только сказанное вами слово странно поразило меня... поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит: лежит ли на нас долг... долг...

Он снова начал спотыкаться. Потом он замолк и начал с новым усилием:

— Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые... да, я бы сказал, предельные

случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг... долг ведь не один — перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой... Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем... но такие правила хороши только в теории... До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас разговаривать со мной, потому что я прямо умираю от своего молчания... Вы готовы слушать меня... хорошо... Но это ведь легко... а что, если бы я попросил вас схватить меня и бросить за борт... тут уж кончается любезность, готовность помогать. Где-то она должна кончаться... там, где начинается наша собственная жизнь, наша собственная ответственность... где-то это должно кончаться... где-то должен прекращаться этот долг... или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то исповителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом, написанный латинскими буквами; неужели он действительно должен отбросить всякую личную жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь... когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь и доброты? Да, где-нибудь кончается долг... там, где человек больше не может, именно там...

Он снова приостановился и затем продолжал:

— Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян... пока еще не пьян... впрочем, и это со мной теперь часто бывает, я спокойно признаюсь в этом вам, в этом дьявольском одиночестве... Подумайте: я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных... тут можно отучиться от спокойной речи. Потом, как начнешь говорить, так всего сразу не перескажешь... Но, подождите... да, я уже знаю... я хотел вас спросить, хотел представить вам один случай... лежит ли на нас долг помочь... так, с ангельской чистотой помочь... Впрочем, я боюсь, что это будет длинная история. Вы, в самом деле, не устали?

— Да нет же, нисколько.

— Я... я очень признателен вам... не хотите ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, несколько бутылок, которые он поставил возле себя. Он предложил мне стакан виски, к которому я едва прикоснулся, в то время как он разом опрокинул свой.

На миг воцарилось молчание. Вдруг ударил колокол: половина первого.

* * *

Итак... я хотел рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном... в маленьком городке... или, вернее, в деревне... врач, который... врач, который...

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванул-ся ко мне.

— Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все прямо, с самого начала, а то вы не поймете... Это нельзя изложить в виде примера, в виде теоретической возможности... я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки... передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы и выделения... когда хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилить и стараться что-нибудь утаить... Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом... я раздеваюсь перед вами догола и говорю: я... стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедаёт душу у человека и высасывает у него мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-нибудь движение, так как он вдруг остановился.

— Ах, вы протестуете... понимаю: вы в восторге от Индии, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их, только катаясь по железной дороге, в автомобиле, на рикше: я сам это чувствовал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал: я хотел овладеть языками и читать свя-

ценные книги в подлиннике, хотел изучать болезни, работать для науки, ознакомиться с психикой туземцев; я был, как говорят на европейском жаргоне, миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но под невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка — от нее ведь не уйти, сколько ни есть хинина — подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европейец невольно отстает от своего естественного образа жизни, если попадает из больших городов на этакую проклятую болотную станцию. Рано или поздно пристукнет всякого: одни запивают, другие курят опиум, третьи дерутся и звереют, — так или иначе, но тупеют все. Они стремятся в Европу, мечтают о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по улице, посидеть в светлой комнате среди белых людей, год за годом мечтают об этом, а когда настает срок, когда можно было бы получить отпуск, то им уже лень двинуться с места. Они знают, что всеми забыты, сознают, что они чужие, как морские ракушки, на которые всякий наступает ногой. И они остаются, завязшие в своих болотах, и погибают в этих жарких, сырых лесах. Пусть будет проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру...

Между прочим, это было не так уж вполне добровольно. Я учился в Германии, сделался врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В одном из медицинских журналов того времени много писали по поводу нового вприскивания, которое я первый ввел в практику. Тут подоспела история с одной бабенкой, которую я впервые увидел в больнице: она своего любовника довела до бешенства, и он ранил ее из револьвера; вскоре и я был таким же бешеным. У нее была манера держаться высокомерно и холодно — это и выводило меня из себя: властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я и совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я, — да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже восемь лет, — я из-за нее растратил госпитальные деньги, и, когда это выплыло наружу, скандал был ужасный. Правда, моему дяде удалось

прикрыть мое преступление, но карьера погибла. В это время я услышал, что голландское правительство вербует врачей для работы в колонии и предлагает подъемные. Я сразу сообразил, что это, верно, отчаянное дело, раз за него предлагают деньги вперед; я знал, что могильные кресты на этих пораженных лихорадкой плантациях растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что лихорадка и смерть постигнут кого угодно, но только не его. Ну что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая обобрала меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий уезжал я из Европы и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как вы сидите, как сидели все, и видел Южный Крест и пальмы, сердце таяло у меня в груди: ах, леса, одиночество, тишина! — мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию, или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а — впрочем, название не играет никакой роли — на одну из районных станций, в двух днях езды от ближайшего города. Два-три скучных иссохших чиновника, пара полубелых туземцев — это было все мое общество, а кроме него, вокруг только лес, плантации, пустыни и болота.

Вначале еще было сносно. Я занимался всякой всячиной; раз, когда вице-резидент упал во время инспекционной поездки из автомобиля и сломал себе ногу, я без всяких помощников сделал ему операцию, о которой много говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это продолжалось только до тех пор, пока во мне действовала привезенная из Европы сила; потом я завял. Мои европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего два года, потом я освобождался с пенсией, мог вернуться

в Европу, начать жизнь сначала. Я забросил все занятия и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

* * *

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я сразу услышал опять звук воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленное глухое биение сердца машины. Мне хотелось закурить папиросу, но я боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лицо. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола: час. Он встрепнулся; и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотка, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.

— Да, так вот... подождите... да, так вот, это было так. Сажу я там, в своей проклятой дыре, сажу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем «down», совсем болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы, я не могу передать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтах о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом: пришла дама, какая-то леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец, я иду вниз.

В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

— Добрый день, доктор, — говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы заранее заученной. — Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там — (почему она не подъехала к дому? — молнией блеснула у меня в голове мысль) — и вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога в безукоризненном состоянии, и он по-прежнему играет в гольф. О да, у нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и беспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостью. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя, почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливаться на себя эту бесконечную болтовню. Наконец, она на миг останавливается, и я могу пригласить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

— Как у вас мило, — говорит она, осматривая мою комнату. — О какая прелесть: книги! Я хотела бы их все прочесть! — Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В

первый раз, с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

— Разрешите мне предложить вам чаю? — спросил я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки.

— Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же уходить... у меня мало времени... это была ведь просто маленькая прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «Education sentimentale»... я вижу, вы читаете и по-французски... Чего только вы не знаете!.. Да, немцы, они проходят все в школе... Право, удивительно — знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож... наш добряк доктор годится только для игры в бридж... кстати, знаете ли — (она все еще говорит, не оборачиваясь) — сегодня мне самой пришлось в голову, что хорошо было бы разок посоветоваться с вами... и так как мы как раз проезжали мимо, то я подумала... ну вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!» — сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что почту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

— У меня ничего серьезного, — сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки, — ничего серьезного, пустяки... женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды, на повороте, мне вдруг стало дурно, *gaide morte*... бой должен был посадить меня и принести воды... ну, может быть, шофер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

— Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?

— Нет... то есть да... в последнее время... именно в самое последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не поднимает взора из-под вуали? Я намеренно ничего

не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает в своей развязной и суетливой манере:

— Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь...

— Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.

— Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно нет... я измеряла температуру каждый день, с тех пор... с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда ровно тридцать шесть и четыре. И желудок у меня в порядке.

Минуту я медлю. Во мне все растет недоверие: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую.

— Простите, — говорю я затем, — разрешите мне задать вам совершенно откровенно несколько вопросов?

— Конечно, вы ведь врач! — отвечает она, но тут же поворачивается ко мне спиной и начинает возиться с книгами.

— У вас есть дети?

— Да, сын.

— А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать — тогда... было ли у вас подобное состояние?

— Да.

Ее голос стал теперь совсем другим — ясным, определенным, без всякой трескучести и нервности.

— А возможно ли, чтобы вы... простите мой вопрос... возможно ли, чтобы вы находились теперь в таком же состоянии?

— Да.

Резко и остро, как нож, бросила она это слово. Ничто не дрогнуло в ее лице.

— Будет лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

— Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в своем состоянии.

* * *

Голос на миг умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

— Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься немного во все это. К человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... и вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Бессознательно ощутил я это: мной овладел трепет перед стальной решимостью этой женщины, вошедшей с беспечной болтовней, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший нож. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу, — это было не в первый раз, что женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... о, тут была стальная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она могла подчинить меня своей воле... Однако... однако... и во мне сидела какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо и вызывающе и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал так легко. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болтливую, равнодушную манеру. Я делал вид, что не понял ее, потому что — не знаю, можете ли вы почувствовать это — я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы меня просили... чтобы просила она, явившаяся с таким властным видом... и, кроме того, я знал, как легко я подчиняюсь власти таких высокомерных, холодных женщин.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки вполне в порядке нормального хода вещей, напротив, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из клинических журналов... я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И действительно, она резким движением руки прервала меня, словно отстраняя прочь все эти успокоительные разговоры.

— Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я родила своего мальчика, мое здоровье было в лучшем состоянии... но теперь я уже не all right... у меня бывают сердечные припадки...

— Вот как, сердечные припадки, — повторил я, изображая на лице беспокойство, — сейчас же посмотрим.

Я сделал вид, что встаю и достаю слуховую трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь остро и повелительно, как голос команды на плацу:

— У меня бывают припадки, доктор, и я должна просить вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования, вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

— Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я врач. И, прежде всего, снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо, такое, какое боялся увидеть, непроницаемое лицо, твердое, уверенное, полное не зависящей от возраста красоты, лицо с серыми английскими глазами, казалось, исполненными спокойствия, но скрывающими внутренний огонь. Эти узкие сжатые губы

умели хранить тайны. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной стальной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взор.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:

— Знаете ли вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

— Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от ваших обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

— Да.

Как топор гильотины, упало это слово.

— А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?..

— Да.

— Что закон запрещает их?

— Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

— Это бывает только при наличии известных медицинских данных.

— Так вы найдете эти данные. Вы — врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, слабохарактерный, дрожал, пораженный демонической мощью ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что я уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», — мелькало во мне какое-то смутное желание.

— Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

— Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

— Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

— Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы... — она в первый раз запнулась, — вероятно, недолго пробудете в этих

местах, особенно если... если вы сможете увезти домой приличную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, купеческая ясность расчета ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже вычислила и сначала выследила меня, а потом начала травить.

Я чувствовал, как проникала в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

— И эту приличную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

— За вашу помощь и немедленный отъезд.

— Вы знаете, что я, таким образом, теряю свою пенсию?

— Я возьму вам ее.

— Вы говорите очень определенно... Но я хотел бы еще больше определенности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

— Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал... от гнева и... и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной в предвидении своей власти. Я был бы рад дать ей пощечину... Но, когда я поднялся дрожа, — она тоже встала, — я посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда насилия. Должно быть и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека, между нами сверкнула открытая вражда. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз говорили друг с другом вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, заползла мне в душу мысль, и я сказал... сказал ей...

Но подождите, так вы неправильно поняли бы, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

* * *

Опять тихонько звякнул в темноте стакан. И голос сделался более возбужденным.

— Не думайте, что я хочу извиняться, оправдываться, обелить себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... это была ведь единственная радость в моей собачьей жизни, когда я, пользуясь крупницей знаний, уцелевших у меня в голове, спасал какую-нибудь тлеющую искорку жизни... я чувствовал себя тогда маленьким богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил такой желтый парнишка, посиневший от страха, со змеиным укусом на вспухшей ноге, заранее выл, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я проводил долгие часы в пути, чтобы посетить лежащую в лихорадке женщину; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, — еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, это сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина — не знаю, могу ли объяснить вам это — волновала, раздражала меня с той минуты, когда вошла в мой дом, словно мимоходом, вызвала своим высокомерием сопротивление, будила во мне все... как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все низменное. Меня сводило с ума то, что она разыгрывала леди и с холодной неприступностью предлагала мне сделку, когда речь шла о жизни и смерти. И затем... затем, в конце концов, от игры в гольф не становятся ведь беременными... я знал... то есть я должен был вдруг с ужасающей ясностью представить себе... это и была та мысль... с ужасающей ясностью представить себе, что эта спокойная, эта надменная, эта холодная женщина, презрительно подняв-

шая брови над своими стальными глазами, когда я, только для протеста... да, почти негодуяюще взглянул на нее, что она два или три месяца назад, разгоряченная, лежала в постели с женщиной, голая, как зверь, и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как их губы... Вот это, вот это и была обжигавшая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой неприступной холодностью, словно английский офицер... и тогда, тогда все напрягалось во мне... и я обезумел от мысли унижить ее... с этого мгновенья я видел сквозь платье ее голое тело... с этого мгновенья я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в порыве сладострастия, как тот, другой, которого я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустил-ся, я, как врач, никогда не пытался злоупотреблять своим положением... но на этот раз это ведь не была похоть, в этом не было ничего сексуального, я говорю правду... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... стать ее господином, как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, холодные на вид женщины всегда имели надо мной особую власть... но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не имел белой женщины, что я не знал сопротивления... Здешние девушки, эти щебечущие изящные зверьки, дрожат ведь от благоговения, когда их берет белый человек, «господин»... они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы отдаться со своим тихим гортанным смехом... но именно эта покорность, эта рабская угодливость и отравляет все наслаждение... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, застегнутой на все пуговицы и в то же время дразнившей своей тайной и отягченной недавней страстью... когда подобная женщина дерзко входит в клетку такого мужчины, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя... Это... вот это я хотел вам только сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то,

что теперь произошло. И так... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я словно сжался весь в комок и напустил на себя равнодушный вид. Я холодно произнес:

— Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, это меня не удовлетворяет.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Но все же она сказала:

— Сколько же вы хотите?

Я больше не желал говорить спокойным тоном.

— Будем играть в открытую. Я не делец... не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за презренное золото... я представляю собой, скорее, противоположность делового человека... этим путем вам не удастся достигнуть желаемого.

— Так вы не хотите это сделать?

— За деньги — нет.

На миг воцарилась тишина. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

— Чего же вы еще можете хотеть?

Теперь я больше не владел собой.

— Во-первых, я хочу, чтобы вы... чтобы вы не обращались ко мне, как к торговцу, а как к человеку. Чтобы вы, если вам нужна помощь, не... совали сейчас ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... я не только врач, у меня не только приемные часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли бы в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее рот слегка кривится, дрожит и быстро произносит:

— Значит, если бы я вас попросила... тогда вы сделали бы это?

— Вот вы уже опять хотите заключить со мной сделку, вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю. Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она высоко вскидывает голову, как горячая лошадь; с гневом смотрит она на меня.

— Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть.

Тут мною овладевает гнев, красный, безумный гнев.

— Тогда я требую, если вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее, — вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда, тогда я вам помогу.

На миг она остолбенела. Потом, — о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, — потом ее черты нахмурились, и потом... потом она вдруг расхохоталась... с нескрываемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... такая чудовищная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... да, я готов был упасть на колени и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния; у меня был огонь во всем теле... вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно хотел пойти за ней... просить прощения... умолять ее... моя сила была ведь совсем сломлена... но она еще раз обернулась и сказала... и это звучало, как приказ:

— Не смейте идти за мной или наводить справки... Вам пришлось бы раскаяться.

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

* * *

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчное журчание, словно от струящегося лунного света. И наконец, опять его голос:

— Хлопнула дверь... но я стоял, не двигаясь с места... я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все, и вся моя воля устремилась ей вслед... чтобы ей... я не знаю, что... чтобы позвать ее назад, или ударить, или задуть... но только за ней... за ней... Но что-то удерживало меня. Мои ноги были словно парализованы электрическим ударом...

я был поражен, поражен в самую душу убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... это может показаться смешным, но я все стоял и стоял... прошло несколько минут, может быть, пять, может быть, десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли...

Но как только я ступил ногой, я уже снова весь горел и готов был бежать... вмиг слетел я с лестницы... Она могла ведь пойти только по улице, ведущей к станции. Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы. И вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен поговорить с ней...

Я мчусь, оставляя за собой облака пыли... теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... там... на повороте в лесу, перед самой станцией я вижу ее, идущую торопливым твердым шагом, в сопровождении боя... Но и она, несомненно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна... Что она задумала? Почему хочет быть одна?.. Может быть, она хочет поговорить со мной так, чтобы он не слышал?.. Яростно нажимаю я на педали... Вдруг что-то бросается сбоку передо мной на дорогу... это бой... я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю...

Встаю с ругательствами... невольно заносу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он легко увертывается... Встряхиваю свой велосипед, собираюсь снова вскочить на него... Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и бормочет на ломаном английском языке: «You remain here»^{*}.

Вы не жили в тропиках... Вы не знаете, какая это дерзость, когда такой желтокожий бездельник хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает остаться на месте. Вместо ответа я заезжаю ему кулаком в физиономию... он отшатывается, но все-таки держит велосипед... его глаза, узкие трусливые глаза, широко раскрыты и полны раб-

^{*}Вы останетесь здесь (англ.).

ского страха... но он держит руль, держит его чертовски крепко... «You remain here», — бормочет он еще раз. К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы мальчишку. «Прочь, каналья!» — прорычал я. Он глядит на меня, весь согнувшись, но не отпускает руля. Я наношу ему новый удар по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость... я вижу, что ее уже нет, может быть, она уже уехала... я закатываю ему настоящий боксерский удар в подбородок, сшибающий его с ног... Теперь велосипед опять в моем распоряжении... вскакиваю в седло, но машина не идет... во время борьбы погнулась спица... Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее... Ничего не выходит... тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, который встает, весь в крови, и уходит в сторону... И тогда, нет, вы не можете понять, каким смешным и позорным считается там, если европеец... словом, я не соображал уже, что делал... у меня была только одна мысль: бежать за ней, догнать ее... и я пустился бежать, бежал, как сумасшедший, по деревенской улице мимо лачуг, где желтый сброд в изумлении теснился у дверей, чтобы видеть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, добрался я до станции... Мой первый вопрос был: «Где автомобиль?..» — «Только что уехал...» С удивлением смотрели на меня люди: я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал мокрый и покрытый грязью и еще издали выкрикивал свой вопрос... На улице за станцией я вижу клубящийся белый дымок автомобиля... ей удалось удрать... удалось, как должно удаваться все ее твердым, жестоким расчетам...

Но бегство ей не поможет... В тропиках нет тайн между европейцами... один знает другого, всякая мелочь вырастает в событие... Не напрасно простоял шофер целый час перед правительственным бунгало... через несколько минут я знаю все... Знаю, кто она... что живет она внизу в... ну, в областном городе в восьми часах езды отсюда по железной дороге... что она... ну, скажем, жена крупного коммерсанта, безумно богата, из хорошей семьи, англичанка... знаю, что ее муж пробыл теперь

пять месяцев в Америке и в ближайшие дни должен приехать, чтобы взять ее с собой в Европу...

Но она, — и эта мысль, как яд, сжигает меня, — она не больше двух или трех месяцев в положении.

* * *

— До сих пор я мог еще быть понятным для вас... может быть, только потому, что до этого момента сам еще понимал себя... сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка... я потерял способность управлять собой... то есть я ясно сознавал, как бессмысленно было все, что я делал, но я не имел больше власти над собой... я больше не понимал самого себя... я, как безумный, бежал вперед, видя перед собой только одну цель... Впрочем, подождите... я постараюсь сделать это более понятным для вас... Знаете вы, что такое «амок»?

— Амок?.. Что-то припоминаю... Это род опьянения у малайцев...

— Это больше чем опьянение... это бешенство, напоминающее собачье... припадок бессмысленной, кровожадной моноμανии, который нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления... во время своего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев, — когда дело идет о других, мы всегда очень рассудительны и деловиты, — но мне так и не удалось выяснить ужасной и таинственной причины этой болезни... Она находится в какой-то связи с климатом, с этой душной, сгущенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервы, пока, наконец, они больше не выдерживают... Итак, я говорил об амоке... да, амок... вот как это бывает: какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою водку... сидит, отупевший, равнодушный, вялый... как я сидел у себя в комнате... и вдруг вскакивает, хватается кинжал и бросается на улицу... и бежит все вперед и вперед... сам не зная куда... Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим «крисом», и вид крови еще больше разжигает его... Пена выступает у него на губах во

время бега, он воеет, как дикий зверь... и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни направо, ни налево, бежит, со своим резким криком и с окровавленным крисом в руке, по своему ужасному неуклонному пути... Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком... они кричат, предупреждая других, при его приближении: «Амок! Амок!» — и все обращается в бегство... а он бежит, не слыша, не видя, убивая встречных... пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет, с пеной у рта...

Я видел это раз из окна своего бунгало... это было жуткое зрелище... но только благодаря тому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни... потому что точно так же, с тем же ужасным, обращенным вперед взором, с тем же бешенством ринулся я... вслед за этой женщиной... Я не знаю теперь, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой мелькало все мимо меня... Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две... после того как я узнал все подробности об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я мчался уже на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и уехал в экипаже на железнодорожную станцию... уехал, не предупредив районного чиновника... не назначив себе заместителя, бросив дом на произвол судьбы... Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся... уехал на железную дорогу и первым поездом отправился в город... Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я успел уже разбить всю свою жизнь и мчался, гонимый амоком, в пустоту...

Я мчался вперед, готовый головой пробивать стены... в шесть часов вечера я приехал... в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе... Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... но гонимый амоком бежит с незрячими глазами, он не видит, куда бежит... Через несколько минут слуга вернулся... вежли-

вый и холодный... госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять...

Я вышел, шатаюсь... Целый час я бродил вокруг дома в безумной надежде, что она пошлет за мной... лишь затем я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски... этот виски и двойная доза веронала помогли мне... я, наконец, уснул... и этот тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

* * *

Прозвучал колокол — два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании, долетавшем из-под килиа и все время сопровождавшем возбужденную речь рассказчика. Человек, сидевший во мраке против меня, как будто вздрогнул, и слова его пресеклись. Я опять услышал, как рука тянется к бутылке, услышал тихое бульканье. Потом, несколько успокоившись, он более твердым голосом начал:

— То, что последовало с этого момента, я едва ли сумею вам передать. Теперь я думаю, что тогда у меня была лихорадка, во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, — человек, гонимый амоком, как я вам говорил. Но не забудьте, что я приехал во вторник ночью, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Июкогамы ее супруг; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы решить вопрос и оказать ей помощь. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог поговорить с ней. И именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня сильнее. Я знал, как драгоценно каждое мгновенье, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что она была напугана моим неистовым и нелепым преследованием. Это было... да,

подождите... как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели... она видела во мне только гонимого амоком, который преследует ее, чтобы уничтожить, а я... в этом и была вся ужасная бессмыслица... я больше и не думал об этом... я был вконец уничтожен, хотел только помочь ей, быть ей полезным... я пошел бы на убийство, на преступление, чтобы ей помочь... Но она, она этого не понимала. Когда я утром проснулся и сейчас же побежал опять к ее дому, у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил в лицо, и, как только издали заметил меня, — несомненно, он подждал меня, — он проворно юркнул в дверь. Возможно, что он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе... возможно... ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. может быть, тогда все было уже подготовлено для моего приема... но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, тогда я опять потерял всякую решимость еще раз повторить свой визит... У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел... ушел в ту минуту, когда она, может быть, в не меньшей муке ждала меня.

Теперь я совсем уже не знал, что делать в этом чужом городе, который пугал и угнетал меня... Вдруг у меня мелькнула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я тогда оказал помощь у себя на станции, и велел о себе доложить... В моем внешнем виде было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство... по-видимому, он тогда уже отгадал во мне человека, гонимого амоком... Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту... я должен переехать немедленно... Он взглянул на меня... не могу вам передать, как он на меня взглянул... ну, примерно так, как смотрит врач на больного...

— У вас нервы не выдержали, милый доктор, — сказал он затем, — я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного... скажем,

недели четыре... мне нужно сначала подыскать вам заместителя.

— Не могу ждать ни единого дня, — ответил я.

Он опять взглянул на меня этим странным взглядом.

— Нужно потерпеть, доктор, — серьезно сказал он, — мы не можем оставить станцию без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим.

Я стоял перед ним со стиснутыми зубами; в первый раз я ясно ощутил, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже накопало упрямое сопротивление, но он, светский и ловкий, опередил меня:

— Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером, сегодня прием у губернатора, вы встретите всю колонию, а многие давно уже хотели познакомиться с вами, часто осведомлялись о вас и высказывали пожелания, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Осведомлялись обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть пунктуальным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли мне говорить вам, что, гонимый своим нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания и стал ждать; безмолвные желтокожие слуги сновали туда и сюда, мягко ступая босыми ногами и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько ушел в себя, что слышал только тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мной в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока... пока мной не овладела вдруг какая-то необъяснимая нервозность, я потерял самообладание и стал говорить невпопад. Я стоял спиной к входной двери

зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к звуку его слов, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор, — мне кажется, что, если бы он не отпустил меня, я все равно бы, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительно хотелось мне оглянуться. И действительно, не успел я повернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье, оставлявшее обнаженными прекрасные узкие плечи, сверкавшие, как матовая слоновая кость. Она разговаривала, стоя среди группы гостей. Она улыбалась, но мне показалось, что я уловил на ее лице какое-то напряжение. Я подошел ближе — она не могла меня видеть или не хотела видеть — и смотрел на эту улыбку, любезную и вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она... ну, потому что я знал, что это ложь, искусство, техника, шедевр притворства. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж... как может она так смеяться, так... так уверенно, так беззаботно смеяться и лениво играть веером, вместо того, чтобы скомкать его от волнения? Я... я, чужой... я дрожал уже два дня с того часа... я, чужой, переживал за нее ее боязнь, ее ужас, со всеми эксцессами разбушевавшегося чувства... а она явилась на бал и улыбалась, улыбалась, улыбалась...

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее, она, извинившись, оставила круг своих знакомых и прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу, но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, благоволив узнать меня, как случайного знакомого, прежде чем я успел решить, поклониться мне или нет. «Добрый вечер, доктор». Миг, и она ушла. Никто не мог бы разгадать, что было скрыто в этом серо-зеленом взгляде, и я, я сам этого не знал.

Почему она поклонилась... почему вдруг узнала меня?.. Была ли это самозащита, или шаг к примирению, или просто следствие неожиданности? Не могу вам изобразить, в каком я находился волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с холодным и беспечным выражением на лице, а я ведь знал, что она... что она так же, как и я, думала только о том... только о том... что между нами двумя среди всей этой толпы была ужасная тайна... а она вальсировала... в эти секунды моя боязнь, мое страдание и восхищение были сильнее, чем когда-либо. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением выдавал гораздо больше, чем она хотела скрыть, — я не мог заставить себя смотреть в другом направлении, я должен был... да, я должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, я издали впивался в ее невозмутимое лицо, следя, не уронит ли она маску, хотя бы на миг. Она, несомненно, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и ей было неприятно. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже виденная мною однажды складка гордого гнева снова прорезала ее лоб...

Но... но... я ведь уже говорил вам... меня гнал амок, я не оглядывался ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее, этот взгляд говорил: «Не возбуждай внимания! Владей собой». Я узнал, что она... как бы это выразить?.. что она требовала от меня корректного поведения, здесь, в людном зале... Я понимал, что, уйдя я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею... Она хотела только избежать здесь бросающейся в глаза интимности с моей стороны... я знал, что она — и с полным основанием — боится какой-нибудь моей неловкой выходки... Вы видите... я узнал все, я понял этот повелительный взгляд, но... но, это было выше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я, шатаясь, направился к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к этому немногочисленному кружку, хотя знал лишь немногих из присутствовавших... Я хотел

слышать, как она говорит, но избегал, точно побитая собака, ее взгляда, изредка так холодно скользившего по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой прислонялся, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова с нее, какого-нибудь знака примирения, стоял, не сводя от нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, это должно было уже обратить на себя внимание, безусловно, потому что никто не сказал мне ни слова; и она страдала от моего нелепого поведения.

Долго ли я так простоял, не знаю... может быть, целую вечность... я не мог разорвать этих чар, сковывавших мою волю... Но она больше не могла выдержать... Внезапно она повернулась со свойственной ей восхитительной непринужденностью к мужчинам и сказала: «Я немного утомлена... хочу сегодня раньше лечь... Спокойной ночи!» И вот она уже проплыла мимо меня, едва кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, холодную, обнаженную спину. Прошли мгновенья, прежде чем я понял, что она ушла... что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение... итак, я стоял, окаменев на месте, пока не понял всего... а тогда... тогда...

Однако подождите... подождите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка... сначала я должен описать вам все место действия... Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом... пары ушли танцевать, мужчины — играть в карты... только по углам болтали небольшие кучки... итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза при ярком свете люстр... и она медленно, легкой походкой, шла по этому огромному залу, изредка величественно отвечая на поклоны... она шла с этим высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней... Я... я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован до того мгновенья, когда понял, что она уходит... и тогда, когда это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхо-

да... Тогда... о, я до сих пор стыжусь вспоминать об этом... тогда что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал... вы слышите, я побежал... я не шел, а бежал за ней, и стук моих каблуков громко отдавался в зале... я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня... я сгорал от стыда... я уже во время бега сознавал свое безумие... но я не мог... не мог вернуться на место... я догнал ее у дверей... Она обернулась... ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри дрожали от гнева... я только собрался что-то пробормотать... как она... как она... вдруг громко рассмеялась... звонким, беззаботным, искренним смехом и произнесла... так громко, что все могли слышать... «Ах, доктор, теперь только вы вспомнили о рецепте для моего мальчика... Ах, эти люди науки!..»

Стоявшие вблизи добродушно засмеялись... я понял, был поражен — как мастерски спасла она положение!.. Порывшись в бумажнике, я наскоро вырвал из блокнота чистый листок... она спокойно взяла его и... ушла... поблагодарив меня еще раз холодной улыбкой... В первый миг я чувствовал себя хорошо... я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение... но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность... ненавидит больше смерти... понял, что могу сотни раз подходить к ее двери, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу... я чувствовал, что на меня смотрят... у меня был, вероятно, страшный вид... Я пошел в буфет, выпил подряд две, три... четыре рюмки коньяку... это спасло меня от обморока... нервы больше не выдерживали, они словно оборвались... Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник... Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха... я пошел... точно не знаю, куда я пошел... в какие-то кабаки... и напился, напился, как человек, который хочет все забыть... но... но мне не удалось одурманить себя... этот смех звучал во мне, резкий и злобный... этот проклятый смех я никак не мог заглушить... Потом я бродил по гавани... револьвер я оставил

в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой... с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер... с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился... то, клянусь вам, это была не трусость... для меня было бы облегчением спустить уже взведенный холодный курок... но, как бы объяснить это вам... я чувствовал, что на мне еще лежит долг... да, тот долг помощи, тот проклятый долг... меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть полезен ей, что я нужен ей, уже... это было ведь утро четверга, а в субботу... я ведь говорил вам... в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина, не переживет своего позора перед мужем и перед светом... О, как мучили меня мысли о бессмысленно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь... часами, часами, клянусь вам, ходил я взад и вперед по комнате и ломал себе голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей... Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно... я всеми своими фибрами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ее ноздрей... часами, часами метался я по своей узкой комнате... был уже день, время приближалось к полудню...

И вдруг меня толкнуло к столу... я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей... писать обо всем... визгливое, собачье письмо, в котором я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником... в котором я умолял ее довериться мне... Я обещал исчезнуть в тот же час из города, колонии, даже из жизни, если бы она этого пожелала... лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час... Я исписал двадцать страниц... Это было безумное, невероятное письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту... комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды... тогда лишь попытался я перечитать письмо, но мне стало

страшно при первых же словах... дрожащими руками сложил я его и собирался уже положить в конверт... и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Я жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. И если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь».

После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!

* * *

Возле нас что-то зазвенело и покатилося — неосторожным движением он опрокинул бутылку с виски. Я слышал, как его рука шарила по палубе и наконец схватила пустую бутылку; широким взмахом бросил он ее в море. Несколько минут он молчал, потом он продолжал еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо:

— Я больше не верю ни во что... для меня нет ни неба, ни ада... а если и есть ад, то я его не боюсь: он не может быть ужаснее тех часов, которые я пережил от полудня до вечера... Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую его полуденным жаром... комнатку, где есть только стол, стул и кровать... на этом столе — ничего, кроме часов и револьвера, а за столом — человек... неподвижный и не сводящий взора с секундной стрелки часов... человек, который все время... все, слышите, все время, три часа подряд, смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу... Так... так... провел я этот день, все ждал, ждал... но делал это так, как делает что-нибудь гонимый амоком, бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упрямством.

Ну... я не стану описывать вам эти часы... это не поддается описанию... я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не... не сойдя с ума... Итак... в двадцать две минуты четвертого... я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы... раздался внезапный стук в дверь... Я вскакиваю... вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыж-

ком оказываюсь у двери, распахиваю ее... в коридоре испуганный маленький китайчонок с запиской. Я выхватываю бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть... я не могу... красные круги плывут передо мной... подумайте об этой муке... наконец, наконец я получил от нее ответ... а тут все прыгает и пляшет перед моими глазами... я окунаю голову в воду... становится лучше... Снова берусь я за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого объявления... торопливые, набросанные карандашом строки... я не знал сам, почему меня так взволновал этот листок... какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже... какой-то неопишуемый страх и холод повеяли мне в душу от этой тайной записки... и все-таки... и все-таки я был счастлив... она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей... может быть... я мог бы... о, я сразу преисполнился самыми несбыточными надеждами и ожиданиями... Сотни тысяч раз перечитывал я маленькую бумажку, целовал ее... осматривал в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова... все тяжелее, все туманнее становились мои грезы, это был какой-то фантастический сон с открытыми глазами... оцепенение, тупое и в то же время напряженное, что-то среднее между дремотой и бодрствованием, тянувшееся не то четверть часа, не то целые часы...

Вдруг я встрепенулся... Как будто постучали? Я затаил дыхание... минута, две мертвой тишины... А потом опять тихий, словно мышинный шорох, тихий, но настойчивый стук... Я вскакиваю, голова у меня кружится, открываю дверь — за ней стоит бой, ее бой, тот самый, которому я тогда дал в зубы... его коричневое лицо было пепельного цвета, блуждающий взгляд говорил, что случилось несчастье... Мной овладел ужас...

— Что... что случилось? — с трудом выговорил я.

— Come quickly* , — ответил он... и больше ничего...

Мигом сбежал я с лестницы, он за мной... Внизу стояла «садо», маленькая коляска, мы сели...

— Что случилось? — еще раз спросил я...

Дрожа, взглянул он на меня и молчал, стиснув зубы... Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал... я охотно дал бы ему опять по физиономии, но... меня трогала его собачья преданность этой женщине... и я не стал больше спрашивать... Колясочка с такой быстротой мчалась по оживленным улицам, что прохожие с ругательствами отскакивали в стороны. Мы оставили за собой европейский квартал на берегу, проехали нижний город и врезались в крикливую сутолоку китайского квартала... Наконец, мы добрались до узкой улочки, где-то в стороне... остановились перед низкой лачугой... Домишко был грязный, вросший в землю, впереди — лавчонка, освещенная светом сальной свечки... одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей... Бой поспешно постучался... За щелью двери послышался сильный голос... начались бесконечные расспросы... Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул прикрытую дверь... передо мной отступила, вскрикнув, испуганная старуха китаянка... бой шел за мной, провел меня по узкому проходу... открылась другая дверь... в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови... Оттуда послышался стон... я ощупью пробирался вперед...

* * *

Снова пресекся его голос. И дальнейшая речь прерывалась непрерывными всхлипываниями.

— Я... я нащупывал дорогу... и там... там, на грязном матрасе... скорчившись от боли... лежало и стонало человеческое существо... лежала она...

В темноте я не видел ее лица... Мои глаза еще не привык-

*Идите быстрее (англ.).

ли... ошупью я нашел ее руку... горячую... как огонь... у нее был жар, сильный жар... и я содрогнулся... я сразу понял все... она убежала сюда от меня... дала первой попавшейся грязной китаянке искалечить себя... только потому, что надеялась лучше сохранить так свою тайну... позволила какой-то ведьме убить себя, лишь бы только не довериться мне... только потому, что я, безумец... не пощадил ее гордость, не помог ей сразу... потому что смерти она боялась меньше, чем меня...

Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил, отвратительная китаянка дрожащими руками внесла коптящую керосиновую лампу... Я должен был сделать над собой усилие, чтобы не схватить за горло желтую бестию... Она поставила лампу на стол... Желтый луч скользнул по измученному телу... И вдруг... вдруг с меня точно рукой сняло все мое отупение и гнев, весь этот нечистый нагар накопившейся страсти... теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знанием человек... я забыл все личное... мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигавшимся ужасом... Нагое тело, о котором я столько мечтал, я ощущал теперь только как... ну, как бы это сказать... как материю, как организм... я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках... Ее кровь, ее горячая, священная кровь текла по моим рукам, но я не чувствовал ни восторга, ни трепета... я был только врач... я видел только страдание... и видел...

Я видел, что все погибло, если не вмешается чудо... у нее было повреждение, и она истекала кровью от неумелого вмешательства преступной руки... а у меня не было ничего в этом гнусном вертепе, чтобы остановить кровь... не было даже чистой воды... все, до чего я ни дотрагивался, было покрыто грязью...

— Нужно сейчас же в госпиталь, — сказал я.

Но не успел я этого произнести, как больная судорожным усилием приподнялась с подушки.

— Нет... нет... лучше смерть... чтобы никто не узнал... чтобы никто не узнал... домой... домой...

Я понял... только за тайну, за свою честь боролась она... не за жизнь... И я послушался... Бой принес носилки... мы уложили ее... и так... словно труп, слабую, в лихорадке... несли мы ее сквозь ночь домой... отстранили недоумевающих, испуганных слуг... как воры... внесли мы ее в комнату и заперли двери... А потом... потом началась борьба, долгая борьба со смертью...

* * *

Внезапно в мою руку судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Я видел во мраке его лицо прямо перед собой, его белые зубы, стучавшие от волнения, стекла очков в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. Теперь он уже не говорил, он кричал, потрясаемый охватившим его гневом:

— Знаете ли вы, вы — чужой человек, сидящий здесь спокойно на палубном стуле, совершающий увеселительную поездку по свету, — знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Случалось ли вам когда-нибудь быть при этом, видели ли вы, как корчится тело, как синие ногти впиваются в пустоту, как хрипит глотка, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось ли вам переживать это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждавшему о долге помощи? Я часто видел все это, как врач, видел это, как... как клинические случаи, как факты... я, так сказать, изучал это, но пережил я это только один раз... я вместе с умирающей переживал это в ту ночь... в ту ужасную ночь, когда я сидел и напрягал свой мозг, чтобы найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась, лилась и лилась, против лихорадки, сжигающей ее на моих глазах... против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать от ее постели. Понимаете ли вы, что это значит: быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы так основательно заметили, — и все-таки сидеть бессильно возле умира-

ющей, знать и не иметь силы... знать только одно, только эту ужасную истину, что помочь нельзя... нельзя, хотя бы даже вскрыв все вены в своем теле... видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, чувствовать пульс, учащенный и прерывистый... быть врачом и ничего не знать, ничего, ничего, ничего... только сидеть и бормотать какую-нибудь молитву, как церковная старушонка, или угрожать кулаками ничтожеству — Богу, о котором только и знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете?... Я... я только одного не понимаю: как... как люди умудряются не умереть вместе с больными в такие минуты... как, поспав, встают на следующее утро и чистят зубы, и завязывают галстук... как можно жить... жить после того, что я пережил... когда я чувствовал, как улетает ее дыхание... как этот человек, за которого я боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня... куда-то в неведомое, ускользает с каждой минутой все быстрее, и я ничего не нахожу в своем лихорадочном мозгу, что бы могло удержать этого человека...

И к тому же еще, чтобы удвоить мои дьявольские муки... еще вот это... Когда я сидел у ее постели, я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит, с пылающими щеками, горячая и истомленная, да... когда я так сидел, я все время чувствовал два глаза, устремленные на меня с ужасным напряжением... Это бой сидел на корточках на полу и шептал какие-то молитвы... Когда его взор встречался с моим, то в нем... нет, я не могу это изобразить... в нем отражалась такая мольба, такая благодарность была в его собачьем взгляде, и в такие минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня ее спасти... вы понимаете... ко мне, ко мне простирал он руки, как к Богу... ко мне... безвольному, бессильному человеку, знавшему, что все потеряно... знавшему, что он здесь так же не нужен, как ползущий по полу муравей... Ах, этот взгляд, как мучил он меня... эта фантастическая, эта животная надежда на мое искусство... я мог бы крикнуть на него и ударить ногой, такую боль причинял он мне... и все-таки я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней... и

тайной... Как притаившийся зверь, сидел он, свернувшись клубком за моей спиной... стоило мне потребовать чего-нибудь, как он вскакивал, бесшумно ступал своими голыми подошвами и, дрожа... исполненный ожидания, подавал просимую вещь, словно в этом была помощь... спасение... Я знаю, он позволил бы вскрыть себе вены, чтобы ей помочь... такая женщина это была, такую власть имела она над людьми... а я... у меня не было власти спасти каплю ее крови... О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью!

К утру она еще раз очнулась... открыла глаза... теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности... они горели влажным, лихорадочным блеском, когда она, словно чужая, озиралась в комнате... потом она взглянула на меня: казалось, она думала, старалась вспомнить что-то, глядя мне в лицо... и вдруг... я видел это... она вспомнила... какой-то страх, какое-то негодование... что-то... что-то... враждебное, гневное исказило ее лицо... она начала двигать руками, как будто хотела бежать... прочь, прочь, прочь от меня... я видел, что она думала о том... о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание... она спокойно смотрела на меня, но тяжело дышала... я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать... опять пришли в движение ее руки... она хотела приподняться, но была слишком слаба... Я успокаивал ее, наклонился над ней... тогда она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом... ее губы тихо шевелились... это был последний угасающий звук... она сказала:

— Никто не узнает?.. Никто?

— Никто, — сказал я решительным, уверенным голосом, — обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство... Невнятно, с усилием она пробормотала:

— Поклянитесь мне... что никто не узнает... поклянитесь.

Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня... неопишмым взглядом... нежным, теплым, благодарным... да, поистине, поистине благодарным... она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно... Долго лежала она, обесси-

лев от напряжения и закрыв глаза. Потом начался ужас... ужас... Еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец.

* * *

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда со средней палубы раздался в тишине колокол: один, два, три сильных удара — три часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час и настанет день, и весь этот кошмар погаснет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени не были уже так густы и черны в нашем углу. Он снял фуражку, и я увидел его лысину и измученное лицо, казавшееся еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня, он сел прямее, и его голос принял резкий язвительный тон.

— Для нее теперь настал конец, но не для меня. Я был наедине с трупом — и один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, и я... я должен был оберегать тайну... Да, вообразите себе все это положение: женщина из лучшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на правительственном балу, лежит вдруг мертвая в своей постели... при ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга... Никто в доме не видел, когда и откуда он пришел... Ночью внесли ее на носилках и потом заперли двери... А утром она была уже мертва... Тогда лишь позвали слуг, и весь дом вдруг огласился воплями... в тот же миг об этом узнают соседи, весь город... И только один человек может все это объяснить... это — я, чужой человек, врач с отдаленной станции... Приятное положение, не правда ли?..

Я знал, что мне предстояло. К счастью, возле меня был бой, славный мальчуган, который читал малейшее желание в моих глазах, даже это желтокожее тупое животное понимало, что здесь еще придется выдержать борьбу. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза своим влажным собачь-

им, но в то же время решительным взглядом. «Yes, sir»*, — больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел себя в полный порядок, и эта решительность его действий вернула и мне самообладание. Никогда в жизни, я знаю это, я не проявлял подобной энергии и никогда больше не смогу ее проявить. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением — и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же вымышленную историю о том, как посланный ею за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время, как я, по-видимому, спокойно рассказывал все это, я ждал... ждал решительной минуты... ждал освидетельствования трупа, которое должно было состояться, прежде чем мы могли запереть в гроб ее — и тайну вместе с нею... Не забудьте, что была пятница, а в субботу должен был приехать ее муж...

В девять часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я велел его впустить, он был старше меня по чину и в то же время мой соперник, тот самый врач, о котором она в свое время так презрительно отзывалась и которому, очевидно, были уже известны мои хлопоты о переводе. Я почувствовал, это как только он взглянул на меня, — он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил:

— Когда умерла госпожа?.. — он назвал ее имя.

— В шесть часов утра.

— Когда она послала за вами?

— В одиннадцать вечера.

— Вы знали, что я ее врач?

— Да, но дело было спешное... и затем... покойная определенно требовала, чтобы пришел я. Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; румянец появился на его бледном, несколько ожиревшем лице; я чувствовал, что его самолюбие

*Да, сэр (англ.).

уязвлено. Но это мне только и нужно было: я всеми силами стремился к быстрой развязке, потому что сознавал, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал:

— Ну что же, если вы думали, что можете обойтись без меня, но все-таки мой служебный долг — удостоверить смерть и... отчего она наступила.

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем я вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови:

— Что это значит?

Я спокойно встал против него:

— Тут речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина позвала меня, чтобы я помог ей после... после неудачного вмешательства... я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне!

Он широко раскрыл глаза от изумления.

— Неужели вы хотите сказать, — пробормотал он, — что я, официальный врач, должен покрыть здесь преступление?

— Да, я этого хочу, я должен этого хотеть.

— Чтобы я за ваше преступление...

— Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, иначе... иначе я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свой проступок, — если вам угодно так это называть, — и свет ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была теперь бессмысленно поругана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение.

— Вы не потерпите... так... ну, вы ведь мой начальник... или, по крайней мере, собираетесь стать им... попробуйте только приказывать мне... я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла... недурной практикой вы тут занялись... недурной пробный образец... Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть увере-

ны, что протокол, под которыми будет стоять мое имя, будет в полном порядке. Я не подпишу лжи.

Я остался спокоен.

— На этот раз вам придется все-таки это сделать. До тех пор вы не выйдете из комнаты.

При этом я сунул руку в карман, — моего револьвера при мне не было. Но мой коллега все-таки вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и посмотрел на него.

— Послушайте, я вам скажу пару слов... чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены... чужая — тоже... я дошел уже до такого предела... единственное, что имеет для меня значение, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти... Слушайте: я даю вам честное слово, если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана... какой-нибудь случайностью, то я в течение недели покину город, покину Индию... я, если вы этого потребуете, возьму револьвер и застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю и я смогу быть спокоен, что никто... вы понимаете, никто... не станет заниматься расследованиями. Этого будет для вас достаточно, это должно вас удовлетворить.

В моем голосе было, несомненно, что-то угрожающее, что-то опасное, потому что по мере того, как я невольно приближался к нему, он отступал с тем же выражением ужаса, с каким... ну, с каким люди спасаются от одержимого амоком, когда он бешено мчится вперед, размахивая крисом... И сразу он стал другим... каким-то пришибленным и безвольным... от его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он проямлил еще:

— Это было бы первый раз в моей жизни, что я подписал бы ложное свидетельство... но так или иначе какую-нибудь форму можно будет подыскать... бывают всякие случаи... Однако не мог же я так, без всяких...

— Конечно, не могли, — поспешно поддержал я его (только скорее!.. только скорее!.. — стучало у меня в висках), — но теперь, когда вы знаете, что вы только обидели бы живого и

жестoko поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул головой. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было затем опубликовано в газетах и вполне правдоподобно описывало картину сердечного паралича). После этого он встал и посмотрел на меня:

— Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?

— Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым.

— Я сейчас же закажу гроб, — сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но особенно мучительно для меня было, — я не знаю сам почему, — когда он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою.

— Желаю вам молодцом перенести это, — сказал он, и я не знал, что он имеет в виду. Был ли я болен? Или... сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, делая над собой последнее усилие, запер за ним. Потом начался опять этот стук в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и перед самой ее постелью я рухнул на пол... как... падает с оборвавшимися нервами гонимый амоком в конце своего безумного бега.

* * *

Он опять замолчал. Меня знобило — вероятно, от того, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю. Но на измученном лице, которое я уже ясно различал в свете сумерек, снова уже появилось напряженное выражение.

— Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг я почувствовал легкое прикосновение. Я вскочил. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

— Сюда хотят войти... хотят видеть ее...

— Не пускать никого!

— Да... но...

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Верное животное испытывало какое-то страдание.

— Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. А потом он сказал, — он не назвал имени... откуда берется вдруг в таком низшем существе столько понимания? Почему в иные мгновения удивительное чувство такта осеняет подобных совершенно темных людей?.. он сказал... тихо и боязливо:

— Это он.

Я вскочил, понял сразу, и меня охватило жгучее желание и нетерпение увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно... но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем... забыл, что в деле замешан еще один мужчина... человек, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне... За двенадцать, за двадцать четыре часа до этого я ненавидел этого человека, мог бы разорвать его на куски... Но теперь... я не могу, не могу передать вам, как меня тянуло увидеть его... полюбить его за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял молодой, совсем молоденький офицер, блондин, очень неловкий, очень стройный, очень бледный. Он выглядел совсем ребенком, так... так трогательно молод он был... и несказанно потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выправку... скрыть свое волнение... Я сразу заметил, что у него дрожала рука, когда он поднес ее к фуражке... Мне хотелось обнять его... потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной... не соблазнитель, не гордец... нет, полурбенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Маленькие усики над губой предательски вздрагивали... этот юный офицер, этот ребенок должен был сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться.

— Простите, — сказал он наконец, — я хотел еще раз... увидеть... госпожу...

Невольно, сам не замечая этого, я положил ему, чужому человеку, руку на плечо и повел его, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом... в этот миг между нами уже зародилось сознание какой-то общности... Я повел его к ней... Она лежала, белая, в белых простынях, я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняло его... поэтому я отошел назад, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели... дрожащими шагами, волоча за собой ноги... по тому, как поднимались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему грудь... он шел... как человек, идущий против чудовищной бури... И, вдруг, упал на колени перед постелью... так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял и усадил в кресло. Он больше не стыдился и разразился рыданиями. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку... с каким-то страхом... и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд...

— Скажите мне правду, доктор, — пробормотал он, — она не наложила на себя руки?

— Нет, — повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться из горла крик: «Я! Я! Я!.. И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!»

Но я удержался и повторил еще раз:

— Нет... никто не виноват... Это был рок!

— Мне не верится, — простонал он, — не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Это невысказанно, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я ее тайны. Все эти дни мы, как два брата, беседовали с ним, словно озаренные связывавшим нас чувством... мы друг другу не веряли его, но каждый из нас чувствовал, что жизнь другого тесно связана с этой женщиной... Иногда запретное слово го-

тово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы, и никогда он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него... что я должен был убить этого ребенка, его ребенка... и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него... потому что — я забыл это вам сказать — меня разыскивали... Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт... он не хотел верить официальной версии... ходили какие-то слухи... и он искал меня... Но я не мог решиться на встречу с ним... увидеть его, человека, как я знал, заставлявшего ее страдать... я спрятался... четыре дня не выходил я из дома, четыре дня мы оба не покидали квартиры... Ее возлюбленный купил для меня на чужое имя место на пароходе, чтобы я мог бежать... Словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал... Я бросил там, в глуши, все, что у меня было... свой дом и работу, на которую потратил семь лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы... а начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост... Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе... в этом мире, где все напоминает мне о ней... Как вор, бежал я ночью... только чтобы уйти от нее... забыть...

Однако... когда я вступил на борт... ночью... в полночь... мой друг был со мной... тогда... тогда... как раз поднимали что-то краном... что-то продолговатое, черное... Это был ее гроб... Вы слышите: ее гроб... Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее... и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, был тоже тут... Он сопровождал тело в Англию... может быть, он хочет произвести там вскрытие... Он овладел ею... теперь она опять принадлежит ему... Уже не нам... нам обоим... Но я еще здесь... Я пойду за ней до конца... Он не узнает, он не должен никогда узнать... Я сумею защитить ее тайну от всякого посягательства... от этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть... Ничего, ничего ему не узнать... ее тайна принадлежит мне, только мне одному...

Понимаете вы теперь... понимаете вы... почему я не могу видеть людей... не выношу их смеха... когда они флиртуют и

ходят парочками... потому что там, внизу... внизу, в трюме, между тюками чая и кокосовыми орехами, стоит ее гроб... Я не могу пробраться туда, там заперто... но я чувствую это, чувствую каждую секунду... чувствую и тогда, когда здесь играют вальсы и танго... Это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвых: под любой пядью земли, на которую мы наступаем ногой, гниет труп... Но все-таки я не выношу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются... Я чувствую здесь эту мертвую и знаю, чего она от меня хочет... я знаю, на мне еще лежит долг... я еще не кончил... Ее тайна еще не погребена... она еще не отпускает меня...

* * *

На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые метлы — матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый врасплох; на истерзанном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал:

— Мне пора... пойду уж.

Мучительно было на него смотреть — страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от алкоголя или от слез. Его стесняло мое участие; я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в минувшую ночь. Невольно я сказал:

— Вы позволите мне зайти после обеда к вам в каюту...

Он посмотрел на меня, жесткая усмешка исказила его губы. С какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово:

— Э-ге... наш знаменитый долг... помогать... Э-ге... этим самым словом вы и подзадорили меня на болтовню. Ну нет, сударь, спасибо. Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче, после того как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности. Жизнь свою я проворонил, и никто мне ее не починит... Вышло так, что напрасно я трудился для почтенного голландского правительства... Пенсия — тю-тю, бездомным псом возвращаюсь я в Европу... псом, с визгом плетущимся за гробом... Безнаказанно не бегут в бреду амока: рано или поз-

дно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уже близок... Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить... Я уже завел себе приятелей в своей каюте... две-три бутылки доброго старого виски... они меня иногда утешают... а затем, мой старинный друг, у которому я, к сожалению, своевременно не обратился, мой славный браунинг... он-то уж поможет лучше всякой болтовни... Прошу вас, не утруждайте себя... у человека всегда остается его последняя возможность — околоть, как ему вздумается... и при этом отклонить всякую постороннюю помощь.

Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал — в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и расслабленной походкой по уже светлой палубе к кактам. Больше я его не видел. Напрасно искал я его в ближайшие ночи на обычном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурным флером на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне подтвердили, что он действительно только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он, с суровым, измученным лицом, прогуливался в стороне от других, и мысль, что я знаю его сокровенные думы, несказанно волновала и пугала меня; я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь неосторожным взглядом выдать, что я знаю о его судьбе больше, чем он сам.

* * *

В порту Неаполя произошел после этого тот необычный несчастный случай, объяснение которого нужно, мне кажется, искать в рассказе доктора. Большинство пассажиров вечером съехало на берег, я сам отправился в оперу, а оттуда в одно из ярко освещенных кафе на Виа-Рома. Когда мы в ялике возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали

что-то вокруг корабля, а наверху в темноте таинственно ходили по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что ему приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без малейшего следа какого-либо происшествия пошел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать; и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о несчастном случае в Неаполе. В ту ночь, писали газеты, в поздний час, чтобы не смущать печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб знатной дамы из голландских колоний. Носильщик спускался с ним по веревочной лестнице, а муж покойной помогал ему, держа за веревку. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с высоты борта и увлекло за собой и гроб и обоих людей в воду. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама, от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли из воды носильщика и мужа покойной, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного сорокалетнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не была связана с романтически описанным происшествием; но передо мной, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа бледное, как месяц, лицо со сверкающими стеклами очков.





ЖЕНЩИНА И ПРИРОДА

Э то роковое лето, благодаря знойной засухе и неурожаю во всей стране, еще долгие годы страшным призраком бродило в памяти населения. Уже в июне и июле редкие ливни скупно орошали алчущие поля, но с тех пор как календарь перешагнул в август месяц, ни одной капли не проронило небо на землю, и даже тут, на возвышенной тирольской долине, где я, в числе многих других, надеялся найти прохладу, шафранно-желтый воздух был насыщен пылающим зноем и пылью. С раннего утра желтое солнце подымалось на пустом небе и тупо устремляло лихорадочный взор на поблекшую землю. Проходили часы, беловатый, гнетущий пар подымался из медного котла полуденного зноя, и томление охватывало долину. Вдали мощно высились Доломиты, и снег, свежий и чистый, радовал глаз своим блеском, напоминая о прохладе; и было больно глядеть на них и мечтать о ветре, быть может овевающим эти вершины, в то время как здесь, в раскаленной котловине, жадный жар нагромождался днем и ночью и тысячами губ поглощал всю влагу. Постепенно замирали движение и жизнь в этом гибнущем мире завядших растений, чахнувшей зелени и иссякающих ручьев. Медленно, лениво тянулись часы. Я, как и другие, проводил эти нескончаемые дни в комнате с опущенными шторами, полураздетый, в безвольном ожидании перемен, в тупом, бессильном томлении по дождю и грозе. Но вскоре погасло и это желание, уступив место тупому безволию, в какое были погружены засыхающие травы и лес, неподвижно застывший под пеленой пара в тяжелом сне.

Но жара усиливалась с каждым днем, а дождя все не было. С раннего утра до вечера палило солнце, и его желтый истязующий взор напоминал тупое упорство умалишенного. Казалось, вся жизнь готова остановиться: все затихло, звери умолкли, с побелевших полей доносился только тихий, поющий звон парящего над ними зноя, только жужжащее кипение сторающей природы.

Я хотел было уйти в лес, где мерцали голубые тени среди деревьев; там можно было полежать и укрыться от этого желтого упорного взора; но даже эти несколько шагов казались мне утомительными. И я продолжал сидеть в соломенном кресле перед входом в гостиницу, втиснутый в узкую полосу тени, которую бросала на песок выступающая часть крыши. Я подвинулся, когда узкий квадрат тени сжался и солнце подобралось к моим рукам; затем я снова прислонился к спинке кресла и тупо устремил взор в тупой блеск, не чувствуя времени, без желаний, без воли. Время расплавлялось в этой ужасающей духоте, часы расплывались, растворялись в знойных, бессмысленных грезах. Я ничего не чувствовал, кроме обжигающего прикосновения воздуха к моим порам извне и лихорадочного биения крови внутри.

Но вдруг мне почудилось, будто, неведомо откуда, в воздухе пробежало дуновение — тихое-тихое, словно горячий вздох истомленной природы. Я напряженно прислушивался. Не дуновение ли ветра? Я не мог вспомнить, каким он бывает, — давно уже иссохшие легкие не вдыхали его прохлады. Я еще не чувствовал его прикосновения в своем затененном углу, но деревья там, на склоне холма, видимо, почуяли его приближение: они тихо-тихо зашелестели, будто перешептываясь между собой; тени между ними зашевелились, заметались, будто живые; и вдруг где-то вдали, в вышине, раздался низкий вибрирующий звук. И действительно, ветер пробежал по долине, поднялся шепот и шелест, гул и движение: с каждым мгновением рос этот шум, как бы бушующий гул органа, и вот, наконец, раздался мощный удар. Будто гонимые внезапным страхом, поднялись над дорогой дымные облака пыли и понес-

лись все в одном направлении; птицы, укрывавшиеся где-то в тени, шелестя крыльями, взлетели, замелькав в воздухе черными пятнами; лошади зафыркали, стряхивая с ноздрей пену, и вдали на лугу замычал и заблеял скот.

Пробудилось что-то мощное, и вот — оно приближалось. И земля, и лес, и звери почуяли эту мощь, и небо затянулось легким серым флером.

Я дрожал от волнения. Моя кровь кипела от тонких уколов жары, мои натянутые нервы готовы были заскрипеть; впервые я испытывал такое наслаждение от прикосновения ветра, такое страстное желание грозы. И она приближалась, она надвигалась, росла и вот-вот готова была разразиться. Медленно ветер подталкивал мягкие клубки облаков, за горами что-то пыхтело и кряхтело, как будто кто-то катил непосильную тяжесть. Изредка это пыхтение прекращалось, будто от усталости. И тогда тихо трепетали насторожившиеся ели, и мое сердце трепетало вместе с ними. Куда ни взглянешь, всюду та же напряженность; земля расширила свои трещины: они раскрылись, как маленькие пасти, жаждущие влаги, так раскрывались и поры моего тела, чтобы принять прохладу и освежающую, трепетную сладость дождя. Судорожно сжимались мои пальцы, как бы стремясь схватить несущиеся тучи и заставить их скорее пролиться над изнемогающим миром.

И вот они лениво надвигаются, толкаемые невидимой рукой, как круглые вздутые мешки: черные, отягощенные дождевой влагой, сталкиваясь и ворча, они шумно стукались друг о друга, как громоздкие, твердые предметы: легкая молния, как чиркнувшая спичка, сверкала над их черной поверхностью, и грозно вспыхивал над ними голубой свет. Все теснее они надвигались, все чернее нависала их тяжесть. Как железный занавес в театре, все ниже и ниже опускалось свинцовое небо. Теперь уже весь горизонт был окутан черной пеленой; теплый воздух неподвижно сгустился; наступили последние минуты ожидания, немые и зловещие. Все было подавлено черной тяжестью, нависшей над глубиной: птицы уже не щебетали; бездыханные, высились деревья, и даже былинки не

смели шевелиться; небо, словно металлический гроб, поглотило знойный мир, в котором все замерло в ожидании первой молнии. Затаив дыхание, я стоял, судорожно сжав руки, преисполненный сладостной тревоги, не в силах пошевелиться. Я слышал, как за моей спиной двигались люди: одни поспешно возвращались из леса, другие выходили из двери отеля, горничные спускали жалюзи и с шумом закрывали окна. Все вдруг засуетилось, заволновалось, все к чему-то готовилось. Я один стоял без движения, без слов, дрожа, как в лихорадке. Мое напряженное ожидание готово было вылиться в крик, — он подступал уже к горлу, — в крик восторга навстречу первой молнии.

И вдруг я услышал за своей спиной вздох, вырвавшийся из чьей-то измученной груди, и как бы вкрапленный в него умоляющий возглас: «Скорее бы дождь!» Так дико, так стихийно прозвучал этот голос, этот взрыв подавленного чувства, будто из надтреснутых губ жаждущей земли раздался этот возглас; будто истерзанный ландшафт, задыхаясь под гнетом свинцового неба, исторг из своей груди этот стон. Я оглянулся. За мной стояла девушка, видимо, произнесшая эти слова. Ее тонко очерченные губы были еще полуоткрыты, и ее рука, державшаяся за дверь, слегка дрожала. Не ко мне были обращены эти слова и ни к кому другому. Как над пропастью, она склонилась над ландшафтом, и ее неподвижный взгляд не отражал нависшей над елями темноты. Пуст и темен был этот взгляд, как бездонная глубь, неподвижно обращенная к глубокому небу. Он жадно устремлялся ввысь, в сгустившиеся тучи, в нависавшую грозу — меня он не задевал. Я мог спокойно рассмотреть незнакомую девушку. Я видел, как подымалась ее грудь, как душила ее какая-то сила, стремившаяся вырваться наружу, как пробежал трепет по нежной, открытой шее, как задрожали, наконец, и раскрылись жаждущие губы и снова произнесли: «Скорее бы дождь!» И опять прозвучали эти слова вздохом всей истомленной зноем земли. Будто сновидение, стояла она, устремив в пространство неподвижный взор, и облик ее, вызывая мысль о сновидении, напоминал

сомнамбулу. Вся белая, в светлом одеянии на фоне свинцового неба, она казалась воплощением жажды и томления изнемогающей природы.

Что-то тихо зашевелилось в траве. Что-то застучало по карнизу. Что-то захрустело в горячем щебне. Повсюду раздавался легкий шелест. И вдруг я понял: это были капли, тяжело падавшие капли, благословенные предвестники большого, шумящего, охлаждающего дождя. Да, начинается! Началось! Какой-то дурман, какое-то блаженное опьянение охватило меня. Я ожил. Я вскочил, подставил руку. Тяжелая освежающая капля упала на мои пальцы. Я сорвал шляпу с головы, чтобы сильнее чувствовать прикосновение насыщенного влагой воздуха к волосам и ко лбу; я дрожал от нетерпения ощутить вокруг себя этот шум, почувствовать его влагу на себе, на своей разогретой, высушенной коже, в раскрытых порах, глубоко-глубоко, вплоть до разгоряченной крови. Они были еще скудны, эти гулко падающие капли, но я уже предвкушал тяжесть их безудержного потока, я уже слышал шум и гул раскрытых шлюзов, я уже ощущал блаженство минуты, когда небо разверзнется над лесом, над духотой сожженного мира.

Но странно: капли не учащались, их можно было пересчитать: раз, раз, раз, раз; со всех сторон раздавался легкий свист, хруст, жужжание, но все эти звуки не соединялись в стройный хор шумной музыки дождя. Робко падали капли: одна за другой, все тише и тише, и вдруг шум окончательно прекратился. Как будто умолкло внезапно тиканье часов, и будто время приостановилось. Сердце мое, горящее нетерпением, обомлело. Я ждал, ждал, но напрасно. Небо глядело, нахмутив лоб, неподвижно и мрачно; мертвенная тишина наступила на несколько мгновений, и мне почудилось, что легкая насмешливая улыбка разлилась по его лицу. На западе засветились выси, стена туч постепенно раздвигалась, с тихим шумом они стали удаляться. Все прозрачнее и прозрачнее становилась ее глубина, и насторожившаяся природа, сливавшаяся с прояснившимся горизонтом, была охвачена горьким чувством.

Гневный трепет пробежал по деревьям; они наклонились, как бы сторбились, опустили свои зеленые руки, только что жадно протянутые, а теперь омертвевшие. Все прозрачнее становилась облачная завеса, злая, зловещая ясность стояла над бесильным миром. Все утихло. Гроза рассеялась.

Я дрожал всем телом. Гнев меня обуял; бессмысленное возмущение бессилия, разочарования, возмущение против предательства. Мне хотелось кричать, неистовствовать. Я горел желанием разбить что-нибудь, сделать что-нибудь злое, роковое. Меня обуревала бессмысленная жажда мести. Я переживал мучения всей разочарованной природы: ощущал в себе томление каждой травинки, зной улиц и леса, жар известняка, жажду всего обманутого мира. Мои нервы были натянуты, как проволока, я почувствовал их электрическое напряжение в этой сгущенной атмосфере; точно маленькие огоньки, они пылали под натянутой кожей. Все причиняло мне боль; каждый звук казался мне уколом, все было как бы окружено пламенем, и взор, куда бы он ни обращался, ощущал ожог. Все мое существо до самой глубины было охвачено возбуждением; я чувствовал, как инстинкты, обычно неосознаваемые, раскрылись, как множество маленьких ноздрей, и каждая из них вдыхала пламя. Я не мог различить, где кончалось мое собственное возбуждение и где начиналось возбуждение окружающего мира; тонкая мембрана ощущений, отделявшая меня от него, была разорвана; все слилось в одно общее чувство возбуждения и разочарования, и, устремив лихорадочный взор в долину, постепенно засветившуюся множеством огней, я чувствовал, как каждый маленький огонек загорался во мне, как каждая звезда обжигала мое тело. Безграничное лихорадочное возбуждение царило во мне и вокруг, и магически болезненно я ощущал, как все вокруг набухало, сгущаясь во мне и разгораясь пламенем вне меня. Мне казалось, что объято пламенем таинственное живое зерно, единое во множестве существ. Все чувствовал я с магической остротой: и гнев каждого листка, и тупой взгляд собаки, с опущенным хвостом бродившей у дверей, — все я осязал и все причиняло мне боль. Почти физиче-

ски я ощущал в себе этот жар: я коснулся пальцами двери, и мне почудилось, что она зашипела под ними, как трут, и запахло гарью.

Зазвенел гонг, призывая к ужину. В глубине моего существа отразился его металлический звук, он тоже причинил мне боль. Я обернулся. Куда подевались люди, так недавно томившиеся здесь в страхе и волнении? Где она, стоявшая здесь, как олицетворение истомленного мира, — я совершенно забыл о ней в смутные минуты разочарования. Все исчезло. Я был один среди умолкнувшей природы. Еще раз охватил мой взор выси и дали. Небо было пустое, туманное. Звезды покоились под туго натянутой вуалью, восходящая луна сияла злым блеском кошачьего глаза. Тускло было вверху, насмешливо, зловеще, а внизу, в глубинах обманчивой твердью, темнотой наступала ночь, насыщенная фосфором, как будто тропическое море, дышащее мучительно и сладострастно, словно разочарованная женщина. В последний раз засияли в вышине угасающие лучи, а внизу уже стелился душный, томительный, тяжелый мрак. Враждебно вглядывались друг в друга две глубины — жуткая, немая борьба между небом и землей. Я дышал учащенно и вдыхал волнение. Я коснулся травы — она была суха, как дерево, и хрустела меж пальцев.

Снова раздался гонг. Тягостен был мне этот мертвый звук. Мне не хотелось есть, не хотелось видеть людей, но одиночество и духота на террасе становились невыносимы. Свинцовое небо глухо давило мне грудь, и я чувствовал, что не в силах выдерживать эту тяжесть. Я вошел в столовую. Все уже сидели за своими столиками. Они тихо разговаривали между собой, но даже тихий звук был слишком резок для моего слуха. Все становилось мучительным, все раздражало натянутые нервы: легкий шелест губ, бряцание ножей и вилок, звон тарелок, каждый жест, каждое дуновение, каждый взгляд. Все задевало меня, все причиняло боль. Я должен был употребить усилие, чтобы удержаться от какого-нибудь безумного поступка. Я чувствовал по биению пульса: меня охватила лихорадка. Я разглядывал каждого из присутствующих и к каждому из них

чувствовал ненависть: как могут эти обжорливые люди сидеть так мирно и спокойно, когда я пылаю, будто в огне!

Зависть овладела мною при виде этого сытого и уверенного покоя, безучастного к мучениям целого мира, к бессильному гневу, взволновавшему грудь истомленной земли. Всех я обвел глазами: не найдется ли среди них хоть одна сочувствующая душа? Но все были тупы и беззаботны. Здесь собрались только отдыхающие спокойные, уравновешенные люди — все бодрые, бесчувственные, здоровые, и только я — больной, охваченный лихорадочным жаром вселенной.

Мне подали ужин... Я попробовал есть, но кусок не лез мне в горло. Всякое прикосновение становилось невыносимым. Я был насыщен духотой, испарением страдающей, больной, измученной природы.

Рядом со мной кто-то пододвинул стул. Я содрогнулся. Каждый звук обжигал меня, как раскаленное железо. Я оглянулся. Там сидели незнакомые люди — новые соседи, которых я еще не знал. Пожилой господин с женой — мещански уравновешенные люди с круглыми спокойными глазами и жующими ртами. Но против них, вполоборота ко мне, сидела молодая девушка, по-видимому, их дочь. Мне была видна только белая тонкая шея, и над ней, как стальной шлем, синевато-черные роскошные волосы. Она сидела неподвижно, и ее оцепенение подсказало мне, что это та самая девушка, которая стояла на террасе, позади меня, и ожидала дождя, как увядающий белый цветок. Ее маленькие болезненно-хрупкие, беспокойные пальцы бесшумно играли ножом и вилкой, и окружавший ее покой действовал на меня благотворно. Она тоже не притронулась к еде и только раз быстрой и жадной рукой схватила стакан. И по этому порывистому движению я радостно угадал, что и она охвачена мировой лихорадкой, и мой взор дружелюбно и растроганно коснулся ее шеи. Итак, я нашел человека, одного-единственного среди всей этой толпы, который не оторван окончательно от природы, который причастен к мировому пожару, и мне захотелось подать ей весть о нашем братстве. Мне хотелось крикнуть ей: «Почувствуй меня! Почувствуй»

вуй меня! Я тоже горю, я тоже страдаю! Услышь меня, услышь!» Я окружил ее магнетическим пламенем желания. Я впился взором в ее спину, издали ласкал ее волосы, я звал ее губами, мысленно прижимал ее к себе, не сводил с нее глаз, устремив на нее весь свой лихорадочный жар в надежде найти в ней дружеский отклик. Но она не обернулась. Она оставалась неподвижной, как статуя, холодная и чужая. Никто не хотел мне помочь. Даже она не услышала меня. И в ней я не нашел отражения мировой муки. Я сгорал один.

Я был не в силах далее выносить эту гнетущую, захватившую все духоту. Запах теплых блюд, жирных и приторных, мучил меня, каждый шорох действовал мне на нервы. Кровь бурлила во мне, я был близок к обмороку. Все слилось во мне в безысходное томление по прохладе и простору, и эта тупая близость людей давила меня. Рядом со мной было окно. Я широко распахнул его. И странно: опять все было окутано тайной, и беспокойные вспышки в моей крови растворялись в безграничности ночного неба. Светло-желтым пятном сияла луна, как воспаленный глаз в красном кольце дыма, и над полями призрачно бродил бледный туман. Лихорадочно трещали сверчки, будто металлические струны были протянуты в воздухе, распространяя пронзительный звон. Иногда тихо и бессмысленно раздавался крик жабы; лаяли и громко выли собаки; где-то вдаль ревели звери, и я вспомнил, что в такие ночи лихорадка отравляет молоко у коров.

Природа была больна; в ней чувствовалось то же неистовство озлобления, и я смотрел из окна, как в зеркало, отражающее мои чувства. Все мое существо было устремлено туда: тяжесть, давившая меня, слилась с тяжестью природы в немом влажном объятии.

Снова задвигали стульями рядом со мной, и снова я содрогнулся. Ужин был окончен, люди шумно поднялись. Соседи мои тоже встали и прошли мимо меня. Первым прошел отец, спокойный и сытый, с приветливым улыбающимся взором, за ним последовала мать и, наконец, за нею дочь. Теперь только я увидел ее лицо. Оно было желтовато-бледное, того же тускло-

го болезненного цвета, как и луна; губы, как и прежде, были полуоткрыты. Она ступала бесшумно, но тяжело. Была в ней какая-то вялость, изнеможение, удивительно напоминавшее мне мое собственное состояние. Я ощутил ее приближение и заволновался. Во мне зашевелилось желание встать ближе к ней, коснуться ее белого платья, почувствовать аромат ее волос. И вот она взглянула на меня. Холодный и мрачный ее взгляд пронзил меня, засел глубоко, и мрак расстелился передо мною, заслоняя ее светлый облик. Мне казалось, я падаю в пропасть. Она приблизилась еще на один шаг, но этот взгляд не покидал меня; он, как черное копье, все глубже и глубже вонзался в меня. Вот его острие коснулось моего сердца, и биение его остановилось. На одну-две секунды задержала она свой взгляд на мне, затаившем дыхание, — всего несколько мгновений, — и я почувствовал, что загипнотизирован черным магнитом ее зрачка. Она прошла мимо. И сейчас же я ощутил, будто из раны устремилась моя кровь и горячо разлилась по всему телу.

Что это было? Я будто очнулся от глубокого сна. Верно лихорадка помрачила мой рассудок, если я мог потеряться в случайно брошенном взгляде женщины? Но не прочел ли я в этом взгляде то же немое неистовство, ту же изнывающую, безумную, томительную жажду, которая чудилась мне везде и повсюду — во взоре красной луны, в пересохших губах земли, в воющем крике животных, — ту жажду, которая дрожала и во мне? О, как дико смешалось все в этой магической, душной ночи; как все растворилось в едином чувстве ожидания и нетерпения! Мое ли это было безумие, безумие ли всего мира? Я был взволнован, я жаждал ответа, и я последовал за ней на террасу. Она сидела рядом с родителями, спокойно прислонившись к спинке кресла. Неуловим был ее опасный взор под опущенными веками. Она читала книгу, но я ей не верил. Я знал: если она разделяет мои страдания, если она переживает бессмысленную муку изнывающего мира, она не может отдыхать в спокойном раздумье; это игра в прятки: она прячется от чужого любопытства. Я сел напротив нее, устрем-

мив на нее пристальный взгляд, и лихорадочно ждал ее взгляда: не вернется ли он, околдовавший меня, не выдаст ли мне свою тайну? Но она не шевельнулась. Рука равнодушно перелистывала страницу за страницей, и взор ее оставался скрытым. А я сидел напротив и ждал, ждал с жгучим нетерпением. Какая-то загадочная сила напряглась во мне, подобно мускулу, мощная, почти физическая сила, стремившаяся сломить это притворство. Среди людей, уютно беседующих, курящих, играющих в карты, происходила между нами немая борьба. Я чувствовал, что она, подавляя желание, заставляла себя не глядеть, но чем упорнее она сопротивлялась, тем сильнее становилось мое упрямство. И я был силен, потому что бушевало во мне ожидание всей истомленной земли и жгучий зной обманутого мира. И как наступала на поры моего тела влажная духота ночи, так моя воля боролась с ее волей, и я знал: сейчас она должна взглянуть на меня, должна.

В гостиной кто-то заиграл на рояле. Тихо доносились к нам звуки беглых пассажиров; по ту сторону люди шумно смеялись над какой-то глупой шуткой. Все я слышал, видел все, что происходило вокруг, в то же время ни на минуту не забывая своей цели. Я громко считал секунды, не спуская пристального взгляда с ее век и стараясь внушением заставить ее поднять упрямо опущенную голову. Проходили минуты, — все еще доносились к нам переливы музыки, — и я чувствовал, что силы начинают меня покидать, как вдруг она поднялась и в упор взглянула на меня, прямо на меня. Это был тот же безграничный взор, черная, страшная, засасывающая пустота, жажда, поглощавшая меня без сопротивления. Я пристально смотрел в эти зрачки, будто в черное отверстие фотографического аппарата, и чувствовал, как исчезает в нем мой облик, растворяясь в чужой крови, как я отрываюсь от самого себя. Пол зашатался под моими ногами, и я ощутил всю сладость головокружительного падения. Высоко надо мной все еще раздавались звенящие пассажи, но я уже не различал, откуда льются эти звуки. Кровь отлила. Дыхание остановилось. Невыносимой тяжестью давили меня эти минуты, эти часы, эта

вечность, и вот ее веки опустились. Я вынырнул, как утопающий из воды, дрожа от холода, от перенесенной опасности.

Я оглянулся. Среди других, склонившись над книгой, прямо напротив меня, тихо сидела стройная девушка, неподвижно, словно нарисованная, и только под тонкой одеждой, слегка дрожали ее колени. Дрожали и мои руки. Я знал, что снова начнется сейчас эта сладострастная игра ожидания и сопротивления, что пройдет несколько напряженных минут — и снова я внезапно окунусь в черное пламя ее взора. В висках стучало, кровь кипела во мне. Я не мог дольше выносить этого состояния. Я встал и, не оглядываясь, вышел.

Широко раскинулась ночь перед сияющим домом. Долина казалась потонувшей, и небо чернело и сверкало влажно, как мокрый мох. И тут не было прохлады — всюду то же угрожающее сочетание жажды и опьянения, то же, что и в моей крови. Что-то влажное, нездоровое, как испарения лихорадки, тяжело нависло над полями, испускавшими молочно-белые пары; призрачные вспышки пламени бродили вдаль, сверкая в отяжелевшем воздухе; вокруг луны лежало желтое кольцо, и взор ее был злобен. Я чувствовал крайнюю усталость. Увидев забытое здесь соломенное кресло, я опустился в него и, вытянувшись, почувствовал такое облегчение, будто члены моего тела покинули меня. Прислонившись к мягкой соломе, я вдруг ощутил духоту благодатной. Она больше не мучила меня: нежно, сладострастно она прикасалась ко мне, и я не сопротивлялся. Я только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть, чтобы сильнее ощутить природу и окружающую меня жизнь. Как полип, как мягкое, гладкое, сосущее существо, охватила меня ночь, касаясь меня тысячами губ. Я лежал и чувствовал, что уступаю, отдаваясь чему-то, меня обнявшему, охватившему, окружившему, сосущему мою кровь, и впервые я чувственно постиг в этих душных объятиях персживания женщины, растворяющейся в нежном, любовном экстазе. Жуткую радость испытал я в этом непротивлении, передавая свое тело объятию вселенной: сладостно было нежное прикосновение невидимого к моей коже: оно проникало в глубь моего существ-

ва, сковывало члены, и я не боролся с этим усыплением внешних чувств. Меня постепенно охватывало новое переживание, и неясно, словно во сне, я ощущал, что эта ночь и тот взор, женщина и природа, слились в одну необъятность, в которую сладостно было погружаться. Минутами мне казалось, что этот мрак — это она, что теплота, согревающая меня, — ее тело, растворившееся в этой ночи вместе с моим, и, чувствуя ее и во сне, я терялся в этой темной, теплой волне сладострастного самозабвения.

Вдруг что-то испугало меня. Я напряг все свои силы и не мог прийти в себя. И тут я увидел, я понял, что, полулежа с закрытыми глазами, я заснул. Должно быть, я проспал час, быть может, два: свет на террасе гостиницы погас, и все было погружено в сон. Влажные волосы прилипали к моим вискам; как горячая роса, опустился на меня этот сон без сновидений. Я поднялся, чтобы найти дорогу к дому. Смутны были мои чувства, но так же смутно было вокруг меня. Вдали гремело, и редкие зарницы грозно вспыхивали в небе. Воздух был насыщен блеском искр, за горами сверкали предательские молнии, и во мне фосфорически светились воспоминания и предчувствия. Я бы охотно остался, чтобы опомниться и предаться сладостному разгадыванию тайны своих ощущений. Но час был поздний, и я вошел.

Терраса была пуста. Кресла еще стояли в беспорядке при тусклом свете свечи. Призрачной казалась их немая пустота, и невольно в одно из них я впустил нежный стан странного существа, которое так смутило меня своим взором. В глубине моей души он еще жил — этот взор. Он был подвижен, и я чувствовал, как он блистал из мрака; таинственное предчувствие чуяло его где-то здесь, в этих стенах, и бродило у меня в крови неясным ожиданием. Мне было душно. Стоило мне закрыть глаза, как под веками вспыхивали красные искры. Еще сверкал во мне белый, знойный день, еще трепетала эта сырая, сияющая, сверкающая фантастическая ночь.

Но я не мог оставаться здесь, на террасе. Было темно и одиноко. Я нехотя поднялся по лестнице. Было во мне какое-то

сопротивление, которого я не мог побороть. Я был утомлен, но мне казалось, что лечь спать еще рано. Какое-то таинственное ясновидение обещало мне приключение, и во мне зародилось желание увидеть что-нибудь живое, согревающее. Будто тонкие щупальца выросли у меня, пока я пробирался по лестнице: я прикоснулся ко всем комнатам, и, как прежде все мои чувства были направлены на природу, так теперь я перебросил их внутрь дома; я чувствовал сон и спокойное дыхание множества людей, тяжелую циркуляцию их густой, черной крови, их благодушный покой, тишину и в то же время присутствие какой-то магнетической силы. Мне чудилось здесь что-то бодрствующее вместе со мной. Был ли это тот взор, была ли это природа, которые все лили в меня это тонкое, жгучее безумие? Мне казалось, что сквозь стены я ощущаю прикосновение чего-то мягкого; маленький, беспокойный огонек трепетал во мне, дразнил кровь и не угасал. Нехотя я поднимался по лестнице, останавливался на каждой ступеньке и вслушивался — не только слухом, но всем своим существом. Ничто бы меня не удивило; все во мне ожидало чего-то небывалого, неслышанного; я знал: эта ночь не завершится без чего-то чудесного и духота должна разразиться молнией. Еще раз, стоя у перил лестницы, я ощутил в себе весь истомленный мир, вздыхающий по грозе. Но ничто не шевельнулось. Только тихое дыхание бродило по уснувшему дому. Усталый и разочарованный, я поднялся на последние ступени; моя одинокая комната страшила меня, как гроб.

Тускло блестела в темноте ручка двери, влажная и теплая. Я вошел. Распахнутое настежь окно открывало черный четырехугольник ночи — верхушки густых елей и между ними кусок облачного неба. Темно было внутри и снаружи — в мире и в комнате, но странно и непонятно: у оконной рамы светлело что-то узкое, прямое, как затерявшаяся полоска лунного света. Я в удивлении приблизился, чтобы разглядеть, что это блестит так ярко в безлунной ночи. Я приблизился, и светлое пятно зашевелилось. Я изумился, но не испугался: в эту удивительную ночь я был готов к самым фантастическим собы-

тиям; все было уже предчувствовано — все явившееся в сновидении. Никакая встреча меня бы не поразила и меньше всего — эта встреча. И действительно: это была она — та, о ком я бессознательно думал на каждой ступеньке, при каждом шаге, который я делал в этом спящем доме, и чье бодрствование мои возбужденные чувства воспринимали сквозь стены и двери. Облаком представилась она мне, окутанная, словно туманом, ночным одеянием. Она прислонилась к окну, и, всем существом обращенная к природе, будто отраженная в мерцающем зеркале ее загадочной бездны, она казалась сказкой: Офелия над прудом.

Я подошел ближе, смущенный и взволнованный. Шум, должно быть, дошел до нее. Она повернулась. Ее лицо было затемнено. Я не знал, видела ли она меня, слышала ли мои шаги: в ее движении не было ни резкости, ни испуга, ни сопротивления. Все было тихо вокруг. Раздавалось только тиканье карманных часов, висевших на стене. Вдруг, еле слышно и неожиданно, в тишине прозвучали слова:

— Я так боюсь.

С кем она говорила? Узнала ли она меня? Ко мне ли она обращалась? Или говорила во сне? Это был тот же голос, тот же дрожащий звук, который трепетал сегодня на террасе при виде надвигающихся туч, еще до того, как встретил меня ее взгляд.

Странно было все это, но я не был ни удивлен, ни смущен. Я подошел к ней, хотел успокоить, взял ее за руку. Рука была горяча и суха, как трут; слабо зашевелились в моей руке ее пальцы. Все в ней было вяло, беспомощно, безжизненно. И только губы прошептали еще раз, как будто издали:

— Я боюсь! Я так боюсь!

И тихо вздохнула она, как будто задыхаясь:

— О, как душно!

Эти слова, произнесенные шепотом и будто вдали, прозвучали тайной между нами. И все же я чувствовал: они были обращены не ко мне. Я схватил ее за руку. Она не сопротивлялась, лишь слегка задрожала, как деревья тогда, в ожидании

грозы. Я крепче прижал ее к себе. Без сопротивления, словно теплая, ниспадающая волна, коснулись ее плечи моей груди. Теперь, наконец, я прикасался к ней. Я вдыхал зной ее кожи, влажный аромат ее волос. Я не двигался, она молчала. Странно было все это, и любопытство мое разгоралось. Постепенно росло мое нетерпение. Я коснулся губами ее волос — она не сопротивлялась. Тогда я поцеловал ее губы — они были сухи и горячи — и, едва я поцеловал ее, они вдруг раскрылись, будто вбирая влагу, но без жажды, без страсти, как у ребенка, сосущего спокойно, вяло, ненасытно. Полной томления ощутил я ее. Как ее губы, прильнуло ко мне ее стройное, теплое, сквозь легкое одеяние трепещущее тело, и прикосновение его напоминало мне только что испытанное прикосновение ночи — бессильное, спокойное, но полное упоения и жажды. И вот, держа ее в своих объятиях, — мысли бродили ярко и беспорядочно, — я ощутил теплую, влажную землю, изнывающую в трепетной жажде освобождения, ощутил бессильную, знойную, пылающую природу. Я целовал и целовал ее, и мне казалось, будто я обнимал весь огромный душный, истомленный мир, будто жар, которым пылали ее щеки, был испарением полей, будто ее мягкой теплой грудью дышала трепещущая земля.

И вот, когда мои блуждающие губы были готовы прикоснуться к ее векам, к глазам, черную вспышку которых я так трепетно ощутил, когда я поднялся, чтобы заглянуть ей в лицо и насладиться его созерцанием, я с изумлением увидел, что веки ее плотно закрыты. Как греческая маска, изваянная из камня, без глаз, без дыхания, покоилась она — Офелия, но уже мертвая, плывущая по волнам, с бледным, безжизненным лицом на черном фоне потока. Я испугался. Впервые я почувствовал действительность в этом фантастическом происшествии. С ужасом я понял, что я овладел спящей, что держал в объятиях опьяненную, больную сомнамбулу, приведенную ко мне только духотой ночи и красной, зловещей луной, — существо, которое не сознает своих поступков, которое меня, может быть, не желает. Я испугался. Меня давила тяжесть ее

тела. Тихо я хотел опустить ее в кресло, на кровать, чтобы не вырвать насильно из рук опьяненной чашу наслаждений, которых она, быть может, не хотела мне подарить, чтобы не воспользоваться безумием, бродившем в ее крови. Но, почувствовав, что я ее оставляю, она умоляюще прошептала:

— Не покидай меня! Не покидай меня!

И еще жарче впивались ее губы, еще теснее прижалось ко мне ее тело. Страдальчески напряженным было ее лицо с закрытыми глазами, и с ужасом я понял, что она хотела проснуться, хотела — и не могла; что ее опьяненное сознание рвалось из заключения и стремилось к свету. Но именно то, что под этой свинцовой маской сна шевелилось что-то, что стремилось вырваться из этой заколдованности, вызывало во мне опасное и соблазнительное желание разбудить ее.

Я сгорал от нетерпения увидеть ее бодрствующей, говорящей, живым существом, не только сомнамбулой, и во что бы то ни стало я хотел пробудить к жизни ее бессознательно наслаждающееся тело. Я привлекал ее к себе, я тряс ее, я впивался зубами в ее губы и пальцами в ее руки, я хотел заставить ее открыть глаза и сознательно отдаться тому, к чему побуждал ее неосознанный инстинкт. Но она только сгибалась и болезненно стонала в цепких объятиях.

— Еще! Еще! — лепетала она с мольбой, с бессмысленной мольбой, которая меня возбуждала и лишала рассудка.

Я чувствовал, что пробуждение было близко, что оно прорывалось из-под беспокойно шевелившихся, сомкнутых век. Все крепче и крепче я обнимал ее, все теснее прижимал ее к себе, и вдруг я почувствовал, что слезы покатались из ее глаз, и я выпил их соленую влагу. Все трепетнее подымалась ее грудь, она стонала, руки ее судорожно сжимались, как будто хотели побороть какую-то сковавшую их силу, подобно обручу окружившую ее сном, и вдруг, как молния в мире, насыщенном грозой, что-то в ней сломалось. Снова она стала для меня обременяющей тяжестью, ее губы оторвались от моих, руки упали, и, когда я опустил ее тело на постель, она лежала, точно мертвая. Я испугался. Невольно я прикоснулся к ней,

тронул ее руки и щеки. Они были холодные, оцепеневшие, каменные. Только в висках тихо трепетала кровь. Словно мрамор, словно статуя, лежала она, с щеками, влажными от слез, тихо дыша напряженными ноздрями. Иногда проходил еще легкий трепет по ней — отливающая волна разгоряченной крови, но грудь дышала все спокойнее и ровнее. Все больше и больше она напоминала изваяние. Все человечнее — по-детски — все яснее, естественнее становились ее черты. Судорога прошла, она дремала, она спала.

Я остался сидеть на краю постели, трепетно склонившись над ней. Как спокойное дитя, лежала она с закрытыми глазами и с легкой улыбкой на устах, возбужденная сновидением. Низко я наклонился над ней; я различал каждую линию ее лица, чувствовал ее дыхание на своей щеке, и чем меньше становилось расстояние между нами, тем отдаленнее и таинственнее представлялась она мне. Где витали теперь мысли той, которая так недавно лежала здесь, окаменелая, горячим потоком душевной ночи принесенная ко мне, чужому, и теперь, будто мертвая, выброшенная на берег? Кто она, покоящаяся здесь на моих руках? Откуда она, чья? Я ничего не знал о ней и только чувствовал, что меня ничто не связывает с ней. Я посмотрел на нее — одинокие минуты, тишина которых нарушалась только поспешным тиканьем часов — и старался прочесть разгадку в ее безмолвном лице, но безуспешно. Мне хотелось пробудить ее ото сна, здесь, в моей комнате, в таком близком соседстве с моей жизнью воздвигнувшего между нами стену отчуждения, и вместе с тем я боялся ее пробуждения, первого ее осмысленного взгляда. Так сидел я в безмолвии час, может быть два, оберегая, сон этого чужого мне существа, и постепенно стало мне казаться, будто это не женщина, не человек, с которым столкнуло меня это странное приключение, а сама ночь, открывшая мне тайну жаждущей, истомленной природы. Мне казалось, будто здесь распростерт передо мною весь обезумевший от зноя мир, будто земля восстала в своих муках и послала ее вестницей этой удивительной, фантастической ночи.

Что-то зазвенело у меня за спиной. Я вздрогнул, как преступник, пойманный на месте преступления. Еще раз зазвенело окно, как будто в него стучал огромный кулак. Я вскочил. За окном открывалась изумительная картина: преобразившаяся ночь, новая и грозная, сверкающая во мгле и полная дикого движения. Шумы, шорохи, свист и вой царили в ней и громоздились в сливавшуюся с небом черную башню; уже кидался мне навстречу в диком порыве холодный влажный ветер. Из мрака он вырвался, мощный, сильный, кулаками колотил в окна, стучался в дом. Как страшная пасть, раскрылся мрак, тучи неслись и с бешеной быстротой выстраивали черные стены, и что-то злое завывало между небом и землей. Сломлена была упорная духота этим диким потоком, все несло, набухало, ширилось, перемещалось в бешеном беге, наполнявшем небесную твердь, и деревья, глубокими корнями вросшие в землю, стонали под невидимым свистящим бичом урагана. И вдруг разорвались облака: молния, расколов небо пополам, ударила в землю. И следом за ней прогремели раскаты грома, будто вся башня облаков обрушилась в пропасть.

Шум послышался за моей спиной. Она приподнялась. Молния сорвала сон с ее глаз. Растерянно она оглядывалась.

— Что это, — промолвила она, — где я?

И совсем иным прозвучал ее голос. В нем еще слышался страх, но звук его был ясен, резок и чист, как освеженный воздух. Снова молния осветила ландшафт. На лету засверкали контуры елей, потрясаемых бурей; тучи, бегущие по небу, как взбесившиеся звери; комната в ослепительном белом сиянии, но блее всего был ее бледный облик. Она вскочила. Ее движения вдруг стали свободны, — такой я ее еще не видел. Она пристально вглядывалась в меня в темноте. Ее взор показался мне чернее ночи.

— Кто вы? Где я? — проговорила она и испуганно запахнула раскрывшееся на груди платье.

Я приблизился, чтобы успокоить ее, но она ускользнула.

— Что вам нужно от меня? — громко вскрикнула она, когда я подошел к ней.

Я подыскивал слова, чтобы успокоить ее, заговорить с ней, и теперь только заметил, что не знаю ее имени. Вновь молния осветила комнату. Фосфорически засверкали белые стены; бледная, она стояла передо мной с испуганно протянутыми руками, и в ее пробудившемся взоре была безграничная ненависть. Напрасно старался я во мраке, обрушившемся на нас вместе с громом, взять ее за руку, объяснить ей, она вырвалась, распахнула дверь, освещенную новой молнией, и выбежала из комнаты. И вместе со стуком захлопнувшейся двери раздался раскат грома, как будто небеса свалились на землю.

И поднялся шум: ручьи падали с бесконечной высоты, как водопады, и ураган бросал их, как мокрые веревки, из стороны в сторону. Иногда он пригонял к оконным рамам струйки ледяной воды и сладкого, пряного воздуха. Я стоял у окна, глядел вдаль, пока не потекла вода с моих намочших волос. Но какое блаженство ощущать эту чистую стихию! Мне казалось, что зной, паливший меня, разрешился в этих молниях, и мне хотелось закричать от восторга. Я позабыл все кругом; наслаждаясь, я вдыхал свежесть и бодрость; я поглощал эту прохладу, как земля, как поля; я ощущал блаженство встряхнувшихся деревьев, с легким шумом шелестевших от мокрых ударов дождя. Демонически прекрасна была сладострастная борьба между небом и землей, гигантская брачная ночь, наслаждение которой я сочувственно переживал. Молнией вздрагивало небо, с громом ниспадая на трепещущую землю, и свершалось в этом стонущем мраке яростное слияние выси и глубины, подобно слиянию пола с полом. Деревья сладострастно вздыхали; все ярче сверкали молнии, сплетаясь с далями; раскрыты были горячие жилы небесного свода, они изливались и соединяли свои потоки с земными потоками дорог. Все было разбросано, все переплелось — ночь и мир. Чудесное новое дыхание, в котором аромат полей сочетался с огненным веянием неба, проникло в меня освежающей прохладой. Три недели накопившегося зноя разразились в этой борьбе, и наступившую разрядку я ощущал и в себе. Мне казалось, что буйный дождь проникает в мои поры, что очищающий вихрь

шумно обвеивает мне грудь, и я ощутил себя и свое переживание воплощением мира, урагана, дождя, ночи и всего живого в бурном излиянии природы. И потом, когда все постепенно стало успокаиваться, когда молния лишь поблескивала на горизонте синеватым огнем, гром погромыхивал отеческой угрозой и дождь ритмично стучал под улегшимся ветром, — тогда и мной овладели успокоение и усталость. Музыка звучала в моих вибрирующих нервах, и мягкое спокойствие снизошло на мое тело. О, заснуть бы теперь вместе с природой и проснуться вместе с ней! Я сбросил одежду и лег в постель. Еще оставался в ней мягкий след чужих форм. Я ощутил его смутно: это странное приключение еще раз коснулось моей памяти, но я уже не понимал его. Дождь шумел и шумел, смывая мои мысли. Я уже переживал их, как сновидение. Все еще я стремился вернуться к загадочному происшествию, но дождь шумел и шумел; будто колыбель, убаюкивала меня эта сладостно звенящая ночь, и я уплывал в ее сонную глубину.

На следующее утро, подойдя к окну, я увидел преображенный мир. Ясный, с четкими и яркими контурами, покоился ландшафт в уверенном солнечном блеске, и в вышине, сияющим зеркалом этого покоя, круглился над ним горизонт. Ясно были очерчены границы, бесконечно далеким казалось небо, которое накануне так глубоко врезалось в поля, оплодотворяя их. Но теперь оно было далеко, на расстоянии целых миров, и не касалось своей жены — благоухающей, свободно дышащей, умиротворенной земли. Голубая пропасть сверкала прохладой между ними; без вожделения, чужие друг другу, обменивались они безразличными взглядами — небо и земля.

Я спустился в зал. Все уже собрались. Иными стали и люди, не похожи они были на тех, что бродили здесь в эти ужасные недели зноя. Все было в движении. Их смех звучал радостно, голоса — мелодично и сильно, исчезла сковывавшая их вялость, спало угнетавшее их бремя духоты. Я сел между ними, не чувствуя к ним ни малейшей вражды, и какое-то любопытство побудило меня найти среди них ту, облик которой растворился в сновидении. И вот, между матерью и отцом, за

соседним столиком, сидела та, которую я искал. Она была весела, плечи ее легки, и я слышал ее смех, беззаботный и звонкий. Любопытным взглядом окинул я ее. Она меня не заметила. Она рассказывала что-то веселое, и между словами ее звенел детский смех. Наконец, случайно она взглянула на меня, и смех ее невольно оборвался при этом беглом взгляде. Она посмотрела на меня пристально. Что-то смутило ее: высоко поднялись брови, строго и напряженно устремился на меня ее вопрошающий взор, и лицо приняло принужденно-мучительное выражение, будто она старалась что-то вспомнить — и не могла. Полный ожидания, я посмотрел ей прямо в глаза: не выдаст ли она каким-нибудь движением волнение или стыд? Но она уже отвела свой взор. Через минуту он вернулся ко мне. Еще раз бросила она на меня испытующий взгляд. В течение секунды, длинной, напряженной секунды, я чувствовал его твердое, колющее металлическое острие, глубоко вонзившееся в меня; но сейчас же он покинул меня, успокоенный, и по беззаботной ясности взора, по легкому, почти радостному повороту головы я понял, что, бодрствующая, она ничего не знала обо мне, что наша близость исчезла вместе с магическим мраком. Чуждыми и далекими стали мы друг другу, как небо и земля. Она разговаривала с родителями, беззаботно шевелились стройные девичьи плечи, и зубы задорно блестели сквозь улыбку под тонкими губами, с которых всего несколько часов тому назад я пил жажду и томление целого мира.





ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОЧЬ

Нижеследующие заметки найдены были в запечатанном конверте в письменном столе барона Фридриха Микаэля фон Р... после того как он, осенью 1914 года, пал в сражении при Рава-Русской, служа обер-лейтенантом запаса в одном драгунском полку. Семья покойного, решив по заглавию и после беглого просмотра этих листков, что они представляют собою всего лишь литературный опыт, передала мне их на рассмотрение и разрешила опубликовать. Я, со своей стороны, смотрю на это произведение отнюдь не как на вымысел, а как на правдивую во всех своих подробностях повесть о том, что действительно пережил усопший, и, утаив его имя, предаю гласности эту исповедь, без всяких изменений и добавлений.

* * *

Сегодня утром вдруг меня озарила мысль, что мне следовало бы для самого себя записать события той фантастической ночи, чтобы, наконец, обозреть их в связном виде и в естественной их последовательности. И, начиная с этого мгновения, я испытываю необъяснимую потребность изложить письменно это приключение, хотя и сомневаюсь, удастся ли мне, пусть даже приближенно, выразить необычайность происшедшего. Я совершенно лишен так называемого художественного дара, нимало не искушен в литературе и, если не говорить о некоторых гимназических произведениях преимущественно шуточного характера, то никогда и не пробовал писать. Например, я

не знаю даже, существует ли особая, поддающаяся усвоению техника, позволяющая сочетать чередование внешних событий и одновременное их описание и осмысление; я задаюсь также вопросом, способен ли я всегда придавать смыслу надлежащее слово, слову — надлежащий смысл и тем самым устанавливать то равновесие, которое я бессознательно всегда ощущал при чтении хороших произведений. Но я ведь пишу эти строки только для себя, и они нимало не предназначены объяснить другим нечто такое, что я с трудом понимаю сам. Они являются всего лишь попыткой наконец-то, в известном смысле, отделаться от одного происшествия, которое непрерывно занимает мои мысли, приводя их в мучительное брожение, — зафиксировать его, поставить перед собою и рассмотреть со всех сторон.

Я не рассказал об этом событии ни одному из своих приятелей, руководствуясь именно тем чувством, что не смогу им объяснить самое в нем существенное, да и как-то стыдясь того, что столь случайные обстоятельства так меня потрясли и переположили. Ведь все в целом представляет собою, в сущности, незначительное приключение. Но едва лишь написав это слово, я уже начинаю замечать, как трудно неопытному человеку выбирать слова надлежащего веса и какая двусмысленность, какая возможность быть истолкованным ложно присуща каждому, самому простому обозначению. Ибо, если я называю свое приключение незначительным, то понимаю это, разумеется, только в относительном смысле, в противоположность крупным драматическим событиям, в которые вовлекаются целые народы со своими судьбами, и понимаю это, с другой стороны, в смысле длительности, потому что все происшедшее развернулось на протяжении каких-нибудь шести часов. Для меня же это — вообще говоря, мелкое, маловажное и незначительное — событие имело столь большое значение, что еще и теперь — спустя четыре месяца после той фантастической ночи — я им пылаю и должен напрягать все свои духовные силы, чтобы скрывать его в своей груди. Ежедневно, ежечасно перебираю я в памяти все его подробности, ибо оно

стало как бы стержнем всего моего существования. Все, что я делаю и говорю, безотчетно для меня определяется им, мысли мои заняты исключительно тем, что воспроизводят его снова и снова, и тем самым утверждают меня во владении им. И теперь мне вдруг стало ясно то, что я не сознавал еще десятью минутами раньше, когда взялся за перо: что я для того лишь излагаю теперь это происшествие письменно, чтобы иметь его перед собою совершенно точно и как бы вещественно зафиксированным, еще раз его прочувствовать и в то же время понять. Я выразился совсем неправильно, совсем ложно, только что сказав, что хочу от него отделаться; напротив, я хочу еще больше жизни вдохнуть в слишком быстро пережитое, наделить его теплом и дыханием, чтобы иметь возможность постоянно его ощущать. О, я не боюсь забыть хотя бы одну секунду того знойного дня, той фантастической ночи; мне не надобно ни камней, ни вех, чтобы шаг за шагом снова пройти в воспоминаниях путь этих часов: как лунатик, попадаю я в любое время, посреди дня, посреди ночи, в их сферу и вижу в ней каждую подробность, с той зоркостью, какую знает только сердце, а не мягкая память. Я мог бы и теперь с не меньшей уверенностью нанести на бумагу очертания каждого отдельного листка в зеленеющем весеннем ландшафте, я еще теперь, осенью, чувствую нежный пыльный аромат стоящих в цвету каштановых деревьев; и поэтому, если я еще раз описываю эти часы, то не из боязни их утратить, а радуясь тому, что их снова обрел. И когда я теперь, в точной последовательности, представляю себе превращения той ночи, то вынужден, ради стройности изложения, сдерживаться, потому что стоит мне подумать о подробностях, как в душе моей поднимается какой-то дурман, своего рода экстаз овладевает мною, и мне приходится пропускать воспоминания сквозь запруды, чтобы они в многоцветном опьянении не ринулись друг на друга. Все еще переживаю я со страстным пылом пережитое, тот день 7 июня 1913 года, когда я в полдень сел в фиакр...

Но снова, чувствую, нужно мне остановиться, потому что испуганно вновь замечаю, как обоюдоостро, как многозначно

каждое отдельное слово. Только теперь, когда мне впервые предстоит нечто в связном виде изложить, я вижу, как трудно заключить в сжатую форму то ускользающее, чем все же является все живое. Только что я написал «Я», сказал, что 7 июня 1913 года, в полдень, сел в фиакр. Но уже это слово ведет к неясности, потому что тем «Я», каким я был 7 июня, я быть уже давно перестал, хотя только четыре месяца прошло с того времени, хотя жить я продолжаю в квартире прежнего «Я» и пишу за его столом, его пером и его собственной рукою. От того прежнего человека — и как раз под влиянием этого события — я отрешился совершенно, я гляжу на него теперь со стороны, бесстрастно и холодно, и могу его описывать, как товарища, сверстника, друга, о котором знаю много существенного, но которым сам я отнюдь уже не являюсь. Я мог бы о нем говорить, порицать его или осуждать, и при этом не чувствовать вообще, что он мне принадлежал когда-то.

Человек, каким я был в ту пору, внешне и внутренне мало отличался от большинства людей его социального класса, который принято, в частности, у нас, в Вене, называть без особой гордости, но вполне убежденно «хорошим обществом». Мне шел тридцать шестой год, родители мои рано умерли и оставили мне, незадолго до моего совершеннолетия, состояние, оказавшееся достаточно значительным, чтобы вполне избавить меня от забот о заработке и карьере. Таким образом, я неожиданно освободился от одного решения, которое меня в то время очень беспокоило. Как раз в эту пору я окончил университет и стоял перед выбором дальнейшего поприща деятельности, которым явилась бы, вероятно, в силу наших семейных связей и моей рано уже обнаружившейся склонности к спокойно расширяющемуся и созерцательному существованию, — государственная служба. Но тут мне досталось, как единственному наследнику, состояние родителей и обеспечило мне неожиданную праздную независимость, даже в довольно широких пределах роскоши. Честолюбием я никогда не страдал, а поэтому решил сначала, в течение нескольких лет, понаблюдать жизнь, пока сам не почувствую потребности найти себе какое-

нибудь поле деятельности. Но так я и остался наблюдателем жизни, ибо, не испытывая никаких особых стремлений, достигал всего в узком кругу своих желаний; изнеженный и сластолюбивый город Вена, доводящий поистине до художественного совершенства привычку шататься без дела, глазеть по сторонам и быть элегантным, превращающий ее в цель существования, заставил меня совсем позабыть о влечении к серьезной деятельности. Мне достались в удел все удовольствия, доступные изящному, знатному, состоятельному, приятной внешности молодому человеку, лишенному вдобавок честолюбия, — безопасные увлечения игрой, охотой, регулярные уклады экскурсий и путешествий, — и вскоре я принялся, все с большей тщательностью и художественностью, украшать эту созерцательную жизнь. Я собирал редкий фарфор, не столько по душевному влечению, сколько ради удовольствия, какое доставляет приобретение навыка и знания в пределах неустомительной деятельности. Я украсил свою квартиру особого рода итальянскими гравюрами барокко и пейзажами в манере Каналетто, поиски которых у антикваров и приобретение на аукционах были полны для меня спортивного, но несколько не опасного азарта. Занимался многими вещами с охотой и всегда со вкусом, редко пропускал концерты и выставки картин. У женщин я имел успех немалый, и в этой области тоже вкусил, с тайной страстью коллекционера, много памятных и ценных мгновений, постепенно превратившись из простого сластолюбца в знатока и ценителя.

В общем, я много переживал такого, что приятно наполняло мой день и позволяло мне считать мою жизнь богатой, и я начинал все больше любить эту теплую, сладостную атмосферу оживленной и все же не ведавшей никаких потрясений молодости, почти уже не испытывая новых желаний, ибо совсем незначительные вещи в безбурном воздухе моих дней способны были претворяться в радость. Хорошо выбранный галстук мог меня привести чуть ли не в веселое настроение; автомобильная поездка, прекрасная книга или свидание с женщиной — дать мне ощущение блаженства. Особенно был

мне приятен такой образ существования тем, что он ни в каком отношении, совершенно как безупречно сшитый английский костюм, никому не бросался в глаза. Думается мне, что на меня смотрели, как на приятное явление, в обществе меня любили и охотно принимали, и большинство знакомых называло меня счастливым человеком.

Теперь уж я не мог бы сказать, чувствовал ли сам себя счастливым тот прежний человек, которого я стараюсь представить себе; ибо ныне, когда я, под влиянием пережитого, требую для каждого чувства значительно более полного смысла, мне представляется почти невозможной всякая оценка прежнего моего самочувствия. Но я могу с уверенностью сказать, что в это время, во всяком случае, не чувствовал себя несчастным, потому что почти никогда мои желания и требования к жизни не оставались неисполненными. Однако как раз то обстоятельство, что я привык получать от судьбы все, чего хотел, а вне этого никаких притязаний к ней не иметь, породило мало-помалу известный недостаток в напряжении, какую-то мертвенность в самой жизни. Что тогда, в иные минуты смутного постижения, томясь, шевелилось во мне, было, в сущности, не желаниями, а желанием желаний, потребностью вождельть сильнее, необузданней, честолюбивее, не столь удовлетворенно, жить больше, а также, быть может, страдать. Я устранил из своего существования, посредством чересчур разумной техники, все сопротивления, и об этот недостаток сопротивления притупилась моя жизнедеятельность. Я замечал, что вожделею все меньше, все слабее, что какое-то оцепенение овладевает моими чувствами, что я — пожалуй, будет правильнее всего так выразиться — страдаю духовным бессилием, неспособностью к страстному обладанию жизнью. Сначала я стал догадываться об этом изъяне по мелким признакам. Я обратил внимание на то, что все реже начал бывать в театрах, в обществе, на различных сенсационных собраниях, что, покупая книги, о которых я слышал лестные отзывы, оставлял их в течение целых недель неразрезанными на своем столе, что, механически продолжая коллекционировать свои любов-

ные похождения, фарфор и древности, я уже не приводил их в порядок и не слишком радовался неожиданному приобретению, после долгих поисков, какой-нибудь редкой вещи.

Осознал же я вполне это медленное и постепенное ослабление своей духовной энергии только по одному определенному поводу, отчетливо сохранившемся в моей памяти. Я остался на лето в Вене — также под влиянием этой странной вялости, не поддававшейся никаким приманкам новизны, — и вдруг получил с одного курорта письмо от женщины, с которой я в течение трех последних лет был в связи и в любви к которой был даже искренне уверен. Она взволнованно писала мне на четырнадцати страницах, что за эти недели познакомилась там с одним человеком, который занял в ее жизни большое, господствующее место, что она выйдет осенью замуж за него, и что наши отношения должны быть прерваны. Она без раскаяния, больше того — с радостью вспоминает прожитое со мной время, вступает в новый брак, сохраняя память обо мне, как о самом дорогом в ее прежней жизни существе, и надеется, что я прощу ей это неожиданное решение. Вслед за этим деловым сообщением взволнованное письмо заканчивалось поистине потрясающими заклинаниями, чтобы я не слишком страдал от этого внезапного разрыва; чтобы я не пытался ее насильно удержать или совершить какой-нибудь безумный шаг. Все стремительнее мчались строки: она умоляла меня найти утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что она с трепетом думает о том, как я приму это сообщение. И в виде пост-скриптума, карандашом, было еще порывисто написано: «Не делай ничего безрассудного, пойми меня, прости меня».

Читая это письмо, я сначала опешил от неожиданности, а потом, когда я его перелистал и начал вторично читать, то почувствовал какой-то стыд, и, будучи осознан мною, этот стыд быстро повысился до степени ужаса. Ибо ни одно из этих сильных и все же естественных ощущений, которые предвидела моя любовница, даже в слабой мере не шевельнулось во мне. Ее сообщение не причинило мне боль, не вызвало гнева

во мне, и уж во всяком случае ни на мгновение не приходило мне на ум какое-либо насилие над нею или над собою. И этот мой душевный холод был все же настолько странен, что не мог не испугать меня самого. Ведь от меня уходила женщина, в течение ряда лет бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое гибкое тело прижималось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, и ничто во мне не шевельнулось, не возмутилось, ничто не пыталось отвоевать ее снова, ничто не произошло в моей душе из того, что чистый инстинкт этой женщины должен был ожидать от настоящего человека. В этот миг я впервые понял, как далеко зашел процесс окостенения. Я скользил мимо, словно по проточной зеркальной воде, нигде не задерживаясь, не пуская корней, и знал совершенно точно, что этот холод был чем-то мертвенным, трупным, еще не отдававшим, правда, гнилостным запахом тления, но говорившим о безнадежной окоченелости, о жуткой, ледяной бесчувственности, которая предшествует длинному телесному умиранию, явному распаду.

С этого времени я принялся внимательно наблюдать себя и эту странную духовную отупелость во мне, как больной следит за своей болезнью. Когда вскоре после этого умер один мой друг и я шел за его гробом, то прислушивался к самому себе: шевелится ли во мне скорбь, вызывает ли в моем сознании какую-нибудь боль утрата этого близкого мне с детских лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне, я сам себе представлялся каким-то стеклянным предметом, сквозь который вещи просвечивают, никогда не проникая внутрь, и как я ни силился при этом, да и при многих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами рассудка пробудить в себе чувство, никакого ответа не доносилось из застывших глубин души. Люди покидали меня, женщины приходили и уходили, — ощущал я это почти так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит по стеклам. Между мной и окружающим миром была какая-то стеклянная стена, и разрушить ее напором воли у меня не было сил.

Как ни ясно я это сознавал, подлинной тревоги не вызвало во мне такое открытие, потому что, как я уже говорил, я равнодушно относился к вещам, касавшимся меня самого. Даже для страдания я был уже недостаточно чувствителен. Я довольствовался тем, что этот духовный изъян был так же незаметен для посторонних, как телесное бессилие мужчины обнаруживается только в интимные мгновения, и часто, в обществе, посредством напускной сдержанности, посредством спонтанного преувеличения, я старался с известным тщеславием скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я продолжал вести свой прежний угарный, не знающий трений образ жизни, не изменяя его течения: недели, месяцы легко скользили мимо и медленно превращались в годы. Однажды утром я увидел в зеркале седую прядь у себя на виске и почувствовал, что моя молодость медленно струится в другой мир. Но то, что другие называли молодостью, во мне давно миновало. Поэтому прощаться с нею было не очень больно; я ведь и собственную свою молодость не достаточно любил. Даже по отношению ко мне самого строптивое мое сердце молчало.

В силу этой внутренней неподвижности дни мои становились все более однообразными, несмотря на пестроту занятий и обстоятельств. Они выстраивались в тусклый ряд, росли и увядали, как листья на дереве. И совершенно обычно, ничем не выделяясь, без всякого предзнаменования начался и тот единственный день, который я хочу для самого себя описать.

В этот день, 7 июня 1913 года, я поздно встал под влиянием не поблекшего с детских, школьных лет праздничного, воскресного настроения; принял ванну, читал газету и перелистывал книги, затем пошел гулять, будучи прельщен теплым, летним днем, участливо проникавшим в мою комнату; по привычке прошелся по Грабену, разглядывая экипажи, обмениваясь поклонами с приятелями и знакомыми, кое с кем из них переговариваясь мимоходом. Потом позавтракал вместе с друзьями. Дневные часы были у меня свободны, потому что по воскресеньям я особенно любил в течение нескольких часов

нераздельно принадлежать самому себе, всецело отдаваясь на волю случая или какого-нибудь внезапного решения. Когда я затем, возвращаясь от друзей, переходил Ринг, то почувствовал благородную красоту залитого солнцем города и обрадовался его яркому, летнему убранству. Все люди казались веселыми и какими-то влюбленными в праздничный вид пестрой улицы, многие частности бросались мне в глаза — и прежде всего то, как пышно разоделись в свою новую зелень росшие среди асфальта деревья. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эту воскресную сутолоку я вдруг воспринял, как чудо, и невольно испытал тоску по зелени, яркости и пестроте. Я вспомнил с некоторым любопытством о Пратере, где теперь, в конце весны, в начале лета, тяжелые деревья стоят, как исполинские лакеи, по обеим сторонам струящейся экипажами главной аллеи и неподвижно протягивают свои белые цветы множеству принарядившихся, элегантных людей. Привыкнув сразу же уступать каждому своему мимолетному желанию, я остановил первый встретившийся мне фиакр и приказал кучеру ехать в Пратер.

— На скачки, господин барон, не правда ли? — спросил он подобострастно.

Тут только я вспомнил, что на этот день назначены престижные скачки, предшествовавшие розыгрышу дерби, и что все фешенебельное венское общество собирается там.

«Странно, — подумал я, садясь в фиакр, — могло ли еще несколько лет тому назад случиться, чтобы я пропустил или забыл такой день». Снова по этой забывчивости почувствовал я, как больной, когда заденешь его рану, — душевную черствость, овладевшую мною.

Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее. Скачки, должно быть, уже давно начались, потому что не видно было столь пышной обычно вереницы экипажей, только несколько фиакров порознь мчались под грохот копыт, словно в погону за незримой целью. Кучер повернулся на козлах и спросил, гнать ли ему коней. Но я сказал ему, чтобы он не торопился, потому что мне было

безразлично, опоздаю ли я. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на трибунах, чтобы стремиться приехать вовремя, и моему ленивому настроению больше соответствовало мягко покачиваться в коляске, ощущать нежно шелестящий синий воздух, как море на палубе корабля, и спокойно присматриваться к густолиственным каштановым деревьям, отдававшим по временам вкрадчиво теплому ветру лепестки своих цветов, которые он, играя, легко поднимал и крутил, прежде чем уронить их снежинками на аллею. Приятно было давать себя укачивать так, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать себя, без всякого напряжения, окрыленным и уносимым: в сущности, мне стало досадно, когда коляска остановилась во Фройденау перед воротами. Охотнее всего я бы еще повернул, продолжал бы упиваться мягким днем раннего лета. Но уже было поздно, коляска стояла перед ипподромом.

Глухой гул донесся мне навстречу. Словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где скрывалась от моих глаз взволнованная толпа, порождавшая этот сосредоточенный шум, и невольно припомнилось мне, как в Остенде, чуть только поднимешься на пляж из нижнего города, по боковым улочкам, тебя уже обдаёт солеными и резкими порывами ветер и слышится глухой грохот, прежде чем взор охватит пенистый, серый простор с его гремящими валами.

В этот миг, по-видимому, проходил один из заездов, но между мною и кругом, по которому неслись теперь лошади, теснилась многокрасочная, гудящая, словно внутренней бурей потрясаемая толпа игроков и зрителей; мне не были видны скачки, но я угадывал каждую фазу их по азарту зрителей. Лошади, очевидно, давно уже были пущены, кучка разределась, и двое боролись за лидерство, потому что из толпы, таинственным образом переживавшей невидимые для меня движения, уже вырывались крики и взволнованные призывы. По направлению голов чувствовал я поворот, которого теперь достигли жокеи и лошади на продолговатом овале дорожки, потому что весь людской хаос тянулся все в большем единстве, все сплоченнее, как одна вытянутая шея, по направлению к

незримо для меня фокусу взглядов, и все выше поднимающийся прибор клокотал и ревел в этой единственной вытянутой шее тысячью дробных, отдельных звуков. И этот прибор рос и вздувался, уже заполняя все пространство, вплоть до равнодушного синего неба. Я взглянул на несколько лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, глаза были выпучены и сверкали, губы закушены, подбородок жадно вытянут вперед, ноздри раздуты, как у лошадей. Забавно и жутко было мне рассматривать в трезвом состоянии этих не владеющих собою опьяненных людей. Рядом со мной стоял на стуле мужчина, щегольски одетый, с лицом, вообще говоря, довольно приятным; теперь, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал в воздухе палкой, словно кого-то подхлестывал, все его тело страстно воспроизводило — для стороннего наблюдателя в этом был невыразимый комизм — движения быстрой скачки. Как на стальных стремянах, непрерывно постукивал он каблуками по стулу, не переставая рассекать воздух палкой вместо хлыста, левой рукой судорожно сжимая белую афишку. И вокруг все больше развевалось этих белых афишек. Как пенные брызги, реяли они над этим яростным, серым, шумно бурлившим водоворотом. Теперь, по видимому, две лошади шли на повороте, голова в голову, потому что сразу рев раздробился на два, три, четыре отдельных имени, которые не переставали вырываться, как боевой клич, из одиночных исступленных групп, и крики эти казались клапанами их бредовой одержимости.

Я стоял среди этого оголтелого грохота, холодный, как скала среди бушующего моря, и не могу даже теперь сказать, что испытывал в ту минуту. Прежде всего, я чувствовал комизм всех этих гримас и ужимок, ироническое презрение к плебейскому характеру этих излияний, но все же и нечто иное еще, в чем я неохотно сам себе признавался, — какую-то тихую зависть к такому возбуждению, к такой пылкой страстности, к жизненной силе, таившейся в этом фанатизме. «Что должно было бы произойти, — думал я, — чтобы до такой степени взволновать меня, привести в такое лихорадочное состояние:

чтобы по телу моему разлился жар, а изо рта невольно вырвались крики?» Я не представлял себе такой денежной суммы, получение которой могло бы меня так зажечь, такой женщины, которая бы меня так возбудила, ничего, ничего не существовало, способного довести мои онемелые чувства до такого пожара! Перед внезапно на меня направленным пистолетом сердце мое, за миг до смерти, не билось бы так дико, как вокруг меня стучали, из-за горсточки золота, сердца десятков тысяч людей.

Но вот, по-видимому, одна лошадь уже подходила к финишу, потому что в слитном, становившемся все более пронзительным крике тысяч голосов зазвенело, как натянутая струна, одно определенное имя и резко вдруг оборвалось. Музыка заиграла, толпа внезапно растеклась. Один заезд закончился, один бой разрешился, напряжение разрядилось в пенящуюся, движимую затухающими колебаниями сутолоку. Толпа, только что представлявшая собою пучок страсти, распалась на множество отдельных бегущих, смеющихся, говорящих людей: спокойные лица снова выплыли из-за уродливой маски возбуждения; в азартном хаосе, на несколько мгновений спаявшем эти тысячи в единую раскаленную глыбу, начали опять выслаиваться человеческие группы, сходявшиеся, расходившиеся, — люди, которых я знал и которые со мною здоровались, люди чужие, которые окидывали друг друга холодно учтивыми взглядами. Женщины критически осматривали одна другую в новых своих туалетах, мужчины жадно поглядывали на них; то светское любопытство, которое, в сущности, является занятием для безучастных людей, опять начинало обнаруживаться. Они выискивали, пересчитывали, проверяли друг друга: все ли в сборе, все ли элегантно. Едва очнувшись от хмеля, все эти люди не знали уже, антракты ли составляют цель этого светского сборища, или самые скачки.

Я расхаживал в этой разгоряченной толпе, кланялся и отвечал на поклоны, с наслаждением вдыхал — ведь это была атмосфера моего существования — запах духов и элегантности, которым веяло от этого калейдоскопического муравейни-

ка, и с еще большим упоением — тихий ветерок, долетавший со стороны лугов Пратера и согретых летним солнцем лесов, ласково игравший кисеей женских туалетов. Несколько знакомых пытались заговорить со мною, Диана, красивая актриса, приветливо кивнула мне из ложи, но я ни к кому не подходил. Мне было неинтересно беседовать сегодня с кем-нибудь из этих светских людей, мне было скучно видеть в их зеркале самого себя; только общую картину хотел я воспринимать, шелестяще чувственное возбуждение, разлитое по этой толпе (ибо чужое возбуждение для безучастных составляет самое приятное зрелище). Несколько красивых женщин прошли мимо меня, я взглянул нагло, но хладнокровно на их груди, трепетавшие под легкой материей от каждого их шага, и про себя смеялся над полутягостным, полусладостным смущением, какое должны были испытывать они под чувственными, оценивающими взглядами, будучи так бесстыдно обнажены. В сущности, меня не прельщала ни одна, мне только доставляло некоторое удовольствие напускать на себя такой вид, игра с мыслью, с их мыслями, радовала меня, приятно было телесно соприкасаться с ними телами, чувствовать магнетическое подрагивание в глазах; ибо для меня, как для всякого душевно холодного человека, подлинным эротическим наслаждением было вызывать в другом смятение и зной вместо того, чтобы самому разгораться. Только теплое дуновение любил я ощущать, которым обдает нашу чувственность присутствие женщины, а не подлинный жар, одно лишь побуждение, а не возбуждение. Так я прогуливался и теперь, ловя взгляды, отражал их легко, как мячики, вкушал, не хватая, осязал, не чувствуя, будучи только легко согрет теплым сладострастием игры.

Но и это мне скоро наскучило. Все те же люди проходили мимо, я знал уже наизусть их лица и жесты. Поблизости оказался свободный стул. Я уселся. Вокруг меня опять возникло в группах вихревое движение, люди беспокойнее забегали и стали толкаться; очевидно, начинался новый заезд. Я не интересовался им, сидел небрежно и как-то дремотно в клубах

своей папиросы, уносившихся белыми завитками ввысь, светлевших и таявших, как облака в весенней синеве.

В этот миг началось то единственное, то неслыханное событие, которым и теперь определяется моя жизнь. Я могу совершенно точно установить это мгновение, потому что случайно взглянул на часы. Было три минуты четвертого в этот день, 7 июня 1913 года. Итак, я взглянул, с папиросой в руке, на белый циферблат, совершенно уйдя в это ребячливое и смешное созерцание, когда услышал, как вплотную за моей спиной громко рассмеялась женщина, тем резким, возбужденным смехом, который мне нравится у женщин, тем смехом, который вылетает с теплой, восторженной непосредственностью из разогретого кустарника чувственности. Невольно повернул я голову, собираясь уже взглянуть на женщину, чья громкая чувственность дерзко ударила по моей беспечной созерцательности, как искрящийся белый камень по глухому, тинистому пруду, но удержался. Остановило меня нередко уже овладевавшее мною странное желание позабавиться, произвести небольшой и безопасный психологический эксперимент. Я еще не хотел видеть смеявшуюся, мне захотелось сперва дать волю воображению, своей фантазии; представить ее себе в своего рода предвкушении, восполнить в воображении этот смех каким-то лицом, ртом, шеей, затылком, грудью, целостным образом живой, дышащей женщины.

Она, очевидно, стояла теперь прямо за моей спиной. Смех опять перешел в беседу. Я напряженно прислушивался. Она говорила с легким венгерским акцентом, очень быстро и живо, широко растягивая гласные, точно пела. Меня забавляло теперь желание присочинить к этой речи определенный облик и по возможности обстоятельно разработать эту фантазию. Я придал ей темные волосы, темные глаза, широкий, чувственно изогнутый рот, с совершенно белыми, крепкими зубами, очень узкий маленький нос, но с трепещущими, круто выгнутыми ноздрями. К левой щеке я приклеил мушку, в руку вложил стек, которым она, смеясь, легко похлопывала себя по бедру. Она продолжала говорить. И каждое слово прибавляло новую

деталь к молниеносно возникшему в моей фантазии образу: узкая девичья фигура, темно-зеленое платье с косо пристегнутой бриллиантовой брошью, светлая шляпа с белым пером. Все яснее становилась картина, и я уже ощущал эту чужую женщину, незримо стоявшую за моей спиной, в зрачке своем, как на освещенной пластинке. Но я не хотел поворачиваться, стремясь усилить эту игру воображения. Какой-то тихий трепет сладострастия примешался к дерзким грезам, я закрыл глаза, будучи уверен, что, когда я подниму веки и оглянусь на нее, внутренний образ в точности совпадет с внешним.

В этот миг она появилась передо мной. Я невольно открыл глаза — и рассердился. Я нелепо промахнулся: все было иначе, мало того, — все каким-то злостным образом контрастировало с моим вымыслом, Она была не в зеленом, а в белом платье, была не стройная, а полная, с пышными бедрами, нигде на пухлой щеке не видно было мушки, волосы выбивались рыжевато-белокурыми, а не черными прядями из-под шлемообразной шляпы. Ни один из моих признаков не соответствовал ее облику; но эта женщина была красива, вызывающе красива, хотя я старался, уязвленный в своем глупом тщеславии психолога, не признавать этой красоты. Почти враждебно взглянул я на нее, но даже то, что во мне сопротивлялось, ощущало сильное чувственное обаяние, исходившее от этой женщины, манящую, животную прелесть ее плотных и в то же время мягких форм. Теперь она снова громко рассмеялась, показав белые, крепкие зубы, и я должен был признаться, что этот горячий, чувственный смех вполне гармонировал с ее пышной фигурой; все в ней было так ярко и вызывающе, выпуклая грудь, выступающий вперед при смехе подбородок, острый взгляд, вздернутый нос, рука, сильно вонзившая зонтик в землю. Здесь было женское начало, стихийная сила, сознательное, захватывающее прельщение, плотью ставший маяк сладострастия.

Рядом с нею стоял изящный, немного поблекший офицер и что-то ей увлеченно говорил. Она его слушала, улыбалась, смеялась, возражала, но все это только вскользь, потому что в

то же время взгляд ее скользил повсюду, ноздри трепетали как бы всем навстречу. Она впитывала внимание, улыбки, взгляды со стороны каждого проходившего и со стороны всей мужской толпы. Взор ее все время блуждал то вдоль трибун, чтобы вдруг, радостно узнав кого-нибудь, ответить на поклон, то влево, то вправо, между тем как она не переставала с тщеславной улыбкой слушать офицера. Только меня, заслоненного ее спутником и находившегося ниже поля ее зрения, не касался еще ее взгляд. Это было мне досадно. Я встал — она меня не видела. Я продвинулся ближе — она опять стала рассматривать трибуны. Тогда я решительно к ней подошел, поклонился ее спутнику и предложил ей стул. Она удивленно взглянула на меня, улыбающийся блеск мелькнул в ее глазах, губы вкрадчиво изогнулись в усмешке. Затем она меня коротко поблагодарила и взяла стул, но не села на него. Только своими полными, до локтей обнаженными руками оперлась она мягко на спинку и воспользовалась легким изгибом тела, чтобы явственнее показать его формы.

Досада, вызванная во мне неудачным психологическим опытом, давно улеглась, меня прельщала только игра с этой женщиной. Я немного отступил к стене трибуны, откуда мог ее свободно и все же незаметно для других разглядывать, оперся на свою трость и стал искать ее взгляда. Она это заметила, немного повернулась в сторону моего наблюдательного поста, но все же так, что это движение показалось совершенно случайным, не избегала моего взгляда, отвечала на него при случае, но надежд не подавала. Глаза ее по-прежнему блуждали, всего касались, ни на чем не останавливались. Только ли при встрече с моими излучали они неопределенную улыбку или она дарила ее каждому — этого нельзя было понять, и эта именно неопределенность раздражала меня. В промежутках, когда взор ее падал на меня, как белый луч, он казался полным обещания, но теми же сталью сверкающими зрачками она без всякого разбора парировала всякий брошенный в ее сторону взгляд, только ради кокетливого увлечения игрой, а главное, ни на мгновение не отрываясь от беседы со своим спутником,

которая ее, по-видимому, интересовала. Нечто ослепительно дерзкое было в этих страстных выпадах: виртуозность кокетства или прорвавшийся избыток чувственности. Невольно я приблизился на шаг: ее холодная дерзость передалась мне. Я уже не в глаза ее глядел, а деловито рассматривал ее с головы до ног, взглядом срывал с нее одежду и чувствовал ее нагою. Она следила за моим взглядом, нисколько не оскорбляясь, улыбаясь углами рта болтливому офицеру, но я замечал, что этой улыбкой она подтверждает понимание моего намерения. И когда я затем взглянул на ее маленькую ногу, нежно выступавшую из-под белого платья, она спокойно скользнула вдоль платья контролирующим взглядом. Затем, в следующее мгновение, она как бы случайно подняла ногу и поставила ее на нижнюю перекладину стула, так что я сквозь ажурную юбку видел чулки до колен, но в то же время ее улыбка, обращенная к спутнику, словно сделалась какою-то ироничной или коварной. Очевидно, она играла со мною так же безучастно, как я с нею, и мне приходилось с ненавистью дивиться утонченной технике ее наглости; ибо, украдкой предоставляя мне постигать чувственность своего тела, она в то же время польщенно прислушивалась к нашептыванию своего спутника, давала и брала одновременно, и то и другое — только шутя. В сущности, я был ожесточен, я ненавидел в других этот род холодной и злобно-расчетливой чувственности, именно потому, что ощущал ее столь кровосмесительно близкое родство с моею собственной искушенной бесстрастностью. Но все же я был взволнован, быть может, в большей мере ненавистью, чем вожделением. Нагло подошел я ближе и грубо ощупал ее взглядом. «Я хочу тебя, красивое животное», — говорил мой недвусмысленный жест, и, по-видимому, губы мои невольно шевельнулись, потому что она с тихим презрением усмехнулась, отвернувшись в сторону от меня, и опустила платье над обнаженной ногой. Но в следующий миг черные зрачки начали опять, искрясь, блуждать по сторонам. Было совершенно очевидно, что она была так же бесстрастна, как и я, и достойна меня, что мы оба холодно играли чужим пылом, который сам

был всего лишь нарисованным огнем, красивым, однако, с виду и с которым весело было играть в середине знойного дня.

Вдруг напряженность угасла в ее лице, искрящийся блеск потух, маленькая досадливая складка обозначилась вокруг только что улыбавшегося рта. Я взглянул в ту же сторону: маленький толстый господин, в мешковатом костюме, торопливо к ней приближался, нервно вытирая платком влажные от возбуждения лоб и лицо. Из-под второпях набекрень надетой шляпы видна была сбоку большая плешь (невольно я почувствовал, что на ней, под шляпой, застыли, должно быть, капли пота, и почувствовал отвращение к этому человеку). В униженных перстнях пальцев он держал целую пачку талонов, сопел от волнения и тотчас же, не глядя на свою жену, громко заговорил по-венгерски с офицером. Я сразу в нем угадал фанатика конного спорта, какого-нибудь крупного лошадиного барышника, для которого тотализатор был единственным наслаждением, пленительным суррогатом возвышенного. Его жена в этот миг сказала ему, по-видимому, нечто укорищенное (она явно стеснялась его присутствия и утратила свою дерзкую уверенность), ибо он привел в порядок (очевидно, по ее указанию) свою шляпу, потом фамильярно улыбнулся ей и с ласковым добродушием похлопал ее по плечу. Она гневно вздернула брови, негодуя на такую супружескую интимность, тяготившую ее в присутствии офицера, а еще больше, пожалуй, в моем. Он как будто попросил извинения, сказал опять по-венгерски несколько слов офицеру, на которые тот ответил, любезно осклабясь, но затем ласково и несколько подобострастно взял жену под руку. Я чувствовал, что она стыдится в нашем присутствии близости к нему, и наслаждался ее унижением со смешанным чувством насмешки и отвращения. Но она уже опять немного овладела собою, и, между тем как она мягко оперлась на его руку, взгляд ее иронически скользнул в мою сторону, как бы говоря: «Вот видишь, вот кому я принадлежу, а не тебе». Я испытывал ярость и в то же время тошноту. Собственно говоря, мне хотелось повернуться к ней спиной и пойти дальше, чтобы показать ей, что супруга столь вульгар-

ного толстяка не может меня больше интересовать. Но чары были слишком сильны. Я остался.

В этот миг раздался пронзительный сигнал старта. Сразу же эта болтливая, тусклая, косная толпа всколыхнулась и опять со всех сторон, толкаясь и бурля, хлынула вперед к барьеру. Мне понадобилось известное усилие, чтобы не дать себя увлечь в водоворот, потому что я хотел как раз в этой сутолоке остаться поблизости от нее, в надежде, что тут представится случай для решающего взгляда, жеста, какой-нибудь внезапной наглой выходки, какой именно — я еще не знал, и поэтому я упорно проталкивался к ней сквозь торопливую толпу. В это как раз мгновение толстый супруг протиснулся вперед в намерении занять удобное место подле трибуны, и мы оба, таким образом, каждый под влиянием своего порыва, так сильно столкнулись друг с другом, что его шляпа полетела на землю и засунутые за ее ленту талоны рассыпались широким полукругом, усеяв песок, как красные, синие, желтые и белые мотыльки. На мгновение он вперил в меня взгляд. Машинально я хотел извиниться, но какая-то злая воля сжала мне губы; мало того: я глядел на него холодно, с дерзким и оскорбительным вызовом. Взгляд его на секунду вспыхнул от сильного прилива робко подавленной ярости, но малодушно погас перед моим. С незабываемой, почти трогательной робостью глядел он на протяжении другой секунды в мои глаза, потом отвернулся, вспомнил вдруг про свои талоны и нагнулся, чтобы поднять их с земли заодно со шляпой.

С нескрываемым гневом, зардевшись от волнения, жена блеснула на меня глазами, оставив его руку; я чувствовал с каким-то сладострастьем, что она охотнее всего ударила бы меня. Но я продолжал стоять совершенно хладнокровно и небрежно и наблюдал с улыбкой, не помогая, как, задыхаясь, нагибался тучный муж и ползал у моих ног, подбирая свои талоны. Воротник у него был высоко задран, как перья у нахохлившейся курицы, широкая складка жира образовалась на красном затылке, он астматически сопел. Невольно при виде этого сопящего человека возникла у меня непристойная и

тошнотворная мысль, я представил его себе в супружеском общении с женой и, почерпнув смелость в этом представлении, рассмеялся ей прямо в лицо, потешаясь над ее уже еле сдерживаемым гневом. Она стояла, теперь снова бледная, в нетерпении, с трудом владея собою, — наконец-то я все же вырвал у нее искреннее, подлинное чувство: ненависть, необузданный гнев! Охотнее всего я продлил бы эту злую сцену до бесконечности. С холодным сладострастьем следил я за тем, как он мучается, подбирая талон один за другим. Какой-то проказливый черт сидел у меня в глотке, все время хихикавший и подбивавший меня на смех, — приятнее всего мне было бы высмеять или пощекотать немного палкой эту мягкую ползавшую мясную тушу: я даже не помню, владела ли мною когда бы то ни было более сильная злоба, чем при этом искрометном торжестве над унижением нагло игравшей женщины.

Но вот несчастный собрал, наконец, все свои талоны, кроме одного, синего, который упал подальше и лежал на песке, как раз передо мной. Он одышливо поворачивался во все стороны, искал его своими близорукими глазами, — пенсне сдвинулось у него на самый кончик влажного от испарины носа, — и этой секундой воспользовалась моя каверзная злоба, чтобы продлить его забавное рвение: безвольно повинуюсь шаловливости, достойной школьника, я быстро выставил ногу и наступил на талон, так что найти его он не мог бы, несмотря ни на какие усилия, пока на это не согласился бы я. И он искал, искал неутомимо, посапывая, все заново пересчитывая разноцветные карточки; ясно было, что одной — моей — он не досчитывался, и когда посреди возраставшего гула он снова хотел приняться за поиски, его жена, которая, судорожно закусив губы, избегала моих насмешливых взглядов, не смогла больше сдержать свое гневное нетерпение.

— Лайос! — властно крикнула она ему вдруг, и он встрепнулся, как лошадь при звуке трубы, еще раз ищущим взором окинул песок, — у меня было такое чувство, точно спрятанный талон щекочет мне ступню, и я с трудом удержался от смеха, — потом послушно вернулся к жене, и та с какой-то строптивой

поспешностью увлекла его прочь, в сутолоку, пенившуюся все сильнее.

Я продолжал стоять на месте, не испытывая никакого желания последовать за ними. Эпизод был для меня завершен; чувство эротического напряжения приятно разрядилось в веселое настроение; возбуждение совершенно покинуло меня, не оставив никаких следов, кроме здорового ощущения сытости, — утолена была моя внезапно прорвавшаяся злоба, — следа наглого, почти шаловливого удовлетворения тем, что проделка удалась.

Впереди тесно сгрудились люди, волнение уже начинало kloкотать и напирать в виде мощной, грязной, черной волны на барьер, но я совсем не смотрел в ту сторону: я уже начинал скучать и подумывал о том, чтобы прогуляться по Криау или поехать обратно. Но едва лишь я непроизвольно ступил ногой вперед, как заметил синий талон, забытый на земле. Я поднял его и держал, теребя, в руке, не зная, как с ним поступить. Смутно возникла у меня мысль возвратить его Лайосу, что могло бы послужить превосходным поводом к знакомству с его женой; но я чувствовал, что она меня больше не интересуется, что недолгий зной, которым пахнуло на меня это приключение, давно остужен моим старым равнодушием. Большого, чем этот борющийся, вызывающий обмен взглядами, я не требовал от супруги Лайоса, — толстяк был мне все же слишком противен, чтобы я мог делить ее тело с ним, — нервный трепет я вкусил, и теперь ощущал уже только спокойное любопытство, приятную разрядку.

Стул находился все там же, покинутый и одинокий. Я удобно развалился на нем, закурил папиросу. Передо мною опять начиналось бушевание страстей, я даже не прислушивался: повторения меня не прельщали. Я спокойно смотрел на ставший табачный дымок и думал о Меранском Гильфе, где я двумя месяцами раньше смотрел на брызжущий водопад. Это было совсем как здесь: тот же бурно возраставший гул, от которого не становилось ни тепло, ни холодно, то же бессмысленное звучание среди молчаливого синего пейзажа. Но в этот

миг азарт достиг апогея, снова замелькала над черным людским прибоем пена зонтиков, шляп, криков, платков, снова слились голоса воедино, снова из гигантской пасти толпы вырвался — иначе только окрашенный — возглас. Я слышал одно имя, тысячекратно, с сликанием, звоном, экстазом, отчаянием провозглашаемое: «Кресси! Кресси! Кресси!» И снова, как натянутая струна, оно оборвалось (какую монотонность сообщает повторение даже страстям!). Заиграла музыка, толпа расплзлась. Взметнулись доски с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий талон, оставшийся у меня в руке. На нем тоже стояла семерка.

Я невольно рассмеялся. Талон выиграл, этот славный Лайос поставил верно. Итак, я по злобе своей еще и обобрал толстого супруга! Сразу вернулось ко мне мое проказливое настроение, теперь меня интересовало, во сколько ему обошлось мое ревнивое вмешательство. В первый раз присмотрелся я к синей карточке: это был талон на двадцать крон, и Лайос поставил их в ординаре. Это могло составить приличную сумму. Без долгих размышлений, повинувшись только щекотанию любопытства, я дал торопливой толпе увлечь себя по направлению к кассе. Я вдвинут был в какую-то очередь, предъявил талон, и костлявые проворные руки человека, чье лицо мне даже не было видно за перегородкой, сунули мне на мраморную доску девять билетов по двадцать крон.

В этот миг, когда мне уплачены были деньги, настоящие деньги, синие кредитки, смех у меня замер в гортани. Сразу зашевелилось неприятное чувство. Невольно я отвел руки назад, чтобы не прикоснуться к чужим деньгам. Охотнее всего я оставил бы синие кредитки на доске, но за мною уже теснились люди, нетерпеливо ждавшие выигранных ими денег. Мне поэтому ничего иного не оставалось, как взять деньги, — с омерзением в пальцах; словно синие языки огня, горели банкноты в руке, и я ее невольно отводил в сторону, как будто и рука, их взявшая, не мне принадлежала. Тотчас же я понял фатальность положения. Против моей воли шутка превратилась в

нечто такое, что не должно было произойти с человеком приличным, с джентльменом, с офицером запаса, и я не решался перед самим собою назвать этот поступок надлежащим именем. Ибо это были не открытые, а коварством добытые, украденные деньги.

Вокруг меня жужжали и реяли голоса, люди теснились и толкались перед кассами. Я все еще стоял неподвижно, с отведенной в сторону рукой. Что было мне делать? Сначала возникла самая естественная мысль: разыскать выигравшего, извиниться и вернуть ему деньги. Но это было неосуществимо, особенно в присутствии того офицера. Я ведь был лейтенантом запаса и за такое признание немедленно заплатился бы чином; ибо, пусть бы я даже нашел талон, получение денег было некорректным поступком. Я подумывал также о том, не уступить ли мне инстинкту, щекотавшему мои пальцы, не смять ли и не выбросить ли банкноты, но и это на людях могло броситься кому-нибудь в глаза и породить подозрение. Но я ни за что, ни на мгновение не хотел оставлять у себя чужие деньги или же положить их в бумажник, чтобы позже подарить их кому-нибудь: привитое мне с детства, подобно привычке к чистому белью, чувство опрятности заставляло испытывать омерзение при каждом, пусть мимолетном, прикосновении к этим кредиткам. «Отделаться, только бы отделаться от этих денег, — лихорадочно шептал мне какой-то голос, — каким бы то ни было путем». Невольно я стал смотреть по сторонам, и, в то время как беспомощно высматривал, нет ли поблизости какого-нибудь укромного уголка, какой-нибудь скрытой возможности избавиться от денег, я заметил, что люди опять начали проталкиваться к кассам, но теперь уже с деньгами в руках. Это была прекрасная мысль. Швырнуть обратно деньги злему случаю, который мне подбросил их, сунуть их опять в прожорливую пасть, которая проглатывала в этот миг с той же жадностью новые ставки, серебро и банкноты, — да, это было правильно, это было правильно, это было подлинным освобождением.

Я рванулся с места, побежал туда, вклинился в очередь.

Только два человека стояли еще передо мною, первый уже подошел к тотализатору, когда я вдруг сообразил, что не мог бы назвать лошадь, на которую ставлю эти деньги. Жадно прислушался я к раздававшимся вокруг меня словам.

— Вы ставите на Равахоля? — спросил кто-то.

— Разумеется, на Равахоля, — ответил ему спутник.

— Вы думаете, у Тедди нет шансов?

— У Тедди? Ни малейших. Он в гандикапе совсем сплеховал. Тедди — это блеф.

Как умирающий от жажды, проглотил я эти слова. Итак, Тедди был плох, Тедди не мог выиграть. Тотчас же я решил поставить на него. Я сунул деньги в окошко, назвал только что впервые услышанное мною имя Тедди в ординаре, чья-то рука бросила мне талоны. Сразу сделался я теперь обладателем девяти красных с белым карточек вместо одной. Это было все еще тягостное чувство; но как-никак оно было не таким жгучим и унижительным, как непосредственное осязание шелестящих денег.

Я опять почувствовал себя легко, почти беззаботно; от денег я теперь отделался, покончил с неприятной стороной приключения, и оно приняло опять характер такой же шутки, с какой началось. Спокойно усевшись опять на свой стул, я закурил папиросу и стал пускать кольцами дым. Но мне не сиделось, я встал, принялся ходить взад и вперед, опять опустился на стул. Удивительная вещь: блаженная мечтательность исчезла бесследно. Какая-то нервозность колюще пробегала у меня по телу. Сначала я думал, что это неприятное чувство вызвано возможностью встретить Лайоса и его жену в струившейся мимо толпе; но как могли бы они догадаться, что эти новые талоны принадлежат им? Не мешало мне и волнение публики, напротив, я внимательно следил, не начинает ли она опять уже тесниться к барьеру, и даже поймал себя на том, как все время приподнимался, чтобы посмотреть на флажок, который взвивается в начале заезда. Так вот это что было — нетерпение, лихорадочное нетерпение ожидания: скорее бы уже начался заезд и навсегда кончилось это тягостное положение.

Мимо пробежал мальчишка с программами. Я окликнул его, купил программу и принялся разбирать непонятные, на чужом жаргоне напечатанные слова, пока не набрел, наконец, на Тедди, на фамилию его жокея, владельца конюшни и цвет: красный с белым. Но почему это так меня интересовало? Я раздраженно смял листок и отшвырнул его, встал, сел опять. Мне вдруг стало очень жарко, — пришлось вытереть платком влажный лоб, — и воротник стал мне тесен. Заезд все еще не начинался.

Наконец звонок задребезжал, люди хлынули, и в этот миг я с ужасом почувствовал, как этот звон, точно будильник, пробудил и меня, в испуге, от какого-то сна. Я так порывисто вскочил со стула, что он опрокинулся, и поспешил — нет, побежал — жадно вперед, крепко сжимая в кулаке талоны, прямо в толпу, словно снедаемый неистовой боязнью опоздать, пропустить нечто чрезвычайно важное. Грубо растолкав людей, я пробрался к самому барьеру и бесцеремонно рванул к себе стул, которым хотела воспользоваться одна дама. Всю свою бестактность и бешенство я сразу понял по ее глазам — это была моя добрая знакомая, графиня Р., и я уловил ее гневный взгляд под высоко поднятыми бровями, но из стыда и упрямства холодно отвернулся и вскочил на стул, чтобы видеть ипподром.

Где-то вдали сгрудилась на лужайке у старта небольшая кучка беспокойных лошадей, которых с трудом сдерживали маленькие жокеи, похожие на пестрых полишинелей. Я сразу же постарался узнать среди них моего, но зрение у меня не изошренное, и в глазах так странно и знойно все двоилось, что мне не удавалось различить среди многоцветных пятен красный с белым цвет. В этот миг раздался второй звонок, и, как семь пестрых стрел с тетивы, полетели лошади в зеленый коридор. Для спокойного эстетического созерцания было, вероятно, наслаждением наблюдать, как скакали стройные животные и неслись над полем, почти не касаясь грунта; но я всего этого не воспринимал, я только делал отчаянные попытки узнать мою лошадь, моего жокея и проклинал себя за то,

что не захватил с собою бинокля. Как ни выгибался я и ни вытягивался, я видел только не то четыре, не то пять насекомых, сплетавшихся в один летящий клубок; только форма его начала теперь у меня на глазах постепенно изменяться; легкая стая клинообразно удлинилась на повороте, спереди заострилась, а с боков стала крошиться. Борьба разгорелась жаркая: три или четыре лошади, совершенно распластавшись в галопе, плоско, как цветные бумажные полоски, слипались друг с другом; то одна, то другая выдвигалась на голову вперед. И невольно я вытягивался всем своим телом, как будто мог придать их скачке еще большую стремительность этим раздражительным, пружинящим, страстно напряженным движением.

Вокруг меня возбуждение росло. Некоторые более опытные зрители, вероятно, уже на кривой различили цвета, потому что имена взлетели теперь, как ракеты, над смутным гулом. Подле меня стоял человек, неистово вытянувший руки, и когда в этот миг выдвинулась одна лошадиная голова, он заорал, стуча ногами, мерзко, пронзительным и торжествующим голосом: «Равахоль! Равахоль!» Я увидел, действительно, синее мелькание жокея на этой лошади, и ярость охватила меня от того, что не моя лошадь побеждала. Все невыносимее делался для меня пронзительный рев моего противного соседа: «Равахоль! Равахоль!» Во мне клокотало холодное бешенство, охотнее всего я ударил бы его кулаком в широко раскрытую черную дыру кричащего рта. Я дрожал от гнева, как в лихорадке, чувствовал, что каждую минуту могу совершить какое-нибудь безрассудство. Но тут еще другая лошадь увязалась непосредственно за первой. Может быть, это был Тедди, может быть, может быть, — и эта надежда окрылила меня. И вправду, мне показалось, будто над седлом мелькнула красная рука и чем-то хлестнула по лошадиному крупу, это мог быть Тедди! Но почему не гонит он его, негодяй? Еще раз — хлыстом его! Еще раз! Вот теперь уже он совсем близко от первого. Вот уже отстают только на пядь. Почему Равахоль? Равахоль? Нет, не Равахоль! Не Равахоль! Тедди! Тедди! Вперед, Тедди! Тедди!

Вдруг я откинулся назад. Что, что это было? Кто крикнул так? Кто тут орал: «Тедди! Тедди!»? Да ведь это я сам кричал. И посреди безумия я испугался самого себя. Я хотел сдержаться, овладеть собою, меня стал мучить внезапный приступ стыда. Но я не мог оторвать взгляда от двух лошадей, точно сросшихся друг с другом, и, по-видимому, это был действительно Тедди, борющийся с проклятым, мне ненавистным Равахолем, потому что вокруг меня поднялся теперь громкий и многоголосый, пронзительно высокий крик: «Тедди! Тедди!» — и крик этот опять погрузил меня в страсть, меня, выплывшего на поверхность только на одно мгновение. Он должен был, обязан был выиграть, и в самом деле, вот из-за мчавшейся лошади выдвинулась голова другой, только на четверть, а вот и на половину, а вот уже и шея видна, — в этот миг звонко задребезжал звонок, и раздался единый крик торжества, отчаяния, гнева. На одно мгновение желанное имя наполнило собою весь синий небосвод. Потом оно рухнуло, и где-то зашумела музыка.

Разгоряченный, весь мокрый, со стучащим сердцем, соскочил я со стула. Мне нужно было некоторое время посидеть, так ошалел я от исступленного возбуждения. Экстаз, какого я никогда еще не переживал, заливал меня; бессмысленная радость от сознания, что случай так рабски повинуется моему вызову. Тщетно старался я уговорить себя, что лошадь выиграла вопреки моей воле, что мне хотелось бы проиграть эти деньги. Я не верил этому сам и уже чувствовал в своем теле страшную тягу, меня куда-то волшебной силой влекло, и я знал, куда меня влечет: я хотел видеть победу, осязать ее, держать, ощущать в руках деньги, много денег, синие шелестящие банкноты, а в теле — ту же дрожь. Какое-то совсем необыкновенное, дикое вожделение овладело мною, и никаким чувством стыда я уже не мог его побороть. И не успел я встать, как уже поспешил, побежал к кассе, грубо, локтями расталкивая ожидающих у окошка, нетерпеливо отбрасывая в сторону людей, только чтобы увидеть деньги, подлинные деньги. «Невежа!» — проворчал кто-то за моей спиной; я слышал

это, но даже не подумал о том, чтобы потребовать удовлетворения, я весь дрожал от непостижимого, болезненного нетерпения. Наконец очередь дошла до меня, мои руки алчно ухватили синюю пачку банкнот. Я пересчитал их с трепетом и в то же время с восторгом. В пачке было шестьсот сорок крон.

Пылко рванул я их к себе. Моей следующей мыслью было: еще играть, выиграть больше, гораздо больше. Куда девалась моя программа? Ах, я ее выбросил от волнения! Я оглядывался по сторонам: как бы раздобыть другую? Тут я заметил с неизъяснимым испугом, что вдруг все вокруг меня растеклось в разные стороны, по направлению к выходам, что кассы закрывались и развевавшийся флажок опустился. Игра закончилась. Это был последний заезд. На мгновение я оторопел. Потом во мне вспыхнул гнев, словно я стал жертвой несправедливости. Я не мог примириться с тем, что теперь, когда все мои нервы напряглись и дрожали, когда кровь заструилась у меня в жилах так горячо впервые за многие годы, — что теперь всему должен наступить конец. Но бесполезно было питать обманчивым желанием надежду, что это была всего лишь ошибка, потому что все быстрее рассасывалась пестрая суতোлка и смятая трава уже поблескивала зелеными пятнами между отдельными замешкавшимися зрителями. Постепенно я начал сознавать комизм напряженного моего ожидания, а поэтому взял шляпу — палку я, по-видимому, забыл от волнения у барьера — и пошел к выходу. Сторож, подобострастно сняв картуз, подскочил ко мне, я назвал ему номер моего фиакра, он крикнул его, сложив рупором руку, и экипаж подкатил под четкий топот копыт. Я велел кучеру медленно ехать по главной аллее. Ибо как раз теперь, когда возбуждение начало сладостно утихать, я испытывал похотливую потребность еще раз воскресить в памяти всю эту сцену.

В этот миг подкатил другой экипаж; невольно я взглянул в ту сторону, чтобы тотчас же совершенно сознательно отвернуться. Это была та женщина со своим дородным супругом. Они меня не заметили. Но меня мгновенно охватило гадкое, удушливое чувство: я был пойман с поличным. И охотнее всего

я крикнул бы кучеру, чтобы он погнал коней, только бы поскорее мне скрыться от них.

Фиакр мягко ускользал на резиновых шинах посреди других экипажей, которые, покачиваясь, пронеслись мимо зеленых берегов каштановой аллеи, как убранные цветами лодки, со своим пестрым грузом — женщинами в ярких туалетах. Воздух был мягкий и сладостный, сквозь него доносилось временами легкое дуновение вечерней прохлады. Но прежнее блаженно мечтательное состояние уже не возвращалось: встреча с обокраденным человеком привела меня в мучительное смятение. Словно струя холодного воздуха, прорвавшись сквозь щель, подула вдруг на мою разгоряченную страсть. Я теперь снова и совершенно трезво обдумал всю разыгравшуюся сцену и не понимал уже самого себя: я, джентльмен, принятый в высшем свете, офицер запаса, пользующийся всеобщим уважением, без нужды присвоил найденные деньги, сунул их в бумажник, и вдобавок это доставило мне какую-то алчную радость, наслаждение, лишаящее меня права на какое бы то ни было оправдание. Я, бывший еще за час до этого безупречным, непятнанным человеком, совершил кражу. Я стал вором. И как бы для того, чтобы испугать самого себя, я вполголоса произносил сам себе приговор: в то время как экипаж мягко катился, я говорил безотчетно, в такт стуку копыт: «Вор! Вор! Вор! Вор!»

Но странно... Как мне описать то, что произошло потом, это ведь так необъяснимо, так необычно, и все же я знаю, что ничего не измышляю *post factum*. Каждая стадия моего чувства, каждое колебание моей мысли сохранились ведь у меня в сознании с такой сверхъестественной ясностью, как почти никакое другое впечатление за тридцать шесть лет моей жизни; и все же я с трудом решаюсь изложить этот нелепый ход событий, эти озадачивающие колебания моей психики, да и сомневаюсь, нашелся ли бы такой писатель или психолог, который был бы в состоянии представить их в логической последовательности. Я могу только записать этот ряд чувствований в строгом соответствии с тем, как они неожиданно, одно за другим, возникали.

Итак, я говорил себе: «Вор, вор, вор». Затем настало паразитическое, как бы пустое мгновение, мгновение, когда не произошло ничего, когда я только, — ах, как это трудно выразить! — когда я только слушал, прислушивался к себе. Я вызвал себя в суд, предъявил себе обвинение, теперь подсудимый должен был представить свои объяснения суду. Я начал, говорю, прислушиваться — и не услышал ничего. Это клещущее слово «вор», которое должно было, как я ожидал, вспугнуть меня, а потом низринуть в несказанный уничтожающий стыд, — слово это не вызвало ничего. Я терпеливо ждал несколько минут, прильнул потом еще ближе, так сказать, к самому себе, — потому что слишком ясно чувствовал, что под этим упрямым молчанием что-то шевелилось, — и в лихорадочном ожидании старался услышать непрозвучавшее эхо, крик омерзения, разочарования, отчаяния, который должен был последовать за этим самообличением. И опять-таки не произошло ничего. Никакого отзвука. Еще раз повторил я себе: «Вор, вор», — теперь уже совсем громко, чтобы, наконец, пробудить в себе словно оглохшую, парализованную совесть. Опять не последовало ответа. И вдруг, — в ярком озарении сознания, как если бы спичка внезапно зажглась над темной ямой, — я постиг, что только хотел почувствовать стыд, но не стыдился; мало того — что я в этой яме на какой-то таинственный лад был горд и даже счастлив своим безрассудным поступком.

Как могло это быть? Я отбивался, будучи теперь действительно испуган сам собою, от этого неожиданного открытия, но слишком сильно, слишком бурно поднималось во мне это чувство. Нет, не стыд это был, не возмущение, не гадливость к самому себе, то, что так знойно переливалось у меня в крови, — радость, пьянящая радость вспыхивала во мне, искрилась острыми, светлыми огнями дерзновения, ибо я чувствовал, что в эти минуты, впервые после долгих лет, был действительно жив, что восприимчивость моя была только парализована, но еще не омертвела, что где-то под песчаной поверхностью моего равнодушия, действительно, все-таки та-

инстинктивно били еще горячие ключи страсти и теперь, когда случай прикоснулся к ним волшебным жезлом, высоко взметнулись до самого сердца. Значит, и во мне, и во мне, в этом осколке одухотворенной вселенной, еще дремало то раскаленное, таинственное, вулканическое ядро всего земного, которое иногда вырывается в порыве вожделения, — значит, и я жил, был живым человеком, наделенным злой и пылкой похотью.

Какую-то дверь распахнула буря этой страсти, какую-то бездну во мне раскрыла, и я со сладостным головокружением вглядывался в то неведомое, что было во мне, что внушало мне одновременно страх и чувство блаженства. И медленно — между тем как экипаж спокойно уносил мое сонное тело сквозь мир буржуа — я спускался, со ступени на ступень, в свои человеческие глубины, невыразимо одинокий в этом безмолвном нисхождении, озаряемый только поднятым надо мною ярким факелом моего внезапно разгоревшегося сознания. И в то время как людские волны, смеясь и болтая, катились вокруг меня, я искал в душе своей самого себя, потерянного человека, перебирая в магически озарившейся памяти многие минувшие годы. Совершенно забытые происшествия глянули на меня из запыленных и потускневших зеркал моей жизни, я вспомнил, что уже однажды, будучи школьником, украл перочинный нож у товарища и с таким же дьявольским наслаждением следил, как он его искал повсюду, всех расспрашивал и выбивался из сил; я понял вдруг таинственные грозы многих сексуальных потрясений, понял, что страсть моя была только искажена, только затоптана общественным помешательством, деспотическим идеалом джентльмена, — но что и во мне, только глубоко, очень глубоко, в засыпанных колодцах и трубах, струятся потоки жизни, как и во всех других. О, я ведь жил всегда, но только не осмеливался жить, я замуровал себя и спрятался от самого себя; теперь же сжатая сила возмутилась, жизнь, богатая, несказанно мощная жизнь одержала верх надо мной. И теперь я знал, что ею еще дорожу; в блаженной оторопи, как женщина, которая впервые ощущает в себе движение младенца, ощутил я в себе прорастание подлин-

ного, — как назвать мне его иначе, — истинного, непритворного зерна жизни; я чувствовал, — мне почти стыдно написать такое слово, — как я, увядший, вдруг опять расцветаю, как у меня по жилам тревожно и знойно струится кровь, тихо распускается в тепле восприимчивость и вырастает неведомый, полный сладости или горечи плод. Чудо Тангейзера произошло со мною посреди залитого светом скакового плаца, посреди гудения праздной тысячеголовой толпы: я снова начал чувствовать; зазеленел и покрылся почками высохший посох.

Проезжавший мимо в коляске господин поклонился и окликнул меня — вероятно, я не заметил его первого поклона — по имени. Я встрепнулся, злобный, разгневанный тем, что пробужден от этого сладостного состояния, когда душа моя как бы изливалась, от этого глубочайшего сна, когда-либо изведенного мною. Но взглянув на того, кто поклонился, я совершенно ошалел: это был мой друг Альфонс, милый школьный товарищ, теперь прокурор. Сразу меня пронзила мысль: этот человек, дружески тебя приветствующий, теперь впервые властен над тобою; стоит ему узнать про твой поступок — и ты в его руках. Знай он о тебе и твоём деянии, он должен был бы вытащить тебя из этого фиакра, вырвать из этого мягкого буржуазного существования и столкнуть на несколько лет в мрачный, с решетчатыми окнами, скрытый мир отбросов жизни, других воров, которых только кнут нужды загнал в их грязные камеры. Но на одно лишь мгновение ухватил меня страх за дрожащую руку, только на миг приостановил сердцебиение, — потом и эта мысль превратилась в теплое чувство, в фантастическую, наглую гордость, под влиянием которой я теперь самоуверенно и почти насмешливо мерил взглядом других людей. «Как застыла бы у вас на губах, — думал я, — ваша слащавая, приятельская улыбка, которой вы меня приветствуете, как человека своей среды, если бы вы догадались, кто я такой. Как брызнувшую грязь, стерли бы вы мой поклон гадливым движением руки. Но прежде, чем вы меня отвергли, я уже отверг вас: сегодня днем я выбросился из вашего черствого, окостенелого мира, где был бесшумно вертевшимся ко-

лесиком в большой машине, холодно движущей своими поршнями и суетно вращающейся вокруг собственной оси. Я низринулся в пропасть, глубины которой не знаю, но на протяжении этого единственного часа я в большей мере был живым человеком, чем в течение ряда стеклянных лет в вашем кругу. Не вам я больше принадлежу, не к вашей среде, теперь я нахожусь где-то снаружи, на вершине или на дне, но навсегда ушел с плоского побережья вашего мещанского благополучия. Я впервые почувствовал все, что есть в человеке вожделеющего к добру и злу, но никогда вы не узнаете, где я был, никогда меня не постигнете: люди, что знаете вы о моей тайне?»

Как мог бы я передать, что переживал в этот час, в то время как в образе щегольски одетого джентльмена, кладнокровно кланяясь и отвечая на поклоны, проезжал вдоль вереницы экипажей. Ведь между тем как моя личина — внешний, прежний человек — еще ощущала и узнавала лица, во мне звучала такая оглушающая музыка, что мне надо было сдерживаться, чтобы не прокричать чего-нибудь из этого неистового гула. Я так был полон чувств, что этот внутренний прибой меня физически мучил, и я должен был, как задыхающийся, сильно прижимать руку к груди, под которой мучительно ныло сердце. Но боль, наслаждение, ужас, отчаяние или сожаление — ничего этого не ощущал я отдельно, и все сливалось воедино, я ощущал только, что живу, что дышу и чувствую. И это простейшее, это элементарное чувство, которого я не испытывал уже многие годы, опьяняло меня. Ни разу за все тридцать шесть лет моей жизни, хотя бы мимолетно, не ощущал я такого экстаза и полноты существования, как в этот час.

Экипаж, слабо дрогнув, остановился: сдерживая лошадей, кучер повернулся на козлах и спросил, ехать ли домой. Я очнулся от забытья, взглянул на аллею; опешив, увидел, как долго я грезил, как далеко разлился во времени дурман. Стеннело. Вершины деревьев тихо шевелились, каштаны начинали струить в прохладу свой вечерний аромат. И над ними уже серебрился затуманенный взгляд луны. О, только бы не домой

сейчас, не в обычный мой мир! Я расплатился с кучером. Когда я достал бумажник и взял в руку банкноты, то словно слабый электрический ток пробежал у меня от локтя к кончикам пальцев; стало быть, что-то еще было живо во мне от старого человека, которому было стыдно. Еще подергивалась умирающая совесть джентльмена, но рука моя уже принялась перебирать украденные деньги, и я, в радости своей, был щедр. Кучер так преувеличенно стал меня благодарить, что я невольно усмехнулся: если бы ты знал! Лошади тронулись, фиакр удалился. Я смотрел ему вслед, как с корабля путешественник смотрит в последний раз на берег, где был счастлив.

Некоторое время я стоял в нерешительности посреди говорливой, смешливой, заливаемой звуками музыки толпы; это было, вероятно, в семь часов вечера, и я машинально повернул в сторону Захера, где обычно ужинал всегда со знакомыми после прогулок по Пратеру и где кучер намеренно остановил лошадей. Но не успел я притронуться к двери элегантного садового ресторана, как что-то меня остановило: нет, я еще не хотел возвращаться в свой мир, к небрежным разговорам, которые могли бы приостановить это дивное, таинственно меня наполнявшее брожение, не хотел освободиться из-под искрящихся чар этого приключения, во власти которых чувствовал себя в течение последних часов.

Откуда-то глухо донеслась неясная музыка, и я невольно двинулся по направлению к ней, потому что все манило меня сегодня, для меня было наслаждением всецело отдаваться на волю случая, и в бесцельном блуждании посреди этой мягкими волнами переливавшейся толпы людей заключалась для меня какая-то фантастическая прелесть. Кровь моя бродила в этом густом, горячем, вскипающем человеческом месиве: я был взвинчен, возбужден, напряжен этим едким и дымным запахом человеческого дыхания, пыли, пота и табака. Ибо все то, что прежде, еще вчера, отталкивало меня вульгарностью, пошлостью, плебейским характером, чего всю жизнь презрительно избегал живший во мне утонченный джентльмен, все это магически привлекало к себе мой новый инстинкт, как

если бы я впервые ощущал свое сходство с животным, инстинктивным и грубым. Тут, среди городских подонков, среди солдат, проституток, бродяг, я чувствовал себя хорошо на какой-то особый, совершенно мне непонятный лад; с какой-то жадностью вдыхал едкость этой атмосферы, толкотня и давка в толпе были мне приятны, и я со сладострастным любопытством старался угадать, куда понесет меня, безвольного, этот час. Все ближе раздавались из Вурстльпратера звуки дудок и гармоник, с фантастической монотонностью наигрывали шарманки свои грохочущие польки и вальсы, из балаганов доносился глухой треск, слышался смех, звучали пьяные выкрики, а вот между деревьями замелькала своими сумасшедшими огнями с детства мне знакомая карусель. Я остановился посреди площади, предоставляя всему этому шуму заливать меня, наполнять мои уши и глаза; эти каскады грохота, адская свистопляска были приятны мне, потому что в этом водовороте заключалось нечто, заглушавшее мою внутреннюю бурю. Я смотрел, как служанки, в раздувающихся платьях, взлетали в воздух на гигантских шагах, испуская пронзительно-радостные, чувственные крики; как молодые мясники со смехом ударяли тяжелыми молотами по силомерам; как зазывалы, с обезьяньими ужимками, перекрывали хриплыми своими криками рев шарманок и как все это кипуче перемешивалось с тысячеголосой, неустанно клокочущей жизнью толпы, пьяной от сивухи, духовой музыки, от мелькания огней и от знойного наслаждения теснотой. С тех пор как я проснулся, я вдруг ощутил жизнь других людей, ощутил чувственность столичного города, которая изливалась горячо и густо, возбуждаясь от собственной полноты до степени глухого, животного, но в каком-то смысле здорового и плодотворного возбуждения. И постепенно, от давки, от непрерывного соприкосновения с их горячими, страстно напиравшими на меня телами, мне начала сообщаться их жаркая похоть; нервы у меня напряглись, припороженные острыми запахами; сознание опьяненно играло с гулом толпы, испытывая то отупение, которое неизбежно связано с каждым сильным порывом сладострастья. Впервые за

много лет — быть может, за всю жизнь — ощутил я массу, ощутил людей, как силу, которая сообщала жизнерадостность моему собственному, индивидуальному существованию, какая-то плотина рушилась, и что-то струилось из жил моих в этот мир, ритмично текло обратно, и совсем новый порыв охватил меня: расплавить еще эту последнюю кору, отделявшую меня от них, — страстная тяга к соединению с этим горячим, чужим, теснящимся человечеством. С вожделением мужчины стремился я к лону этого разгоряченного гигантского тела, с вожделением женщины открыт был для любого прикосновения, любого зова, любых объятий, — и теперь, я знал, любовь была во мне и потребность в любви, какую я испытывал только в сумеречные отроческие дни. О, только бы ринуться туда, в живую плоть толпы, каким-то образом слиться с этой вздрагивающей, смеющейся, переводящей дыхание страстностью других людей, только бы влиться, излиться в ее кровеносную систему; стать совсем ничтожным, совсем безмянным в этой суতোлке, быть всего лишь инфузорией в мировой грязи, дрожащим от наслаждения, искрящимся существом в роящихся мириадах, — но только бы раствориться в этой толпе, упасть в водоворот, сорваться, как стрела, с тетивы собственного напряжения, в неведомое, в какой-то рай сплоченности.

Теперь я знаю: я был тогда пьян. В крови моей все клоко-тало, перемешавшись: звон колокольчиков на карусели, пронзительное взвизгивание женщин, которые хватали мужские руки, какофония музыки, шуршание одежды. Остро западал в меня каждый отдельный звук и потом еще мелькал в висках красной дрожащей полосой, я ощущал не только каждое прикосновение, каждый взгляд фантастически возбужденными нервами (как при морской болезни), но и все вместе — в каком-то бредовом единстве. Мне невозможно выразить словами мое сложное состояние, вернее всего это удастся, пожалуй, с помощью сравнения, если я скажу, что был переполнен шумом, гамом, ощущениями, как машина, бешено работающая всеми колесами, чтобы избежать непомерного давления,

которое уже в следующий миг должно взорвать ее котел. В кончиках пальцев дрожала, в виски стучала, горло сжимала, голову стискивала кипевшая кровь, — из состояния многолетней вялости я сразу ввергнут был в лихорадку, в которой сгорал. Я чувствовал, что должен сейчас распахнуть себя, выскочить из собственной кожи, используя какое-нибудь слово, взгляд, объединиться, излиться, отдаться, предаться, сделать себя общим, раствориться, — как-нибудь спасти себя достоянием других из этой твердой коры молчания, которая меня отделяла от теплой, бурлящей, живой стихии. Много часов я не говорил, ничьей руки не сжимал, ничьих вопрошающих и участливых взглядов, обращенных на меня, не ощущал, и теперь, под давлением событий, это волнение мое восставало против молчания. Никогда еще, никогда не испытывал я такой потребности в общении, в общении с человеком, как теперь, когда меня несли волны многотысячной толпы, окатывая меня ее теплом и речами и все же отделяя от ее кровообращения. Я был подобен человеку, умирающему в море от жажды. И при этом я видел, — и каждый взгляд усиливал мою пытку, — как справа и слева в каждый миг завязывались узы, и шарики ртути, как бы играя, сливались. Зависть охватывала меня при виде того, как молодые парни мимоходом заговаривали с незнакомыми девушками и уже вслед за первыми словами брали их под руки; как все приходило в согласие и сближалось: достаточно им было поздороваться перед каруселью или обменяться взглядами, и разнородные элементы сливались в разговоре, быть может, для того, чтобы через несколько минут опять разъединиться, но все же это было связью, соединением, сопричастием, было тем, по чему теперь томила моя дума. Я же, искушенный в салонных беседах, уверенный в себе, прославленный causeur, — я изнывал от страха, я стыдился заговорить с какой-либо из этих широкобедрых служанок, боясь показаться смешным; мало того: я опускал глаза, когда кто-нибудь случайно смотрел на меня, а душа изнывала в тоске по словам. Мне ведь и самому неясно было, чего я хочу от людей, но только для меня сдела-

лось невыносимым мое одиночество, невыносима сжигающая меня лихорадка. Но все взоры скользили мимо меня, ни один не желал на мне остановиться. Один раз ко мне приблизился двенадцатилетний мальчуган, оборвыш; глаза у него были ярко озарены отражением огней, с таким томлением уставился он на кружившихся деревянных лошадок. Узкий рот его был открыт, словно от жажды; очевидно, у него больше не было денег, чтобы кататься, и он мог только наслаждаться чужим смехом и визгом. Я к нему протолкался и спросил его, — но почему при этом так дрожал у меня голос и срывался на такой пронзительный тон?

— Не хотелось бы вам разок прокатиться?

Он вытаращил глаза, испугался, — почему, почему? — покраснел как рак и убежал, не сказав ни слова. Даже босоногий ребенок — и тот не хотел быть мне обязанным радостью: во мне, должно быть, — так чувствовал я, — было нечто ужасающе чуждое всему, если я не мог ни с кем сойтись и оторванно плыл в густой массе, как масляная капля на струящейся воде.

Но я не уступал: я больше не мог быть один. Запыленные лакированные ботинки обжигали мне ноги, в горле першило от угара. Я оглянулся по сторонам: справа и слева, между протекавшими человеческими улицами, лежали зеленые островки, садовые трактиры с красными скатертями и некрашеными деревянными скамьями, на которых сидели за кружками пива, покуривая свои воскресные сигары, мещане. Эта картина прельстила меня: там сидели рядом чужие друг другу люди, вступали в беседу друг с другом. Там можно было немного передохнуть от дикой лихорадки. Я вошел, стал осматривать столы, пока не нашел одного, за которым сидело мещанское семейство — толстый, коренастый ремесленник с женой, двумя веселыми девочками и маленьким мальчиком. Они покачивали в такт головами, обменивались шутками, и от их удовлетворенных, жизнерадостных лиц на меня пахло уютom. Я вежливо поклонился, притронулся к свободному стулу и спросил, могу ли к ним подсесть. Смех у них сразу

оборвался, на миг они приумолкли (словно каждый ждал, чтобы другой изъяснил согласие), потом жена, точно опешив, произнесла:

— Пожалуйста, пожалуйста!

Я сел и сразу же почувствовал, что нарушил своим присутствием их непринужденное настроение, потому что за столом тотчас же возникло неловкое молчание. Не решаясь отвести глаза от красной клетчатой скатерти, на которой неряшливо рассыпаны были соль и перец, я все же ощущал, что они за мной озадаченно следят, и тут же мне пришло к голове, — слишком поздно, — что я был слишком элегантен для этого простонародного трактира, в своем костюме, парижском цилиндре и с жемчужиной в лиловато-сером галстуке; что мое изящество и аромат роскоши тотчас же и тут создавали вокруг меня слой враждебности и смятения. И это безмолвие пяти человек пригибало меня все ниже к столу, красные клетки которого я не переставал с затаенным отчаянием пересчитывать заново, пригвожденный к месту сознанием, что стыдно будет вдруг уйти, и вместе с тем чересчур малодушный, чтобы поднять на соседей глаза. Облегченно вздохнул я, когда наконец появился кельнер и поставил передо мной тяжелую кружку с пивом. Тогда я смог наконец шевельнуть рукой и, делая глотки, поверх кружки скосить на них глаза. И в самом деле, все пятеро наблюдали за мною, без ненависти, правда, но все же с немым изумлением. Они узнали во мне человека, вторгшегося в их тусклый мир, почувствовали своим наивным классовым инстинктом, что я здесь хотел, искал чего-то чуждого моему миру, что не любовь, не симпатия, не простодушная тяга к вальсу, к пиву, к уютному воскресному времяпрепровождению привели меня сюда, а какое-то вожделение, которого они не понимали и которому не доверяли, так же как мальчик около карусели отказал в доверии моему подарку, как тысячи безвестных созданий, толкавшихся там, с безотчетной враждебностью избегали моего изящества, моей светскости. И все же я чувствовал: если бы у меня нашлось для обращения к ним простое, безобидное, сердечное, поистине

человеческое слово, то мне ответили бы отец или мать, дочери польщенно улынулись бы мне, я мог бы с мальчиком пойти стрелять в соседний тир и поребачиться с ним. В какие-нибудь пять — десять минут я был бы освобожден от самого себя, окутан бесхитростной атмосферой обывательской беседы, охотно оказываемого и даже польщенного доверия, — но этого простого слова, этого первого повода для беседы я не находил; ложный, глупый, но непреодолимый стыд сжимал мне горло, и я сидел, опустив глаза, как преступник, за столом этих простолюдинов, терзаясь мыслью, что отравил им последний час праздничного дня своим коварным присутствием. И во время этого пригвожденного сидения я искупал все те годы равнодушного высокомерия, на протяжении которых проходил пренебрежительно мимо десятков тысяч таких столов, мимо миллионов братьев-людей, будучи занят только погоней за благоволением и успехом в узком кругу эlegantности; и я чувствовал, что теперь, когда в час моей отверженности я нуждался в них, прямой к ним путь, возможность непринужденного с ними общения отрезаны для меня изнутри.

Так сидел я, дотоле свободный человек, в томительном угнетении, все заново пересчитывая красные квадраты на ска-терти, пока наконец опять не появился кельнер. Я подозвал его, расплатился, встал, оставил кружку почти полной, вежливо поклонился. Мне ответили приветливыми удивленными поклонами: я знал, не оглядываясь, что теперь, чуть только я повернулся к ним спиной, к ним вернутся жизнерадостность и веселье, что круг задушевной беседы сомкнется, коль скоро исторгнуто чужеродное тело.

Снова я кинулся, но только с еще большей жадностью, горячностью и отчаянием, в людской водоворот. Толкотня тем временем разредилась под деревьями, которые черными силуэтами поднимались в небо, и ярко освещенный круг карусели не так уже густо кишел людьми; движение шло в обратную сторону, к краям площади. Кипящий, глубокий, как бы дышащий гул толпы дробился теперь на множество мелких шумов, сразу обрывавшихся всякий раз, когда с какой-нибудь стороны

опять начинала грохотать свирепая музыка, словно стараясь удержать бегущих. Другого рода фигуры выплыли теперь после воскресного гулянья семьей. Теперь стали попадаться крикливые пьяные; из боковых аллей развинченной и все же крадущейся походкой начали выходить оборванцы: за тот час, который я провел, словно пригвожденный, у чужого стола, этот странный мир приобрел более порочный характер. Но именно эта фосфоресцирующая атмосфера наглости и опасности почему-то была мне больше по душе, чем прежняя, празднично-мещанская. Возбужденный инстинкт чуял в ней то же похотливое напряжение. В этих шляющихся подозрительных фигурах, в этих отбросах общества я ощущал свое отражение под каким-то углом: ведь и они здесь беспokoйно ожидали какого-то мерцающего приключения, быстрого возбуждения; и даже им, этим проходимцам, завидовал я, глядя на их свободное, развязное блуждание, потому что сам стоял, прислонившись к одному из столбов карусели, стараясь исторгнуть из себя гнет молчания, пытку своего одиночества и будучи все же неспособен ни на одно движение, ни на один возглас. Я только стоял и пялил глаза на площадь, освещенную мигающим отражением огней, стоял и устремлял глаза во мрак со своего островка света, с глупым ожиданием глядя на каждого человека, который на мгновение поворачивался в мою сторону, привлеченный яркими лучами. Но все взоры холодно скользили мимо меня. Никто не хотел меня, никто не освобождал меня.

Я знаю, безумием было бы думать, будто можно кому-нибудь описать, а объяснить и подавно, как я, культурный, изящный, светский человек, богатый, независимый, связанный дружбой с самыми выдающимися жителями столичного города, мог ночью целый час простоять у столба надтреснуто визжавшей, неустанно вертевшейся карусели, пропуская мимо себя двадцать, сорок, сто раз одни и те же идиотские лошадиные морды из крашеного дерева, под звуки одних и тех же спотыкавшихся полек и ползучих вальсов, и не трогаться с места с затаенным упрямством, с таинственной решимостью

подчинить судьбу своей воле. Я знаю, что действовал сумасбродно в тот час; но в этом сумасбродном столбняке был такой напор чувства, такое стальное напряжение всех мышц, какое испытывают обычно люди разве что только при падении в пропасть, непосредственно перед смертью; вся моя пусто промчавшаяся жизнь вдруг хлынула обратно и залила меня до горла. И насколько я терзался своим бессмысленным, сумасбродным решением оставаться, не трогаться с места, пока меня не освободит какой-нибудь взгляд, какое-нибудь человеческое слово, настолько же я наслаждался своими терзаниями. Что-то я искупал этим стоянием у столба, не столько эту кражу, сколько тупость, вялость, пустоту своей прежней жизни; и я поклялся себе уйти не раньше, чем какой-нибудь знак не будет мне дан, чем рок не отпустит меня.

Тем временем ночь надвигалась. Один за другим гасли огни в балаганах, и всякий раз тогда надвигался мрак, проглатывая на траве пятно света; все уединеннее становился светлый островок, на котором я стоял, и я с трепетом взглянул на часы. Еще четверть часа — и размалеванные деревянные кони останутся, красные и зеленые лампы погаснут у них на глупых лбах, умолкнет гудящий орган. Тогда я буду весь поглощен мраком, буду стоять совсем один в тихо шелестящей ночи, буду всеми отвержен, всеми покинут. Все тревожнее поглядывал я на темную площадь, по которой теперь уже только изредка пробегала какая-нибудь чета или, шатаясь, проходило несколько пьяных парней. Но в конце площади, наискосок, еще трепетала прячущаяся жизнь, беспокоило и раздражающе. Временами раздавался тихий свист или щелканье, когда проходили несколько мужчин. И когда они сворачивали в мрак, привлеченные зовом, то оттуда слышались шепчущие, звонкие женские голоса, и время от времени ветер доносил обрывки громкого смеха. И постепенно фигуры начали выступать наглее из мрака на освещенную часть площади, чтобы тотчас же нырнуть опять во тьму, чуть только в лучах фонаря мелькала остроконечная каска полицейского. Но едва лишь он удалялся, совершая обход, как призрачные тени появлялись

опять, и мне уже были теперь отчетливо видны их очертания, так близко решались они подходить к свету, — последняя тина этого ночного мира, накипь, оставленная пронесшимся людским потоком: несколько проституток, из числа самых убогих и отверженных, у которых нет своей постели, которые днем спят на тюфяке, а по ночам неустанно бродят, за мелкую серебряную монету отдавая любому где-то здесь, в темноте, свои истасканные, опозоренные, тощие тела, — выслеживаемые полицией, толкаемые голодом или каким-нибудь проходимцем, подстерегающие добычу и подстерегаемые сами. Как голодные собаки, выползали они постепенно на свет в поисках какого-нибудь запоздалого прохожего, чтобы выманить у него одну или две кроны, купить себе на эти деньги вина в кабаке и поддержать тускло мерцавший огарок жизни, которому и так уже вскоре предстояло догореть в больнице или тюрьме.

Это были подонки, последняя жижа чувственности, высоко вскипевшей в праздничной толпе, — с беспредельным омерзением смотрел я на эти голодные фигуры, выходившие из мглы. Но и в этом омерзении была какая-то волшебная услада, от того что даже из этого грязнейшего зеркала снова глянуло на меня забытое и смутно пережитое: это была глубокая трясина, через которую я прошел давно, много лет тому назад, и которая ныне опять заискрилась у меня в сознании фосфоресцирующим светом. Странно: чего только не открывала мне эта фантастическая ночь! Так глубоко разоблачила она мою замкнутую душу, что наружу вышли самые темные стороны моего прошлого, самые сокровенные мои порывы! Смутное чувство всплыло из засыпанных глубин моих отроческих лет, когда на таких фигурах останавливался робкий, любопытством привлеченный и все же малодушно растерянный взгляд, — воспоминание о том часе, когда по шаткой мокрой лестнице я в первый раз взобрался к такому созданию, — и вдруг, как будто молния разверзла ночное небо, я увидел четко каждую подробность этого забытого часа, плоскую олеографию над постелью, амулет, который она носила на шее, ощущал всеми фибрами то, что было тогда, смутную духоту, отвращение и

первую мальчишескую гордость. Все это сразу прокатилось у меня по телу. Беспредельное ясновидение вдруг снизошло на меня, и — как мне передать эту беспредельность? — я внезапно понял все, что вызывало во мне такую жгучую жалость и связывало меня с этими существами как раз потому, что они были последним шлаком жизни, и мой разоженный преступлением инстинкт постигал это голодное блуждание, столь сходное с моим в эту фантастическую ночь, эту порочную открытость всякому прикосновению, всякой чужой, случайно встретившейся похоти. Меня повлекло туда словно магнитом, бумажник с украденными деньгами вдруг жарко запылал у меня на груди, когда я почувствовал, наконец, присутствие существ, людей — нечто мягкое, дышащее, говорящее, желавшее чего-то от других существ, быть может, и от меня, от того, кто только и ждал возможности отдать себя, кто сторал от неистовой тяги к людям. И сразу я понял то, что влечет мужчин к таким созданиям, понял, что это редко бывает всего лишь кипением крови, жгущим зудом, а чаще всего — только боязнью одиночества, чудовищной разъединенностью, обычно громоздящейся между нами и впервые открывшейся сегодня моему воспаленному сознанию. Я вспомнил, когда в последний раз смутно испытал такое же чувство: в Англии это было, в Манчестере, в одном из тех стальных городов, которые гудят под тусклым небом, как подземная железная дорога, и в то же время обдают человека стужей одиночества, проникающей в поры тела до самой крови. Три недели прожил я там у родственников, по вечерам бродя всегда один по барам и клубам и каждый раз заходя в сверкающий мюзик-холл, только чтобы ощутить немного человеческого тепла. И там я встретился как-то вечером с таким же созданием, чей уличный жаргон был мне почти непонятен, но вдруг очутился в какой-то комнате, пил смех из незнакомых уст, теплое тело было рядом с моим, по-земному близкое и мягкое. Внезапно растаял холодный, черный город, мрачная, гудящая область одиночества; какое-то существо, которого я не знал, которое стояло тут и поджидало всякого, кто приходил, растворяло меня;

снова легко дышалось, в легкой ясности ощущалась жизнь посреди стальной тюрьмы. Для одиноких, для замкнутых в самих себя, какой было усладой сознавать, чувствовать, что для их страха все же есть всегда прибежище, возможность крепко за него уцепиться, пусть бы даже оно было захватано многими руками, изъедено ядовитой ржавчиной. И это, как раз это, забыл я в убийственном своем одиночестве, из которого, пошатываясь, выкарабкался в эту ночь, — что где-то, на последнем углу, всегда еще ждут эти последние создания, готовые принять всех отдающихся, дать отдохнуть в своем дыхании всем покинутым, охладить всякий жар, за жалкую плату, слишком ничтожную по сравнению с тем невероятным благом, каким является их вечная готовность, великий подарок их человеческого присутствия.

Подле меня опять загремел орган карусели. Это был последний тур; последними фанфарами огласил темноту кружащийся свет, возвещая переход воскресенья в тусклые будни. Но не было уже никого, лошади без наездников мчались в безумном своем круговращении, переутомленная кассирша уже собирала и пересчитывала дневную выручку, и мальчик подошел с крюком, собираясь после этого последнего тура спустить ставни над балаганом. Только я, один я все еще там стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на пустынную площадь, где мелькали, как летучие мыши, только эти фигуры, ищущие, как и я, поджидающие, как и я, и все же отделенные от меня непроницаемой стеной отчужденности. Но теперь одна из них, по-видимому, заметила меня, потому что медленно подо двинулась. Совсем близко видел я ее из-под полуопущенных век: маленькое, кривое, рахитичное создание, без шляпы, в безвкусном нарядном платьице, из-под которого выглядывали стоптанные бальные туфли. Все это было, вероятно, куплено по частям у старьевщика и с тех пор вылиняло, смялось под дождем или при каком-нибудь грязном походе в траве. Она подкралась ближе, остановилась передо мною, бросая на меня острый, как крючок на удочке, взгляд и в заманивающей улыбке приоткрыв гнилые зубы. У меня замерло дыхание. Я

не мог шевельнуться, не мог смотреть на нее — и все же не мог вырваться: как в гипнозе, ощущал, что вокруг меня алчно бродит человек, что кому-то я нужен, что наконец-то я могу отшвырнуть от себя одним словом, одним только жестом это мерзкое одиночество, эту мучительную отверженность. Но я не был в состоянии шевельнуться, деревянный, как балка, к которой я прислонился, и в каком-то сладострастном обмороке чувствовал только все время — между тем как музыка карусели утомленно замерла — это близкое присутствие, эту волю, домогавшуюся меня, и я на мгновение закрыл глаза, чтобы во всей полноте ощутить, как меня заливает это магнитное, исходящее от чего-то человеческого, из мирового мрака исходящее притяжение.

Карусель остановилась, мелодия вальса оборвалась на последнем, стонущем звуке. Я открыл глаза и успел еще заметить, как фигура, стоявшая подле меня, отвернулась. Ей, по-видимому, надоело чего-то ждать от деревянного истукана. Я испугался. Мне стало вдруг очень холодно. Отчего дал я ей уйти, единственному человеку в этой фантастической ночи, подошедшему ко мне? Позади погасали огни, с треском опускались ставни. Конец.

И вдруг, — ах, как изобразить самому себе эту горячую, эту внезапно вскипевшую пену? — вдруг — это исторглось так внезапно, так горячо, так багрово, как если бы у меня разорвалась артерия в груди, — вдруг из меня, гордого, высокомерного, совершенно закаменевшего в холодном, светском достоинстве человека, вырвалось, как немая молитва, как судорога, как крик, ребячливое и все же столь для меня чудовищное желание, чтобы эта жалкая, грязная, рахитичная проститутка еще хотя раз оглянулась и дала мне возможность с нею заговорить. Ибо не гордость мешала мне пойти за нею, — гордость моя была раздавлена, растоптана, смыта совсем новыми чувствами, — но слабость и беспомощность. И в таком состоянии стоял я там, в трепете и смятении, один, у позорного столба темноты, ожидая, как не ожидал никогда с отроческих лет, как только один раз вечером стоял у окна, когда одна чужая женщина

начала медленно раздеваться и все медлила и задерживала, в неведении, свое обнажение, — я стоял, взывая к Богу каким-то мне самому незнакомым голосом о чуде, о том, чтобы эта искалеченная тварь, эта алчущая человеческая падаль еще раз повторила свою попытку, еще раз обратила в мою сторону взгляд.

И — она обернулась. Еще один раз, совершенно машинально, она оглянулась. Но в глазах у меня, по-видимому, так сильно вспыхнуло мое напряженное чувство, что она остановилась, наблюдая за мной. Она повернулась ко мне, поглядела на меня сквозь мрак и приглашающе кивнула головой в сторону погруженного в темноту края площади. И наконец, я почувствовал, как ужасное оцепенение начало меня покидать. Я снова мог шевелиться и утвердительно кивнул головой.

Незримый договор был заключен. Она пошла вперед по темной площади, время от времени оглядываясь, иду ли я за ней. И я шел за нею: свинец у меня свалился с ног, я мог ими двигать опять. Непреодолимо влекло меня за нею. Я шел не сознательно, а как бы плыл за нею следом, на буксире у таинственной силы. Во мраке аллеи, между балаганами, она замедлила шаги. Теперь она стояла подле меня.

Несколько секунд она ко мне присматривалась, испытующе и недоверчиво: что-то внушало ей неуверенность. Очевидно, мое странно робкое поведение, контраст между моей элегантностью и местом действия были ей чем-то подозрительны. Она несколько раз озиралась по сторонам, колеблясь. Потом сказала, указывая в глубь аллеи, где было темно, как в шахте:

— Пойдем туда. За цирком совсем темно.

Я не мог ответить. Невыразимая гнусность этого сближения ошеломила меня. Охотнее всего я вырвался бы как-нибудь, откупился бы монетой или какой-нибудь отговоркой, но моя воля уже не имела власти надо мной. Чувство у меня было такое, какое испытываешь, когда мчишься в санях по отвесному снежному скату, когда смертельный страх как-то сладострастно сочетается с опьянением от быстроты и когда, вместо того чтобы тормозить, отдаешься падению с хмельным и в то

же время сознательным безволием. Я уже не мог повернуть обратно и, быть может, совсем и не хотел повернуть, и, когда она теперь доверчиво прильнула ко мне, я невольно взял ее под руку. Это была совсем худая рука не столько женщины, сколько недоразвитого, болезненного ребенка, и едва лишь я прощупал ее сквозь тонкое пальтецо, как меня охватила чрезвычайной мягкой, струящаяся жалость к этому несчастному комочку жизни, который бросила мне под ноги эта ночь. И невольно пальцы мои приласкали эти слабые, хрупкие косточки так целомудренно, так благоговейно, как я не прикасался к женщине еще никогда.

Мы пересекли тускло озаренную аллею и вошли в небольшую чащу, где вершины густолиственных деревьев не давали выхода душной, дурно пахнувшей мгле. В этот миг я заметил, хотя теперь уже с трудом различимы были очертания предметов, что она, держась за мою руку, очень осторожно оглянулась, и несколькими шагами дальше — еще раз. И странно: между тем как я в каком-то оцепенении соскальзывал в пропасть, сознание мое все же было совершенно ясно и остро. С ясновидением, от которого ничто не скрывается, которое постигает каждое движение, я заметил, что сзади, вдоль края дороги, нечто скользит за нами следом, и мне как будто слышались крадущиеся шаги. И внезапно, — как если бы молния белой вспышкой озарила долину, — я угадал, я понял все: что меня тут заманивают в западню, что сутенеры этой женщины крадутся за нами и что она вела меня в темноте в какое-то условленное место, где мне предстояло стать их добычей. Со сверхъестественной ясностью, какой обладают только зажатые между жизнью и смертью мгновения, я видел все, взвешивал все возможности. Было еще время спастись, главная аллея должна была находиться неподалеку, потому что до меня доносился шум пробежавшего по ней электрического трамвая; крикнув или свистнув, я мог бы привлечь сюда людей; в остро очерченных образах возникали в мозгу все возможности бегства, спасения.

Но странно: это устрашающее постижение не охладило, а

еще больше разгорячило меня. Ныне, в трезвую минуту, при ясном свете осеннего дня, я не в силах и сам себе как следует объяснить нелепость моего поведения: я понял, понял сразу всеми фибрами своего существа, что я бесцельно подвергаю себя опасности, но это предчувствие, как разжиженное безумие, струилось у меня по нервам. Я предвидел нечто мерзкое, может быть — грозящее смертью, я дрожал от гадливости при мысли, что меня здесь толкают на какое-то преступление, в подлое, грязное приключение, но при том опьянении жизнью, какое я испытывал тогда впервые, возможности которого никогда не предполагал, самая смерть и та представлялась мне предметом мрачного любопытства. Какое-то чувство — стыдно ли мне было обнаружить трусость или это слабость была? — толкало меня вперед. Меня прельщала возможность спуститься в самую клоаку жизни, за один день проиграть и промотать все свое прошлое; дерзновенная похоть духа примешивалась к низменной похоти этого приключения. И хотя я всеми своими нервами предчувствовал опасность, ясно постигал ее своими чувствами, своим рассудком, я все же углублялся в чашу, под руку с этой грязной проституткой, которая меня физически отталкивала сильнее, чем привлекала, и которая, заведомо для меня, относилась ко мне только как к добыче для своих сообщников. Но я не мог отступить. Инерция преступности, днем сообщившаяся мне на ипподроме, влекла меня все глубже и глубже вниз. И я только сильнее ощущал вихревой, ошеломляющий дурман падения в новые бездны и, быть может, в последнюю: в смерть.

Пройдя еще несколько шагов, она остановилась. Опять ее взгляд неуверенно заскользил вокруг. Потом она взглянула на меня выжидательно:

— А что ты мне подаришь?

Ах, вот что! Об этом я забыл. Но этот вопрос не протрезвил меня. Напротив. Я ведь так рад был возможности дарить, отдавать, расточать себя. Я порывисто опустил руку в карман, высыпал ей на открытую ладонь все серебро и несколько смятых кредиток. И тут случилось нечто до того поразительное,

что еще и теперь у меня кровь бежит быстрее в жилах, когда я думаю об этом: было ли это жалкое создание озадачено размером платы, — обычно она за грязную службу свою получала только гроши, — или было нечто непривычное, нечто новое в том, как радостно, быстро, почти ошастливленно подарил я ей эти деньги, — но только она подалась назад, и сквозь густую, дурно пахнущую мглу я почувствовал, как ее взгляд с крайним изумлением искал моего. И я испытал, наконец, то, чего мне так долго в этот вечер недоставало: кто-то искал меня, впервые я жил для кого-то в этом мире. И что ко мне потянулось как раз это отверженное существо, носившее, как товар, даже не глядя на покупателя сквозь мрак, свое несчастное, захватанное тело, что она подняла свои глаза на меня и во мне искала человека, — это усилило только мое поразительное опьянение, одновременно ясновидящее и бредовое, постигающее и растворенное в странном оцепении. И ко мне уже прижались это чуждое мне создание, но не ради исполнения оплаченной обязанности; мне почудилась в этом движении какая-то безотчетная признательность, женственная воля к сближению. Я осторожно взял ее руку, худую рахитичную руку, ощутил ее маленькое искалеченное тело и вдруг, поверх всего этого, увидел всю ее жизнь: снятый грязный угол в предместье, где она с утра до полудня спала среди кишевших вокруг нее чужих детей, ее сутенера, душившего ее, пьяных, которые в темноте, рыгая, бросались на нее, отделение больницы, куда ее приводили, аудиторию клиники, где ее поношенное, голое, больное тело показывали наглым молодым студентам как учебное пособие, и потом — конец в какой-нибудь богадельне, куда ее выгрузят из полицейской кареты и оставят, как собаку, околевать. Бесконечная жалость к ней совсем овладела мною, нечто теплое, что было нежностью, но не было чувственностью. Я не переставал гладить ее по худой, тонкой руке. И потом наклонился над нею и поцеловал ее.

В этот миг за моей спиной раздался шорох, треск ветвей. Я отскочил. И вот уже послышался грубый раскатистый смех мужчины:

— Так и есть! Так я и думал!

Прежде еще, чем я увидел их, я знал, кто они такие. Посреди своего глухого опьянения я ни на миг не забывал, что меня выслеживают; больше того: мое таинственное бодрствующее любопытство поджидало их. Теперь из кустов выдвинулась человеческая фигура, а за нею — вторая: опустившиеся парни с наглыми повадками. Опять послышался грубый смех:

— Экая гадость, заниматься тут свинством! А еще благородный господин! Но теперь мы с ним разделаемся!

Я стоял неподвижно. Кровь у меня стучала в висках. Я не испытывал страха. Я только ждал: что произойдет? Теперь я был наконец на дне, на самом дне низости. Теперь должна была наступить катастрофа, взрыв, конец, которому я полусознательно шел навстречу.

Женщина от меня отпрянула, но не к ним. Она как бы стояла между нами: по-видимому, подготовленное нападение было ей все же не совсем приятно. Парни же были раздосадованы моей неподвижностью. Они переглядывались, — очевидно, ждали с моей стороны возражения, просьбы, испуга.

— Вот как, он молчит! — крикнул наконец один из них угрожающим тоном. А другой подошел ко мне и сказал повелительно:

— Идем в комиссариат!

Я все еще ничего не отвечал. Тогда первый положил мне руку на плечо и легко толкнул меня вперед.

— Марш! — сказал он.

Я пошел. Я не сопротивлялся, потому что не хотел сопротивляться: невероятная, низменная, опасная сторона положения ошеломляла меня. Голова у меня оставалась совершенно ясной; я знал, что парни эти должны были больше, чем я, бояться полиции, что я мог откупиться несколькими кронами, — но я хотел испить до дна чашу мерзости, я вкушал гнусную унижительность положения в каком-то сознательном бреде. Не спеша, совсем машинально пошел я в направлении, в каком они меня толкнули.

Но как раз то, что я так безмолвно, так послушно пошел по

направлению к свету, привело, по-видимому, в замешательство парней. Они тихо перешептывались. Потом опять нарочито громко заговорили друг с другом.

— Шут с ним, отпусти его, — сказал один (он был маленького роста, с изъеденным оспой лицом), но другой ответил с напускной строгостью:

— Нет, брат, шалишь! Попробуй это сделать нищий вроде нас, которому жрать нечего, сейчас же его засадят под замок. Так нечего спуску давать такому благородному господину!

И я слышал каждое слово, слышал в каждом их слове неуклюжую просьбу о том, чтобы я начал с ними торговаться; преступник во мне понимал преступников в них, понимал, что они хотят пытать меня страхом, и я пытал их своей уступчивостью. Это была немая борьба между нами, и — о, как богата была эта ночь! — я чувствовал, посреди смертельной опасности, здесь, в смрадной чаще Пратера, в обществе проходимцев и проститутки, во второй раз за двенадцать часов почувствовал я неистовый азарт игры, но только дело касалось теперь высшей ставки, всего моего гражданского существования, самой жизни моей. И я предался этой чудовищной игре, искрящемуся волшебству случая, со всею напряженной, вплоть до разрыва сердца, силой моих трепетавших нервов.

— О, вот и полицейский! — послышался голос за моей спиной. — Не поздоровится ему, благородному господину, придется недельку отсидеть!

Это должно было прозвучать злобно и грозно, но я слышал запинаящуюся неуверенность в тоне. Спокойно шел я на свет фонаря, где в самом деле поблескивала каска полицейского. Еще двадцать шагов — и я стоял бы перед ним. За мною парни перестали разговаривать; я заметил, как они замедлили шаги. В следующее мгновение — я это знал — они должны были трусливо нырнуть обратно во тьму, в свой мир, ожесточенные неудачей, и выместить ее, быть может, на этой несчастной. Игра подходила к концу: опять вторично я выиграл сегодня, опять обманным образом выманил у чужого, незнакомого человека его злое удовольствие. Передо мною уже мерцал блед-

ный круг фонарей, и когда я в этот миг обернулся, то в первый раз увидел лица обоих парней: ожесточение и угрюмый стыд читал я в их шмыгающих глазах. Они остановились, подавленные разочарованием, готовые отпрянуть во мрак. Ибо власть их окончилась; теперь я был тот, кого они боялись.

В это мгновение мною овладела — и мне показалось, будто внутреннее брожение прорвало вдруг все преграды в моей груди и будто чувство мое горячо переливается в кровь — бесконечная братская жалость к двум этим людям. Чего же они домогались от меня, они, несчастные, голодающие, оборванные парни, от меня, пресыщенного паразита? Несколько крон, несколько жалких крон. Они могли бы меня задушить, убить, — и не сделали этого, а только попытались, на неуклюжий, неискусный лад, запугать меня, из-за этих маленьких серебряных монет, бесполезно лежавших у меня в кармане. Как же я смел, я, вор из прихоти, из наглости, совершивший преступление для щекотания нервов, как смел я еще мучить этих жалких людей? И в мое бесконечное страдание струился бесконечный стыд от мысли, что ради своего сладострастья я еще играл с их страхом, с их нетерпением. Я взял себя в руки: теперь, как раз теперь, когда меня уже защищал свет, струившийся с улицы, теперь я должен был пойти навстречу им, погасить разочарование в этих ожесточенных, голодных взглядах.

Круто повернувшись, я подошел к одному из них.

— Зачем вам доносить на меня? — сказал я и постарался сообщить голосу интонацию подавляемого страха. — Что вам от этого за польза? Может быть, меня арестуют, а может быть, и нет. Но вам ведь это ни к чему. Зачем вам портить мне жизнь?

Оба в смущении тарасили на меня глаза. Они всего ожидали, окрика, угрозы, от которой бы попятились, как ворчливые собаки, только не этой податливости. Наконец один сказал, но совсем не угрожающе, а как бы извиняясь:

— Нужно поступать по закону. Мы только исполняем свой долг.

Это была, по-видимому, заученная фраза для подобных случаев. И все же она прозвучала как-то фальшиво. Ни тот, ни другой не решались на меня взглянуть. Они ждали. И я знал, чего они ждали: что я буду молить о пощаде и что предложу им денег.

Я еще помню каждое из этих мгновений. Знаю каждый нерв, напрягавшийся во мне, каждую мысль, проскакивавшую за висками. И я знаю, чего прежде всего хотела моя злая воля: принудить их ждать, продолжать их мучить, упиться сладострастьем сознания, что я их заставляю томиться. Но я быстро поборол себя, я стал клянчить, потому что знал, что должен их наконец освободить от страха. Я принялся разыгрывать комедию боязни, просил их сжалиться надо мною, молчать, не делать меня несчастным. Я видел, в какое они пришли смущение, эти бедные дилетанты вымогательства. И тогда я произнес, наконец, слова, которых они жаждали так долго:

— Я... я дам вам... сто крон.

Все трое отшатнулись и выпучили друг на друга глаза. Так много они не ждали, теперь, когда все было потеряно для них. Наконец один пришел в себя, тот, у кого лицо было в оспинках и взгляд беспокойно шмыгал. Два раза начинал он говорить. Слова у него застревали в горле. Потом он произнес, и я чувствовал, как ему стыдно:

— Двести крон.

— Да перестаньте вы! — вмешалась теперь внезапно женщина. — Радуйтесь, если он вообще вам что-нибудь даст. Он ведь ничего не сделал, только притронулся ко мне. Это вы, право, через край хватили.

С подлинным ожесточением крикнула она эти слова. И у меня зазвенело в сердце. Кто-то меня пожалел, кто-то выступил моим защитником, доброта выглянула из низости, какое-то темное стремление к справедливости — из вымогательства. Какой это было усладой, как вторило это тому, что поднималось во мне! Нет, я не смею больше играть с этими людьми, не смею продолжать их мучить этим страхом, этим стыдом: довольно! довольно!

— Ладно, значит, двести крон!

Они молчали, все трое. Я достал бумажник. Очень медленно, широко раскрыл я его. В один миг могли они вырвать его у меня из рук и спастись бегством в темноте. Но они отвели застенчиво глаза. Между ними и мною была какая-то тайная общность, не было борьбы и игры, и возникло состояние правомерное, состояние взаимного доверия, человеческая связь. Я извлек два кредитных билета из украденной пачки и подал их одному из них.

— Покорно благодарю, — произнес он невольно, уже отвернувшись. Очевидно, он чувствовал сам, что смешно благодарить за добытые вымогательством деньги. Он стыдился, и этот стыд, — о, я ведь все постигал в эту ночь, каждое движение открывалось мне! — подавил меня. Я не хотел, чтобы этот человек стыдился передо мною, равным ему, таким же вором, как он, слабым, трусливым и безвольным, как он. Его унижение мучило его, и мне захотелось освободить его от этого чувства. Я отклонил его благодарность.

— Мне приходится вас благодарить, — сказал я и сам удивился тому, сколько подлинной задушевности было в моем голосе. — Если бы вы донесли на меня, я был бы погибшим человеком. Мне пришлось бы застрелиться, а вам бы это пользы не принесло. Так лучше. Я пойду теперь вправо, а вы свернете в другую сторону. Спокойной ночи!

Они опять приумолкли на мгновение. Потом один сказал: — Спокойной ночи!

За ним второй и, наконец, проститутка, которая пряталась в тени. Как тепло, как сердечно это прозвучало, словно искреннее пожелание! По их голосам я чувствовал, что где-то глубоко, в тайниках души, они любили меня и что этого необычайного мгновения никогда не забудут. В тюрьме или в больнице оно, быть может, припомнится им опять: нечто от меня продолжало в них жить, нечто свое я им отдал. И радость этого дара наполняла меня, как еще ни одно чувство в жизни.

Я пошел один, сквозь мглу, к выходу из Пратера. Все, чем я был угнетен, покинуло меня; я чувствовал, как изливаюсь в

неведомой полноте, я, безвестный, — в бесконечную вселенную. Все воспринимал я так, точно оно живет только для меня, и ощущал себя снова связанным со всем, что течет. Черными тенями обступали меня деревья, приветствовали меня своим шелестом, и я их любил. Звезды сияли мне с неба, и я вдыхал их белый привет. Поющие голоса откуда-то доносились, и мне чудилось, что они поют для меня. Все стало вдруг принадлежать мне, с тех пор как я разбил кору, покрывавшую мою грудь, и радость, с какой я отдавал, расточал себя, влекла меня ко всему. О, как легко — чувствовал я — доставлять радость и самому возрадоваться этой радости: нужно только открыться, и уже струится от человека к человеку живой поток, низвергается от высокого к низкому, пенясь, вновь поднимается из глубины в бесконечность.

У выхода из Пратера, подле стоянки фиакров, я увидел торговку, устало склонившуюся над своей корзиной. Запыленные сухари лежали в корзине и дешевые фрукты. Должно быть, с самого утра сидела она тут, сторбившись над своими несколькими грошами, и утомление согнуло ее. «Отчего бы и тебе не радоваться, — подумал я, — если радуюсь я?» Я взял небольшой сухарь и положил в корзину кредитный билет. Она торопливо хотела дать сдачи, но я пошел уже дальше и успел только заметить, как ее испугало счастье, как сгорбленная фигура выпрямилась вдруг и заплетавшийся от изумления язык залепетал слова благодарности. С сухарем в руке я подошел к лошади, понурившей усталую голову между оглоблями. Она повернула ко мне морду и приветливо фыркнула. В ее тусклом взгляде я тоже читал благодарность за то, что погладил ее розовые ноздри и подал ей сухарь. И едва лишь я сделал это, мне захотелось большего: доставлять еще больше радости, еще сильнее ощущать, как можно, при помощи серебряных кружочков, нескольких пестрых бумажек уничтожить страх, убивать заботу, зажигать веселье. Отчего не было нищих тут? Отчего не было детей, — они, наверное, позарились бы на эти воздушные шары, которые, ковыляя, нес домой хмурый старик, в виде густых гроздьев на множестве нитей, разочарован-

ный плохой выручкой этого долгого знойного дня. Я подошел к нему.

— Отдайте мне шары.

— Десять геллеров за штуку, — сказал он недоверчиво, потому что не мог понять, к чему нужны этому щеголеватому бездельнику, теперь, в полночь, пестрые шары.

— Дайте мне все, — сказал я и дал ему десять крон.

Он заташался, посмотрел на меня, как ослепленный, потом подал мне веревку, на которой держались все шары. Они оттягивали мне пальцы, хотели вырваться, быть свободными, подняться вверх, в небо. Так ступайте же, летите, куда вас влечет, будьте свободны! Я выпустил веревочки, и шары взвились вверх, как множество пестрых лун. Со всех сторон сбегались люди и смеялись, из мрака выплывали влюбленные пары, кучера щелкали бичами и, крича, показывали друг другу пальцами, как неслись теперь над деревьями освобожденные шары к домам и крышам. Все созерцал я радостно и забавлялся своим блаженным безумием.

Отчего я никогда в жизни не знал, как это легко и как хорошо — дарить радость. Кредитки вдруг опять начали гореть у меня в бумажнике, оттягивали мне пальцы, как только что перед этим воздушные шары: они тоже хотели упорхнуть от меня в неведомое. И я взял их, украденные у Лайоса и свои, — ибо несколько уже не различал их и никакой не чувствовал вины за собою, — взял их в руки, готовый бросить их всякому, кто захочет. Я подошел к человеку, сердито подметавшему пустынную мостовую. Он думал, что я хочу спросить его о какой-нибудь улице, и угрюмо взглянул на меня; я улыбнулся ему и протянул кредитку в двадцать крон. Он вытаращил в недоумении глаза, потом взял ее, наконец, и стал ждать, чего я потребую от него. Я же только улыбался ему, сказав: «Купи себе на эти деньги чего-нибудь хорошего», — и пошел дальше. Все время смотрел я по сторонам, не нужно ли кому чего-нибудь от меня, и так как никто не подходил, то сам предлагал: одну бумажку подарил проститутке, заговорившей со мною, две — фонарщику, одну бросил в открытое окно пекарни,

находившейся в подвале, и так шел все дальше и дальше, оставляя за собою борозды изумления, благодарности и радости. Наконец я принялся их разбрасывать порознь, смятыми комочками по улице, по ступеням одной церкви и радовался при мысли о том, как завтра, идя к заутрени, какая-нибудь старушка из богадельни найдет эти сто крон и возблагодарит Господа, как поражены и осчастливлены будут какой-нибудь бедный студент, швея, рабочий, — как и я сам был в эту ночь поражен и осчастливлен, найдя самого себя.

Я уже не помню теперь, куда и как их все разбросал, бумажные, а потом и серебряные мои деньги. Какое-то головокружение чувствовал я, и когда последние бумажки упорхнули, я ощутил легкость, как если бы мог летать, свободу, какой еще никогда не испытывал. Улица, небо, дома — все в мозгу сливалось у меня в какое-то совсем новое чувство обладания, сопричастности; никогда, даже в самые пылкие мгновения моей жизни, не сознавал я так сильно, что все эти вещи действительно существуют, что они живут, и что я живу, и что их жизнь и моя жизнь совершенно тождественны, что это одна и та же великая, могучая жизнь, которой я никогда не умел радоваться, как надлежало, которую постигает только любовь, объемлет только тот, кто отдается.

Потом я пережил еще один последний, темный миг, когда, в блаженном состоянии дойдя до своей квартиры, вставил ключ в замочную скважину и передо мной открылся черный ход в мои комнаты. Тут вдруг меня охватил страх: не вернусь ли я теперь в свою старую, прежнюю жизнь, если войду в жилище того, кем я был до этого времени, если лягу в его постель, если снова соприкоснусь со всем тем, от чего меня эта ночь так дивно освободила. О нет, только бы не стать снова тем человеком, которым я был, этим вчерашним, прежним джентльменом, корректным, бесчувственным, отчужденным от мира! Лучше низвергнуться во все пучины преступления и омерзения, только бы — в настоящую жизнь! Я был утомлен, невыразимо утомлен и все же боялся, что сон снизойдет на меня и снова покроет своей черной тиной то горячее, пылкое, живое,

что зажгла во мне эта ночь. Боялся, что все это переживание окажется беглым и бессвязным, как фантастический сон.

Но на утро следующего дня я проснулся бодрый, и мое благодарно струившееся чувство не обмелело ничуть. С тех пор прошло четыре месяца, и бывшая черствость не возвращалась ко мне, я все еще переживаю теплое цветение. Волшебное опьянение того дня, когда я вдруг потерял под ногами почву своего мира, низвергся в неведомое и, при этом низвержении в собственную бездну, ощущал головокружение от скорости падения одновременно с глубиной всей жизни, — этот стремительный пыл, правда, исчез, но я с того времени чувствую при каждом дыхании свою собственную горячую кровь, и чувствую это с возобновляющейся каждый день жизнерадостностью. Я знаю, что сделался другим человеком, с иными ощущениями, другим восприятием и более ясным сознанием. Разумеется, я не смею сказать, что стал лучше: знаю только, что стал счастливее, ибо нашел какой-то смысл в моей совершенно остывшей жизни, смысл, для которого не нахожу другого слова, кроме слова: самая жизнь. С тех пор я ничего не запрещаю себе, ибо ощущаю бессодержательность норм и форм моей среды, не стыжусь ни других, ни самого себя. Такие слова, как честь, преступление, порок приобрели вдруг металлический, холодный оттенок, я без отворачивания не могу их даже произносить. Я живу тем, что даю себя оживлять той силе, которую впервые тогда так дивно ощутил. Куда она толкает меня, я не спрашиваю; быть может, по направлению к новой бездне, к тому, что другие называют пороком, или к чему-нибудь необыкновенно возвышенному. Я этого не знаю и знать не хочу. Ибо я полагаю, что подлинно живет лишь тот, кто судьбу свою воспринимает, как тайну.

Но никогда — и в этом я уверен — не любил я жизнь более пылко, и теперь я знаю, что тот совершает преступление (единственное мыслимое преступление!), кто равнодушно относится к какому-либо из обликов своих или форм. С тех пор как я начал понимать самого себя, я понимаю также многое другое: вид жадно глядящего на витрину человека может меня потря-

сти, прыжок собаки — привести в экстаз. Я начал вдруг на все обращать внимание, ничто не безразлично мне. Я ежедневно читаю в газете (в которой прежде меня интересовали только театральная хроника и аукционы) про множество вещей, волнующих меня; книги, казавшиеся мне скучными, внезапно открылись моему сознанию. И вот что удивительнее всего: я вдруг научился говорить с людьми вне рамок того, что называется беседою. Слуга, живущий семь лет в моем доме, интересуется меня, я часто с ним разговариваю; швейцар, мимо которого я обычно проходил безучастно, как мимо движущегося столба, недавно рассказал мне про смерть своей дочурки, и это потрясло меня сильнее трагедий Шекспира. И это преобразование — хотя, чтобы не выдавать себя, я внешне продолжаю жить в кругу культурной скуки — как будто становится постепенно явным. Многие люди вдруг начали сердечно относиться ко мне, в третий раз на этой неделе ко мне подбегали чужие собаки. И друзья говорят мне, как будто я перенес тяжелую болезнь, с каким-то удовольствием, что находят меня помолодевшим.

Помолодевшим? Я ведь один знаю, что только теперь начинаю действительно жить. Впрочем, таково ведь общераспространенное заблуждение; каждый думает, что все прошлое было только ошибкой и подготовкой, и я отдаю себе отчет в той дерзости, какую совершаю, когда, взяв холодное перо в теплую, живую руку, пишу себе самому на белой бумаге: я подлинно живу. Но пусть это безумие, — оно первое из всех сделало меня счастливым, согрело мою кровь и разбудило мою душу. И если я описываю здесь чудо своего пробуждения, то ведь я делаю это только для себя, знающего все это глубже, чем способны мне сказать мои собственные слова. Я не говорил об этом ни с одним из друзей; они не догадывались, каким я уже был мертвецом, они никогда не догадаются, как я теперь цвету. И если бы смерти суждено было вторгнуться в эту мою живую жизнь, и эти страницы оказались бы в руках другого человека, то меня такая возможность ничуть не страшит и не мучит. Ибо, кто ни разу не изведal волшебства подобного

мгновения, так же не поймет, как не понял бы я сам еще полгода тому назад, что несколько таких беглых и с виду почти не связанных друг с другом эпизодов за один вечер способны были так чудесно воспламенить уже угасшую жизнь. Перед таким человеком я не стыжусь, потому что он не понимает меня. А кто постигает эту связь, тот не судит и чужд гордости, перед ним я не стыжусь, потому что он понимает меня. Кто однажды обрел самого себя, тот больше ничего на этом свете утратить не может. И кто однажды постиг в себе человека, тот понимает всех людей.





ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ

Когда известный романист Р., после трехдневной экскурсии в горы, возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый — быстро сообразил он, и этот факт не доставил ему ни радости, ни боли. Бегло просмотрел он шелестящие страницы газеты и поехал в такси к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителей и о нескольких телефонных звонках и передал на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво вскрыл пару конвертов, интересных для него благодаря их отправителям; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. В это время подали чай, Р. удобно уселся в кресле и пробежал еще раз газету и несколько печатных уведомлений; после этого он закурил сигару и взялся за отложенное письмо.

В нем было около тридцати страниц, торопливо исписанных неровным незнакомым женским почерком, — скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталась ли там какая-нибудь сопроводительная записка. Но конверт оказался пустым, и на нем, так же как и на самом письме, не было ни адреса отправителя, ни подписи. «Странно», — подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», — гласило вверху обращение или заголовок. Он остановился в удивлении... К нему ли это относилось

или к какому-то вымышленному человеку? В нем сразу проснулось любопытство. И он начал читать.

* * *

Мой ребенок вчера умер, — три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь; сорок часов грипп сотрясал лихорадкой его бедное горячее тельце, и я не отходила от его постели. Я клала холодные компрессы на его пылавший лобик, днем и ночью держала в своих руках его беспокойные маленькие ручки. На третий вечер я свалилась сама. Мои глаза не выдержали и закрылись помимо моей воли. Три или четыре часа проспала я, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я его увидела после смерти; только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ему ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырем углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что, когда вспыхивают свечи, тени пробегают по его личику и закрытому рту, и тогда кажется, что его черты шевелятся, и я готова поверить, что он не умер, что он проснется вновь и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь наивное и нежное. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать еще раз надежды, не испытать еще раз разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер, — теперь у меня только ты на всем свете, только ты, ничего не знающий обо мне, веселящийся в это время или забавляющий себя вещами и людьми. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила.

Я взяла пятую свечу и поставила ее на стол, где я тебе пишу. Я не могу быть одна с моим мертвым ребенком, не выплавав свою душу, а с кем же мне говорить в этот ужасный час, как не с тобой, который для меня был всем и есть все! Я, может быть, не смогу говорить с тобой вполне ясно, может быть, ты не поймешь меня, — голова моя оступела, в висках стучит, и такая боль во всем теле. Я думаю, у меня жар, может быть,

тоже грипп, который теперь крадется от двери к двери, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и не должна была бы ничего больше делать. Иногда у меня совершенно темнеет в глазах, я, может быть, не смогу даже дописать до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня.

С тобой одним хочу я говорить, в первый раз сказать тебе все; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, но о которой ты ничего не знал. Однако ты узнаешь мою тайну только тогда, когда тебе не придется отвечать мне, — если то, что сейчас жаром и холодом потрясает мое тело, есть действительно конец. Если мне суждено жить еще, я разорву это письмо и буду опять молчать, как молчала всегда. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем мертвая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не пугайся моих слов, — мертвая ничего не хочет, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что поведает тебе моя стремящаяся к тебе тоска. Поверь мне, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти единственного ребенка.

Я поведаю тебе всю мою жизнь, эту жизнь, поистине начавшуюся только в тот день, когда я тебя узнала. До того было что-то тусклое и смутное, куда мое воспоминание никогда не спускалось, какой-то погреб, полный запыленных, затканых паутиной вещей и людей, о которых мое сердце ничего больше не знает. Когда ты явился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, этот последний вздох моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, вдову скромного чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка, — мы ведь всегда держались незаметно, словно придавленные нашим мещанским убожеством. Ты, может быть, никогда и не слышал нашего имени, потому что у нас не было дощечки

на входных дверях и никто никогда не приходил и не спрашивал нас. Так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, наверное, не помнишь этого, мой любимый; но я — о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя; и как могла бы я не помнить этого, если тогда для меня открылся мир. Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала, и пусть тебя не утомит четверть часа послушать обо мне, не устававшей всю жизнь любить тебя.

Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые жильцы. Они были бедны и ненавидели бедность в своих соседях, в нас, потому что наша бедность не имела ничего общего с их грубостью опустившихся людей. Он был пьяницей и бил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, избитая в кровь, простоволосая, на лестницу; пьяный с криком преследовал ее, пока из других квартир не выскочили люди и не пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с ними и запретила мне разговаривать с их детьми, которые мстили мне за это при всяком удобном случае. Встречая меня на улице, они кричали всякие гадости мне вслед, а однажды закидали меня такими твердыми снежками, что разбили мне лоб до крови. Весь дом единодушно и инстинктивно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, — кажется, мужа посадили за кражу в тюрьму, — и она со своей рухлядью должна была выехать, мы все облегченно вздохнули. Пару дней на воротах висело объявление о сдаче помещения, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что какой-то писатель, одинокий, спокойный господин, снял квартиру. Тогда я в первый раз услышала твое имя.

Через два-три дня пришли маляры, штукатуры, столяры, обойщики, чтобы освободить квартиру от следов пребывания ее неопрятных обитателей. Они начали стучать молотками, чистить, мести, скрести, но мать только радовалась, говоря,

что теперь настанет конец этим безобразиям в соседней квартире. Тебя самого мне, во время переезда, еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот маленький степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распорядившийся тихо и деловито. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас в предместье был совершенно новым явлением, а еще потому, что он был со всеми так необычайно вежлив, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в товарищеские разговоры.

Моей матери он с первого же дня кланялся почтительно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти с благоговением, и сразу видно было, что он, помимо службы, чрезвычайно привязан к тебе. И как я его за это любила, славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему в том, что он всегда может быть возле тебя и служить тебе!

Я для того рассказываю тебе все это, любимый мой, все эти маленькие, почти смешные вещи, чтобы ты понял, каким образом ты смог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким я была. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создан какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны, — все мы в этом маленьком домике в предместье нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты знаешь, как развито любопытство у людей, живущих мелкими, узкими интересами. И как поднялось во мне это любопытство к тебе, когда однажды, после обеда, я возвращалась из школы домой, и перед домом стоял фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх, теперь же переносили отдельные, более мелкие предметы. Я осталась стоять у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи казались мне чрезвычайно странными; я таких никогда не видела: тут были индийские божки, итальянские статуэтки, огромные, удивительно яркие картины и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я не верила своим глазам. Их сложили стопками

у двери, там принял их слуга и заботливо обмахнул метелкой каждую из них. Охваченная любопытством, бродила я вокруг все растущей груды, слуга не отгонял меня, но и не поощрял; поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу переплетов. Я только робко рассматривала заголовки на корешках — тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я думаю, я часами любовалась бы ими, но меня позвала мать.

И вот весь вечер я думала о тебе, еще не зная тебя. У меня самой был только десяток дешевых, переплетенных в истрепанную папку книг, которые я все очень любила и вечно перечитывала. Меня мучила мысль, каким должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, который знал все эти языки и был так богат и в то же время так образован. Все эти книги внушали мне какое-то необъяснимое благоговение. Я старалась мысленно создать твой портрет; ты был старым человеком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но уже тогда, когда ты представлялся мне стариком, я была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз мечтала о тебе.

На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось увидеть тебя, и это еще больше возбуждало мое любопытство. Наконец, на третий день я увидела тебя; и как я была потрясена неожиданностью, когда ты оказался совсем другим, не имеющим ничего общего с образом «старого бога», созданным моим детским воображением. Я грезила о добродушном старце в очках, и вот явился ты, — ты, совершенно такой же, как сегодня, ты, не меняющийся, мимо которого бесследно скользят годы! На тебе был прелестный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой, юношеской походкой взбегал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Шляпу ты держал в руке, и я была неописуемо поражена, увидев твое юное, живое лицо и свет-

лые волосы. Я прямо испугалась, до того я была ошеломлена, увидев тебя таким юным, красивым, таким стройным и элегантным. И разве это не странно: в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что меня и всех других всегда так поражало в тебе, — что у тебя какая-то двойственная душа: ты — горячий, легкомысленный, преданный игре и приключениям юноша и в то же время в области своего искусства — неумолимо строгий, верный своему долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я бессознательно почувствовала, что ты ведешь какую-то двойную жизнь, жизнь со светлой, обращенной к внешнему миру стороной, и другую — темную, которую знаешь только ты один; это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия я, тринадцатилетняя, магически притягиваемая к тебе, ощутила с первого взгляда.

Понял ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой ты был для меня, бедного ребенка! Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в другом, огромном мире, вдруг оказался молодым, элегантным, юношески-веселым, двадцатипятилетним человеком! Нужно ли мне еще говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем бедном детском мирке меня ничто больше не интересовало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством тринадцатилетней девочки думала только о твоей жизни, о твоем существовании. Я наблюдала за тобой, наблюдала за твои привычками, наблюдала за приходившими к тебе людьми, и все это только увеличивало мое любопытство к тебе самому, вместо того чтобы его уменьшать, потому что вся двойственность твоего существа отражалась в разнородности этих посещений. Приходили молодые люди, твои товарищи, с которыми ты смеялся и бывал весел; приходили оборванные студенты; а то подъезжали в автомобилях дамы; раз я видела директора оперы, видела знаменитого дирижера, которым издали восхищалась в театре; бывали маленькие девочки, еще ходившие в коммерческую школу и спешившие смущенно юркнуть в дверь, — вообще много, очень много женщин. Я особенно над

этим не задумывалась, даже тогда, когда однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя под густой вуалью даму. Мне ведь было только тринадцать лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, означало уже любовь. Но я, мой любимый, знаю совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Я гуляла со школьной подругой, и мы, болтая, стояли у ворот. В это время подъехал автомобиль, остановился, и в тот же миг ты порывисто и легко выпрыгнул из него и готов был уже войти в дом. Невольно мне захотелось открыть тебе дверь, я сделала шаг, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, окутывающим взглядом, похожим на ласку, улыбнулся мне, да, именно ласково, улыбнулся мне и сказал тихим и почти дружеским голосом: «Большое спасибо, фрейлейн».

Вот и все, любимый; но с этой минуты, с тех пор как я почувствовала на себе этот мягкий, нежный взгляд, я была твоя. Позже, и даже скоро, я узнала, что ты даришь этот охватывающий, притягивающий к тебе, окутывающий и в то же время раздевающий взгляд, этот взгляд прирожденного соблазнителя каждой женщине, проходящей мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, открывающей тебе дверь, — узнала, что этот взгляд не зависит у тебя от воли и склонности, но что твое ласковое отношение к женщинам делает твой взгляд совершенно бессознательно мягким и теплым, когда ты его обращаешь на них. Но я, тринадцатилетний ребенок, этого не подозревала, я была вся охвачена огнем. Я думала, что эта ласка только для меня, для меня одной, и в этот миг во мне проснулась женщина, полусозревшая женщина, и она навек стала твоей.

— Кто это? — спросила меня подруга. Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя: в этот миг оно уже было для меня священным, оно стало моей тайной.

— Ах, какой-то господин, живущий здесь в доме, — неловко пробормотала я.

— Почему же ты так покраснела? — дразнила меня подруга.

И именно потому, что кто-то посмел издеваться над моей тайной, кровь еще горячее прилила к моим щекам. Я была смущена и ответила грубостью.

— Дура набитая! — сердито отозвалась я. Я готова была ее задушить. Но она расхохоталась еще громче и насмешливее, и я почувствовала, что слезы бессильного гнева наполняют мои глаза. Я оставила ее и убежала наверх.

С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, избалованному, это слово. Но поверь мне, никто не любил тебя так рабски, с такой собачьей преданностью, с такой самоотверженностью, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на земле не сравнится с незаметной любовью ребенка, такой безнадежной, всегда готовой к услугам, такой покорной, чуткой и страстной, какой никогда не бывает исполненная желаний и бессознательных требований любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть, другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям, — они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они играют ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчишки своей первой папиросой. Но я — у меня не было никого, кому я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, — я была неопытна и наивна; я бросилась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне росло и распускалось, я поверяла тебе, вызывая в мечтах твой образ; отец мой давно умер, от матери, с ее постоянной озабоченностью женщины, живущей на пенсию, я была далека, испорченные школьные подруги отталкивали меня, легкомысленно играя тем, что было для меня высшей страстью, — и я бросила к твоим ногам все, что обычно раздробляют и делят, все свои подавляемые и каждый раз заново нетерпеливо пробивающиеся чувства. Ты был для меня, — как объяснить тебе? Каждое сравнение в отдельности слишком мало, — ты был именно всем, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку оно имело отноше-

ние к тебе, все в моем существовании лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой, я читала тысячи книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, как ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с невероятным упорством упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и предметом моего непрерывного огорчения была четырехугольная заплатка на моем старом школьном переднике, перекроенном из домашнего платья матери. Я боялась, что ты можешь заметить эту заплатку и станешь меня презирать. Поэтому я, взбегая по лестнице, всегда прижимала к этому месту сумку с книгами и все боялась, как бы ты все-таки не заметил этот изъян. Но как это было глупо: ты никогда, почти никогда больше на меня не смотрел.

И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подкарауливала тебя. На нашей двери был маленький медный глазок, сквозь круглый вырез которого можно было видеть твою дверь. Это отверстие — нет, нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь тех часов! — было моим глазом в мир, там, в ледяной передней, боясь, как бы не рассердить мать, я просиживала в засаде, с книгой в руке, чуть не целыми днями, как натянутая и звучащая при твоём приближении струна. Я всегда была полна тобой, всегда в напряжении и возбуждении; но тебе было так же трудно заметить это, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые терпеливо считают и отмеряют во тьме твои дни и сопровождают тебя на твоём пути неслышными ударами сердца; ведь ты лишь раз за миллионы отстукиваемых секунд бросаешь на них свой беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы, я знала и скоро научилась отличать отдельных твоих знакомых и разделяла их на таких, которые мне нравились, и таких, которые были мне неприятны. С тринадцати до шестнадцати

лет я каждый час жила тобой. Ах, сколько глупостей я выделывала! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я стащила окурочек сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священным, потому что к нему прикасались твои губы. Сотни раз, по вечерам, я под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в каких комнатах горит у тебя свет, и таким образом лучше ощутить твое невидимое присутствие. А в те недели, когда ты уезжал, — у меня сердце останавливалось всегда от страха, когда я видела старого Иоганна, идущего вниз с твоим желтым чемоданом, — в эти недели моя жизнь замирала и теряла всякий смысл. Мрачная, скучающая, раздражительная, ходила я по дому и должна была следить за тем, чтобы мать по моим заплаканным глазам не отгадала моего отчаяния.

Я знаю, что все это смешные преувеличения чувств и детские выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем во время этих детских эксцессов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не зная твоего лица, потому что при встрече с тобой на лестнице я, боясь твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, как человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы восстановить каждый день твоей жизни; но я не хочу нагонять на тебя тоску, не хочу мучить тебя. Я только хочу рассказать тебе о прекраснейшем переживании моего детства и прошу тебя не смеяться, что оно так ничтожно, потому что для меня, ребенка, оно означало необыкновенно много. Это было, вероятно, в один из воскресных дней, ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколотенные им тяжелые ковры. Старику было тяжело, и я, внезапно набравшись храбрости, подошла к нему и спросила: не могу ли я ему помочь? Он удивился, но не стал возражать, и, таким образом, я увидела — могу ли я высказать тебе, какое

мною овладело благоговение! — твою квартиру, — твой мир, — письменный стол, за которым ты привык сидеть, и на нем цветы в голубой хрустальной вазе. Я увидела твои шкафы, твои картины, твои книги. Это был лишь воровской, украдкой брошенный взгляд в твою жизнь, потому что верный Иоганн, несомненно, не позволил бы мне много разглядывать, но я этим единственным взглядом впитала в себя всю атмосферу твоего гнезда и запаслась пищей для своих бесконечных грез о тебе, наяву и во сне.

Это событие, этот быстрый миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, начал, наконец, догадываться, как человеческая жизнь горела и сгорела для тебя. Об этом часе я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем часе, который, увы, последовал очень скоро за этим. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не слушалась матери и ни на кого не обращала внимания. Я не заметила, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, отдаленный родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас, мне это было только приятно, потому что он иногда приглашал маму в театр, и я могла оставаться одна, думать о тебе, подстергать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить со мной. Я побледнела и почувствовала, как у меня внезапно начало биться сердце. Не возникло ли у нее подозрение, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать была сама смущена, она нежно поцеловала меня (чего обыкновенно никогда не делала) раз, другой, притянула меня к себе на кушетку и начала, запинаясь и смущаясь, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячее забилося у меня сердце, — только одна мысль внутри отвечала на эти слова, мысль о тебе. «Но мы ведь останемся здесь?» — с трудом пробормотала я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у

Фердинанда чудная вилла». Больше я ничего не слышала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать тихонько рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, всплеснув руками, рухнула на пол, как кусок свинца. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, слабое дитя, боролась против подавлявшей меня воли. Даже в эту минуту, когда я пишу, у меня при воспоминании об этом дрожит рука. Я не могла выдать свою настоящую тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, каким-то злобным упрямством. Никто больше не заговаривал со мной, все совершалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; возвращаясь домой, я всегда находила то ту, то иную вещь проданной или увезенной. На моих глазах разрушалась квартира, а с нею и моя жизнь; и однажды, вернувшись из школы, я увидела, что были упаковщики мебели и все унесли. В пустых комнатах стояли упакованные чемоданы и две складных кровати — для матери и для меня: нам предстояло провести здесь еще одну ночь, последнюю, а утром мы уезжали в Инсбрук.

В этот последний день я с удивительной ясностью поняла, что не смогу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не буду знать, но вдруг — мать куда-то ушла — я вскочила, в платье, в котором только что была в школе, и пошла к тебе. Нет, я не шла сама, какая-то магнетическая сила тянула меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я сама не представляла себе, чего я хотела — упасть к твоим ногам, просить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над этим невинным экстазом пятнадцатилетней девочки; однако, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной лестничной площадке, скованная страхом и все-таки гонимая вперед какой-то неведомой силой, как я, словно отрывая дрожащую руку от тела, заставила ее подняться, и после корот-

ких, но составлявших целую вечность мгновений борьбы нажала пальцем пуговку звонка. Я по сей день слышу резкий, дребезжащий звон и сменившую его тишину, когда сердце мое перестало биться и вся кровь во мне остановилась и прислушивалась, не идешь ли ты.

Но ты не пришел. Не пришел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную опустошенную квартиру и в изнеможении бросилась на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но под этим утомлением тлела еще не угасшая решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Я клянусь тебе, к этому не примешивалось никакой чувственной мысли, я была еще совершенно наивна, именно потому, что ни о чем больше не думала, только о тебе; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать улеглась в постель и заснула, я выскользнула в переднюю и стала прислушиваться, не идешь ли ты домой. Я прождала всю ночь, всю эту ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ныло, и нигде не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло от двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на колоде и даже не накрылась одеялом, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, руки у меня дрожали; приходилось каждый раз вставать, так холодно было в этом ужасном, темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.

Наконец — вероятно, было уже около двух или трех часов, — я услышала, как отперли внизу ворота, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, тихонько отворила я дверь, готовая броситься тебе навстречу, упасть к твоим ногам... Ах, я не знаю, чего бы я, глупое дитя, ни наделала тогда. Шаги приблизились, огонек свечи заколыхался по стенам. Дрожа, держалась я за рукоятку двери. Ты это или кто-нибудь другой?

Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала заглушенный смех, шуршанье шелкового платья и твой тихий голос, — ты шел к себе с какой-то дамой...

Как я могла пережить эту ночь, я не знаю. На следующее утро, в восемь часов, меня увезли в Инсбрук; у меня не было сил сопротивляться.

* * *

Мой ребенок вчера ночью умер, — теперь я буду опять одна, если мне действительно суждено жить еще. Завтра придут чужие, одетые в черное, бесцеремонные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут и друзья и принесут венки; но что значат цветы возле гроба? Люди станут утешать меня и говорить мне какие-то слова, слова, слова; но чем люди могут помочь мне? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведенные в Инсбруке, от шестнадцати до восемнадцати лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила среди своей семьи. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, прекрасно относился ко мне; мать, словно заглаживая какую-то неосознанную вину передо мной, шла навстречу всем моим желаниям; я была окружена молодыми людьми, но я отталкивала их всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной — вдали от тебя. Я сама зарывала себя в какой-то мрачный мир самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала; я отказывалась ходить на концерты и в театр или принимать участие в веселых поездках за город. Я почти не выходила на улицу, — поверишь ли ты, любимый, что я едва ли знала десяток улиц в этом маленьком городке, где прожила целых два года? Я предавалась печали и хотела быть печальной, я опьяняла себя лишениями, но моим главным страданием было то, что я не видела тебя. И, кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти, хотела жить

только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями думала только о тебе, снова и снова перерывая в памяти тысячи маленьких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание, — я, как в театре, разыгрывала в своем воображении все эти мелкие эпизоды. И от того, что я несчетное число раз повторяла каждую секунду минувшего времени, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти и каждый миг тех минувших лет я чувствую так ясно и горячо, как если бы он еще вчера жил в моей крови.

Только тобой жила я в это время. Я покупала все твои книги; когда твое имя упоминалось в газете, это был для меня праздник. Поверишь ли ты, что я знаю наизусть каждую строчку твоих книг, — так часто я их читала. Если бы ночью разбудили меня и прочли мне какую-нибудь наугад вырванную строку, я могла бы еще теперь, через тринадцать лет, продолжить ее с того же места; каждое твое слово было для меня, как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его отношении к тебе; я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут интересовать тебя, а когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя: вот тыходишь в зал, вот садишься на свое место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что единственный раз видела тебя в концерте.

Но к чему рассказывать обо всем этом, об иступленном, трагически безнадежном экстазе одинокого ребенка, зачем рассказывать эти вещи тому, кто не подозревает, кто ничего не знает о них? Но действительно ли я была тогда еще ребенком? Мне исполнилось семнадцать, восемнадцать лет, на меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только раздражало меня. Любовь или только игра в любовь в помыслах о ком-нибудь другом, кроме тебя, была мне чужда и невыносима, и даже самое искушение я сочла бы за измену тебе. Моя страсть к тебе была неизменна, но с развитием моего тела, с пробуждением моих чувств она стала более пылкой, более плотской и женственной. И то, чего не могло подозревать дитя, которое, повинувшись бессознательному влечению, позвонило у

твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью: подарить себя тебе, отдаться тебе.

Окружающие считали меня робкой, называли тихоней, от того что я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне росла железная воля. Все мои мысли и стремления были направлены на одно: назад в Вену, назад к тебе. И я настояла на своем, каким бессмысленным и непонятым ни казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свое дитя. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать себе на жизнь, и, наконец, добилась того, что поехала в Вену и поступила на службу к одному родственнику в магазин дамских вещей.

Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер — наконец! наконец! — я прибыла в Вену. Я оставила чемодан на вокзале, вскочила в трамвай — мне казалось, что он так ползет! каждая остановка выводила меня из себя — и подъехала к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, — сердце пело у меня в груди. Лишь теперь для меня стал живым город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом, лишь теперь жила я сама, чувствуя твою близость, тебя, мой вечный сон. Я ведь не понимала, что за горами, за долами и реками я была так же чужда твоему сознанию, как теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоём окне отделяло тебя от моего восторженного взора. Я все стояла и смотрела вверх; там был свет, был дом, был ты, был весь мой мир. Два года мечтала я об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий мягкий, мгlistый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я домой.

Каждый вечер простаивала я так перед твоим домом. До шести я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой; но мне была приятна эта суета, так как она отвлекала меня от моих мучительных мыслей. И как только железные шторы с грохотом опускались за мной, я устремлялась к своей любимой цели. Увидеть тебя, встретиться с тобой было моим единственным желанием, еще хоть раз, издали,

охватить взглядом твое лицо. Прошло около недели, и, наконец, я встретила тебя, встретила в тот миг, когда как раз этого не ожидала. Я только успела взглянуть вверх на твои окна, как ты перешел через улицу. И вдруг я стала опять тринадцатилетним ребенком и почувствовала, как кровь хлынула к моим щекам. Невольно, против своего внутреннего стремления, против томительного желания почувствовать твой взгляд, я склонила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я стыдилась этого детского трусливого бегства, потому что мое желание было ведь для меня теперь ясно: я хотела встретиться с тобой, я искала тебя, я хотела, чтобы ты узнал меня после всех этих прожитых в томительных сумерках лет, хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил меня.

Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, не обращая внимания на метель и острый, режущий венский ветер, простаивала на твоей улице. Часто я целыми часами ждала напрасно, часто ты выходил, наконец, из дома в сопровождении знакомых, и два раза я видела тебя с женщинами. В эти мгновения я чувствовала, что стала взрослой, угадывала какую-то новизну, измененность в моем чувстве к тебе — по той внезапной боли в сердце, которая разрывала мне душу при виде чужой женщины, с такой уверенностью идущей рука об руку с тобой. Я не была поражена: о твоих вечных посетительницах я знала ведь с малых лет, но теперь это причиняло мне прямо физическую боль, что-то напрягалось во мне, восставая против этой очевидной, тесной интимности с другой. Один день, — детски гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор, — я не была у твоего дома; но каким ужасно пустым показался мне этот вечер упорства и возмущения! На следующий вечер я опять смиренно стояла перед твоим домом, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой жизнью.

И наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали увидела тебя и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случай хотел, чтобы улица была загорожена какой-то телегой, и тебе пришлось пройти

вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но, в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение, — о, как страшно мне было вспомнить об этом! — тот посвященный женщинам взгляд, нежный, окутывающий и в то же время раздевающий, тот взгляд, который меня, ребенка, превратил в горящую любовью женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал мой, я не в силах была оторваться, а ты уже прошел мимо. У меня билось сердце; невольно, замедлив шаг и уступая непреодолимому любопытству, я оглянулась и увидела, что ты остановился и смотришь мне вслед. И по тому любопытству и интересу, с которым ты меня разглядывал, я сразу догадалась, что ты меня не узнал.

Ты не узнал меня ни тогда, ни потом; никогда ты не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты; тогда ведь в первый раз я испытала свою судьбу — быть не узнанной тобой. Как изобразить тебе мое разочарование! Подумай, за два года жизни в Инсбруке, когда я каждый миг думала о тебе и только и делала, что рисовала себе картину нашей будущей встречи в Вене, я, смотря по настроению, перебирала самые печальные возможности наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении; в самые мрачные минуты я представляла себе, что ты оттолкнешь меня, отвернешься от меня, потому что найдешь меня ничтожной, некрасивой, навязчивой. В своих страстных видениях я вкусила все виды твоей неблагосклонности, твоей холодности, твоего равнодушия; но даже в самые безнадежные мгновения, в минуты, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, не думала я об этом, самом ужасном: что ты вообще, совершенно не заметишь моего существования. Теперь-то я понимаю, — о, ты научил меня понимать! — что лицо девушки, женщины должно казаться мужчине чем-то крайне изменчивым, потому что оно, большей частью, представляет собой лишь отражение: то страсти, то детской наивности, то утомления — и расплывается так же легко, как изображение в зеркале. Мужчине легче забыть лицо женщи-

ны, чем наоборот, потому что возраст меняет на женском лице игру света и тени, потому что одежда создает для него каждый раз иную рамку. Отвергнутые женщины — самые умудренные. Но я, тогда еще молоденькая девушка, не могла так легко понять твою забывчивость, тем более что, в результате моих непрерывных мыслей о тебе, во мне зародилась какая-то уверенность, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня; как могла бы я жить, сознавая, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не касается твоей души! И это пробуждение под твоим взглядом, показавшим мне, что ни одна струнка в тебе не помнит меня, что ни одна нить воспоминаний не протянута от твоей жизни к моей, было первым падением в действительность, первым предчувствием моей судьбы.

Ты не узнал меня тогда. И когда, через два дня, твой взгляд с известной интимностью охватил меня при новой встрече, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя и которую ты разбудил, а только хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, встреченную на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и дружелюбно, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас замедлил шаг, — я дрожала, я ликовала, я молилась, чтобы ты заговорил со мной. Я чувствовала, что в первый раз я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише и не уклонилась от встречи. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной: не оборачиваясь, я уже знала, что услышу твой любимый голос, в первый раз обращенный ко мне. Ожидание сковывало меня, и я боялась, что мне придется остановиться, с такой силой билось во мне сердце, но в этот миг ты подошел ко мне. Ты заговорил со мной со своей обычной веселостью, словно мы были старые друзья, — ах, ты ведь ничего не подозревал, ты никогда не подозревал о моей жизни! — с такой очаровательной непринужденностью заговорил ты со мной, что я была даже способна отвечать. Мы прошли вдвоем всю улицу. Потом ты спросил меня, не поужинаем ли мы вместе, — я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе?

Мы поужинали вдвоем в небольшой ресторане, — помнишь ли ты, где это было? О нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же, ибо кем я была для тебя? Одной из сотни, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло напомнить тебе обо мне? Я мало говорила, потому что для меня составляло невероятное счастье быть возле тебя, слушать твои слова. Ни вопросом, ни глупым словом не хотела я растратить эти мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты осуществил мои благоговейные ожидания, как деликатен ты был, с каким тактом себя держал: без всякой навязчивости, без всяких вкрадчивых нежностей и, с первой же минуты, с такой уверенной, дружеской интимностью, что ею ты победил бы меня, даже если бы я уже давно всей своей волей, всем моим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания!

Было поздно, и мы встали. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Как могла бы я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой! Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, с легкой заминкой в голосе, спросил меня, не зайду ли я к тебе поболтать. С удовольствием, повинувшись непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то неприятно, не то радостно, но явно поразила тебя. Теперь я понимаю твое удивление: я знаю, что у женщин принято отрицать эту готовность отдаться даже тогда, когда они горят желанием, принято разыгрывать испуг или возмущение, которые должны быть успокоены настойчивыми просьбами, ложью, клятвами и обещаниями. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь — профессия, проститутки, ответили бы немедленным согласием на подобное приглашение, или же так могла поступить совершенно наивная молодая девушка. Во мне же это была лишь — как мог ты об этом подозревать? — обратившаяся в слова воля, неудержимое стремление тысячи отдельных дней. Как бы то ни было, ты был

удивлен, я начала интересоваться тобой. Я чувствовала, что ты во время ходьбы незаметно и удивленно всматриваешься в меня. Твое чувство, это живущее во всех людях магически верное чувство, сразу подсказало тебе, что какая-то тайна, что-то необычное скрыто в этой милостливой, податливой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выспытывающим вопросам я заметила, что ты стараешься отгадать эту загадку: Но я уклонилась от прямых ответов: я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну.

Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я тебе скажу, что ты не можешь понять, чем был для меня подъем по этой лестнице, какое я испытывала опьянение, смущение, какое безумное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез. Но ты должен понять, что каждый предмет там был как бы пропитан моей страстью и был для меня символом моего детства, моей тоски, — ворота, перед которыми я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, отделявший меня от мира моих стремлений, коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, звук открываемой ключом двери, заставлявший меня всегда вздрагивать. Все детство, вся моя страсть сосредоточивались на этом небольшом пространстве; тут была вся моя жизнь, а теперь на меня словно обрушилась буря: все, все исполнилось, и я шла с тобой — я с тобой — по твоему, по нашему дому. Подумай, — это звучит банально, но я не умею иначе сказать, — перед твоей дверью была действительность, тупая, бесконечная повседневность, а за ней начиналось сказочное царство ребенка, царство Аладина; подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую я теперь вошла, опьяненная, и ты догадаешься о том, — только догадаешься, но никогда не поймешь вполне, мой любимый! — что значил в моей жизни этот стремительный миг.

Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего

тела. Да и как ты мог подозревать об этом, любимый, если я не оказала тебе никакого сопротивления и подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не мог отгадать тайну моей любви к тебе, которая, наверное, испугала бы тебя, потому что ты ведь любишь только все легкое, невесомое, мимолетное и боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе невинная, то умоляю тебя: не истолкуй этого неправильно! Я ведь не обвиняю тебя, ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял, — я, я сама пришла к тебе, бросилась тебе на грудь, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя, нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что, как богата, как озарена радостью, как напоена блаженством была для меня эта ночь! Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что не звезды у меня над головой, что я не на небе, — нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый: этот час искупил все. И я помню, когда ты спал и я слышала твое дыхание, чувствовала твое тело и свою близость к тебе, я плакала в темноте от счастья.

Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было попасть в магазин, и я хотела уйти до того, как придет слуга, — он не должен был меня видеть. Когда я, одетая, стояла перед тобой, ты обнял меня рукой и долго смотрел на меня. Было ли это воспоминание, темное и отдаленное, шевельнувшееся в тебе, или просто я показалась тебе красивой и дышащей счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и хотела уйти. Ты спросил меня: «Не возьмешь ли ты с собой немного цветов?» Я сказала: «Да». Ты вынул четыре белых розы из голубой хрустальной вазы на письменном столе (о, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком забралась в твою квартиру). Ты дал мне эти розы, и я целыми днями целовала их.

Мы условились еще раз встретиться. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать, — о, как ненавидела я с

самого детства эти путешествия! — и ты обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес — до востребования; своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощанье дал мне две розы — на прощанье!

Каждый день, два месяца подряд, я справляюсь... но нет, к чему изображать тебе эти адские муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя, я люблю тебя таким, какой ты есть, горячего и забывчивого, увлекающегося и неверного, я люблю тебя таким, каким ты был всегда и каким остался и теперь.

Ты давно уже вернулся, я видела это по твоим освещенным окнам, но ты мне не писал. У меня нет ни строчки от тебя в эти последние часы, ни строчки от того, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, я все ждала. Но ты не позвал меня, ни строчки не написал мне... ни строчки...

* * *

Мой ребенок вчера умер — это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый, — дитя одной из тех трех ночей; я клянусь тебе в этом, и ты знаешь, что в присутствии смерти не лгут. Это было наше дитя, я клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, когда я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя извлекли из моего тела. Мое тело было священо для меня благодаря твоему прикосновению. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимоходом прикасавшимися к моей жизни? Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки, наше дитя, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, — быть может, испуганно, быть может, только удивленно, — ты спросишь меня, любимый, почему я все эти годы молчала об этом ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он спит во мраке, уснув навек, и лежит, готовый уйти, чтобы никогда, никогда не возвращаться. Но как я могла сказать тебе? Ты никогда не поверил бы мне, незнакомой женщине, покорной подруге трех ночей, без со-

противления и даже с ответным желанием отдавшейся тебе, ты никогда не поверил бы мне, безымянной, случайной знакомой, что я осталась тебе верна, тебе, неверному, и лишь с недоверием признал бы ты этого ребенка своим! Никогда, и даже в том случае, если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не смог бы ты освободиться от тайного подозрения, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, чужого ребенка. Ты относился бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, беглая, робкая тень недоверия между тобой и мной. Этого я не хотела. И потом, я ведь знаю тебя; я знаю тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя, и я знаю, что тебе, любящему только беззаботное, легкое, любящему в любви только игру, было бы неприятно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя связанным со мной. Ты, — я знаю, что это было бы независимо от твоей воли, — возненавидел бы меня за свою связанность. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут, я была бы тебе в тягость, была бы тебе ненавистна, я же в своей гордости мечтала о том, чтобы ты никогда в жизни не имел от меня забот. Я предпочла взять все на себя, чем стать для тебя обузой, и хотела быть единственной среди любивших тебя женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но, увы, ты никогда обо мне не думал, ты забыл меня.

Я не виню тебя, любимый! Нет, я не виню тебя. Прости мне, если иногда капля горечи просачивается в мои строки, — мое дитя, наше дитя, лежит ведь мертвое возле меня под мигающими свечами; я грозила кулаками Богу и называла его убийцей, у меня все спуталось в душе. Прости мне жалобу, прости ее мне! Я ведь знаю, ты добр и отзывчив по природе, ты помогаешь всякому, помогаешь совершенно незнакомым людям, если они обращаются к тебе. Но твоя доброта так своеобразна, она открыта для всякого, и всякий может черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки; твоя доброта велика, безгранична, но она, — ты мне прости, — она ленива, она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда

тебя просят, помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты, — позволь тебе это открыто сказать, — человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Раз, когда я еще была ребенком, я видела через наш глазок, как ты подал что-то позвонившему у твоей двери нищему. Ты дал ему, прежде чем он успел попросить, и дал много, но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел; и казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я никогда не забуду твою беспокойную, робкую, избегающую благодарности манеру оказывать помощь. Поэтому-то я никогда и не обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда и не имея уверенности, что это твой ребенок. Ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег, но все это с тайным нетерпением поскорее сбросить с себя эту неприятность; я даже думаю, что ты стал бы уговаривать меня заблаговременно предупредить появление ребенка. А этого я боялась больше всего, — потому что, чего бы я ни сделала, если бы ты этого пожелал, как могла бы я в чем-либо отказать тебе! Но это дитя было для меня всем; оно ведь было от тебя, повторение тебя, но не ты, счастливый, беззаботный, которого я не могла удержать, а ты, данный мне — так я думала — навсегда, связанный с моим телом, связанный с моей жизнью. Теперь я наконец поймала тебя, я могла ощущать в моих жилах тебя, рост твоей жизни, могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жаждой ласки горела душа. Вот почему, любимый, была я так счастлива, когда знала, что буду иметь от тебя ребенка. Вот почему я скрыла от тебя — теперь ты все равно не мог убежать от меня.

Правда, любимый, я пережила не только месяцы счастья, предчувствованные моей душой; настали для меня месяцы, полные ужаса и муки и отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я в последние месяцы ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не

хотела и жила тем, что продала кое-какие принадлежащие мне вещицы. За неделю до родов прачка ukrала у меня из шкафа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют. Там, куда приходят в своей беде самые бедные, отверженные и забытые, среди подонков и нищеты, там родилось твое дитя. В приюте было ужасно, все казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга. Только общее несчастье, общая мука столкнули нас вместе в этой душной, пропитанной хлороформом и кровью, полной криков и стонов палате.

Все унижения, какие приходится претерпеть неимущим, стыд, нравственный и физический, испытала я там в обществе проституток и больных; как страдала я от цинизма молодых врачей, которые с насмешливой улыбкой приподнимали с беззащитных женщин одеяла, с фальшиво ученым видом давали волю своим рукам; сколько натерпелась от алчности сиделок! О, там человеческую стыдливость распинают взглядами и бичуют словами. Табличка с твоим именем — вот все, что остается там от тебя, а то, что лежит в кровати, просто кусок содрогающегося мяса, предмет для показа и изучения, — ах, женщины, у себя дома дарящие ребенка взволнованному ожиданием супругу, они не знают, что значит рожать одинокой, беззащитной, чуть ли не на лабораторном столе! И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно думаю о битком набитой, смрадной палате, где стоны и грубый смех перемежаются с кровавыми воплями, об этой клоаке позора.

Прости, прости мне, что я об этом говорю. Я говорю об этом в первый раз и никогда, никогда больше не буду. Я молчала об этом одиннадцать лет и скоро умолкну навсегда; но один раз я должна была выплакаться, один раз высказать, какой дорогой ценой досталось мне это дитя, составлявшее для меня счастье жизни и теперь бездыханное. Я давно уже забыла эти часы, забыла их в улыбке ребенка, в его смехе, в своей радости; но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я должна выпла-

кать ее, должна облегчить свою душу в этот единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только Бога, только Бога, лишившего это страдание всякого смысла. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю, и никогда я в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилось в муках, когда тело мое сгорало от стыда под любопытными взглядами студентов, даже в мгновения, когда боль разрывала мне душу, я не винила тебя перед Богом; никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе; я всегда любила тебя, всегда благословляла тот час, когда я встретила тебя. И если бы повторились те адские часы и я знала бы наперед, что меня ожидает, я пошла бы на это еще раз, любимый мой, еще раз и тысячу раз!

* * *

Наш ребенок вчера умер — ты никогда его не знал. Никогда, даже при мгновенной, случайной встрече твой взор не коснулся этого маленького, цветущего создания, твоего создания. Я долго скрывалась от тебя, с того момента, как у меня был ребенок; моя тоска по тебе стала менее мучительной, я даже думаю, что я любила тебя уже менее страстно, по крайней мере, я теперь не так страдала от своей любви. Я не хотела делить себя между тобой и им; и я отдала себя не тебе, баловню счастья, жившему в стороне от моей жизни, а ребенку, которому я была нужна, которого я могла кормить, целовать и держать в своих объятиях. Я была как будто спасена от своего томления по тебе, от своего рока, спасена этим другим «тобой», принадлежавшим, по справедливости, мне; лишь изредка, очень редко мое чувство смиренно влекло меня к твоему дому. Только одно я делала: посылала тебе каждый год ко дню твоего рождения несколько белых роз, точно таких же, какие ты подарил мне тогда, после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти одиннадцать лет, кто их тебе посылает? Не вспомнил ли ты случайно о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю и никогда не узнаю твоего ответа. Я довольствовалась тем, что протягивала их тебе из мрака, раз в году позволяя расцвести воспоминанию о том часе.

Ты никогда не знал нашего бедного ребенка, — сегодня я упрекаю себя, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика, ты никогда не видел, как он улыбался и, поднимая свои темные вдумчивые глаза — твои глаза! — озарял их лучистым, радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой веселый, такой милый! В нем по-детски повторилась вся легкая живость твоего существа, твоя быстрая, пылкая фантазия. Он мог часами с увлечением играть разными вещами, как ты играешь жизнью, а потом подолгу просиживал, серьезно подняв брови, над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явственно проявляться свойственная тебе двойственность серьезности и легкомыслия, и чем более он становился похож на тебя, тем больше я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока, его тетрадки были самые опрятные в классе, и как он был притом хорош, в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке! Он был всегда самым элегантным, где бы он ни показывался; когда я гуляла с ним по берегу в Градо, женщины останавливались и гладили его длинные белокурые волосы; когда он в Земмеринге катался на санях, люди с удивлением оглядывались на него. Он был такой миловидный, такой нежный и ласковый. Когда он в минувшем году поступил в интернат Терезианума, он носил свою форму и маленькую шпагу, как паж восемнадцатого века, — теперь на нем, бедном, только рубашечка, и он лежит с бледными губами и сложенными на груди руками.

Но ты, может быть, спросишь меня, как я могла воспитывать дитя в такой роскоши, как сумела я доставить ему эту светлую, радостную жизнь высшего света. Любимый мой, я говорю с тобой из мрака; я не стыжусь, а скажу тебе, но только не пугайся, любимый, — я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавала себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники. Сначала я искала их, потом — они меня, потому что я была — заметил ли ты это когда-нибудь? — очень хороша собой. Все, кому я ни отдавалась, влюблялись в меня, были благодарны мне, привя-

зывались ко мне, все любили меня, — только ты не полюбил меня, только ты, мой любимый!

Презираешь ли ты меня теперь, после этого признания? Нет, я знаю, ты не презираешь меня; я знаю, ты понимаешь все, поймешь и то, что я поступала так ради тебя, ради твоего второго «я», ради твоего ребенка. Однажды, в палате родильного приюта, я прикоснулась к ужасам нищеты, я знала, что бедного всегда попирают, унижают, он всегда является жертвой, и я ни за что на свете не хотела, чтобы твое дитя, твое светлое, чудное дитя выросло на дне, среди голытьбы, среди дикости и пошлости улицы, в ядовитом воздухе задворков. Его нежные уста не должны были знать языка сточной канавы, его белое тельце не должно было носить жесткого, заскорузлого белья бедноты, у твоего ребенка должно было быть все — роскошь и всевозможный комфорт, он должен был подняться до тебя, до твоей жизненной сферы.

Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Это не составляло для меня жертвы, так как то, что обычно называют честью или позором, не имело для меня значения; ты не любил меня, ты, единственный, кому должно было принадлежать мое тело, и мне было безразлично, что еще будет с ним. Ласки мужчин и даже их сильная страсть не затрагивали моей души, хотя я очень уважала многих из них, и меня, при воспоминании о собственной судьбе, искренне трогала их оставшаяся без ответа любовь. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали меня. В особенности один пожилой вдовец, граф, любил меня, как дочь, и без конца обивал пороги канцелярий, чтобы добиться приема твоего ребенка, твоего безродного ребенка, в Терезианум. Три раза, четыре раза просил он моей руки — я могла быть бы теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле, могла отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, боготворившего его отца, а я — спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась, несмотря на все его просьбы, несмотря на то, что причиняла ему боль своим отказом. Возможно, что это была глупость, потому что я жила бы теперь где-нибудь в

тиши и мое ненаглядное дитя было бы со мной, — но почему бы мне не признаться тебе? — я не хотела связывать себя, хотела в любой час быть свободной для тебя. Где-то, в сокровенной глубине души, все еще таилась моя старая детская мечта, что ты еще позовешь меня, хотя бы только на час. И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя все, — лишь бы быть свободной и пойти по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с момента пробуждения сознания, как не ожиданием, ожиданием твоего зова!

И этот час действительно настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нем, мой любимый! Ты не узнал меня и в этот раз — никогда, никогда, никогда ты не узнавал меня! Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в Пратере, на улице, — каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня, я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину; говорили, что я хороша; я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты заподозрить во мне робкую девушку, которую ты видел в полумраке своей спальни!

Иногда с тобой раскланивался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин. Ты отвечал и бросал взгляд на меня, но этот взгляд был простой вежливостью, знаком минутного интереса; это был незнающий, чужой, бесконечно чужой взгляд. Я помню случай, когда это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, доставило мне жгучую боль. Я была в опере и сидела в ложе со своим знакомым, а ты в соседней ложе. Во время увертюры свет погас, и я больше не могла видеть твоего лица, но я слышала рядом с собой твое дыхание, как тогда, в ту ночь, а на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая, нежная рука. И мной овладело неодолимое желание нагнуться и смиренно поцеловать эту руку, когда-то ласкавшую меня. Вокруг колыхалось море возбуждающих звуков, и желание во мне неудержимо росло; я должна была делать над собой судорожные усилия, чтобы не уступить этой силе, притягивавшей мои губы к твоей любимой руке. После первого акта я попросила моего друга увести меня. Я

больше не могла вынести присутствия в темноте так близко от меня и... так бесконечно далеко любимого мной человека.

Но час настал, он настал еще раз, последний раз в моей разрушенной жизни. Это было почти ровно год тому назад, в день, следующий за днем твоего рождения. И странно, я весь этот день думала о тебе, потому что день твоего рождения я справляла всегда как праздник. Рано-рано утром я уже вышла и купила белые розы, которые я ежегодно посылала тебе, как воспоминание о забытом тобою часе. После обеда я поехала с мальчиком в кондитерскую Демеля, а вечером в театр; я хотела, чтобы и он, не зная значения этого дня, ощущал его с ранних лет как некий мистический праздник. На следующий вечер я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым брюннским фабрикантом, с которым жила уже два года; он обожал меня, баловал, хотел, так же, как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, по-видимому, беспричинный отказ, хотя засыпал меня и ребенка подарками и был сам очень милый и добрый человек. На концерте к нам присоединилась веселая компания, мы поужинали в одном из ресторанов на Рингштрассе, и там, среди смеха и шуток, я предложила заглянуть еще в танцевальный зал — в Табарен. Обычно такие места были противны мне, с их заученной алкогольной веселостью, и я всегда сама протестовала против подобных предложений, однако в этот раз какая-то необъяснимая, магическая сила заставила меня неожиданно бросить эту мысль, радостно подхваченную остальными. Меня влекло туда смутное желание, словно какая-то неожиданность предстояла мне там. Привыкшие угождать мне, мои спутники быстро встали, и мы пошли, пили там шампанское, и на меня вдруг нашла какая-то дикая, незнакомая мне, нездоровая веселость. Я пила и пила, подхватывала озорные песенки и испытывала неудержимое желание танцевать и смеяться. Но вдруг что-то содрогнулось во мне, словно холодом или огненным жаром обдало мое сердце: за соседним столиком сидел ты со своими друзьями и смотрел на меня восхищенным и полным желанием взглядом, тем взглядом, который всегда имел надо

мной такую власть. В первый раз за десять лет я вновь ощутила могущество твоего страстного взгляда. Я задрожала.

Я чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших со мной за столом не заметил моего смущения. Оно потонуло в раскатах смеха и музыки.

Все сильнее воспламенялся твой взор и все более обжигал меня. Я не знала, узнал ли ты меня наконец или желаешь меня как другую, незнакомую женщину. Кровь прихлынула к моим щекам, и я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как смущена я была твоим взором. Незаметным движением головы ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла из зала. Затем ты поспешно расплатился, простился с товарищами и вышел, еще раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала, как в ознобе, как в лихорадке, не могла говорить, не могла справиться волнением. Как раз в этот миг негритянская пара, прищелкивая каблуками и вскрикивая, пустилась в какую-то странную пляску, все стали смотреть на них, и я воспользовалась этим мгновением. Я встала, сказала своим друзьям, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой.

Ты стоял у вешалок и ждал меня. Когда я подошла, твой взор прояснился. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу. Я сразу увидела, что ты не узнал меня, не узнал во мне ни ребенка давно минувших лет, ни девушку; тебя тянуло ко мне, как к чему-то новому, неизвестному. «Найдется у вас как-нибудь и для меня часок?» — спросил ты, и по уверенности твоего тона я почувствовала, что ты принимаешь меня за одну из этих дам, которых можно купить на вечер. «Да», — ответила я — то же дрожащее, само собой подразумевающееся «да», которое однажды, более десяти лет назад, сказала тебе девушка в сумерках улицы. «Когда же мы могли бы увидеться?» — спросил ты. «Когда вам угодно», — ответила я: перед тобой у меня не было стыда. Ты взглянул на меня немного удивленно, с тем же недоверчивым любопытством и недоумением, как тогда, когда я совершенно так же поразила тебя поспешностью своего согласия. «Могли бы вы сейчас?» — несколько нерешительно спросил ты. «Да», — ответила я, — пойдете».

Я направилась к вешалке, чтобы взять свое манто.

Тут я вспомнила, что у моего друга был общий номерок от нашего платья. Возвратиться и попросить номерок было бы невозможно без сложных объяснений; с другой стороны, пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, столь желанным все эти годы, я не хотела. Я не колебалась ни секунды. Набросив на плечи только шаль, я вышла в сырую туманную ночь, не заботясь о своем манто, не думая о добром, внимательном ко мне человеке, с которым жила уже несколько лет и поставленном мною теперь в самое нелепое и унижительное положение перед друзьями — в положение глупца, у которого его возлюбленная убегает по первому зову чужого человека. О, в глубине души я сознавала всю низость и неблагодарность своего поведения; я чувствовала, что поступаю бессмысленно и наносю своему другу смертельную обиду, чувствовала, что разбиваю свою жизнь, — но что значила для меня дружба и вся жизнь в моем нетерпении вновь ощутить твои губы и мягкую ласку твоих слов? Так я любила тебя: теперь я могу сказать тебе это, когда все минуло и прошло. И я верю, если бы ты позвал меня с моего смертного одра, у меня нашлись бы силы встать и пойти за тобой.

У входа стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою милую близость и была так же опьянена, так же детски смущена, как при нашей первой встрече. Как и в первый раз, после более чем десятилетнего перерыва, поднялась опять по лестнице, — нет, нет, я не могу тебе рассказать, как я в эти мгновения переживала все вдвойне — в прошлом и в настоящем, — и во всем ощущала только тебя. В твоей комнате мало что изменилось: прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели, но в общем все показалось мне таким знакомым! А на письменном столе стояла ваза с розами — моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе на память о той, кого ты все-таки не вспомнил, все-таки не узнал, даже теперь, когда она была возле тебя и ты соединял с ней уста и руки. Но все же мне было приятно, что ты заботился о цветах; в них тебя все-таки окружала частица моей души, дыхание моей любви.

Ты обнял меня. Снова я осталась у тебя на всю долгую ночь. Но и нагую ты не узнал меня. Счастливая, принимала я твои изощренные ласки и видела, что твоя страсть не знает разницы между любимой и купленной женщиной, что ты предаешься своим желаниям со всей беспечной расточительностью своей натуры. Ты был так нежен и деликатен со мной, взятой из ночного ресторана, так благороден и сердечен, почтителен и в то же время так страстен в наслаждении женщиной, что я, пьянея от старого счастья, почувствовала опять эту двойственность твоего существа — твою одухотворенность в чувственной страсти, еще ребенком покорившую меня. Никогда не встречала я человека, который так пламенно отдавался бы во власть минуты, с такой яркостью обнажал бы сокровеннейшие недра своей души, чтобы затем, увя, угаснуть в какой-то бесконечной, почти неестественной забывчивости. Но и я забыла о себе; кто была я здесь, в темноте, возле тебя? Была ли я та наивно влюбленная девочка, была ли я мать твоего ребенка, была ли я та незнакомка? Ах, все было так знакомо, уже пережито и все же так упоительно ново в эту страстную ночь! И я молилась, чтобы ей не было конца.

Но настало утро; мы встали поздно, и ты пригласил меня остаться позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в столовой невидимой услужливой рукой, и болтали. Ты опять говорил со мной открыто и сердечно, избегая нескромных вопросов и не выпытывая, кто я такая. Ты не спрашивал ни имени моего, ни адреса, я была для тебя случайным приключением, чем-то безличным, жгучей минутой, бесследно исчезающей во мгле забвения. Ты рассказывал, что скоро предпримешь большое путешествие в Северную Африку, на два или три месяца. Я вздрогнула среди своего счастья, потому что в ушах у меня уже звучало: «Прошло, прошло — и забыто!» С какой радостью бросилась бы я перед тобой на колени и закричала: «Возьми меня с собой, тогда ты узнаешь меня, наконец, наконец, после стольких лет!» Но я так робела, так боялась, была такой слабой перед тобой! Я только пробормотала: «Как жаль!» Ты, улыбаясь, взглянул на меня: «Тебе в самом деле жаль?»

Тогда мной овладел внезапный порыв. Я встала и долго и твердо смотрела на тебя. Потом я сказала: «Человек, которого я любила, тоже постоянно уезжал». Я смотрела на тебя, в самую глубину твоих глаз. «Теперь, теперь он узнает меня!» — стонало и дрожало в моей груди. Но ты улыбнулся мне и, утешая, сказал: «Из путешествий ведь возвращаются». «Да, — ответила я, — возвращаются, но успевай забыть». Была какая-то загадочная страстность в том, как я это сказала, потому что теперь встал и ты и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской. Ты взял меня за плечи. «Хорошее не забывается, тебя я не забуду», — сказал ты, и при этом твой взор погрузился в глубину моих глаз, словно ты старался запечатлеть в памяти мой образ. И, чувствуя, как проникает в меня этот ищущий взор, впитывающий в себя все мое существо, я подумала, что, наконец, наконец, пелена упадет с твоих глаз. «Он узнает меня, узнает меня!» Душа моя ликовала при этой мысли.

Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня, и никогда я не была более чужда тебе, чем в этот миг, а то... а то ты не сделал бы того, что ты сделал через несколько минут. Ты поцеловал меня, ты еще раз страстно целовал меня. Мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы, и, когда я подошла к зеркалу и смотрела в него, я увидела, — я чуть не упала от ужаса и стыда, — я увидела, как ты тайком сунул в мою муфту две крупные купюры. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, чтобы не ударить тебя по лицу: ты платил за эту ночь мне, любившей тебя с детства, и матери твоего ребенка! Я была для тебя только проституткой из Табарена, не больше, — ты заплатил, заплатил за меня! Мало того, что я была забыта тобой, я должна была еще испытать унижение от тебя.

Я начала торопливо хватать свои вещи. Я хотела уйти, поскорее уйти. Мне было слишком больно. Я схватила шляпу, она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут меня охватило могучее, неудержимое желание; я хотела сделать еще одну попытку напомнить тебе о себе. «Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз?» — «С

удовольствием», — ответил ты и быстро вынул цветок. «Но, может быть, тебе подарила их женщина — женщина, которая тебя любит?» — «Возможно, — сказал ты, — я не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их люблю». Я взглянула на тебя. «Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой!»

Ты изумленно посмотрел на меня. Я твердо встретила твой взгляд. «Узнай меня, узнай же меня, наконец!» — кричал мой взор. Но твои глаза светились лаской и неведением. Ты еще раз поцеловал меня. Но ты меня не узнал.

Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. В передней я столкнулась с твоим слугой Иоганном. Он проворно отскочил в сторону, услужливо открыл передо мною дверь, и в этот миг, — ты слышишь? — в этот короткий миг, когда я заплаканными глазами поглядела на старика, в его глазах блеснул какой-то свет. В этот миг, — ты слышишь? — в этот миг Иоганн узнал меня, ни разу не видев с детства. Я хотела встать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только вырвала из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня, — в этот миг он, пожалуй, больше отгадал обо мне, чем ты за всю твою жизнь. Все, все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты, только ты один забыл меня, только ты один ни разу не узнал меня!

* * *

Мой ребенок умер; наш ребенок умер, и теперь у меня нет никого на всем свете, кого бы я любила, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, ни разу, ни разу не узнавший меня, проходящий мимо меня, как мимо пустого места, наступающий на меня, как на камень, живущий своей жизнью и заставляющий меня без конца ждать? Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке. Но это был твой ребенок: он жестоко покинул меня и отправился в путешествие; он забыл меня и

больше не вернется. Я опять одинока, более одинока, чем когда-либо. У меня ничего нет, ничего нет от тебя, ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти, и если кто-нибудь произнес бы при тебе мое имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя, почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу бросить свое горе в твой озаренный радостью дом. Не бойся, что я стану надоедать тебе; прости мне, я должна была выплакать свою душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была поговорить с тобой, — потом я опять уйду во мрак и буду молчать, как я всегда молчала возле тебя. Но ты не услышишь этого крика, пока я жива, — только когда я умру, получишь ты это мое завещание, завещание женщины, любившей тебя, больше чем все другие, и которой ты никогда не узнавал, всегда ожидавшей тебя, и которую ты не позвал. Может быть, может быть, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз буду непослушна тебе: я не услышу тебя из своей могилы. Я не оставлю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил; никогда ты не узнаешь меня, никогда. Такова была моя судьба при жизни, пусть будет так и теперь, когда я умираю. Я не хочу звать тебя в мой последний час. Я уйду, и ты не знаешь ни моего имени, ни моего внешнего облика. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть.

Я не могу больше писать... у меня такая тяжесть в голове... все тело ломит, у меня жар... кажется, мне придется сейчас лечь. Может быть, это скоро пройдет, а может быть, судьба на этот раз сжалится надо мной, и мне не придется видеть, как унесут мое дитя... Я больше не могу писать... Прощай, любимый, прощай, благодарю тебя... Все, что было, было прекрасно; несмотря ни на что... я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо — я сказала тебе все, ты теперь знаешь, вернее, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и в то же время эта любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет не хватать меня — это меня утешает. Ничто не

изменится в твоей красивой, светлой жизни... я не омрачу ее своей смертью... это утешает меня, мой любимый.

Но кто... кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза будет пуста, легкое дуновение моей жизни, раз в год залетавшее в твою жизнь, развеется и оно! Любимый, послушай, я прошу тебя... это моя первая и последняя просьба к тебе... исполни это ради меня: каждый раз, в день твоего рождения — ведь это день, когда думают о себе — бери розы и ставь их в вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году служат панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид, я верю только в тебя, я люблю только тебя и жить еще хочу только в тебе... ах, только один день в году, тихо-тихо, как я жила возле тебя... Я прошу тебя, исполни это, любимый... это моя первая просьба к тебе и последняя... я благодарю тебя... я люблю тебя, я люблю тебя... прощай...

* * *

Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом он долго сидел, задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем о ребенке соседней, о девушке, о женщине в ночном ресторане, но воспоминания неясные, расплывчатые, как мерцание камня, видимого сквозь воду на дне реки. Беспреданно набегали тени и мешали сложиться отчетливому образу. В его чувствах оживали воспоминания, но он все-таки не мог вспомнить. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне. Тут его взор упал на голубую вазу на письменном столе перед ним. Она была пуста, в первый раз за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул, ему показалось, что распахнулась дверь и холодный ветер повеял из другого мира в его спокойную комнату. Он чувствовал дыхание смерти и дыхание бессмертной любви; что-то раскрывалось в его душе, и он думал об умершей жизни, как о чем-то бестелесном, как об отдаленной страстной музыке.



УЛИЦА В ЛУННОМ СВЕТЕ

Корабль, задержанный бурей, только поздно вечером бросил якорь в маленькой французской гавани; ночной поезд в Германию уже ушел. Предстояло, таким образом, провести лишний день в незнакомом месте, а вечер не сулил никаких удовольствий, кроме меланхолической музыки дамского оркестра в каком-нибудь загородном увеселительном заведении или скучной беседы с совершенно случайными спутниками. Невыносимым показался мне чадный, сизый от дыма воздух в маленьком ресторане гостиницы, духоту которого я ощущал тем сильнее от того, что на губах у меня еще соленым холодком лежало чистое дыхание моря. Я пошел поэтому наудачу, вдоль широкой светлой улицы, по направлению к площади, где играл оркестр гражданской гвардии, а оттуда — еще дальше, среди спокойно струящегося потока гуляющих людей. Вначале мне было приятно так безвольно покачиваться на волнах равнодушной, по-провинциальному разодетой толпы, но все же мне вскоре стали несносны эта близость чужих людей, их отрывистый смех, эти глаза, которые останавливались на мне с удивлением, отчужденностью или усмешкой, эти прикосновения, незаметно толкавшие меня вперед, этот из тысячи крохотных источников льющийся свет и непрерывное шуршание шагов. Плавание было бурным, и в крови у меня еще бродило сладостное чувство бреда и дурмана; все еще под ногами ощущались качка и скольжение, земля словно дышала и приподнималась, а улица как бы взвивалась к небу. Голова у меня вдруг закру-

жила от этого громкого жужжания, и, чтобы спастись, я свернул в переулок, не поглядев, как он называется, с него — в другой, поуже, где постепенно стал замирать этот бессмысленный гам, и пустился затем бесцельно блуждать по лабиринту этих разветвленных, как жилы, улиц, становившихся все темнее, по мере того как я удалялся от главной площади. Большие фонари, эти луны широких бульваров, здесь уже не горели, и скудное освещение позволяло, наконец, опять увидеть звезды на черном, облачном небе.

Я находился, по-видимому, недалеко от гавани, в матросском квартале; это чувствовалось по гнилостному запаху рыбы, по тому сладковатому аромату тления, какой сохраняют водоросли, выброшенные прибоем на берег, по тому присущему затхлым помещениям смраду, который чадно ложится на эти углы, пока сильная буря не очистит их своим дыханием. Мне были по душе полумрак и это неожиданное одиночество, я замедлил шаги, осматривал одну улицу за другой, и ни одна из них не была похожа на свою соседку: одни были миролюбивы, другие — разгульны, но все погружены во тьму и наполнены глухим шумом голосов и музыки, струившихся так таинственно из-под темных их сводов, что почти нельзя было угадать их подземного источника, ибо все окна были заперты и только мигали красным или желтым светом.

Я люблю эти улицы в чужих городах, этот грязный рынок — прибежище всех страстей, тайное нагромождение всех соблазнов для моряков, которые после одиноких ночей в чужих и опасных морях заходят сюда на одну ночь, чтобы в течение часа осуществить свои долгие похотливые мечтания. Они должны прятаться где-нибудь в нижней части большого города, эти маленькие переулки, ибо нагло и назойливо говорят то, что за сотнями масок скрывают светлые дома с зеркальными окнами и знатными обитателями. Музыка звучит здесь и манит из маленьких лавчонок, кинематографы обещают кричащими своими плакатами неслыханное великолепие, четырехгранные фонарики, приютившись над воротами, подмигивают приветливо, и, приглашающе, сквозь приоткрытые

двери, мелькает голая плоть под позолоченной мишурой. Из кофеен доносятся пьяные голоса и крики ссорящихся игроков. Матросы ухмыляются, когда встречаются здесь друг друга, и тупые взгляды горят от предвкушения, потому что тут сосредоточено все: зрелище, женщины, игра, вино и приключения, грязные и великие. Но все это робко и все же предательски притаилось за лицемерно опущенными ставнями, все находится внутри, и эта кажущаяся замкнутость возбуждает двойным соблазном скрытости и доступности. Улицы эти, одни и те же в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаване, так же похожи друг на друга, как роскошные проспекты в этих городах, потому что в жизни верхи и низы имеют одинаковую форму. Последние фантастические остатки хаотически-чувственного мира, где инстинкты разряжаются грубо и необузданно; темные дебри страстей, кишашие похотливым зверьем, — таковы эти отверженные улицы, возбуждающие тем, что в них сквозит, и прельщающие тем, что в них таится. О них можно грезить.

Такой была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. Наудачу пошел я следом за двумя кирасирами, чьи сабли бряцали по неровной мостовой. Из одного бара их окликнули женщины, они рассмеялись и ответили грубыми шутками, один из них постучал в окно, потом где-то раздалась брань, они пошли дальше, смех раздавался глуше и, наконец, замер совсем. Опять улица стала безмолвной, несколько окон неясно поблескивали в туманном свете матовой луны. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне странной, потому что за нею что-то жужжало, вроде тайны, сладострастия и опасности. Явственно ощущал я, что эта тишина — ложь и что под тусклым чадом этой улицы тлеет какое-то гнилье мира. Но я стоял, не двигался и прислушивался к пустоте. Я уже не помнил ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени; ощущал только, что я здесь чужой, что чудесно растворен в неведомом, что нет у меня ни какого-либо намерения, ни миссии, ни связи с этой темной жизнью вокруг меня; и все же я воспринимал ее в такой же полноте, как свою кровь под

кожей. Только такое чувство было у меня: будто ничто не происходит ради меня, и тем не менее все принадлежит мне — блаженнейшее чувство необычайно глубокого, вследствие безучастности, и необычайно искреннего переживания; чувство, присущее моему существу и всегда пронизывающее меня упоением в незнакомой среде. И вдруг, в то время как я, прислушиваясь, стоял на пустынной улице, как бы в ожидании чего-то, что должно произойти, чего-то, что выведет меня из этого лунатического подслушивания в пустоте, до меня издали, заглушенно, как сквозь стену, донеслась очень смутно немецкая песня, бесхитростный хоровод из «Волшебного стрелка»: «Schöner, grüner Jungfernkranz». Это пел женский голос, очень плохо; но все же это была немецкая мелодия, немецкая — здесь, в каком-то чужом закоулке мира — и поэтому братская в каком-то особенном смысле этого слова. Песня доносилась неизвестно откуда, но для меня она звучала как бы приветом, первым, после многих недель, приветом родины. «Кто говорит здесь на моем языке, — спросил я себя, — кого в этом пустынном закоулке воспоминание влечет оживить в душе этот бедный напев?» Дом за домом ощупывал мой слух в ряду тех, что стояли здесь в полусне, с закрытыми ставнями, но за которыми предательски мелькали огни, а иногда манящая рука. Снаружи висели крикливые надписи, яркие плакаты, и притаившийся бар сулил здесь проходим виски, пиво, эль, но все было заперто, все возбраняло вход и вместе с тем приглашало. Шаги одиноких прохожих раздавались вдали, а голос не переставал звучать, громче пуская трели припева и все приближаясь. Наконец я нашел этот дом. Немного поколебавшись, я подошел к двери, плотно занавешенной белыми шторами. Но в этот миг что-то во мраке ворот оживилось, какая-то фигура, которая притаилась там, прижавшись к стеклу, испуганно встrepенулась, — лицо, залитое красным светом фонаря над воротами и все же бледное от ужаса, лицо мужчины, который вытаращил на меня глаза,

*Дивный, девственный венок (нем.).

пробормотал что-то вроде извинения и исчез в полумраке улицы. Станный был у него вид. Я посмотрел ему вслед. Ускользавший силуэт его был еще неясно виден. Изнутри продолжал доноситься голос, даже еще громче, как мне показалось. Это влекло меня. Я нажал на дверную щеколду и быстро вошел.

Песня оборвалась, точно отрезанная ножом. И я, в испуге, почувствовал перед собой пустоту, враждебное молчание, как будто я что-то вдребезги разбил. Постепенно только взгляд мой освоился с обстановкой почти пустой комнаты. Она состояла из буфетной стойки и стола. Все это служило, несомненно, только преддверием к другим комнатам, назначение которых легко было угадать по неяркому свету ламп и приготовленным постелям, видневшимся сквозь приоткрытые створки. Перед стойкой, облокотившись на нее, стояла накрашенная и утомленная девица, за стойкой — хозяйка, тучная, с лицом землистого цвета, и еще одна, довольно миловидная, девушка. Мои слова приветствия упали камнем в пространство, только после паузы послышалось раздраженное эхо. Мне жутко было оказаться в такой пустоте, в таком напряженном, пустынном молчании, и я охотно повернул бы обратно, но, смутясь, не находил для этого предлога, а поэтому смиренно уселся за стол. Девушка, вспомнив о своих обязанностях, спросила меня, что угодно мне выпить, и по ее твердому французскому произношению я сразу угадал в ней немку. Я заказал пива. Она ушла и вернулась вялой походкой, в которой еще яснее сквозило равнодушие, чем в тусклом выражении глаз, лениво мерцавших под веками, как угасающие свечи. Совершенно машинально, по обычаю подобных заведений, поставила она рядом с моим стаканом второй для себя. Взгляд ее, когда она чокнулась со мной, тускло скользнул мимо меня: я имел возможность рассмотреть ее. Лицо ее было, в сущности, еще красивое, с правильными чертами, но, словно от душевного изнеможения, сделалось вульгарным и похожим на маску; все в нем было вяло, веки — тяжелы, волосы — плоски; щеки, с пятнами дешевых румян, начинали уже опускаться широкими складками ко рту и отвисать. Платье тоже было небрежно

напялено, голос — сильный от дыма и пива. Во всем чувствовался человек усталый и продолжающий жить только по привычке, как бы бесчувственно. В смущении, испытывая тошноту, я бросил какой-то вопрос. Она ответила, не глядя на меня, равнодушно и тупо, еле шевеля губами. Ясно было, что мое присутствие стесняло. Хозяйка зевала, другая девушка сидела в углу и глядела так, словно ждала, чтобы я ее тоже подозвал. Я рад был бы уйти, но все во мне отяжелело, и сидел я в этом насыщенном, спертom воздухе, тупо покачиваясь, как матросы, прикованный к месту любопытством и омерзением, потому что в этом безразличии было нечто возбуждающее.

И вдруг я вздрогнул, испуганный резким хохотом сидевшей подле меня женщины. И в то же время лампа замигала: по сквозняку я понял, что за моей спиной приоткрылась дверь.

— Опять пришел? — насмешливо и резко крикнула она по-немецки. — Опять уже бродишь около дома, ты, сквалыга? Ну, да уж входи, я тебе ничего не сделаю.

Я повернулся порывисто, сначала — к ней, так пронзительно крикнувшей эти слова, точно у нее пламя вырвалось из тела, а потом к входной двери. И еще не успела она открыться, как я узнал пошатывающуюся фигуру, узнал смиренный взгляд этого человека, который раньше словно прилипал к дверям. Он робко держал шляпу в руке, как нищий, и дрожал от резких слов, от смеха, который сотрясал тяжелую фигуру женщины и которому вторила хозяйка за стойкой торпливым шепотом.

— Туда садись, к Франсуазе, — приказала она бедняге, когда он, крадучись, трусливо ступил на шаг вперед. — Видишь, у меня гость.

Она крикнула это по-немецки. Хозяйка и девушка громко рассмеялись, хотя понять ничего не могли, но посетитель был им, по-видимому, знаком.

— Дай ему шампанского, Франсуаза, бутылку того, что подороже! — со смехом воскликнула она и опять обратилась насмешливо к нему: — Коли оно тебе дорого, оставайся за

дверьми, скряга несчастный! Хотелось бы тебе небось бесплатно глазеть на меня! Я знаю, все тебе хочется иметь бесплатно.

Длинная фигура съежилась от этого злого смеха, криво выдвинулся горб; казалось, что вошедший хочет куда-нибудь запрятать лицо, и рука у него дрожала, когда он взялся за бутылку, и проливала вино. Он все хотел поднять на женщину глаза, но не мог оторвать их от пола, и они бродили по кафельным плитам. Теперь только я разглядел отчетливо, при свете лампы, это истощенное, бледное, помятое лицо, влажные и жидкие волосы на костистом черепе, дряблые и точно надломленные суставы, убожество, лишенное силы, но все же не чуждое какой-то злости. Искривлено, сдвинуто было в нем все и придавлено, и взгляд, который он вдруг метнул и тотчас же опять отвел в испуге, озарился злым светом.

— Вы на него не обращайтесь внимания, — резко сказала мне девица по-французски и ухватила меня за руку, точно хотела рвануть меня к себе. — У меня с ним старые счеты, не со вчерашнего дня.

И опять крикнула ему, обнажив зубы, точно для укуса:

— Подслушивай, подслушивай, старая ехидна! Хочешь знать, что я говорю? Говорю, что скорее в море кинусь, чем к тебе пойду.

Снова рассмеялись хозяйка и другая девушка, тупо осклабившись. Казалось, что это была для них обычная забава, повседневное развлечение. Но мне стало жутко, когда я увидел, как другая девушка вдруг прильнула к нему с напускной нежностью и начала приставать с любезностями, от которых он содрогался в ужасе, не решаясь их отклонить, и я пугался, когда его блуждающий взгляд в робком смятении, подобострастно останавливался на мне. И ужас вселяла в меня женщина, сидевшая рядом, очнувшаяся вдруг от своей вялости и сверкавшая такой злобой, что у нее дрожали руки. Я бросил деньги на стол и хотел уйти, но она их не взяла.

— Если он мешает тебе, я его выброшу вон, собаку. Он должен хвост поджать. Выпей-ка еще стакан со мною. Иди сюда.

Она прижалась ко мне в неожиданном, фанатическом порыве нежности, которую напустила на себя, — в этом нельзя было сомневаться, — только чтобы мучить другого. При каждом движении она поглядывала в его сторону, и мне противно было видеть, как он вздрагивал от всякого ее жеста, обращенного ко мне, точно от прикосновения раскаленной стали. Не обращая на нее внимания, я следил только за ним и трепетал, наблюдая, как в нем росло что-то вроде ярости, гнева, алчности и зависти и сразу же съеживалось, чуть только она поворачивала к нему голову. Теперь она вплотную прильнула ко мне, я чувствовал ее тело, дрожавшее от злорадного наслаждения игрой, и мне было мерзко от ее яркого, пахнувшего дешевой пудрой лица, от запаха ее дряблого тела. Чтобы отдалить ее от своего лица, я достал сигару, и, когда я начал искать глазами спички на столе, она уже властно крикнула ему:

— Дай закурить!

Я испугался еще больше, чем он, его услуг и порывисто схватился за карман в поисках спичек, но, подхлестнутый ее словами, как бичом, он уже подошел ко мне своей кривой, шаткой походкой и быстро, словно мог обжечься от прикосновения к столу, положил на него свою спичечную коробку. На мгновение наши взгляды скрестились: бесконечный стыд выражался в его глазах и скрежещущее ожесточение. И этот поработанный взгляд поразил во мне мужчину, брата. Я почувствовал, что он унижен женщиной, и стыдился вместе с ним.

— Очень вам благодарен, — сказал я по-немецки; она встрепенулась, — напрасно побеспокоились. — И я подал ему руку. Долгое колебание — потом я ощутил влажные, костистые пальцы и вдруг — судорожное, благодарное пожатие. На протяжении секунды его глаза струили свет в мои, потом опять скрылись под веками. Из упрямства я хотел попросить его присесть к нам, и, должно быть, приглашающий жест уже скользнул в мою руку, потому что она торопливо прикрикнула на него:

— Ступай в свой угол и не мешай нам!

Тут меня вдруг охватило отвращение к ее хриплому голосу и этому мучительству. Для чего нужны мне этот грязный вертеп, эта противная проститутка, этот слабоумный, застоявшийся запах пива, дыма и дешевых духов? Меня потянуло на воздух. Я сунул ей деньги, встал и энергично высвободился, когда она ласково меня обняла. Мне было тошно соучаствовать в этом унижении человека, и мой решительный отпор ясно ей показал, как она мало прельщает меня физически. Тогда в ней вспыхнула злоба, вокруг рта обозначилась пошлая складка; но все же она не решалась разразиться бранью и вдруг, в порыве непритворной ненависти, повернулась к нему. Он же, ожидая от нее чего угодно, торопливо и словно подстегиваемый ее угрозой, выхватил из кармана дрожащими пальцами кошелек. Он боялся оставаться с нею наедине, теперь это было очевидно, и впопыхах не мог распутать узел кошелька — это был вышитый, униженный стекляшками кошелек, какие носят крестьяне и простолюдины. Легко было заметить, что у него не было привычки быстро давать деньги, в противоположность матросам, которые достают их пригоршнями из побрякивающих карманов и швыряют на стол; он, по-видимому, знал деньгам счет и приучен был взвешивать монеты в пальцах.

— Как он дрожит за свои милые, хорошие денежки! Не идет дело? Погоди-ка! — глумилась она и приблизилась на шаг. Он отшатнулся, и она сказала, при виде его испуга пожав плечами, и с неопишуемым омерзением во взгляде:

— Я у тебя ничего не возьму, плевать мне на твои деньги. Знаю, все они у тебя на счету, твои славные деньжата. Но только, — она его неожиданно похлопала по груди, — как бы кто не украл у тебя бумажки, зашитые тут.

И вправду, как сердечник хватается вдруг судорожно за грудь, так он приложил свою бледную, дрожащую руку к одному месту на пиджаке; невольно пальцы его ощупали там припрятанное гнездо и потом, успокоившись, упали.

— Скаред! — выплонула она.

Но тут вдруг жар залил лицо мученика, он бросил с размаха

кошелек другой девушке, которая крикнула от испуга, а затем расхохоталась, — и ринулся мимо нее в дверь, точно спасаясь от пожара.

Еще мгновение она стояла, выпрямившись, сверкая от злой своей ярости. Потом опять опустились вяло веки, усталость согнула напряженное тело. Старой и утомленной сделалась она в одну минуту. Какая-то растерянность омрачила взгляд ее, остановившийся на мне в этот миг. Как пьяная, очнувшаяся от дурмана, со смутным чувством стыда, стояла она передо мною.

— На улице он будет хныкать, оплакивать свои деньги, еще побежит, чего доброго, в полицию, скажет, что мы его обобрали. А завтра появится опять. Но я ему все-таки не достанусь. Всем, только не ему.

Она подошла к стойке, бросила на нее монеты и залпом выпила рюмку водки. Злой свет опять загорелся у нее в глазах, но тускло, точно сквозь слезы ярости и стыда. Отвращение к ней овладело мною и уничтожило во мне сострадание.

— До свиданья! — сказал я и вышел.

— Bonsoir, — ответила хозяйка. Женщина не оглянулась и только смеялась, хрипло и насмешливо.

Улица, когда я вышел из дома, была только ночью и небом, сплошной душевной мглой в затуманенном, бесконечно далеком лунном свете. Жадно вдохнул я теплый, но все же крепкий воздух; омерзение растворилось в великом изумлении перед тем, как различны судьбы людские, и снова я ощущал, — это чувство способно делать меня блаженным до слез, — что за каждым окном всегда подстерегает кого-то судьба, каждая дверь открывается для каких-то событий; что вездесуще многообразие жизни, и даже грязнейший угол так кишит уже оформившимися переживаниями, как тление плоти — усердными червями. Гнусная сторона происшествия позабылась, и напряжение перешло в приятную, сладостную усталость, стремившуюся преобразить все пережитое в более привлекательный сон. Я невольно осмотрелся, чтобы найти дорогу домой в этом запутанном клубке переулков. В это время —

по-видимому, бесшумно подкравшись ко мне — какая-то тень выросла передо мной.

— Простите, — я сразу узнал этот смиренный голос, — но мне кажется, вы заблудились. Не разрешите ли... Не разрешите ли показать вам дорогу? Вы где изволите жить?..

Я назвал гостиницу.

— Я провожу вас... если позволите, — тотчас же прибавил он смиренным тоном.

Опять меня охватила тошнота. Эта крадущаяся, призрачная походка, почти неслышная и все же неотступная, во мраке матросской улицы, вытеснила постепенно воспоминание о пережитом, заменив его каким-то безотчетным смятением. Я чувствовал смиренное выражение его глаз, не видя их, и замечал подергивание его губ; я знал, что он хочет со мною говорить, но ничего не делал ни для, ни против этого, подчиняясь своему неуравновешенному состоянию, в котором любопытство сердца дурманяще сочеталось с телесным недомоганием. Он несколько раз покашливал, я замечал его подавляемые попытки заговорить, но какая-то жестокость, таинственным образом передававшаяся мне от этой женщины, радовалась происходившей в нем борьбе между стыдом и душевным порывом: я не помогал ему, предоставляя этому молчанию черной массой тяготеть над нами. И вразброд звучали наши шаги: его — скользящие, стариковские, мои — нарочито гулкие и энергичные в стремлении уйти от этого грязного мира. Все сильнее чувствовал я напряжение, возникшее между нами: пронзительным, исполненным внутреннего крика было это молчание и уже уподобилось непомерно натянутой струне, когда он его, наконец, нарушил — с какою отчаянной робостью — первыми словами:

— Вы были там... вы были... сударь... свидетелем необыкновенной сцены... Простите... Простите, что я к ней возвращаюсь, но она должна была показаться вам необыкновенной... а я — очень смешным... эта женщина... она, видите ли...

Он опять запнулся. Что-то стояло у него комом в горле. Потом голос у него совсем упал, и он порывисто пролепетал:

— Эта женщина... она моя жена.

Я, вероятно, вздрогнул от удивления, потому что он продолжал порывисто говорить, словно хотел оправдаться:

— То есть... она была моей женой... Пять лет тому назад... В Гессене, в Герацхайме, я оттуда родом... Я не хотел бы, сударь, чтобы вы были о ней дурного мнения... Это, может быть, моя вина, что она такая... Она такую не всегда была... Я... я мучил ее... Я взял ее, хотя она была очень бедна, даже белья у нее не было, ничего, решительно ничего... а я богат... то есть состоятелен... не богат... или, во всяком случае, в ту пору у меня были деньги... и знаете ли, сударь, я, может быть, и вправду был — она права — бережлив... но это было раньше, до несчастья, и я себя за это проклинаяю... Но и отец мой был бережлив, и мать, все... И мне каждый грош доставался с большим трудом... а она была легкомысленна, любила красивые вещи... и при этом была бедна, и я постоянно попрекал ее этим... Мне не следовало так поступать, теперь я это знаю, сударь, потому что она горда, очень горда... Вы не думайте, что она такая, какой притворяется... Это неправда, и она сама себя этим терзает... только... только для того, чтобы меня терзать... и... потому что... потому что ей стыдно... Может быть, она и вправду испортилась, но я... я этому не верю... потому что, сударь, она была хорошей, очень хорошей.

Он вытер глаза и остановился от чрезмерного волнения. Невольно я взглянул на него, и вдруг он перестал казаться мне смешным, и даже это странное, угодливое обращение «сударь», которым пользуются в Германии только низшие классы населения, не коробило меня больше. Лицо его выражало страшные муки слова, и когда он, с трудом пошатываясь, пошел дальше, то глазами тупо уставился в камни мостовой, как будто на них читал в мерцающем свете то, что так мучительно вырывалось из его стиснутой гортани.

— Да, сударь, — сказал он, тяжело переводя дыхание и совсем другим, матовым голосом, исходившим как бы из более мягкой сферы его души. — Она была добра... добра и ко мне, была очень благодарна за то, что я ее спас от нищеты... и я знал,

что она была благодарна.. но... я... хотел это слышать... опять и опять... Мне было приятно слышать эту благодарность... сударь, это было так бесконечно приятно ощущать... ощущать, что я хороший человек... когда... когда ведь я знал, что я человек плохой... Я отдал бы все свои деньги за то, чтобы это постоянно слышать... А она была очень горда и все сильнее упиралась, замечая, что я требовал этой благодарности... Поэтому... Только поэтому, сударь, заставлял я ее всегда просить... Никогда не давал добровольно, мне приятно было, что из-за каждого платья, из-за каждой ленты ей приходилось подходить и выпрашивать... Три года я так ее мучил, и все сильнее... Но я это делал, сударь, только потому, что любил ее... Мне нравилась ее гордость, и все же всегда хотелось ее усмирять... Я был помешанным человеком... и когда она чего-нибудь желала, я сердился... Но это было, сударь, притворством... для меня была блаженством каждая возможность ее унижать, потому что я совсем не знал, как любил ее...

Опять он запнулся. Шел он, сильно пошатываясь. Обо мне, по-видимому, совсем забыл. Говорил машинально, как во сне, и голос у него становился все громче.

— Это... это я узнал тогда лишь, когда... в этот проклятый день... отказал ей в деньгах для ее матери, в совсем ничтожной сумме... то есть я уже приготовил их, но хотел, чтобы она пришла еще раз... еще раз попросила... Да, что я сказал?... да, тогда я это понял, когда вернулся домой, а ее не было, только записка на столе... «Оставайся при своих проклятых деньгах, мне больше ничего не надо от тебя» — вот что было написано, больше ничего... Сударь, я три дня, три ночи безумствовал. Велел обыскать лес и реку, заплатил уйму денег полиции... бегал по всем соседям, но они только смеялись и глумились... Никаких следов не удалось найти, никаких... Наконец, один сказал мне, из соседней деревни... что видел ее... на вокзале с каким-то солдатом... она уехала в Берлин... в тот же день и я туда поехал... бросил свою службу... потерял много денег... меня обокрали, мои работники, мой управляющий, все, все... Но, клянусь вам, сударь, я был к этому равнодушен... Я провел

неделю в Берлине, прежде чем разыскал ее в этом людском водовороте... и пошел к ней...

Он тяжело дышал.

— Сударь, клянусь вам... ни одного сурового слова не сказал я ей... я плакал... стоял на коленях... предлагал ей деньги... все свое состояние и право распоряжаться им, потому что тогда я это уже знал, я не могу жить без нее. Я люблю каждый волос ее... ее рот... ее тело, все, все... и ведь это я, один я столкнул ее... Она побледнела, как смерть, когда я неожиданно вошел... я подкупил ее хозяйку, сводню, гадкую, низкую женщину... она была, как мел, бледна... Выслушала меня. Сударь, мне кажется, она была... да, она была почти рада, что видит меня... Но когда я заговорил о деньгах... а ведь сделал я это только для того, чтобы показать ей, что больше не думаю о них... то она плюнула... и потом... так как я все еще не хотел уходить... позвала своего любовника, они надо мной глумились... Но я, сударь, продолжал туда ходить каждый день. Жильцы того дома рассказывали мне все, я узнал, что этот негодяй ее бросил и что она находится в нужде, и тогда я пошел еще раз к ней... еще раз, сударь, но она набросилась на меня и разорвала деньги, которые я украдкой положил на стол, а когда я все-таки опять пришел, она исчезла... Чего только ни предпринимал я, сударь, чтобы отыскать ее снова! В течение года, клянусь вам, я не жил, только искал, содержал агентов, пока не узнал, наконец, что она за морем, в Аргентине... в одном... в одном дурном доме...

Он запнулся на мгновение. Последние слова были словно хрипом. И темнее сделался голос.

— Я очень испугался... сперва... но потом сообразил, что по моей, только по моей вине она до этого дошла... И я подумал, как сильно должна она, бедная, страдать... Ибо горда она прежде всего... Я пошел к своему поверенному, тот написал в консульство и послал деньги... не указав, от кого... лишь бы только она вернулась. Мне телеграфировали, что все удалось... я знал корабль... и поджидал его в Амстердаме... Приехал за три дня, так я горел от нетерпения... Наконец, он

прибыл; я испытал блаженство, едва лишь дымок парохода показался на горизонте, и думал, что у меня не хватит сил дождаться, пока он причалит, так медленно, медленно, и потом пассажиры начали спускаться по сходням, и наконец, она, она... Я ее не сразу узнал... Она была другая... накрашенная... и уже такая... такая, какой вы ее видели... И когда она меня заметила, то побледнела... Два матроса должны были ее поддержать, иначе она упала бы в воду... Чуть только она ступила на берег, я подошел к ней... Я не говорил ничего... Горло было сжато... Она тоже ничего не говорила... и не смотрела на меня... Носильщик пошел вперед с багажом, мы шли и шли... Вдруг она остановилась и сказала... Сударь, как она это сказала... так мучительно больно мне сделалось, так печально это прозвучало... «Ты все еще согласен быть моим мужем? Еще и теперь?»... Я взял ее руку... Она вздрогнула, но не сказала ничего. Но я чувствовал, что теперь все опять заглажено... Сударь, как счастлив я был! Я плясал вокруг нее, как ребенок, когда мы вошли в комнату, я упал к ее ногам... Говорил глупости, должно быть... потому что она улыбалась сквозь слезы и ласкала меня... очень робко, разумеется... но, сударь... каким это было для меня блаженством... сердце мое таяло... Я стал бегать по лестницам вверх, вниз, заказал обед в гостинице... по случаю нашего примирения... помог ей одеться... и мы сошли в ресторан, ели и пили, и были веселы... О, как она веселилась, точно ребенок, какой была сердечной и доброй, и она говорила о нашем доме... и как мы теперь опять заживем... Тут...

Голос его вдруг зазвучал сипло, и он сделал рукой движение, словно хотел кого-то сокрушить.

— Тут... стоял один официант... скверный, низкий человек... Он подумал, что я пьян, потому что я безумствовал, и плясал, и валился со стула от смеха... между тем как я только был счастлив... о, так счастлив... и вот... когда я заплатил, он дал мне на двадцать франков меньше сдачи... Я на него накричал и потребовал остальное... Он смутился и положил золотую монету на стол... Тогда... тогда она вдруг резко расхохота-

лась... Я вытаращил на нее глаза, но это было другое лицо... сразу оно стало глумливым, черствым и злым... «Какой ты все еще точный... даже в день нашего примирения!» — сказала она так холодно, так резко... так жалостливо... я испугался и проклинал свою мелочность... старался опять развеселиться... Но ее веселье исчезло... умерло... Она потребовала отдельную комнату себе... чего бы я ни сделал для нее... и я лежал ночью один и думал только о том, что бы ей купить на следующее утро... как бы ее задарить... показать ей, что я не скуп... никогда по отношению к ней скупиться не буду. И наутро я вышел из гостиницы, купил ей браслет, рано утром, и когда вошел к ней в комнату... комната была пуста... совсем как в тот раз. И я знал, на столе должна быть записка... Я убежал и молился Богу, чтобы это оказалось неправдой... но... но... записка все-таки оказалась на столе... И я прочел...

Он запнулся. Я невольно остановился и смотрел на него. Он понурил голову. Потом хрипло прошептал:

— Я прочел... «Оставь меня в покое. Ты мне противен...»

Мы пришли в гавань, и вдруг в тишине зашумело гневное дыхание надвигавшегося прибоя. С горящими глазами, как большие черные звери, лежали там корабли, одни вблизи, другие далеко, и откуда-то доносилась песня. Все было неразлично, и все же многое чувствовалось, чудовищный сон и тяжелые грезы города... Рядом с собою я ощущал тень этого человека, она призрачно подергивалась у меня перед ногами, то растекаясь, то стягиваясь в блуждающем свете тусклых фонарей... Я не находил никаких слов, ни в утешение, ни в виде вопроса, но молчание его словно прилипало ко мне, давило меня неясной тяжестью. Вдруг он схватил меня трепетно за руку.

— Но я не уеду отсюда без нее... Спустя несколько месяцев я опять ее разыскал... Она меня терзает, но я не потеряю сил... Я заклинаю вас, сударь, поговорите с нею... Она должна быть моей, скажите ей это... меня она не слушает... Я больше так жить не могу... Я не могу больше видеть, как мужчины приходят к ней... и ждать снаружи перед домом, пока они выйдут

опять... пьяные, веселые... Вся улица уже знает меня... они смеются, когда видят меня... я от этого схожу с ума... и все же каждый вечер опять прихожу и стою... Сударь, заклинаю вас... поговорите с нею... Я ведь не знаю вас, но сделайте это во имя милосердного Бога... поговорите с ней...

Я невольно постарался высвободить свою руку. Мне было страшно. Но когда он почувствовал, что я отгораживаюсь от его горя, то упал вдруг посреди улицы на колени и обхватил мои ноги.

— Я заклинаю вас, сударь... Вы должны с ней поговорить... Вы должны... иначе... иначе случится нечто страшное... Я истратил все свои деньги, разыскивая ее, и здесь ее не оставлю... живой не оставлю... Я купил себе нож... У меня есть, сударь, нож... Я ее не оставлю тут... живой... Я не вынесу этого... Поговорите с нею, сударь...

Он корчился передо мной в неистовстве. В этот миг двое полицейских проходили по улице. Я его насильно поднял. С минуту он смотрел на меня оторопело. Потом сказал совсем другим, сухим голосом:

— Сверните по этой улице налево. Там ваша гостиница.

Еще раз уставился он на меня глазами, в которых зрачки словно расплавились в чем-то ужасающе белом и пустом. Потом исчез.

Я закутался в свой плащ. Меня знобило. Только усталость чувствовал я, дурман, бесчувственный и черный, — блуждающий багряный сон. Я хотел собраться с мыслями и все это обдумать, но всякий раз во мне поднималась и уносила меня эта черная волна утомления. Я добрел до гостиницы, свалился на кровать и заснул, тупо, как животное.

На следующее утро я уже не знал, что было явью в пережитом, что сном, и во мне что-то противилось тому, чтобы в этом разобраться. Проснулся я поздно, чужой в чужом городе, и пошел осмотреть одну церковь, которая славится древней мозаикой. Глаза мои не воспринимали того, что видели, все явственнее вспоминалась встреча минувшей ночью, и меня непреодолимо повлекло в тот переулок, к тому дому. Но эти


странные улицы живут только по ночам, днем они носят серые, холодные маски, под которыми узнать их может только посвященный. Я не нашел этого переулка. Усталый и разочарованный, вернулся я домой, преследуемый образами бреда или воспоминаний.

В девять часов вечера уходил мой поезд. С грустью покидал я город. Носильщик поднял на плечи мой багаж и, шагая передо мной, понес его к вокзалу. И вдруг на одном перекрестке какая-то сила заставила меня остановиться: я узнал поперечную улицу, ведущую к тому дому, велел носильщику подождать и пошел — между тем как он улыбался с изумлением сначала, а потом с наглой фамильярностью — еще раз взглянуть на этот страшный переулок.

Было темно, темно, как вчера, и в тусклом свете луны поблескивали стекла того дома. Еще раз хотел я подойти поближе; в это время вынырнула из мрака фигура. С ужасом узнал я того, кто стоял на пороге и делал мне знаки, чтобы я приблизился. Мне сделалось жутко, я быстро ушел из малодушного опасения, как бы не ввязаться в какое-нибудь приключение и не опоздать на поезд.

Но затем, на углу, прежде чем свернуть, я еще раз оглянулся. Когда мой взгляд остановился на этом человеке, он встретился и бросился к двери. Когда он порывисто распахнул ее, металл блеснул у него в руке: я издали не мог разглядеть, золото или лезвие ножа так предательски засверкало в лунном свете.





ЗВЕНО ТРЕТЬЕ

СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ



ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ

В маленьком пансионе на Ривьере, где я жил лет за десять до войны, как-то за столом завязался жаркий спор, грозивший перейти в яростное препирательство и чуть ли не во взаимные оскорбления и обиды. У людей большей частью косное воображение. То, что непосредственно их не касается, что не проникает в самую глубину их души, вряд ли может их тронуть. Но порою, если на их глазах произойдет что-нибудь самое ничтожное, но касающееся непосредственно их, страсти вдруг неудержимо разгораются. Свое обычное безучастие они в известной степени вознаграждают в таких случаях безудержной и излишней горячностью.

Так случилось и на этот раз в нашем вполне буржуазном застольном обществе, которое обыкновенно мирно болтало, обменивалось невинными шутками, редко глядело друг другу в глаза и сразу же после обеда разбредалось кто куда: немецкая чета — гулять и фотографировать, мирный датчанин — к своим скучным удочкам, важная английская дама — к своим книгам, итальянец с женой — в легкомысленное Монте-Карло, а я — бездельничать в садовом кресле или работать. На этот раз, однако, благодаря ожесточенным прениям, все сцепились друг с другом, и если один из нас стремительно вскакивал, то вовсе не для того, чтобы приветливо распрощаться, а просто в порыве спора, который, как я уже сказал, принял, под конец, прямо-таки неистовые формы.

Что же касается случая, который так взбудоражил наш

маленький кружок, то он, без всякого сомнения, был достаточно поразителен. Пансион, в котором мы все семеро жили, занимал отдельную виллу (ах, какой чудесный вид открывался из окон на изрезанный скалами берег!), но в то же время являлся, собственно говоря, только частью большого «Палас-Отеля», с которым соединялся садом, так что мы, хоть и жили особняком, все же находились в постоянном общении с гостями отеля и принимали участие в его жизни и празднествах. Как раз накануне в этом отеле разыгрался классический скандал, который дал бы репортеру парижской газеты богатую канву для романтической истории с броским заголовком. С поездом в 12 часов 20 минут дня (время необходимо указать точно, ибо оно важно и для этого эпизода, и как тема нашего разговора) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море, что уже само по себе свидетельствовало об известной состоятельности. Не только своей безупречной элегантностью обратил он на себя наше внимание, но прежде всего исключительно привлекательной внешностью: светлые шелковистые усы оттеняли, посреди тонкого женственного лица, чувственные, горячие губы, на белый лоб спускались волнистые каштановые волосы, мягко глядели глаза, — все в нем было мягкое, нежное, приятное, и притом без всякого притворства и искусственности. Если на первый взгляд он издали и напоминал немного те накрашенные, самодовольно подтянутые восковые фигуры, которые с франтовской палкой в руке изображают в витринах ателье мод идеал мужской красоты, то при ближайшем рассмотрении это впечатление фатоватости исчезало, потому что его постоянные улыбки, его приветливость были врожденными. Проходя, он скромно и в то же время сердечно приветствовал каждого, и было приятно видеть, как при всяком случае невольно проявлялись его изящество и воспитанность. Даме, которая подходила к вешалке, он спешил подать пальто; для ребенка у него всегда был ласковый взгляд или шутка; он был обходителен и вместе с тем сдержан, словом, он казался одним из тех счастливых людей, которые, чувствуя, что другим приятно их милое лицо, их молодое

обаяние, и сами невольно становятся веселыми и уверенными и своей беззаботной радостью вселяют бодрость и в окружающих. На стареющих и хворых, большей частью, гостей отеля его присутствие действовало благотворно, и своей юношески-победной походкой, своей свежестью и жизнерадостностью он сразу завоевал всеобщее расположение. Уже через два часа после приезда он играл в теннис с двумя дочерьми толстого, солидного лионского фабриканта, двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, красивая, изящная и сдержанная мадам Анриет, улыбаясь, смотрела, как ее неоперившиеся и бессознательно кокетливые дочурки флиртуют с молодым незнакомцем. Вечером он сидел у нас за шахматным столиком, скромно рассказал два-три милых анекдота, долго расхаживал потом с мадам Анриет взад и вперед по террасе, между тем как ее муж играл, как всегда, в домино с одним из своих приятелей, а поздно вечером я видел, как он довольно непринужденно беседовал в тени бюро с секретаршей отеля. На другой день он сопровождал моего датчанина на рыбную ловлю, причем обнаружил в этом деле поразительные познания, потом долго беседовал с лионским фабрикантом о политике, показав себя при этом хорошим собеседником, потому что сквозь шум прибора слышался раскатистый смех толстого господина. После обеда (с точностью отмечаю его времяпрепровождение, так как это необходимо, чтобы хорошо уяснить себе ситуацию) он около часу сидел с мадам Анриет в саду за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в зале с немецкой четой. В шесть часов, когда я шел отправить письмо, я увидел его на вокзале. Он подошел ко мне, все с той же подкупающей непринужденностью, словно мы были знакомы годами, хоть и показался мне не таким спокойным, как накануне, и сказал с каким-то подчеркивающим ударением, что сейчас он должен уехать, но дня через два снова вернется. И действительно, за ужином его не оказалось, — не оказалось лишь его особы, ибо за всеми столами говорили только о нем, превознося его милое, веселое обращение. Ночью — было, вероятно, около 11 часов — я сидел у себя в комнате, дочиты-

вая книгу, как вдруг из сада донеслись взволнованные крики, а напротив в отеле началось какое-то движение. Скорее обеспокоенный, чем из любопытства, я тотчас же спустился вниз и подошел к возбужденным гостям и слугам. В то время как фабрикант, со своей обычной пунктуальностью, играл в домино с одним приятелем из Намюра, мадам Анриет, как всегда, пошла погулять вдоль береговой террасы и не вернулась. Боялись, не случилось ли с ней несчастья. Как бык, бегал по берегу этот всегда солидный, неуклюжий человек, и, когда он не своим от волнения голосом кричал во тьме: «Анрист, Анриет!», в этом крике было что-то страшное и первобытное, напоминавшее вой раненого насмерть чудовища. Кельнеры и мальчики-посыльные сломя голову носились вверх и вниз по лестнице и по дороге вплоть до самого моря; будили постояльцев и спрашивали их, не видели ли они пропавшую, телефонировали в полицию. А толстый человек, с расстегнутым жилетом, бегал, спотыкался и, совершенно обезумев, всхлипывая, кричал в темноте: «Анриет, Анриет!» Меж тем проснулись и дети и в своих ночных рубашках звали из раскрытых окон мать. Тогда отец поспешил к ним наверх, чтобы успокоить их.

И вот случилось что-то страшное, с трудом поддающееся рассказу, потому что в минуты непомерного напряжения образ человека становится так трагичен, что невозможно с той же молниеносной силой передать его кистью или пером. Внезапно показался этот грузный человек и спустился по скрипучим ступеням, с изменившимся, совершенно усталым и все же яростным лицом. В руке он держал письмо. «Отошлите всех! — еле внятным голосом обратился он к управляющему: — Отошлите людей, ничего не нужно. Моя жена покинула меня».

В нем была выдержка, в этом сраженном насмерть человеке — нечеловеческая выдержка перед всеми этими столпившимися вокруг людьми, которые сначала с любопытством смотрели на него, а потом, вдруг, испуганно, сконфуженно и растерянно отвернулись. У него еще хватило сил пройти мимо нас, не взглянув ни на кого, и потушить свет в читальной. Потом мы услышали, как его большое, грузное тело упало в кресло, а

затем — какое-то дикое, звериное всхлипывание. Так плакать мог только человек, который никогда не плакал. И эта простая боль заставляла молчать всех, даже самых пошлых. Никто из лакеев, никто из гостей, которых привело сюда любопытство, не посмел улыбнуться, проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим проскользнули мы в свои комнаты. И только в темном зале медленно гасящего свет, тихо переговаривающегося, шушукающегося, шепчущего дома одиноко корчилося в рыданиях это сраженное человеческое тело.

Теперь будет понятно, что этого потрясающего и случившегося на наших глазах события было достаточно, чтобы привести в возбуждение привыкших к скучной и беззаботной жизни людей. Но для бурного спора, который разразился за нашим столом и едва не привел к столкновениям, этот удивительный случай послужил лишь исходным пунктом; тут было и принципиальное расхождение, гневное противопоставление различных пониманий жизни. Благодаря нескромности горничной, которая прочла письмо, скомканное потрясенным мужем и брошенное им в бессильной злобе на пол, все сразу узнали, что мадам Анриет ушла не одна, а с молодым французом (теперь у большинства из нас стало быстро исчезать то расположение, которым он пользовался).

Правда, на первый взгляд было вполне понятно, что еще красивая, изящная женщина бросила своего грузного провинциала-мужа ради молодого, элегантного красавца. Но что свыше всякой меры раздражало весь дом, так это утверждение, будто бы ни фабрикант, ни его дочери, ни сама мадам Анриет никогда раньше этого ловеласа не видели, так что, следовательно, достаточно было двухчасового разговора на террасе и часа за черным кофе в саду, чтобы заставить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину бросить к вечеру своего мужа и детей и очертя голову уйти за чужим молодым щеголем. Почти никто из членов нашего застольного кружка не хотел допустить, что это было так, видя в этом лишь хитрое вероломство и ловкий маневр любовников. Считалось само собой разумеющимся, что мадам Анриет уже давно была в близких

отношениях с молодым человеком и теперь он приехал сюда, чтобы окончательно подготовить бегство, потому что — так рассуждал наш кружок — было немислимо, чтобы достойная дама, всю свою жизнь пользовавшаяся безупречной репутацией, после двухчасового знакомства убежала по первому свистку, как собака на улице, когда чужой поманит ее за собой. Я, забавы ради и именно ввиду единодушия обеих супружеских пар, высказал противоположную точку зрения, энергично отстаивая возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, разочаровавшись в долголетнем, скучном замужестве, внутренне готова к тому, чтобы уступить первому же серьезному натиску. Этот неожиданный аргумент сразу же сделал спор общим и тем более страстным, что обе супружеские пары — как немецкая, так и итальянская — с прямо-таки оскорбительной презрительностью отрицали существование «*coup de foudre*»* как глупость и безвкусную романтическую выдумку.

Едва ли нужно передавать завязавшийся спор во всех его подробностях: за табльдотом остроумны только профессионалы этого дела, и доводы, за которые хватаются в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и найдены наспех. Мне трудно будет вспомнить, почему этот спор так скоро перешел в ссору и взаимные оскорбления; я думаю, началось с того, что оба мужа невольно пожелали исключить в отношении своих жен возможность такого легкомыслия и непостоянства. К сожалению, они не нашли для этого ничего лучшего, как возразить мне, что рассуждать, как я, может только тот, кто судит о женщине по своим сомнительным и случайным победам холостяка; это одно уже взбесило меня, а когда еще и немка стала поучать меня, что существуют «настоящие женщины» и женщины «с блудливой натурой», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриет, то у меня окончательно лопнуло терпение, и я, в свою очередь, стал дерзким. За этим отрицанием очевидной истины, что в жизни

*«Удар молнии» — безудержный порыв страсти (франц.).

женщины бывают часы, когда она предоставлена таинственным силам по ту сторону воли и сознания, кроется, говорил я, только страх перед собственным инстинктом, перед демонизмом нашей природы, и многим людям доставляет удовольствие считать себя более стойкими, нравственными и чистыми, чем те, кто «легко поддается искушению». Я лично считал более честным, если женщина свободно и страстно отдается своему инстинкту, вместо того, чтобы с закрытыми глазами обманывать своего мужа в его же объятиях, как это сплошь да рядом бывает. Я сказал это случайно, и, чем больше остальные нападали на мадам Анриет в этом обострившемся разговоре, тем горячее я защищал ее. По правде говоря, мое внутреннее убеждение так далеко не шло. Мое воодушевление было, так сказать, боевой трубой для обеих супружеских пар, а они, нестройным квартетом, так ожесточенно нападали на меня, что старый датчанин, сидевший с веселым лицом и словно с секундомером в руке, как судья на футбольном матче, вынужден был постукивать по столу согнутым пальцем: «Джентльмены, прошу вас!» Однако это помогало лишь на мгновение, да и то не каждый раз. Наши нервы были до того напряжены, мы были до того раздражены друг другом, что нас не так легко было успокоить. Не менее трех раз уже вскакивал один господин из-за стола, весь красный, и с большим трудом поддавался уговорам своей жены; словом, еще немного — и наши прения окончились бы открытой ссорой и оскорблениями действием, если бы не вмешательство миссис К., которое, словно масло, пригладило пенящиеся волны спора.

Миссис К., седая, представительная англичанка, была всеми безмолвно признана почетной председательницей нашего стола. Всегда сидя очень прямо на своем месте, всегда с одинаковой приветливостью обращаясь к каждому, молчаливая и все же вежливо заинтересованная тем, что говорилось вокруг, она уже чисто внешне представляла приятное зрелище: удивительным самообладанием и спокойствием веяло от ее аристократической, сдержанной природы. Она держалась в некотором отдалении от всех, но умела с замечательным тактом

высказать каждому дружеское расположение. Большею частью она сидела в саду с книгой, иногда играла на рояле, и лишь изредка ее видели в обществе или участницей оживленного разговора. Ее почти не замечали, и все же ее присутствие оказывало на нас изумительное действие. И вот теперь, когда она, задав вопрос, впервые приняла участие в разговоре, всех нас охватило тягостное чувство стыда за то, что мы так шумно, несдержанно и по-плебейски вели себя. И едва она заговорила, наш разговор принял спокойную, уравновешенную форму.

Миссис К. воспользовалась гневной паузой, когда наш немец резко вскочил из-за стола и затем, усмиренный, снова тихо сел на свое место. Она невозмутимо подняла свои ясные серые глаза, нерешительно посмотрела на меня и затем, с почти осязаемой отчетливостью, осветила по-своему тему спора.

— Значит, вы полагаете, если я вас правильно поняла, что мадам Анриет, как и всякая другая женщина, может как бы бессознательно и — так сказать — не неся на себе вины, быть втянута в случайное похождение; что бывают поступки, которые такая женщина за час до того сама считала невозможными и за которые она даже едва ли может быть ответственной?

— Да, я в этом уверен, сударыня, — ответил я, совершенно успокоенный этим деловым тоном.

— Тогда каждый приговор морали совершенно бессмыслен, каждый безнравственный поступок оправдываем. Если вы действительно полагаете, что «преступление по страсти», как это называют французы, — вовсе не преступление, то государственное правосудие вообще излишне. В таком случае не потребуется особых стараний — а у вас этого старания удивительно много, — прибавила она с легкой улыбкой, — чтобы в каждом преступлении найти страсть и оправдать его этой самой страстью.

Ясный и вместе с тем веселый тон ее слов подействовал на меня замечательно успокаивающе, и, невольно подражая ее деловой манере, я ответил, полушутя, полусерьезно:

— Государственное правосудие смотрит на это, несомнен-

но, строже, чем я: ведь на нем лежит обязанность охранять нравственность и общественные приличия, и это заставляет его осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не вижу для себя необходимости добровольно брать на себя роль прокурора; я предпочел бы профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем осуждать их.

Миссис К. смотрела на меня своими ясными серыми глазами и молчала. Я уже подумал, что она недостаточно хорошо меня поняла, и готовился по-английски повторить ей сказанное, но тут она с чрезвычайной серьезностью, словно на экзамене, начала снова задавать мне вопросы.

— Ну, а каково же все-таки ваше личное мнение? Разве вы не находите постыдным, даже ужасным, если женщина покидает мужа и двух детей, чтобы пойти за каким-то человеком, о котором она даже не может знать, достоин ли он ее любви? Неужели вы в самом деле можете оправдать такую беспечность и легкомыслие женщины, которая все-таки не так уж молода и должна была бы быть осмотрительной, хотя бы ради своих детей?

— Я повторяю вам, сударыня, — отвечал я, — что в этом случае я отказываюсь обвинять или осуждать. Вам я могу спокойно признаться, что раньше я немного хватил через край: эта бедная мадам Анриет, конечно, совсем не героиня, вовсе не натура, склонная к приключениям, и уж меньше всего «носительница великой страсти». Насколько я ее знаю, она мне кажется обыкновенной, слабой женщиной, которую я отчасти уважаю, ибо она имела мужество отдаться своим желанием, но еще больше жалею, потому что завтра, если не сегодня, она, наверно, будет очень несчастлива. Может быть, то, что она сделала, было глупо, слишком поспешно, но ни в коем случае нельзя сказать, что она поступила пошло или низко, в этом отношении я держусь своего мнения, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

— Значит, вы ее так же уважаете и так же почтительно к ней относитесь, как и раньше? И не проводите никакой разницы между той почтенной женщиной, в обществе которой вы

были третьего дня, и той, которая вчера бежала с незнакомым ей человеком?

— Никакой. Ни малейшей разницы.

— Is that so?* — невольно спросила она по-английски: разговор, как видно, чрезвычайно занимал ее. И, поразмыслив мгновение, она снова взглянула на меня вопрошающим, ясным взглядом. — А если вы завтра встретите мадам Анриет — скажем, в Ницце — идущей под руку с этим молодым человеком, вы ей поклонитесь?

— Разумеется.

— И заговорите с ней?

— Разумеется.

— Ну, а если бы вы... если бы вы были женаты, вы бы представили такую женщину вашей жене, как будто бы ничего не случилось?

— Разумеется.

— Would you really?*** — снова сказала она по-английски с недоверчивым удивлением.

— Surely I would***, — невольно ответил я тоже по-английски.

Миссис К. замолчала. Она, казалось, напряженно думала; вдруг, глядя на меня так, словно была удивлена собственным мужеством, она сказала:

— I don't know, if I would. Perhaps I might do it also****.

И с той невыразимой уверенностью, с которой только англичане умеют внезапно закончить разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Благодаря ее присутствию, спокойствие снова воцарилось за столом, и мы все чувствовали себя обязанными ей тем, что недавние враги раскланялись друг с другом со сносной учтивостью и нескольких легких шуток оказалось достаточно, чтобы разрядить опасно сгустившуюся атмосферу.

* Так ли это? (англ.)

** В самом деле? (англ.)

*** Конечно, да (англ.).

**** Я не знаю, поступила ли бы я так. Быть может, и я тоже (англ.).

Несмотря на то, что спор как будто бы закончился в конце концов по-рыцарски, все же после тогдашнего раздражения осталось какое-то легкое отчуждение между моими противниками и мной. Немецкая чета держалась замкнуто, итальянской же доставляло удовольствие язвительно осведомляться у меня в последующие дни, не слышал ли я чего-нибудь нового о cara signora Henrietta*.

При сохранении всей внешней учтивости, непринужденность и сердечность нашего застольного общения окончательно исчезли.

Холодную насмешливость моих недавних противников особенно оттеняла для меня совершенно исключительная любезность, с которою, после этого спора, стала ко мне относиться миссис К. Всегда чрезвычайно сдержанная, едва удаившаяся разговором во внеобеденное время своих соседей по столу, она теперь не раз находила случай заговаривать со мной в саду, и я бы даже сказал — оказывать мне особое внимание, разрешая мне сопровождать ее, потому что, при ее чопорной сдержанности, уже и беседа с ней казалась как бы милостью. Говоря откровенно, она прямо-таки искала встречи со мной и пользовалась любым поводом, чтобы начать со мной разговор; это было так ясно, что я пришел бы к смелым и странным догадкам, если бы она не была старой, седой дамой. О чем бы мы ни говорили, наша беседа неизбежно возвращалась к ее исходному пункту — мадам Анриет. Ей доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять нарушительницу долга в душевной нестойкости и нравственной ненадежности. Но в то же время она, казалось, радовалась тому, что мои симпатии непоколебимо остаются на стороне этой красивой, изящной женщины и что меня никак нельзя убедить, хотя бы на мгновение, отказаться от этого сочувствия. Она постоянно направляла в эту сторону наш разговор, и я уже не знал, что мне и

* Дорогой синьоре Анриетте (*итал.*).

думать об этом поразительном, почти навязчивом упорстве. Но вместе с настойчивостью у этой старой представительной дамы было такое благородство речи, такая образцовая сдержанность в чувствах, что каждый раз она снова очаровывала меня, и я получал от бесед с нею редкое удовольствие.

Так прошло пять-шесть дней, причем она ни словом не обмолвилась, почему эта тема наших бесед имеет для нее значение. В том же, что это так, я убедился, сообщив ей как-то во время прогулки, что мое пребывание здесь подходит к концу и что через день я думаю уехать. Ее всегда спокойное лицо стало вдруг каким-то странно напряженным, и словно тень тучи пробежала по ее серым, ясным глазам:

— Как жаль! Мне бы хотелось еще о многом поговорить с вами.

Она впала в какую-то беспокойную рассеянность, и я чувствовал, что, говоря со мной, она думает о чем-то другом, поглощающем ее мысли. В конце концов она сама это заметила, потому что, когда наш разговор, по ее вине, оборвался, она неожиданно протянула мне руку и порывисто сказала:

— Я вижу, что сейчас не могу ясно выразить вам то, что хотела. Я лучше напишу вам. — И, торопливее чем обычно, она направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, четким почерком. К сожалению, я довольно легкомысленно обошелся с бумагами моей юности и давно уже где-то затерял это письмо, так что теперь не в состоянии привести его дословно и могу лишь приблизительно передать его смысл и содержание. Она писала, что вполне сознает необычность своего поступка, но ей хотелось бы знать, может ли она рассказать мне кое-что из своей жизни. Это такой давний эпизод, что, собственно, он едва ли имеет отношение к ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что вот уже двадцать с лишним лет ее мучает и волнует. И так как в другом случае, где проступок был гораздо более очевидным, я выказал удивительную на ее взгляд свободу и снисходитель-

ность, ей бы хотелось в беседе со мной разрешить свое собственное сомнение. Если я не считаю такой разговор навязчивым, она просила бы меня уделить ей час времени.

Письмо, из которого я привожу здесь по памяти лишь самое существенное, несказанно поразило меня: английский язык сам по себе уже придавал ему чрезвычайную ясность и решительность, но в самом слоге была такая уверенность и душевная сила, что я счел это неожиданное предложение поистине за особую честь. Ответ все же дался мне не так легко, и я разорвал три черновика, прежде чем написал:

«Для меня большая честь в том, что вы дарите меня таким доверием, и я обещаю вам быть честным в своем суждении, если вы его от меня требуете. Только я просил бы вас говорить со мной вполне открыто; все недосказанное создает неясность, сбивает. Конечно, я не смею просить вас говорить мне больше того, что вы сами внутренне желаете. Но то, что вы расскажете, расскажите совершенно правдиво и себе, и мне. Я могу чувствовать ясно только там, где нет недоверия. Прошу вас, поймите, что ваше доверие я принимаю, как особую честь».

Вечером записка была в ее комнате, а на следующее утро я нашел у себя ответ:

«Вы совершенно правы: полуправда ничего не стоит, ценна лишь вся правда. Я соберу все силы, чтобы ни о чем не умолчать, ни перед собой, ни перед вами. Итак, приходите после обеда в мою комнату, — в мои шестьдесят семь лет я не боюсь, что это ложно истолкуют. Я не могу говорить об этом в саду или вблизи людей. Вы должны мне поверить, что мне совсем нелегко вообще на это решиться».

В обед мы снова увиделись за столом и чинно беседовали о безразличных вещах. Но, когда я случайно встретился с ней в саду, она в легком замешательстве посторонилась меня, и было трогательно видеть, как румянец залил щеки этой старой, седой дамы и она робко и смущенно свернула в аллею пиний.

Вечером, в назначенный час, я постучался. Мне тотчас же открыли. В комнате был мягкий полусвет. На столе горела

маленькая лампа для чтения, бросая в сумеречное пространство желтый конус света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, указала мне на кресло и сама села напротив. Я чувствовал бессознательно, что каждое из этих движений приготовлено заранее и что она сейчас начнет рассказывать. Однако последовала пауза (явно против ее желания), пауза тяжкого колебания, которая длилась и длилась, но я не осмеливался нарушить ее хотя бы единым словом, чувствуя, что в эту минуту сильная воля отчаянно борется с таким же сильным сопротивлением. Снизу, из салона, доносились урывками мягкие звуки вальса, и я прислушивался к ним, чтобы хоть немного облегчить тягостный гнет молчания. Для нее, видимо, также было мучительным это неестественное напряженное молчание, потому что вдруг она как-то сжалась, словно готовясь прыгнуть с высоты, внимательно посмотрела на меня и начала:

— Трудно произнести только первое слово. Вот уже два дня как я приготовилась быть искренней и правдивой. Вероятно, это мне удастся. Может быть, вы этого еще не понимаете и считаете навязчивостью, причудой то, что я вам все это рассказываю, но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала об этом случае, и вы можете поверить мне, как старой женщине, что невыносимо всю жизнь оставаться у одной точки, у одного дня своей жизни. Ибо все, о чем я вам хочу рассказать, замыкается в пределах одних только суток на протяжении шестидесятисемилетней жизни, и я тысячу раз говорила себе, что это ничто на протяжении стольких тысяч дней, даже если один миг человек поступил безрассудно и безумно. Но нет возможности отделаться от того, что так неопределенно называется совестью, и, когда я услышала, как вы спокойно и свободно говорите о случае с Анриет, я подумала, что, быть может, настанет конец этим безумным думам о прошлом, этим нескончаемым самообвинениям, если я решусь поведать кому-нибудь об этом дне моей жизни.

Я знаю, что все это очень странно, но вы, не колеблясь, приняли мое предложение, и за это я заранее благодарю вас.

Я уже вам сказала, что хочу рассказать лишь об одном-единственном дне моей жизни. Все остальное кажется теперь мне самой совсем малозначительным, а всякому другому показалось бы просто скучным. Все, что случилось со мной до моих сорока двух лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые помещики, у нас были фабрики и имения в Шотландии, и мы жили, как живут старые дворянские фамилии, большую часть года в наших имениях, а зимний сезон в Лондоне. В восемнадцать лет я познакомилась в одном обществе с моим мужем, который был вторым сыном в известной семье Р. и десять лет прослужил в Индийской армии. Скоро мы женились и повели беззаботную жизнь — три месяца в Лондоне, три месяца в имениях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ничто не омрачало нашей семейной жизни. Два наших сына теперь уже давно выросли и женились, один — морской офицер, другой — дипломат, и я провожу лето попеременно то у одного, то у другого. Когда мне было сорок лет, внезапно умер мой муж. Жизнь в тропиках наделила его болезнью печени, которая мало-помалу приняла тяжелые формы, и я потеряла его после двух ужасных недель. Мой старший сын был тогда уже во флоте, младший в колледже, и вот в одну ночь я стала совсем одинокой на свете. Это одиночество для меня, привыкшей к сердечному общению, было невыносимой мукой. Мне казалось невозможным оставаться хотя бы еще день в опустевшем доме, где каждая вещь напоминала мне о смерти любимого мужа, и поэтому я решила ближайшие годы, пока не вырастут и не женятся мои сыновья, провести в путешествиях.

В сущности, с этого мгновения я считала свою жизнь совершенно бессмысленной и ненужной. Мой муж, с которым я двадцать два года делила все чувства и помыслы, умер, детям я была не нужна и, вероятно, даже мешала их юности моей печалью, моей тоской; для себя самой я уже ничего не требовала, ничего не хотела. Я переселилась в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но ни город, ни его достопримечательности ничего мне не говорили, людей я избегала,

потому что не могла видеть, как они с учтивым соболезнованием смотрят на мое траурное платье. О том, как прошли эти месяцы тоски после смерти мужа, я ничего больше не могла бы рассказать. Я знаю только, что мне постоянно хотелось умереть и что у меня не было сил сделать это самой. В моей памяти от того времени осталось только одно это ощущение — все остальное ускользает и кажется мрачным, мучительным и бессмысленно проведенным временем.

На второй год траура, то есть когда мне пошел сорок второй год, я, убегая от этого ставшего слишком тягостным времени, очутилась в конце марта в Монте-Карло. Я не стыжусь сказать, что это случилось от скуки, от мучительного, давящего, как позыв к тошноте, чувства внутренней пустоты, которую можно утолить внешними, раздражающими средствами. Чем меньше чувствовала я себя удовлетворенной, тем сильнее меня тянуло туда, где жизнь бьет ключом, где колесо жизни вертится с головокружительной быстротой, где можно не так остро ощущать холод и смертельную неподвижность. Для тех, у кого нет своих переживаний, мучительные волнения других представляют последнюю возможность новых переживаний, как театр и музыка.

Поэтому я часто бывала в казино. Мне нравилось смотреть, как по лицам других людей взволнованно скользит счастье и отчаяние, меж тем как во мне был все тот же ужасный покой. К тому же мой муж, хоть и не был легкомысленным человеком, не прочь был иногда зайти в игорный зал, а я с какой-то невольной регулярностью жила теперь его привычками. И вот здесь-то и начались эти сутки, волнующие сильнее, чем всякая игра, и на годы исковеркавшие и изменившие мою судьбу.

Днем я обедала с герцогиней фон М., которая была в родстве с моей семьей, а после ужина я почувствовала, что еще не настолько устала, чтобы идти спать. Поэтому я отправилась в игорный зал, бродила, сама не играя, между столами и рассматривала публику по-своему. Я говорю «по-своему», а именно так, как научил меня мой покойный муж, когда, устав смотреть, я как-то пожаловалась, что мне скучно глядеть все

на те же лица, на старых, сморщенных женщин, которые часами сидят в своих креслах, прежде чем осмелятся поставить фишку, на всю эту сомнительную, пеструю толпу, которая здесь кажется куда менее живописной и романтической, чем в скверных романах, где ее описывают, как «цвет эlegantного общества» и аристократию Европы. Вот тогда-то мой муж, увлекавшийся хиромантией, показал мне совсем особую манеру разглядывания, которая была гораздо интереснее и острее, чем скучное стояние, и заключалась в том, чтобы глядеть только на квадрат стола и на руки людей, но не на самих игроков. Я не знаю, глядели ли вы когда-нибудь на один из этих зеленых столов, где по середине, как пьяный, шатается шарик от одной цифры к другой, и на расчерченные поля, куда, словно семена, кружась, падают ассигнации, серебряные и золотые монеты, пока лопаточка крупье, словно коса, единым махом не скосит их, не сгребет их, как сноп, в одно маленькое местечко. Для нас, выросших в деревне, эта зеленая поверхность с расчерченными полями напоминала природу, и в этом душном от испарений и пота зале эти зеленые квадраты не раз казались мне отъезжим полем, полным препятствий и опасности. Но самое замечательное в этом зрелище — это руки, множество светлых, движущихся, ждущих рук вокруг зеленого стола; руки, выползающие из берлог-рукавов, каждая, как хищный зверь, готовый к прыжку, каждая другого цвета и формы, одни голые, другие окованные колодами и звенящими браслетами, одни покрытые волосами, как дикие звери, другие вялые, как тело в ванне, но все напряженные, трепещущие от страшного нетерпения. Я всякий раз невольно думала о беговой площадке, где у старта с трудом сдерживают возбужденных лошадей, чтобы они не вырвались раньше, чем надо. Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, хватают и отдают. Жадный — скрючив пальцы, мот — свободным жестом, расчетливый — спокойно, отчаявшийся — с дрожью в суставах. Сотни характеров моментально выдают себя тем, как люди берут деньги: то согнутыми руками, то нервно сведенными, то утомленными, когда усталые ладони

во время игры безучастно лежат на столе. Часто говорят, что человек выдает себя в игре. Я скажу, что еще больше выдает его в игре его собственная рука, потому что все или почти все игроки умеют владеть своим лицом. Они сгоняют морщины у рта, сжимают зубы, чтобы скрыть волнение, не позволяют глазам выдавать тревогу, укрощают дрожащие мускулы лица и придают ему фальшивое выражение якобы благородного равнодушия. Но именно потому, что их внимание всегда сосредоточено на том, чтобы подчинить себе лицо, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые наблюдают за этими руками и по ним отгадывают все — жадность, упрямство, нервность, равнодушие, усталость. Ибо неминуемо приходит минута, которая выводит эти напряженные или, казалось бы, сонные пальцы из их деланного спокойствия. В тот короткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и называют число, в эту секунду эта сотня или даже сотни рук невольно производят свое особое, совсем индивидуальное, глубоко инстинктивное движение. И на меня, которая, благодаря этому пристрастию моего мужа, научилась совсем по-особому наблюдать эту арену рук, это скопление самых разнородных темпераментов действует более возбуждающе, чем музыка или театр. Вы себе представить не можете, каких только не бывает рук; дикие звери с волосатыми, скрюченными пальцами, которые по-паучьи сгребают деньги, и нервные, дрожащие пальцы с бледными ногтями, которые едва осмеливаются эти деньги взять, благородные и низкие, грубые и застенчивые, хитрые и как бы запинаящиеся, но каждая в своем роде, каждая пара рук рассказывает о своей особой жизни, за исключением четырех-пяти пар рук крупье. Эти — только машины, они работают, как щелкающие, стальные рычаги счетчика, потому что они одни действуют деловым образом. Но именно эти безучастные руки производят поразительное впечатление, как противоположность их алчным и страстным собратьям. Они словно носят другую одежду, как полицейские, которые стоят среди бурной, возбужденной толпы. Особое удовольствие состоит еще в том, что уже через несколько дней близко

узнаешь привычки и тревоги отдельных рук; у меня через самое короткое время всегда заводились среди них знакомые, и я делила их, как людей, которых я встречаю, на симпатичных и враждебных мне. Многие были так противны мне своей грубостью и жадностью, что я всегда должна была отводить взгляд, чтобы не повстречаться с ними. Каждая новая рука на столе была для меня источником новых переживаний и возбуждала мое любопытство. Часто я забывала даже посмотреть на лицо — эту холодную, светскую маску, втиснутую где-то высоко над предательскими пальцами в воротник и неподвижно укрепленную над крахмальной сорочкой смокинга или над сверкающей грудью.

Когда я вошла в тот вечер в зал и, равнодушно поглядев сначала на первый и второй столы, приготовила затем несколько золотых монет у третьего стола и взглянула на игорное поле, я вдруг услышала рядом, среди этого напряженного, не нарушаемого ни единым звуком молчания, которое всегда воцаряется у столов, когда шарик, смертельно устав, качается уже у последней цифры, я услышала какой-то странный шум, хрустение и треск, словно звук ломающихся суставов. Невольно я взглянула туда. И я увидела — мне поистине стало страшно — две руки, подобных которым я еще никогда не встречала: правая и левая, как разъяренные звери, судорожно сцепились друг с другом и так неистово тискали и сжимали одна другую, что суставы пальцев издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были исключительно изысканно красивые руки, с необыкновенно длинными, необыкновенно узкими пальцами, с туго напряженными мускулами, очень белые, с бледными нежно округленными перламутровыми ногтями. Я смотрела на них целый вечер, поражаясь этим необыкновенным, единственным рукам, но что меня так страшно поразило в ту минуту, так это их страстность, их взволнованное выражение, та судорожность, с которой они сжимали друг друга. Я тотчас же почувствовала, что здесь доведенный до отчаяния человек передает кончиками пальцев свое страдание, чтобы оно не сразило его самого. И вот... в ту секунду, когда шарик с

сухим, коротким стуком упал в углубление и крупье выкрикнул номер... в эту секунду обе руки вдруг упали порознь, словно два зверя, которых сразила одна и та же пуля. Они упали, поистине, мертвые, а не только усталые, упали в таком пластическом образе бессилия, разочарования, сраженности, что я не могу передать этого словами. Ибо никогда в жизни, ни до того, ни после, я не видела больше таких говорящих рук, где каждый мускул был усталым, а каждый жест — выразителем чувства. Один миг плоско и безжизненно лежали они на зеленой гладкой поверхности стола, обессиленные, еле дышащие борцы. Потом с трудом начала подниматься на кончиках пальцев правая рука, дрогнула, отодвинулась, нервно схватила фишку, покатила ее, как колесико, между большим и указательным пальцами, наконец, вобрала внутрь и зажала. Потом вдруг изогнулась по-кошачьи и бросила, прямо-таки выплюнула стофранковую фишку на середину черного поля. Тотчас же напряглась и взволновалась и оставшаяся позади левая рука. Она приподнялась, поползла, подкралась к дрожащей, словно усталой от броски сестре, и теперь обе они лежали, вздрагивая, и чуть-чуть постукивали суставами по столу, с легким треском, как при ознобе стучат зубы. Нет, никогда я не видела таких невероятно выразительных рук, такой судорожной формы волнения и напряжения. Все остальное в этом сводчатом зале, — глухой говор посетителей, рыночные выкрики крупье, слоняющиеся люди, и, наконец, сам шарик, который, брошенный с высоты, опять, как одержимый, запрыгал в своей круглой лакированной клетке, — все это шумное, яркое, резкое множество мелькающих впечатлений показалось мне вдруг мертвым и тусклым рядом с этими дрожащими, дышащими, трепещущими, ждущими, зябнущими, содрогающимися, рядом с этими невиданными руками, от которых я, как зачарованная, не могла отвести взгляда.

Но, наконец, я не могла больше удержаться, я должна была взглянуть на лицо, взглянуть на человека, которому принадлежали эти волшебные руки, и боязливо — да, боязливо, ибо

я страшилась этих рук, — мой взгляд начал медленно подниматься по рукаву, по узким плечам к тому, чужому лицу. И снова я ужаснулась, ибо это лицо говорило так же сказочно напряженно, как и руки, у него было такое же страшное, страдальческое выражение и такая же нежная, почти женская красота. Никогда я не видела такого лица, такого хлынувшего наружу, такого ушедшего, оторвавшегося от самого себя лица, и мне была предоставлена полная возможность спокойно разглядывать его, как маску, как картину, ибо его глаза не глядели, не замечали окружающего, ни шума, ни людей, ни предметов. Завороженные, пылая таким безумным возбуждением, что никаких слов не хватило бы это описать, они оцепенело следили только за черным шариком, который, резко стуча и чуть ли не вызывающе, как играющее животное, быстро прыгал в своей круглой клетке. Никогда, я должна это повторить, не видела я такого напряженного, такого поразительного лица. Оно принадлежало молодому человеку лет двадцати четырех. Это было узкое, нежное, продолговатое и потому такое выразительное лицо. Так же, как и его руки, оно казалось совсем не мужским. Это было скорее лицо страстно играющего мальчика. Но все это я заметила только потом, потому что в тот момент на этом лице отражались только жадность и бешенство. Томящийся жаждой, приоткрытый маленький рот наполовину обнажал зубы; на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно они стучат, а губы оставались неподвижно раскрытыми, как бы для готового вырваться крика. Ко лбу прилипли мокрые, светлые, нежные волосы, спутавшись, словно у падающего человека, а у ноздрей что-то трепетало непрерывно, как будто под кожей пробегали невидимые волны. Эта склоненная голова все время бессознательно устремлялась вперед, и вам невольно казалось, что вот-вот она сорвется с места и начнет кружиться вместе с шариком; и тут я поняла это судорожное сжимание рук: только это сопротивление, только эта судорога и удерживали в равновесии порывающееся вперед тело.

Я никогда не видела — повторяю это еще раз — такого

лица, на котором так открыто и неприкрашенно отражалась бы страсть, и я так же пристально, так же зачарованно глядела на это лицо, была с такой же силой прикована к этому безумному лику, как оно само глядело на прыжки кружащегося шарика. С этого мгновения я уже ничего не замечала в зале, все казалось мне тусклым, неясным, расплывчатым, темным в сравнении с этим пылающим лицом, и, забыв обо всех остальных, я, может быть, целый час глядела на одного этого человека, наблюдала каждый его жест. Я видела, как в его глазах вспыхнуло яркое пламя, как, словно от взрыва, разорвался судорожный узел рук, раскидывая дрожащие пальцы, когда крупье пододвинул к ним звенящей лопаткой двадцать золотых монет. В это мгновение лицо стало вдруг ясным и совсем молодым, морщины мягко разгладились, радостно засветились глаза, и согнутое тело светло и легко выпрямилось; он сидел статно, как всадник, охваченный победным ликованием, а пальцы шаловливо и влюбленно сгребали круглые монеты, стукали ими одна о другую, играя и позванивая. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул глазами зеленое поле, как молодая охотничья собака, которая, обнюхивая, ищет след, и вдруг порывистым движением бросил всю золотую стопку на один из углов. И тогда снова началось это выжидание, это напряжение. Снова побежали от губ к носу эти дрожащие волны, снова судорожно сжались руки, и мальчишеское лицо исчезло в алчном пылании ждущих глаз, пока вдруг опять это порывистое напряжение не распалось в разочаровании: юношески возбужденные черты поблекли, стали вялыми и старыми, глаза безжизненными и тусклыми, и все это произошло в течение одной секунды, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Секунды две смотрел он тупо, словно не понимая, затем, под подбадривающими, подстегивающими возгласами крупье, его пальцы снова тяжело приподнялись, протащили вперед, как тяжелое бремя, несколько золотых монет. Но уверенность была уже потеряна. Сначала он подвинул золото на одно поле, потом, передумав, на другое, и, когда шарик был уже в движении, он бросил дрожащей рукой, сле-

дую внезапному наитию, в узкий четырехугольник еще две скомканные ассигнации.

Эта порывистая смена проигрышей и удач длилась около часа, и в течение всего этого часа я ни на миг не отводила замороженного взгляда от этого беспрестанно меняющегося лица, по которому, приливая и отливая, струились страсти, я не спускала глаз с этих волшебных рук, которые каждым мускулом пластически отражали взлет и падение чувств. Никогда в театре я не всматривалась с таким напряжением в лицо актера, как в это лицо, где, словно бегущие по земле свет и тени, безостановочно сменялись все краски и ощущения. Никогда в игре мое напряжение не достигало такой силы, как созерцание этого чужого волнения. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в это время, то мой пристальный, стальной взгляд показался бы ему гипнотическим, впрочем, мое полное оцепенение и было чем-то в этом роде: я не могла отвести взгляда от этого лица, и все остальное в этом зале — свет, смех, люди, взгляды едва ощущались мною, как какой-то желтый дым, среди которого было это лицо — огонь среди огней. Я ничего не слышала, ничего не чувствовала, я не видела, как рядом со мной проталкивались люди, как, словно шупальца, протягивались упругие руки, бросали или брали деньги, я не видела шарика и не слышала голоса крупье, и в то же время видела все происходящее, как во сне, по этим рукам и по этому лицу, совершенно отчетливо и словно увеличенно, будто в вогнутом зеркале, благодаря их возбуждению и безудержности, потому что, падал ли шарик на красное или на черное, катился или останавливался, оказывался ли выигрыш или проигрыш, — все отражалось на этом лице с невиданной страстностью и живостью, и вместе с тем с изумительной отчетливостью.

И вот настал страшный миг — миг, которого я все время смутно боялась, который нависал над моими напряженными нервами, словно гроза, и вдруг по ним ударил. Снова шарик с коротким стуком упал в свое углубление, снова минула короткая секунда, когда замирают двести людей, пока, наконец,

голос крупье не возвестил: «Ноль!» и его услужливая правая рука не начала сгребать со всех сторон звенящие монеты и хрустящие ассигнации. В это мгновение обе скрученные руки сделали какое-то особое, странное движение, они как бы подскочили, хватая что-то, чего не было, и потом, словно рухнувший камень, смертельно утомленные, упали на стол. Затем они снова лихорадочно ожили, сбежали со стола к телу, вскарабкались по туловищу, как дикие кошки, забегали вверх, вниз, вправо, влево, нервно шаря по всем карманам, не спрятались ли там где-нибудь забытая золотая монета. Но они всякий раз возвращались и снова, все возбужденнее, принимались за эти безумные, бесполезные поиски, а рулетка уже опять вертелась, игра продолжалась, звенели монеты, отодвигались стулья, и сотни разных шумов наполняли зал. Я дрожала от ужаса: я так остро ощущала происходящее, словно это мои собственные руки отчаянно ищут хотя бы один золотой в карманах и складках измятого платья. И вдруг быстро человек, там напротив, разом встал, как встают, когда чувствуют себя плохо и вскидывают голову, чтобы не задохнуться; позади него с грохотом упало кресло. Не обращая на это внимания, не видя людей, которые боязливо и удивленно расступились перед этой шатающейся фигурой, он тяжело отошел от стола. Его лицо мертвенно поблекло, ко лбу прилипли влажные, спутанные волосы, а руки безжизненно болтались, как у марионетки, при каждом его слепом, шатающемся шаге.

Я словно окаменела в этот миг. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек: он идет на смерть. Кто так встает, как он, тот не идет обратно в гостиницу, в ресторан, к женщине, к поезду, он не идет туда, где жизнь, он падает в пропасть, и даже самый черствый в этом адском зале человек должен был знать, что у того, кто ушел, нигде уже не было опоры — ни дома, ни в банке, ни у родных, что он сидел тут со всеми своими деньгами, со всей своею жизнью и теперь побрел куда-то прочь от жизни. Я все время боялась и, как только взглянула на это лицо, почувствовала, что в этой игре есть что-то большее, чем проигрыш и выигрыш, и всей силой своего напряжения я ощу-

шала, что эта человеческая страстность уничтожит самое себя. И вдруг словно черная молния обрушилась на меня, когда я увидела, как жизнь ушла из его глаз и смерть вяло мазнула по этому еще за миг до того слишком живому лицу. Его выразительные жесты настолько заворожили меня, что я невольно судорожно сжала руки, когда этот человек оторвался от своего места и побрел прочь, потому что эту неверную походку я чувствовала своим собственным телом, так же, как раньше каждым своим нервом, каждой жилой ощущала его напряжение. И вдруг что-то толкнуло меня, я должна была пойти за ним, я должна была видеть, что с ним случится. Я не сознавала, что я делаю. Не глядя ни на кого, не чувствуя самое себя, я шла, я бежала по коридору к выходу. Он стоял в гардеробной, служитель подавал ему пальто. Но руки его уже не слушались, и служитель старательно помогал ему, как больному, всунуть руки в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать ему на чай, но пальцы снова ничего не извлекли оттуда. Тогда он как будто опять вспомнил все, что-то смущенно пробормотал служителю, рванулся, как перед тем, вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по ступеням казино, а служитель с презрительной было, а потом с понимающей усмешкой посмотрел ему вслед.

Его движения были так потрясающи, что мне стало стыдно смотреть. Я невольно отвернулась, смущенная тем, что случайно увидела, словно на сцене, чужое страдание; но потом снова этот непонятный страх толкнул меня. Я быстро оделась и, не думая ни о чем, механически сбежала со ступеней, спеша во тьму за этим чужим человеком.

* * *

Миссис К. прервала на минуту рассказ. Она сидела неподвижно против меня и со своим особым спокойствием и деловитостью говорила почти без пауз, как говорит тот, кто внутренне приготовился и расположил по порядку все эпизоды. Тут она в первый раз запнулась, помедлила, потом обратилась прямо ко мне:

— Я обещала вам и себе самой, — начала она немного взволнованно, — рассказать все с полной откровенностью. Однако я должна теперь же потребовать от вас, чтобы вы отнеслись к моей откровенности с полным доверием и не приписывали мне никаких скрытых мотивов, которых я могла бы теперь и не стыдиться, но которых в данном случае совершенно не было. Итак, я должна подчеркнуть, что, когда я поспешила за этим несчастным игроком на улицу, я вовсе не была влюблена в этого молодого человека. Я вовсе не думала о нем, как о мужчине. После смерти моего мужа я, уже сорокалетняя женщина, не обращала внимания на взгляды мужчин. Для меня это было безвозвратное прошлое. Я говорю вам это и должна это вам сказать, потому что иначе вам не будет понятен весь ужас того, что случилось потом. Впрочем, мне все-таки трудно было точно назвать то чувство, которое тогда с такой силой влекло меня к этому несчастному: здесь было любопытство и, прежде всего, ужасный страх, или лучше сказать, страх перед чем-то ужасным, что я с первой же секунды невидимо почувствовала вокруг этого молодого человека, словно облако. Но такие ощущения нельзя отделять одно от другого, нельзя расчленять уже потому, что они слишком сильно, слишком быстро, слишком самопроизвольно следуют друг за другом и лежат по ту сторону спокойного размышления; наверное, это было всего лишь инстинктивное движение, которым на улице оттаскивают назад бросившегося под автомобиль ребенка. Разве можно объяснить, почему человек, который сам не умеет плавать, бросается с моста на помощь утопающему? Просто тайная сила толкает его вперед, и у него нет времени подумать, как безумно, как опасно для него самого его намерение; совершенно так же, не думая, не отдавая себе отчета, я пошла за несчастным из игорного зала к двери и от двери на террасу.

Я уверена, что ни вы, ни другой человек с открытыми на все глаза не мог бы отделаться от этого жуткого любопытства, потому что нельзя было вообразить себе более ужасного зрелища, чем то, когда этот, самое большее двадцатичетырехлетний, молодой человек медленно, как старик, шатаясь, как

пьяный, не повинующимся ему разбитым телом тащился по ступеням к террасе. Там он, как мешок, упал на скамью. Я снова, содрогаясь, почувствовала: этому человеку пришел конец. Так падает только мертвый, или тот, у кого для жизни уже нет сил и ни один мускул уже не действует. Голова как-то боком откинулась на спинку; безжизненно болтаясь, повисли руки; в тусклом свете фонарей прохожий принял бы его за застрелившегося. И вот, — я не могу объяснить, как это видение возникло вдруг передо мною, но оно встало во всей своей яркости, осязаемое, страшное, чудовищное, — в эту минуту я увидела его застрелившимся, и непоколебимой была моя уверенность, что в кармане у него револьвер и что завтра это тело найдут скорчившимся на этой или на другой скамейке, безжизненное, окровавленное, ибо он упал так, как камень падает в воду, и уже не может остановиться, пока не достигнет дна. Я никогда не видела, чтобы одно движение говорило о такой усталости и отчаянии.

А теперь подумайте обо мне, я стояла в двадцати — тридцати шагах позади скамьи, где сидел неподвижный, сраженный человек; стояла, дрожа, не зная, что делать, побуждаемая желанием помочь и сдерживаемая воспитанной во мне, врожденной боязнью заговорить на улице с чужим человеком. Газовые фонари тускло горели под затянутым тучами небом; лишь изредка проходил мимо человек; было около полуночи, я стояла почти совсем одна в парке, на берегу, рядом с этим комком отчаяния, который с презрением и безнадежностью вышвырнул сам себя из жизни. Пять, десять раз я порывалась подойти к нему, и каждый раз меня удерживал стыд или, быть может, какой-то более глубокий инстинкт, подсказывавший мне, что падающий, в отчаянной схватке, нередко увлекает за собой спасителя, — и среди всех этих моих колебаний я отчетливо почувствовала, как глупо и смешно мое положение, но не могла ни уйти, ни заговорить, ни сделать что-нибудь, ни покинуть его. Я надеюсь, вы мне поверите, если я скажу, что целый час, целый бесконечный час, пока тысячи всплесков невидимого прибоя разрывали время, я ходила взад и вперед

по этой террасе, настолько потрясло и приковало меня зрелище этой полной гибели человека.

И все же у меня не хватало мужества что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, и я, может быть, прождала бы так добрую половину ночи, до утра, или, может быть, побежденная холодным рассудком и эгоизмом, пошла бы домой; мне даже кажется, что я уже решила бросить на произвол судьбы этот беспомощный, отчаявшийся комок, но тут случилось нечто более могущественное, чем мое решение: пошел дождь. Целый вечер наносило ветром с моря тяжелые, дымящиеся весенние тучи; сердце и грудь ощущали, что небо опустилось совсем низко; и вот упала первая капля, а затем дробно застучали гонимые ветром тяжелые, мокрые пряди сплошного ливня. Невольно я побежала под навес киоска, но хоть я и раскрыла зонтик, прыгающая влага брызгала мне на платье, руки и лицо и обдавала холодной пылью разбивающихся о землю капель.

Но — и это была такая ужасная картина, что даже теперь, после двух десятилетий, у меня сжимается горло, когда я вспоминаю — под этим дождевым обвалом несчастный безжизненно сидел на скамье и не двигался. Из всех желобов текла и бурливо струилась вода. Из города доносился грохот мчащихся экипажей, справа и слева бегом бежали люди, и было видно в темноте, как они спешат, поднимая воротники пальто. Все живое боязливо ежилось, бежало, пряталось, искало убежища. Чувствовалось, как люди и животные боятся низвергающейся стихии, — и только этот черный человеческий обломок на скамье не двигался и не шевелился. Я уже сказала вам, что у этого человека был волшебный дар — каждое свое чувство невольно выражать пластически движением или жестом, но ничто, ничто на земле не могло так потрясаяще отразить это отчаяние, этот отказ от самого себя, эту смерть заживо, как эта неподвижность, это бесчувственное, мертвое сидение под хлещущим дождем, эта чрезмерная усталость, не позволявшая ему подняться и пройти несколько шагов к кровле, эта последняя степень безразличия к самому себе. Ни один ваятель, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не изображали с таким

душераздирающим чувством последнее отчаяние, последнюю земную горечь, как этот живой человек, отдавшийся стихии, слишком усталый, чтобы сделать хоть какое-нибудь движение. Я не выдержала, я не могла больше. В один миг я пробежала сквозь дождевую завесу, встряхнула этот мокрый человеческий ком. «Идемте!» — я схватила его за руку, что-то с трудом двинулось вперед. Он хотел сделать какое-то движение, но ничего не понимал. «Идемте!» — я еще раз потянула за мокрый рукав, теперь уже с силой и почти сердито. Тогда он встал, безвольно шатаясь. «Что вам надо?» — спросил он, и я не нашла ответа, потому что сама не знала, куда я с ним пойду; только бы подальше от этой сырости, от этой безумной, самоубийственной оцепенелости и невыразимого отчаяния. Я не отпустила его руку и потащила этого лишенного воли человека вперед, к киоску, где узкий навес хоть немного защищал от гонимых ветром потоков неистового ливня. Больше я ничего не могла сделать, ничего не хотела, только отвести под крышу, в сухое место этого человека; больше я пока ни о чем не думала.

И так стояли мы теперь рядом в узкой сухой полосе у стены закрытого киоска, под маленьким навесом, а порывистый, хлещущий время от времени дождь обдавал нашу одежду и наши лица холодной водой. Положение было невыносимое. Я не могла стоять дольше рядом с этим промокшим чужим человеком. Но, вытащив его сюда, я не могла допустить, чтобы он безмолвно тут стоял. Что-то должно было случиться. Мало-помалу я заставила себя размышлять здраво. Лучше всего было бы отвезти его домой в экипаже, а потом и самой отправиться домой. Завтра он уже сам сумеет себе помочь. И вот я спросила его, неподвижно стоявшего рядом со мной и тупо смотревшего в бурную ночь: «Где вы живете?» — «Я нигде не живу... Я только вечером приехал из Ниццы... Ко мне нельзя пойти».

Последние слова я поняла не сразу. Только немного погодя мне стало ясно, что этот человек принимает меня за... кокотку, за одну из тех женщин, которые вечером толпами кружат около казино, чтобы обобрать счастливого игрока или пьяного.

В конце концов, мог ли он думать иначе? Только теперь, когда я это вам рассказываю, я чувствую всю невероятность и фантастичность моего положения — мог ли он думать иначе? Ведь по тому, как я стащила его со скамьи и повела за собой, он действительно не мог меня принять за даму из общества. Но обо всем этом я догадалась не сразу; я только позже, может быть даже слишком поздно, начала понимать то ужасное, ложное положение, в котором я очутилась. Иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только укрепить его в этом заблуждении. Я сказала: «Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вы не должны оставаться, вы должны куда-нибудь пойти».

Но теперь я уже заметила ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне и сказал с какой-то насмешкой в голосе: «Нет, мне не нужна больше комната, мне ничего больше не надо. Не трудись напрасно, из меня ты ничего не вытянешь. Ты не к тому обратилась, у меня нет денег».

Это было так страшно сказано, с таким потрясающим безразличием! И то, как он стоял, вяло прислонясь к стене, этот промокший, вконец измотавшийся человек, так взволновало меня, что я даже не подумала обидеться. Я снова почувствовала то, что ощутила в первое мгновение, когда он побрел из казино, и то, что я ощущала в продолжение всего этого невероятного часа: что здесь человек, молодой, живой, дышащий человек стоит вплотную к смерти и что я должна спасти его. Я подошла к нему ближе.

«Не беспокойтесь о деньгах, и едьте. Вы не должны здесь оставаться. Я дам вам приют. Пусть это вас не беспокоит, и идите сейчас».

Он повернул ко мне голову, и в то время как вокруг барабанил дождь и водосточные трубы струили к нашим ногам хлюпающую воду, я почувствовала, что он в первый раз старается в темноте разглядеть мое лицо. Его тело будто медленно начинало выходить из своей летаргии.

«Ну, как хочешь, — сказал он наконец. — Мне все равно. В самом деле, почему бы и нет? Идем!»

Я раскрыла зонтик, он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная интимность была мне неприятна, больше того, я пришла в ужас, и страх пронизал меня до глубины души. Но у меня не хватало мужества запретить ему что-нибудь. Если бы я оттолкнула его, он упал бы в бездну, и тогда все, что я уже успела сделать, оказалось бы бесполезным. Мы пошли назад в сторону казино, и тогда только у меня мелькнула мысль, что я не знаю, что же мне с ним делать. Я быстро сообразила, что лучше всего было бы отвезти его в отель, у подъезда сунуть ему в руки деньги, чтобы он там переночевал и утром уехал домой. О дальнейшем я не думала. Мимо казино торопливо проезжали экипажи, я остановила один. Мы сели, и, когда кучер спросил, куда везти нас, я сначала не знала, что ответить. Но тут я вспомнила, что человек в промокшей одежде, с которой стекает вода, не может найти хорошего приема в дорогом отеле, и, как совсем неопытная женщина, не подумав об этой двусмысленности, я крикнула кучеру: «В какую-нибудь гостиницу попроще!»

Мы сели. Равнодушный, промокший кучер погнал лошадей. Мой сосед молчал, колеса стучали, а дождь шумно барабанил о стекла. В этом темном, гробоподобном ящике у меня было такое ощущение, словно я еду с трупом. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы нарушить это странное, страшное молчание, но ничего не могла придумать. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первая и расплатилась с кучером, пока мой спутник, словно пьяный, вылезал из экипажа. Мы стояли у дверей маленькой, незнакомой гостиницы. Под стеклянным навесом было небольшое защищенное место, а вокруг, в непроницаемой ночной тьме, с отвратительной монотонностью шумел дождь.

Незнакомец, побежденный тяжестью собственного тела, невольно прислонился к стене. С его промокшей шляпы и измятого платья текла вода. Он стоял, как вытасченный из реки и еще не совсем пришедший в себя тонувший человек, и в том месте, к которому он прислонился, стекал вниз ручеек. Но он не сделал даже легкого движения, чтобы отряхнуться,

снять шляпу, с которой капли, как слезы, стекали на его лицо. Он только стоял безжизненно, и я не могу передать вам, как меня волновала эта сломленность.

Но надо было что-нибудь делать. Я опустила руку в карман. «Вот вам сто франков, — сказала я. — Снимите себе на них комнату и утром поезжайте обратно в Ниццу».

Он удивленно взглянул на меня.

«Я видела вас в игорном зале, — торопливо продолжала я, заметив, что он колеблется. — Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы на пути к тому, чтобы сделать глупость. Нет стыда в том, чтобы позволить помочь себе: вот, возьмите».

Но он оттолкнул мою руку с силой, которой я от него не ожидала. «Ты славная женщина, — сказал он, — но оставь свои деньги себе, мне ничем уже не помочь. Буду ли я еще спать эту ночь или не буду — это не имеет никакого значения. Завтра все равно конец. Мне уже не помочь».

«Нет, вы должны взять, — настаивала я. — Завтра вы будете думать иначе. А пока зайдите сюда и усните. Днем все кажется совсем другим».

Но он почти запальчиво оттолкнул мою руку, когда я протянула ему деньги. «Оставь, — глухо повторил он. — В этом нет смысла. Лучше я это сделаю на улице, чем пачкать здесь кровью людям комнату. Мне не помогут ни сто франков, ни даже тысячи. Завтра я снова с последними пятью франками пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока ничего бы не осталось. К чему начинать снова? С меня довольно».

Вы не можете себе представить, как терзал мою душу этот глухой голос; но подумайте, в двух дюймах от вас стоит молодой, светлый, живой, дышащий человек, и вы знаете, что, если не напряжете всех сил, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через каких-нибудь два часа будет трупом. И тут во мне поднялось неистовое, бешеное желание победить это безумное сопротивление. Я схватила его за руку: «Бросьте эти глупости. Вы сейчас же войдете и снимете комнату, завтра придете ко мне, и я отвезу вас на вокзал. Вам нужно прочь отсюда. Завтра же вы должны уехать домой, и я не успокоюсь,

пока не увижу вас в поезде с билетом. В молодости не выбрасывают жизнь только потому, что проиграли несколько сот или тысяч франков. Это трусость, это глупый припадок злости и раздражения. Завтра вы сами скажете, что я права».

«Завтра, — мрачно и насмешливо повторил он. — Если бы ты знала, где я завтра буду. Да, и если бы я сам это знал. Мне самому любопытно. Нет, ступай домой, дитя мое, не трудись и не швыряй деньгами».

Но я не уступала. Это превратилось во мне в какую-то манию, в какое-то неистовство. Я с силой схватила его руку и всунула туда ассигнацию. «Вы возьмете деньги и сейчас же войдете сюда, — с этими словами я решительно подошла к звонку и позвонила, — вот, я позвонила, выйдет сейчас портье. Завтра в десять часов я буду ждать вас здесь, около этого дома, и отвезу вас прямо на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем, я все устрою, все сделаю, чтобы вы были дома. А сейчас лягте, усните и не думайте больше об этом».

В эту минуту изнутри в двери щелкнул ключ, портье отворил.

«Ну, идем», — сказал он вдруг каким-то жестким, властным, мрачным голосом, и я почувствовала, как его пальцы, словно сталь, сжали мою руку. Меня охватил страх... такой пронизывающий страх... я так растерялась от неожиданности, что ничего не соображала. Я хотела сопротивляться... вырваться... но моя воля была сломлена... и потом... вы поймете... мне было стыдно бороться с чужим человеком перед портье, который стоял и нетерпеливо ждал. И вот я очутилась в гостинице; я хотела заговорить, что-нибудь сказать, но горло судорожно сжалось... на моей руке тяжело и властно лежала его рука... я смутно сознавала, что она ведет меня по лестнице... звякнул ключ...

И вот я очутилась одна с этим незнакомцем в какой-то чужой комнате, в гостинице, названия которой я не знаю и теперь.

Миссис К. снова умолкла и вдруг встала. Ее голос словно отказывался ей повиноваться. Она подошла к окну и несколько минут молча смотрела в него, а может быть, просто прильнула лбом к холодному стеклу; я не решался взглянуть на нее, потому что мне было тяжело видеть волнение этой старой дамы. Я сидел совсем тихо, ничего не спрашивая, и ждал, пока она спокойной походкой не вернулась на свое место и не села снова против меня.

— Теперь уже сказано самое тяжелое. И я надеюсь, что вы мне поверите, если я скажу и поклянусь вам всем, что для меня свято, моей совестью, моими детьми, что до той минуты мне и в голову не приходила мысль... о связи с этим незнакомым человеком, что я совсем безвольно, бессознательно, словно провалившись в западню на ровной дороге моей жизни, очутилась в этом положении. Я дала себе клятву в каждом слове быть правдивой перед вами и собой, и я снова повторяю, что только бешеное желание помочь и ничто другое, не личное чувство, ни что-либо похожее на это, завлекло меня в это трагическое приключение.

Вы меня избавите от необходимости рассказывать о том, что случилось в этой комнате в ту ночь. Сама я не забыла и не хочу забывать ни одного мгновения этой ночи. В эту ночь я боролась с человеком за его жизнь, я чувствовала, что он со всей жадностью и страстностью молодости еще цепляется за нее. Он ухватился за меня, как тот, кто уже видит у себя под ногами бездну. Я же забыла о себе, чтобы спасти его, спасти всем, что у меня было. Такие часы человек переживает только раз в жизни, переживает один из миллионов людей, и без этого ужасного случая я никогда бы не почувствовала, как страстно, с каким отчаянием, с какой необузданной жадностью принимает потерянный, сраженный человек к каждой капле жизни, я, двадцать лет огражденная от демонических сил бытия, никогда бы не постигла, как грандиозно и фантастически иной раз сплетает природа зной и холод, жизнь и смерть, ликование

и отчаяние в одном коротком мгновении. Эта ночь была так полна борьбы и слов, страсти, гнева и ненависти, слез мольбы и опьянения, что она казалась мне тысячелетием. И мы, два человека, низвергнутые в нее, один — жаждавший смерти, неистовый, другой — ничего не сознающий, вышли из нее преобразенными, с новыми мыслями, с новыми чувствами. Но я не хочу об этом говорить. Я не могу этого передать и не буду. Но о той ужасной минуте, когда я проснулась утром, — я должна вам рассказать. Я очнулась от свинцового сна, я вышла из такой глубины мрака, какой я до тех пор не знала. Я долго не могла открыть глаза, и первое, что я увидела, был незнакомый мне потолок, потом различила всю незнакомую, отвратительную комнату и не могла понять, как я в ней очутилась. Сначала я успокаивала себя, что это только сон, какой-то более светлый, более прозрачный сон, и что, я наконец, выбираюсь из того совсем глухого, удушливого сна, но в окно уже светило ясное, утреннее солнце, а снизу доносился шум улицы, я слышала стук колес, звон трамваев и голоса людей, и тогда я поняла, что я не сплю, что это наяву. Невольно я поднялась, чтобы прийти в себя, и вот, посмотрев в сторону... я увидела — никогда я не сумела бы передать вам моего ужаса — увидела человека, спящего рядом со мной на широкой кровати... совсем чужого, чужого, чужого, полуголого, незнакомого человека.

Я бы никогда не сумела передать вам этого мгновения. Ужас с такой силой охватил меня, что я бессильно откинулась назад. Но это был не обморок, не потеря сознания, напротив, с быстротой молнии все для меня стало ясно и вместе с тем необъяснимо, и теперь мне хотелось только одного — умереть от отвращения и стыда за то, что я очутилась с каким-то чужим человеком в кровати какого-то подозрительного притона. Я хорошо помню, сердце у меня не билось, я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и загасить сознание, это ясное, до ужаса ясное сознание, которое все видело и ничего не понимало. Не знаю, как долго я лежала так, похолодевшая с ног до головы, как лежат покойники в гробу. Я

закрыла глаза и зывала к Богу, зывала к небесным силам, чтобы все это оказалось неправдой, наваждением. Но мои обострившиеся чувства уже не мирились с обманом, в соседней комнате я слышала плеск воды и голоса, из коридора доносились шарканье шагов, все это говорило мне о том, что это правда, и я чувствовала себя все более и более униженной.

Как долго длилось это отвратительное состояние, я не могла бы сказать: у таких мгновений совсем другой ход, чем у жизни. И вдруг меня охватил страх, невероятный, животный страх, что этот человек, имени которого я даже не знаю, сейчас проснется, заговорит со мной. Я поняла, что мне остается только одно — одеться и бежать, пока он не проснулся. Чтобы он никогда меня больше не видел, никогда не говорил со мной. Спасти, пока не поздно, прочь, прочь, прочь отсюда. Назад к своей жизни, какой бы то ни было, в свой отель, и с первым же поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны, никогда больше не встречать его, в глаза его не видеть, чтобы не было свидетелей, чтобы никто не знал и не мог обвинить.

Эта мысль вернула мне силы. Осторожно, без шума, крадущимися, воровскими движениями медленно сползла я с кровати и взяла свое платье. Я осторожно оделась, все время дрожа от страха, что он проснется. Наконец, я была совсем готова, это мне удалось, только шляпа моя лежала по ту сторону у ножки кровати, и вот, когда я на цыпочках подошла к ней, надела ее и была уже в безопасности — в эту минуту я не могла не посмотреть, я должна была еще раз взглянуть на этого чужого человека, который, как камень на голову, упал в мою жизнь. Я хотела бросить только один, беглый взгляд, но... это было поразительно... тот чужой молодой человек, который дремал там, был теперь действительно совсем чужим для меня человеком: сначала я даже не узнала вчерашнего лица. Так теперь разгладились обуреваемые страстью, напряженные, искаженные, судорожно натянутые черты смертельно возбужденного лица: это было совсем другое, детское лицо, лицо мальчика, прямо-таки сиявшее весельем и чистотой. Закушенные вчера губы разжались, сонно приоткрытые, припух-

лые, готовые к улыбке; нежно вились светлые волосы вокруг гладкого лба, и ровное дыхание легкими волнами пробегало от груди по всему успокоившемуся, блаженно облегченному телу.

Вы, может быть, вспомните, — я вам уже говорила, что никогда, ни у одного человека я не видела такого сильного, преступно сильного выражения жадности и страсти, как у этого незнакомца за игорным столом. А теперь я скажу, даже у детей, которые во сне иной раз излучают ангельское сияние чистоты, не видела я такой ясной безмятежности, такой поистине блаженной дремоты. На этом лице так же ясно, как и тогда, отражались все чувства, но теперь райски освобожденные от внутренней тяжести, раскованные, спасенные. При этом неожиданном зрелище, словно тяжелый, черный плащ, спал с меня всякий страх, всякий ужас. Я уже ничего не стыдилась и была почти счастлива. Все жуткое, все непостижимое получило для меня особый смысл, я радовалась, я гордилась мыслью, что, не принеси я себя в жертву этому молодому, нежному, красивому человеку, который ясно и тихо, как цветок, лежал здесь, он был бы найден где-нибудь на скале, с окровавленным, разбитым, раздробленным лицом, уже остывший, с безобразно вылезшими глазами. Я его спасла. Он был спасен. И я не могу назвать это иначе — я смотрела материнским взором на спящего, которому я вновь, с большей мукой, чем собственным детям, дала жизнь. И в этой потрепанной, грязной комнате, в этой мерзкой, случайной гостинице меня охватило такое чувство — может быть, это звучит смешно, — будто я стою в церкви, чудесное чувство блаженства и святости. И из самого страшного мгновения целой жизни возникло другое, самое удивительное и покоряющее.

Шумно ли я пошевелилась. Сказала ли что-нибудь невольно. Я не знаю. Но вдруг спящий открыл глаза. Меня охватил страх. Я отшатнулась. Он удивленно посмотрел вокруг — совершенно так же, как и я. Казалось, он медленно выбирался из какой-то глубины и потерянности. Его взгляд вопрошающе скользил по чужой, незнакомой комнате, потом удивленно

остановился на мне. Но прежде чем он заговорил, прежде чем он пришел в себя, я уже овладела собой. Я не должна была допустить ни одного слова, ни одного вопроса, никакой близости; о том, что случилось вчера, нельзя было ни вспоминать, ни говорить. «Я должна идти, — быстро сказала я. — Оставайтесь здесь и оденьтесь. В двенадцать часов вы встретите меня у входа в казино, там я позабочусь обо всем остальном».

И, прежде чем он успел мне возразить, я выбежала вон, чтобы только не видеть этой комнаты, я бежала, не оборачиваясь, из дома, названия которого я не знала, так же, как и имени того человека, с которым я там провела ночь.

* * *

На одно мгновение миссис К. прервала свою повесть. Но в ее голосе не было уже ни муки, ни напряжения. Как с трудом взобравшаяся на гору повозка легко и быстро катится по склону с высоты, так теперь, не задерживаясь, совсем в другом темпе продолжался ее рассказ.

— Итак, я бежала к себе в отель по ярким утренним улицам. Все темное, что заслоняло небо, было сметено бурей, как и мое мучительное чувство. Ибо не забывайте то, что я сказала вам раньше: после смерти мужа я отказалась от личной жизни. Детям я была не нужна, сама себе тоже, потому что всякая жизнь — заблуждение, если она не ведет к определенной цели. И вот, в первый раз на мою долю выпала неожиданная задача: я спасла человека, вырвала его из небытия с помощью всех своих сил. Оставалось преодолеть еще немного, и эта задача должна была быть выполнена до конца. Итак, я побежала к своему отелю. Удивленный взгляд портье, которому показалось чрезвычайно странным, что я возвращаюсь домой в девять часов утра, скользнул мимо меня: уже не стыд и не досада на случившееся, а внезапное пробуждение моей воли к жизни владело мной; неожиданное, новое чувство, что моя жизнь нужна — горячо струилось по моим жилам. Я быстро переоделась у себя в комнате, бессознательно (я это заметила только позднее) сняла траурное платье, чтобы заменить его более

светлым, пошла в банк записаться деньгами, потом на вокзал справиться об отходе поезда; с удивившею меня самою твердостью я заставила себя позаботиться и о некоторых других делах. Теперь уже больше ничего не оставалось делать, как добиться отъезда и спасения брошенного судьбой на мое попечение человека.

Конечно, требовалось еще последнее усилие, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Ибо все, что произошло вчера, случилось в темноте, в каком-то вихре. Мы были словно два столкнувшихся, низвергнутых водопадом камня. Мы едва знали друг друга в лицо, я не была даже уверена, узнает ли меня этот незнакомец. Вчера была случайность, опьянение, безумие двух потерявших голову людей. Но сегодня он уже должен был окончательно составить мнение о той, которая вчера отдалась ему, ведь сегодня я должна была встретить его с открытым лицом, как живой человек. Дело надо было довести до конца, и я собрала все свои силы, успокоив себя внутренне тем, что эта встреча при дневном свете будет нашей последней встречей, так как и на эту мою исповедь я решилась, уверившись в том, что завтра я вас больше не увижу.

Но все оказалось легче, чем я думала. Едва только в назначенный час я подошла к казино, какой-то молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. В его растерянности было столько же искреннего, детского, непосредственного, счастливого, сколько и во всех его красноречивых движениях. Он шел ко мне с сияющими благодарной и почтительной радостью глазами, которые, однако, смиренно опустились, едва заметили, что я его узнала. Благодарность редко чувствуется у людей, и как раз наиболее благодарные не находят средств ее выразить, они смущенно молчат, стыдятся и скрывают свое чувство. Но в этом человеке, в котором как бы некий таинственный ваятель точно, рельефно и красиво отражал каждое движение чувств, светилась и благодарность, излучавшаяся, словно страсть, из самых глубин его тела. Он нагнулся над моей рукой и, нежно склонив свою юношескую голову, с минуту оставался в смущенной неподвижности. Не

сразу вышел он из этого состояния благоговейной робости, спросил меня о здоровье, трогательно посмотрел на меня, и столько почтительности было в каждом его слове, что уже через несколько минут у меня исчезли последние опасения и происшедшее уплыло назад, как облако.

А окружавший нас волшебный вид словно отражал это просветление чувства. На море, которое гневно вздымалось вчера, был такой неподвижный, безмятежный штиль, что белым блеском отсвечивал каждый камень под легким прибоем; казино — эта адская яма — блестело своим белым мавританским фасадом в безоблачном, шелковом небе, а тот киоск, под крышу которого нас вчера загнал ливень, был полон цветов: яркими грудами лежали там пышные букеты цветов и растений — белые, красные, зеленые, пестрые, которые продавала молодая девушка в яркой кофте.

Я пригласила его позавтракать со мной в маленьком ресторане, и там молодой незнакомец рассказал мне свою трагическую историю. Она вполне подтверждала мои первые догадки, когда я увидела на зеленом столе его дрожащие, возбужденные руки. Он происходил из старого аристократического рода австрийской Польши, готовился к дипломатической карьере и месяц тому назад блестяще сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, его дядя — один из высших чинов генерального штаба, — у которого он жил, повез его на Пратер, и они вместе пошли на скачки. Его дяде повезло. Он трижды подряд выиграл. С толстой пачкой банкнот вернулись они домой и поужинали в шикарном ресторане. На следующий день начинающий дипломат получил от своего отца в награду за успешно выдержанный экзамен денежную сумму в размере его месячного содержания. Дня за два до того эта сумма показалась бы ему еще большей, но теперь, после того легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и небрежно. Сразу же после обеда он поехал на скачки, играл с безумным азартом, полагаясь только на случайность, и его счастье, или, вернее, несчастье было таково, что после последнего заезда он покинул Пратер с утроенной суммой в кармане.

И вот его охватила страсть к игре — на скачках, в кафе, в клубах, завладела его временем, оторвала от занятий, расшатала нервы и, прежде всего, поглощала деньги. Он ни о чем не мог больше думать, не мог успокоиться и хоть сколько-нибудь овладеть собой. Как-то ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он нашел, раздеваясь, в жилете, скомканную, забытую ассигнацию. Он не мог удержаться, оделся, блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе за домино двух игроков, с которыми и просидел до утра. Один раз его выручила замужня сестра, заплатив долг ростовщикам, проявлявшим величайшую готовность услужить наследнику громкой аристократической фамилии. Однажды ему снова повезло в игре, но затем он неудержимо покатился вниз, и, чем больше он проигрывал, тем более страстно хотелось ему выиграть. Он уже давно заложил свои часы и платье, и, наконец, случилось ужасное: он выкрал из шкафа у старой тетки две жемчужных булавки, которые она редко носила. Одну он заложил за большую сумму, которую игра учетверила в тот же вечер. Но вместо того, чтобы выпутаться из этого дела, он рискнул всем и проиграл. Ко времени его отъезда кража еще не была обнаружена, и вот он заложил вторую булавку и, следуя внезапному стремлению, уехал в Монте-Карло, чтобы там добыть вожделенное богатство. Он продал здесь свой чемодан, платье, зонтик. У него не осталось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького, усыпанного бриллиантами крестика его крестной матери, княгини X., с которым он не хотел расстаться, потому что мать заклинала его никогда не снимать этого креста. Но и этот крест он продал днем за 50 франков, чтобы вечером в последний раз снова испытать мучительную радость игры на жизнь и на смерть. Все это он рассказал с чарующей грацией, с присущей ему творческой живостью. Я слушала, взволнованная, потрясенная, растроганная, и ни на одно мгновение мне не приходила в голову мысль возмутиться тем, что ведь этот человек, который сидит со мною, — вор. Если бы кто-нибудь сказал мне вчера, мне, женщине с безупречно проведенной жизнью, требовавшей в своем присутствии

строжайшего соблюдения приличий, что я буду дружески сидеть рядом с совершенно незнакомым мне молодым человеком, чуть постарше моего сына, человеком, который украл жемчужные булавки, я сочла бы его сумасшедшим. Но за все время его рассказа я не чувствовала ничего, что было бы похоже на ужас. Он рассказал все это так естественно, с такой страстностью, что его история казалась мне скорее рассказом о каком-то бреде, о болезни, и я не находила причин возмущаться. А потом, кому, как не мне, пришлось минувшей ночью пережить такую бурную неожиданность, что слово «невозможно» потеряло для меня всякий смысл: за эти десять часов я узнала неизмеримо больше жизненной правды, чем до того за сорок лет мирно прожитой жизни.

Но нечто другое все же испугало меня в этой исповеди: это был лихорадочный блеск его глаз, который словно электричеством заряжал нервы его лица, когда он рассказывал о своей страсти к игре. Даже рассказ об этом волновал его, с ужасающей яркостью отражая на его лице напряжение этих часов подъема и муки. Невольно его руки, эти поразительные, узкие, нервные руки, снова стали, как тогда за столом, хищными, стремительными существами. Когда он говорил, я видела, как его пальцы дрожат, с силой сжимают друг друга, потом разжимаются и снова сцепляются, а когда он признавался в краже булавок, они (я невольно подалась назад), подпрыгнув, сделали быстрое воровское движение: я прямо-таки видела, как пальцы яростно схватили драгоценность и торопливо зажали ее в кулаке. С неописуемым ужасом я поняла, что этот человек до последней капли крови отравлен своей страстью.

Только это одно потрясло и взволновало меня в его рассказе, — эта гибельная привязанность к преступной страсти молодого, светлого, беззаботного по натуре человека. Моей первой обязанностью было дружески сказать моему неожиданно питомцу, что он должен уехать из Монте-Карло, где он подвергается опаснейшим искушениям, что он сегодня же должен вернуться к своей семье, пока не заметили пропажу булавок и его будущее не погибло навсегда. Я обещала дать ему

денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется честью никогда больше не брать в руки карты и вообще не играть в азартные игры.

Я никогда не забуду, с какой смиренной, а потом светлой и страстной благодарностью слушал меня этот чужой, павший человек, как он впитывал мои слова, когда я обещала ему помочь, и вдруг он протянул обе руки через стол и схватил мои руки незабываемым движением, в котором слились и преклонение передо мной, и обет. В его светлых, обыкновенно чуть-чуть беспокойных глазах стояли слезы, все его тело слегка дрожало от счастливого волнения. Я уже пыталась передать вам исключительную выразительность его движений, но это движение я не могла бы передать: в нем было столько экстаза, такая неземная одухотворенность, которую вряд ли можно увидеть на человеческом лице.

К чему умалчивать: я не выдержала этого взгляда. Благодарность делает вас счастливым потому, что редко приходится испытывать ее. Нежность благотворна, и для меня, сдержанного, холодного человека, этот ее избыток был источником нового ощущения счастья. А кругом, вместе с этим сраженным и растоптанным человеком, волшебным оживала природа после вчерашнего дождя. Когда мы вышли из ресторана, нам навстречу пышно засверкало успокоившееся море, синее, как небо, с белыми пятнами-чайками в другой, горной синеве. Вы ведь знаете ландшафт Ривьеры. Он всегда прекрасен, но всегда один и тот же, как открытка с видом: постоянно пышные краски, спящая, неподвижная красота, по которой равнодушно скользит взгляд, почти восточная в своей извечной истоме. Но иногда, очень редко, случаются дни, когда эта красота просыпается, когда она словно кричит веселыми, сверкающими красками и яркими цветами, когда она победно бросает вам навстречу свои пестрые цветы, когда она горит, пылает своей чувственностью. И в такой вот одухотворенный день вылился этот хаос бурной ночи. Улицы казались омытыми, небо бирюзовым, повсюду в ожившей зелени многоцветными факелами пламенели цветы. Горы словно вдруг приблизились в ясном,

напоенном солнцем воздухе. Одним взором можно было почувствовать бодрящий зов этой природы, и невольно она завладевала сердцем. «Возьмем экипаж, — сказала я, — и поедемся вдоль берега».

Он радостно кивнул. Казалось, впервые со времени своего приезда, этот юноша вообще замечал окружающее. До этого времени он ничего не знал, кроме душного зала казино с тяжелым запахом пота, скопления отвратительных людей и неприветливого, серого, слезящегося моря. Теперь перед нами лежал сказочный веер залитого солнцем берега, и взгляд счастливо блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске (тогда еще не было автомобилей) по восхитительной дороге, мимо вилл и дач, и возле каждого дома, возле каждой спрятанной в яркой зелени виллы, в душе шевелилось затаенное желание: здесь можно было бы жить, тихо, радостно, вдали от мира!

Была ли я когда-нибудь более счастлива, чем в тот час? Не знаю. Рядом со мной в экипаже сидел этот молодой человек, которого еще вчера я видела в цепких объятиях смерти. Он светился счастьем. Казалось, годы покинули его. Он стал совсем мальчиком, красивым, веселым ребенком с резвыми и в то же время благоговейными глазами. Но больше всего трогала меня его чуткость: как только на подъеме коляска останавливалась и лошадям становилось трудно, он быстро соскакивал и подталкивал сзади экипаж. Едва я называла какой-нибудь цветок или показывала его на дороге, он спешил сорвать его для меня. Маленькую черепаху, которая, соблазненная вчерашним дождем, тяжело ползла по дороге, он заботливо перенес в зеленую траву, чтобы колеса проезжающих экипажей ее не раздавили. Весело и живо он рассказывал мне смешные, милые истории. Мне казалось, что этот смех выручал его, иначе он начал бы петь и прыгать или безумствовать — так счастлив, так взбудоражен был он своей внезапной переменой настроения.

Наверху, когда, свернув направо, мы медленно проезжали через маленькую деревушку, он вдруг почтительно снял шля-

пу. Я удивилась — кого приветствовал он здесь, этот чужой среди чужих? Когда я спросила, он слегка покраснел и сказал, словно извиняясь, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как и во всех строго католических странах, с детства приучаются снимать шляпу перед каждым храмом. Я тотчас же вспомнила о том кресте, о котором он мне говорил, и у меня вдруг мелькнула мысль. «Стойте», — крикнула я кучеру и поспешно вылезла из экипажа. Он последовал за мной, удивленный: «Куда мы идем?» Я ответила только: «Идите за мной».

Я пошла с ним назад к церкви. Это была маленькая кирпичная деревенская церковь с белыми оштукатуренными стенами. Дверь была открыта, и желтый сноп света остро врезался в сияющую темноту, где у маленького алтаря стлались синие тени. словно недремлющее око, горели в дышащем ладаном сумраке две свечи. Мы вошли. Он снял шляпу, погрузил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, я сразу потянула его за собой. «Пойдемте туда, — сказала я, — к алтарю или к святой для вас иконе, и дайте обет, слова я вам подскажу». Он смотрел на меня, удивленный, но потом, поняв меня, подошел к нише, перекрестился и опустился на колени. «Повторяйте вслед за мной, — сказала я, сама дрожа от волнения. — Повторяйте за мной: я клянусь...» — «Я клянусь», — повторил он, и я продолжала: «...что никогда больше не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше я не отдам этой страсти мою жизнь и мою честь».

Дрожа, он повторял эти слова; громко и четко звучали они в пустом, гулком пространстве. Потом стало тихо, так тихо, что можно было слышать, как шелестят деревья, по верхушкам которых шаловливо гуляет ветер. И вдруг он склонился, как кающийся, и заговорил сам в таком экстазе, какого я никогда не слышала. Это были быстрые, смятенные, подталкивающие одно другое польские слова, которых я не понимала. Но это должно было быть молитвой экстаза, молитвой благодарности и покаяния, ибо все снова и снова, как кающийся, смиренно склонял он голову к пюпитру, все с большей

страстностью следовали друг за другом непонятные слова, и все громче, с невыразимой пламенностью, повторялось одно и то же слово. Никогда, ни до того, ни после, не слышала я в церкви такой молитвы. Его руки судорожно хватались за дерево пюпитра, все тело его сотрясалось от внутренней бури, которая то вздымала его, то снова низвергала. Он ничего не видел, ничего не чувствовал. Все в нем казалось из другого мира, словно он был в очистительном огне преображения. Потом он медленно встал, перекрестился и устало повернулся. Его колени дрожали, его лицо было бледно, как у вконец изнуренного человека. Но когда он меня увидел, его глаза просияли, ясная, поистине набожная улыбка озарила его неземное лицо. Он подошел ближе, низко, по-русски поклонился, взял меня за обе руки и почтительно поцеловал их: «Вас Бог послал мне. Я благодарил его за это». Я не знала, что сказать, но мне хотелось, чтобы вверху вдруг заиграл орган, ибо я чувствовала, что мне все удалось: этот человек был спасен навсегда.

Мы вышли из церкви к сияющему, брызжущему, словно майскому солнцу. Никогда мир не казался мне прекраснее. Два часа мы ехали по холмистой, переливающей красками дороге. Мы больше не говорили. После того подъема чувств все слова казались нам ничтожными. Но каждый раз, когда мой взгляд встречался с его взглядом, он с такой светлой радостью, с такой пылкой благодарностью смотрел на меня, что я смущенно отводила взгляд.

Было пять часов, когда мы вернулись в Монте-Карло. Здесь я должна была зайти к моим родственникам, и от этого визита нельзя было уклониться. К тому же мне было даже необходимо побыть немного вдаль от него. Счастья было слишком много. Мне нужно было отдохнуть от этого знойного, экстатического состояния, какого я никогда в жизни не испытывала. Поэтому я только на минуту попросила моего питомца зайти ко мне в отель и передала ему деньги на дорогу и на выкуп драгоценностей. Мы условились, что, пока я буду у родственников, он купит себе билет. Вечером, в семь часов, мы встретимся у

входа на вокзал и побудем с полчаса вместе, пока гонуэзский поезд не увезет его домой. Когда я протянула пять банкнот, его пальцы как-то замешкались, и губы страшно побледнели: «Нет, не надо денег... прошу вас... не надо денег, — тихо, с трудом проговорил он сквозь зубы, беспомощно отдергивая дрожащие пальцы. — Не надо денег... не надо денег... Я не могу их видеть», — повторил он, словно охваченный невольным отвращением или страхом. Но я успокаивала его, сказав, что я ведь только даю ему в долг и что, если это стесняет его, он может дать мне расписку. «Да... да... расписку...» — пробормотал он, отворачивая взгляд. Он скомкал ассигнации, поспешно сунул в карман, не посмотрев даже на них, словно они прилипали к пальцам или обжигали руку, и размахистым, торопливым почерком набросал несколько слов на клочке бумаги. Когда он поднял голову, он был совсем бледен. Казалось, что-то душило его, что-то поднималось в нем, и, едва он протянул мне листок, какой-то порыв мощно охватил его всего, и вдруг — я невольно отшатнулась — он упал на колени и поцеловал край моего платья. Непередаваемо было это движение: я дрожала всем телом от невероятной силы этого смирения. Я с трудом овладела собой и помогла ему встать. Мне было страшно. В смятении я могла только прошептать: «Я очень признательна вам за то, что вы так благодарны. Но теперь, прошу вас, уйдите. Вечером в семь часов мы простимся на вокзале».

Он взглянул на меня. Его глаза светились растроганно, губы дрожали. Одно мгновение я подумала, что он хочет что-то сказать, одно мгновение казалось, что его словно тянет ко мне, но вдруг он еще раз низко-низко поклонился и вышел из комнаты.

* * *

Снова миссис К. прервала свой рассказ. Она встала и подошла к окну и долго, неподвижно смотрела в него. По темному очертанию ее спины я видел, что всю ее сотрясает мелкая дрожь. Потом она решительно повернулась. Словно разрывая

что-то, она с силой развела руки, остававшиеся до тех пор спокойными и безучастными. Потом она твердо, почти вызывающе посмотрела на меня и порывисто продолжала:

— Я обещала вам быть до конца откровенной. И теперь вижу, как необходимо для меня самой было это обещание. Ибо только теперь, когда я заставляю себя рассказывать в последовательном порядке о событиях этого дня и подыскивать слова для выражения чувств, которые были тогда совершенно спутанными и смутными, только теперь я вижу ясно многое такое, чего тогда не знала. Но я хочу сурово и решительно сказать правду и самой себе, и вам. В ту минуту, когда этот юноша вышел за дверь и я осталась одна, мне показалось, в опустевшей комнате сразу стало темно. Что-то смутное угнетало меня, что-то причиняло мне боль. До сегодняшнего дня я не признавала или не хотела понять это чувство. Но сегодня, когда я заставляю себя беспощадно и ясно представить себе все, что было, и не могу перед вами ничего утаивать, не могу трусливо замалчивать посрамленного чувства, сегодня для меня ясно: эту боль мне причиняло разочарование... разочарование, что этот юноша ушел от меня так... не попытавшись удержать меня... остаться у меня... что он так почтительно и покорно подчинялся моей первой просьбе уехать... вместо того, чтобы привлечь меня к себе... что он благоговел передо мной, как перед святой, которая предстала ему на пути... и не чувствовал во мне женщины.

Это было разочарование для меня... разочарование, в котором я ни тогда, ни позже не признавалась себе, но чувство женщины знает все, знает без слов и без сознания. В ту секунду, когда закрылась дверь, я почувствовала словно гнев, словно озлобление, и это чувство было тем болезненнее, чем с большей страстностью я рвалась к нему, потому что... теперь я это знаю, если бы этот молодой человек обнял меня тогда, если бы он приказал мне, я пошла бы за ним на край света, я втоптала бы в грязь мое имя, имя моих детей... я с таким же равнодушием к людской молве и голосу рассудка ушла бы с ним, как мадам Анриет с тем молодым французом, которого

она накануне еще не знала... Я не стала бы спрашивать, куда и надолго ли, я не стала бы оглядываться на свою жизнь... я отдала бы этому человеку мои деньги, мое имя, мою честь, мои силы, я пошла бы просить милостыню, и нет на свете такой низости, к которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он хоть одним шагом, одним словом приблизился ко мне, если бы он попытался привлечь меня к себе, удержать меня: я потеряла голову в это мгновение.

Но... я уже сказала вам... этот странный человек не видел больше ни меня, ни женщину, которая была во мне... и то, как я предалась ему, каким огнем он меня зажег, я почувствовала только тогда, когда осталась одна, когда та страсть, что еще недавно возвеличивала его просветленное, его ангельское лицо, мраком упала мне на душу и бушевала в пустоте осиротелой груди. С трудом я овладела собой: ведь мне предстояло еще выдержать этот томительный визит. На меня словно надели тяжелый железный шлем, и я шаталась под его тяжестью. Мои мысли не слушались меня, как и мои ноги, когда я устало шла в другой отель к моим родственникам. Там я тупо сидела, среди нудной болтовни, и всякий раз пугалась, когда, подняв глаза, видела эти неподвижные лица, которые, в сравнении с тем оживлявшимся игрою света и тени лицом казались жалкими, замороженными масками. Я сидела словно среди мертвецов, до того жутко, безжизненно было их присутствие, и, в то время как я бросала в чашку сахар и рассеянно беседовала, во мне все время бушевала, клокотатала кровь, мерещилось то, другое лицо, видеть которое было для меня огромной радостью и которое я — страшно подумать — должна была через два часа увидеть в последний раз. Вероятно, я тихо вздохнула или застонала, потому что вдруг ко мне наклонилась кузина моего мужа и озабоченным шепотом спросила, что со мной, не нездоровится ли мне, отчего у меня такое бледное, утомленное лицо. Этот неожиданный вопрос представил удобный повод тут же ответить, что мне действительно не по себе и что я прошу у нее разрешения незаметно уйти.

Так счастливо предоставленная самой себе, я тотчас же поспешила к себе в отель. И едва я очутилась там одна, как снова меня охватило это чувство пустоты, покинутости и вместе с ним страстное влечение к этому юноше, с которым я сегодня должна была расстаться навсегда. Я металась по комнате, без нужды открывала ящики, переделалась и вдруг очутилась перед зеркалом, смотрясь в него и думая, что, может быть, такой вот нарядной мне еще удастся удержать его. И вдруг я поняла: я не хочу его отпускать. И в один бурный миг это желание стало решением. Я побежала к портье, сказала ему, что уезжаю сегодня с вечерним поездом. Надо было торопиться: я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи — времени оставалось мало — и пока мы с нею, словно наперегонки, запихивали в чемоданы платья и разные мелочи, я представляла себе, как все произойдет: как я пойду с ним к поезду, и в последнее, самое последнее мгновение, когда он протянет мне руку, чтобы проститься, войду к нему, удивленному, в купе, и буду с ним эту ночь, и следующую, буду с ним столько, сколько он хочет. Каким-то восхищенным, окрыленным возбуждением зажглась во мне кровь; иногда я громко смеялась, видя недоумение горничной, дивившейся тому, как я швыряю платья в чемоданы. Я почувствовала, что мысли у меня путаются, и когда слуга пришел за чемоданами, я удивленно взглянула на него: слишком трудно было думать обо всем сразу при этом обуревавшем меня волнении.

Надо было спешить, уже пробило семь часов, у меня оставалось, в лучшем случае, только двадцать минут до отхода поезда, хотя — утешала я себя — теперь прощание уже не важно, ибо никакого прощания не будет и я уеду с ним, я останусь с ним, пока он этого захочет. Слуга вынес вещи, а я пошла расплатиться в кассу отеля. Уже управляющий протягивал мне сдачу, уже я хотела идти дальше, как вдруг кто-то тихонько тронул меня за плечо. Я вздрогнула. Это была моя кузина. Обеспокоенная моим недомоганием, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла с ней оставаться. Каждая секунда промедления могла оказаться ро-

ковой. Но делать было нечего, я должна была с ней хоть немного поговорить. «Ты должна лечь, — настаивала она, — у тебя несомненно лихорадка». Так, наверно, и было, в висках у меня стучало, а на глаза набегали синие тени обморока. Но я боролась с собой, старалась успокоить ее, быть вежливой, хотя каждое слово жгло меня, хотя эту неуместную заботу я охотнее всего отпихнула бы ногой. Но непрощеная гостья стояла, предлагала мне одеколон, не поленилась сама натереть мне виски. А я считала минуты, думала о нем и искала предлога освободиться от этого мучительного участия. И чем беспокойнее я становилась, тем это казалось ей подозрительнее. Она чуть ли не силой хотела отвести меня в мою комнату и уложить в постель. Но вдруг, пока она меня уговаривала, я увидела посреди зала часы: двадцать восемь минут восьмого, а поезд уходил в 7 часов 35 минут. Резко, стремительно, с грубым равнодушием отчаяния, протянула я кухне руку: «Прощай, мне надо ехать», — и, не обращая внимания на ее остолбеневший взгляд, не оглядываясь, я поспешила к двери мимо удивленных лакеев, выбежала на улицу и бросилась к вокзалу. По взволнованным жестам слуги, который ждал меня с багажом, я издали поняла, что я успела в последнюю минуту. Бешено устремила я к проходу, но тут меня остановил контролер: я забыла купить билет. И пока я отчаянно уговаривала пропустить меня на перрон, поезд уже тронулся. Дрожа всем телом, я устремила вперед неподвижный взгляд, надеясь поймать в окне вагона хотя бы взгляд, поклон, привет, но в мелькании вагонов я не могла уже различить его лица. Вагоны ускоряли свой бег, и через минуту перед моими потемневшими глазами не осталось ничего, кроме облака черного дыма. По-видимому, я стояла, словно окаменев. Не знаю, сколько времени, потому что слуга несколько раз пытался заговорить со мной, пока, наконец, не отважился тронуть меня за руку. Только тогда я очнулась. Он спросил меня, надо ли отвезти обратно в отель мой багаж. Прошло несколько минут, пока я сообразила. Нет, это было невозможно, я не могла больше вернуться туда после моего сумбурного, смешного бегства, да

я и не хотела туда возвращаться. Я велела ему сдать багаж на хранение. Мне хотелось поскорее остаться одной. И только тогда, среди безостановочно кипевшей толпы, которая шумно наполняла вокзал и снова редела, я попыталась из нестерпимого, мучительного удушья гнева, отчаяния и тоски, потому что — к чему скрывать — мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, безжалостно, словно раскаленным железом, жгла меня. Мне хотелось кричать, с такой болью в меня вонзалось, все немилосерднее, это раскаленное докрасна острие. Быть может, только совершенно бесстрастные люди в неповторимые минуты могут испытать такую страсть: прожитые годы, нетронутые силы с тяжелым грохотом обрушиваются на грудь. Никогда, ни до того, ни после я не переживала ничего похожего на то мгновение, когда я, готовая на безумный поступок, готовая разом отречься от всей своей замкнутой, размеренной сдержанной жизни, вдруг очутилась перед стеной нелепости, о которую бессильно разбилась моя страсть.

То, что я делала, не могло не быть таким же нелепым. Это было безрассудно, даже глупо. Мне почти стыдно вам об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать. Там вот, я... я начала снова искать его... то есть я старалась вернуть мгновения, проведенные вместе. Меня неудержимо тянуло к тем местам, где мы были накануне, к садовой скамейке, от которой я оторвала его, к игорному залу, где я его впервые увидела, даже в ту труппу, только бы еще раз, еще раз пережить прошедшее. А завтра поехать в экипаже вдоль берега, той же дорогой, чтобы восстановить каждое его слово, каждое движение; да, мое смятение было таким нелепым, таким ребяческим, что теперь, спустя двадцать лет, холодно оглядываясь назад, я сама его не понимаю. Но мне нужен был этот самообман, ибо я не могла оставаться одна в моей беспомощности, в моем неистовом отчаянии. Человек или поймет это, или не поймет вовсе. Быть может, нужно пламенное сердце, чтобы постичь это.

И вот я пошла в игорный зал искать тот стол, за которым он играл, и там, среди всех этих рук, вспоминать его руки. Я

вошла. Я помнила, он сидел за левым столом во второй комнате. Я помнила еще каждое его движение. Я нашла бы его место, идя во сне с закрытыми глазами и протянутыми вперед руками. Итак, я вошла и пересекла зал. И тут... когда я у двери посмотрела на этих людей... со мной случилось что-то странное... там сидел он... он сам... он... он... такой же, каким я его сейчас видела, закрыв глаза... такой же, как вчера... застывший, устремивший глаза на шарик, нечеловечески бледный... Но это был он... несомненно он...

Я чуть не вскрикнула от испуга. Но я подавила свой страх перед этим бессмысленным видением и закрыла глаза. «Ты безумна... ты гредишь... у тебя лихорадка, — говорила я себе. — Это невозможно, у тебя галлюцинации... Уже полчаса как он уехал». Тогда я снова открыла глаза. Но такой же, каким я видела его в первый раз, он сидел там... живой... несомненно он... Среди миллионов рук узнала бы я его руки... Я не грезила, это был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне, он сидел здесь. Эти деньги, что я дала ему на дорогу, он принес сюда, к зеленому столу и, весь отдавшись своей страсти, играл, в то время как я с таким отчаянием рвалась к нему.

Что-то толкнуло меня вперед. Это была ярость, безумное, яростное желание задушить клятвопреступника, который так позорно предал мою веру, мое чувство, то, чем я пожертвовала для него. Но я пересилила себя. Тихо, совсем тихо я подошла к столу и стала как раз напротив него. Кто-то вежливо уступил мне место. Только два метра зеленого сукна разделяли нас, и я, словно из ложи театра, могла глядеть на его лицо, то самое лицо, которое два часа назад светилось благодатью, а теперь снова судорожно гило в адском пламени страсти. Руки, те самые руки, которые еще днем неподвижно лежали во время святой клятвы на церковной скамье, теперь неистово сжимались и жадно, как вампиры, тянулись к золоту. Он выиграл, должно быть, очень много выиграл. Перед ним в беспорядке лежал большой ворох фишек, луидоров и ассигнаций, и его пальцы, дрожащие, нервные пальцы, с наслаждением окунались в них. Я видела, как они гладили и складывали отдельные

банкноты, ласкали и катали золотые монеты, потом вдруг схватывали целую горсть их и бросали на какую-нибудь клетку; каждый окрик крупье отрывал от денег его жадно горевшие глаза и устремлял их к дробно стучавшему шарик, туловище наклонялось вперед, и только локти были словно гвоздями прибиты к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, казался этот одержимый, ибо каждое его движение убивало во мне его прежний, словно на золотом поле сияющий образ, который я так легковерно носила в сердце.

На расстоянии двух метров друг от друга мы тяжело дышали оба. Я пристально смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел, его взгляд скользил только по деньгам и загорался, когда шарик снова начинал вертеться. В этом гибельном зеленом поле были заключены и метались взад и вперед все его мысли, весь мир, все человечество собралось для него здесь, на этом суконном четырехугольнике. И я знала, что могу часами здесь стоять, а он и не почувствует моего присутствия.

Но я не могла терпеть больше. Внезапно решившись, я обошла стол, подошла к нему сзади и крепко впила рукой ему в плечо. Он вяло поднял глаза, тупо посмотрел на меня стеклянными зрачками, как глядит пьяный, которого разбудили, и чей взгляд еще мутен от окутавшего его тумана. Потом он будто узнал меня, его губы раскрылись, дрожа, он взглянул радостно и тихо прошептал, взволнованно и таинственно: «Идет хорошо... я так и знал, как только вошел сюда и увидел, что он тут... Я так и знал...»

Я не понимала. Я видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец забыл обо всем, забыл свою клятву, забыл наш уговор, забыл меня и весь мир. Но даже и теперь, в этой одержимости, его экстаз так захватил меня, что я невольно не прерывала его и недоуменно спросила, о ком он говорит.

«Вон там, старый русский генерал, однорукий, — шептал он, вплотную придвигаясь ко мне, словно поверял какую-то волшебную тайну. — Там, с седыми бакенбардами... Позади него стоит слуга. Он всегда выигрывает, я это еще вчера заме-

тил. У него, должно быть, какая-то система, и я ставлю на те же цифры, что и он... Он и вчера все время выигрывал... Вчера он выиграл тысяч двадцать... и сегодня выигрывает на каждой ставке... теперь я все время ставлю, как он... Теперь...»

Вдруг он замолчал, так как раздался резкий возглас крупье: «Faites votre jeu!»*, и взгляд его скользнул прочь от меня. Он отвернулся и начал жадно смотреть туда, где важно и спокойно сидел седой русский, который задумчиво положил на четвертое поле золотую монету, а затем, нерешительно, еще одну. Тотчас лихорадочно сжались его пальцы и кинули горсть монет на то же самое место. Когда, через минуту, крупье провозгласил: «Ноль!», и лопатка мигом очистила весь стол, он остолбенело посмотрел вслед исчезающим деньгам. Но он даже и не подумал обернуться ко мне, он забыл обо мне, я выпала, исчезла из его жизни, его внимание было приковано только к русскому генералу, который невозмутимо покачивал на ладони две золотых монеты, раздумывая, куда их поставить.

Я не могу передать вам мою горечь, мое отчаяние. Но поймите меня: я пожертвовала для этого человека всей моей жизнью, и он обошелся со мною, как с какой-то назойливой мошкой, от которой небрежно отмахиваются рукой. Гнев охватил меня. Яростно, что было силы, я впиалась ему в руку, так что он вздрогнул.

«Вы сейчас же встанете, — сказала я ему тихо, но повелительно. — Вспомните о той клятве, которую вы дали мне сегодня в церкви, клятвопреступник, жалкий человек!»

Он взглянул на меня и побледнел. В его глазах появилось жалкое выражение побитой собаки, его губы дрожали. Он как будто сразу вспомнил все случившееся, и словно ужас охватил его.

«Да... да..., — пролепетал он, — Боже мой... Боже мой... я иду... простите...»

И его рука уже загребала деньги, сначала быстро, порывистым, неистовым движением, потом медленнее, слабее, зами-

* Делайте ставку! (франц.)

рая. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку.

«Еще одну минуту. — Он быстро бросил пять золотых монет на то же поле, что и генерал. — Только одну эту игру. Клянусь вам... я тотчас же уйду... только эту игру... только...»

И снова оборвался его голос. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот безумный ускользнул от меня, ускользнул от самого себя и низвергся в этот полированный лоток, где метался и подскакивал маленький шарик. Снова прокричал крупье, снова загребла лопатка его пять золотых монет. Он проиграл.

Он не обернулся. Он забыл обо мне. Забыл о клятве, забыл о слове, которое дал мне за минуту до того. Снова судорожно потянулась его рука к убывавшей стопке денег, а пьяный взгляд был прикован к магниту его воли, к сидевшему напротив чародею.

Мое терпение истошилось. Я снова схватила его, теперь уже с бешеной силой: «Вы сейчас же встанете. Сейчас же. Вы сказали, что только одну эту игру...»

Но тут случилось нечто неожиданное. Он быстро обернулся. Но теперь это уже не было лицо смущенного, униженного человека, это было искаженное бешенством лицо, с дрожащими от ярости губами и горящими глазами. «Оставьте меня в покое, — прошипел он. — Уйдите. Вы приносите мне несчастье. Каждый раз, когда вы здесь, я проигрываю. Вчера так было и сегодня тоже. Уйдите».

Я было растерялась. Но его безумие развязало и мой гнев. «Я приношу вам несчастье, — закричала я. — Вы лгун, вы вор! Вы поклялись мне...»

Но я не могла продолжать, потому что одержимый вскочил и оттолкнул меня, не слыша поднявшегося вокруг нас шума.

«Оставьте меня в покое, — закричал он во весь голос. — Я не на вашем попечении... вот... вот... ваши деньги. — И он бросил мне несколько стофранковых билетов. — А теперь оставьте меня в покое».

Он прокричал это громко, как сумасшедший, не обращая

внимания на сотни стоявших кругом людей. Все они смотрели, шушукались, указывали на нас, смеялись, и даже из соседнего зала входили любопытные. Меня словно раздели, и я, обнаженная, стояла перед этой толпой.

«Тише, сударыня, прошу вас», — громко и властно сказал крупье и постучал лопаточкой по столу. И голосу этого ничтожного человека я повиновалась. Униженная, сгорая от стыда, стояла я перед этой шепчущейся толпой любопытных, стояла, как девка, которой швырнули деньги. Двести, триста наглых глаз смотрели мне прямо в лицо, и, когда я, согнувшись, сгорбившись от унижения и стыда, посмотрела в сторону, я увидела чьи-то застывшие от изумления глаза. Это была моя кухня. Почти лишаясь чувств, с широко раскрытым ртом, она смотрела на меня, подняв, словно от ужаса, руку. Это меня сразило. Не успела она пошевелиться, не успела опомниться от неожиданности, как я ринулась вон из зала. Я успела добежать до скамейки, на которую вчера свалился этот безумец. И так же бессильно, так же устало, так же разбито упала я на твердое, безжалостное дерево.

С тех пор прошло уже двадцать четыре года, и все же, когда я теперь вспоминаю, как я, отхлестанная его оскорблением, стояла перед тысячью чужих людей, кровь стынет у меня в жилах, и я с ужасом думаю, до чего же слабо, жалко и дрябло все то, что мы громко называем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если даже при высшем своем напряжении они бессильны разорвать на части измученную плоть, истерзанное тело, если можно, в полном здравии, с продолжающимся биться сердцем, пережить такие минуты и не умереть, не упасть, как падает сраженное молнией дерево. Только на один миг эта боль победила меня, когда я, не дыша, ничего не сознавая, с каким-то сладостным чувством близящейся смерти, упала на скамью. Но — я уже сказала — всякое страдание трусливо; оно отшатывается перед властной потребностью жить, которая в нашем теле, в нашей крови сильнее, чем у наших нервов и нашей воли. Я снова встала, не зная, что делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы готовы, и тотчас

же меня пронизала мысль: прочь, прочь отсюда, прочь из этого проклятого притона. Ни на кого не обращая внимания, я побежала к вокзалу, спросила, когда идет поезд в Париж. «В 10 часов», — ответил мне портье, и я тотчас же сдала багаж. 10 часов... В 10 часов будут как раз сутки после той ужасной встречи, сутки, до того насыщенные неистовством противоречивейших чувств, что мой внутренний мир был навсегда уже опустошен. Но теперь я ничего уже не чувствовала, ничего не слышала, кроме одного слова, которое стучало, словно молоток: прочь, прочь, прочь. Кровь, словно клин, забивала мне в виски: прочь, прочь, прочь. Прочь от этого города, от меня самой! Домой, к моим близким, назад, к моему прошлому, к моей собственной жизни!

Утром я приехала в Париж, там — сразу же на другой вокзал, прямо в Булонь, из Булони — в Дувр, из Дувра — в Лондон, из Лондона — к моему сыну, все это безостановочно, стремительно, ни о чем не размышляя, не думая, двое суток без сна, не промолвив ни слова, не взяв в рот куска, двое суток, слыша, как колеса выстукивают только одно слово: прочь, прочь, прочь, прочь!

Когда я, наконец, неожиданно показалась в доме моего сына, все ужаснулись. Должно быть, что-то произошло. Должно быть, что-то в моем лице, в моем взгляде выдало меня. Мой сын хотел обнять меня, поцеловать. Я отшатнулась. Я не могла перенести мысли, что он прикоснется к губам, которые опозорили его. Я уклонилась от всяких расспросов, сказала только, чтобы мне приготовили ванну, потому что чувствовала необходимость смыть с себя дорожную грязь и то, что еще словно жгло мое тело после страсти этого одержимого, этого недостойного человека. Потом я добралась до своей комнаты и двенадцать, четырнадцать часов спала тяжелым, каменным сном, каким не спала никогда, ни до того, ни впоследствии, сном, после которого я знаю, что значит лежать в гробу и быть мертвым. Мои близкие ухаживали за мной, как за больной, но их заботливость причиняла мне только боль, мне было стыдно их почтительности, их уважения. Я должна была вечно осте-

регаться, чтобы вдруг не закричать, не признаться, как я всех из предала, забыла, покинула ради какой-то безумной, сумасбродной страсти.

Затем я без всякой цели переехала в маленький французский городок, где никого не знала, потому что меня вечно преследовал страх, что каждый с первого взгляда узнает о моем позоре, о том, кем я стала; я чувствовала, что я навсегда предана, осквернена до самой глубины души. Часто, просыпаясь утром, я безумно боялась открыть глаза. Снова мной овладевало воспоминание о той ночи, когда я вдруг проснулась рядом с чужим, полураздетым человеком, и каждый раз, как в ту ночь, мне хотелось только одного — сейчас же умереть.

Но, в конце концов, время обладает великой силой, а старость — поразительно обесценивает все чувства. Чувствуешь, что подходит смерть, что черная тень ее ложится на дороге, все начинает казаться не таким ярким, не так уже действует на нас и теряет большую часть своей опасной силы. Мало-помалу я излечилась от этого потрясения, и когда я, десять лет тому назад, встретив в одном обществе некоего молодого поляка, атташе австрийского посольства, спросила его о той семье, и он мне рассказал, что десять лет тому назад сын этого его родственника застрелился в Монте-Карло — я даже не вздрогнула. Мне даже почти не было больно. Быть может, — к чему отрицать собственный эгоизм? — я даже почувствовала какое-то облегчение, ибо исчез последний страх, что я когда-нибудь его встречу.

Я стала спокойнее, могла спокойнее думать и беззаботнее вспоминать. Состариться — это не что иное, как перестать бояться прошлого.

И теперь вы поймете, как я вдруг пришла к мысли рассказать вам о своей судьбе. Когда вы взяли под свою защиту мадам Анриет и горячо сказали, что сутки могут до конца определить судьбу женщины, мне показалось, словно речь идет обо мне. Я была вам благодарна потому, что впервые почувствовала себя как бы оправданной и прощенной. И тогда я подумала: если я хоть раз открою свою душу, может быть, это умрет навсегда;

может быть, завтра я смогу спокойно пойти туда, спокойно войти в этот зал, где я с ним сидела; может быть, я, наконец, освобожусь от ненависти к самой себе. И тогда камень свалится с души, всей своей тяжестью ляжет на прошлом, и оно никогда уже не воскреснет. Мне хорошо, что я рассказала вам это, мне теперь легче и почти радостно... Я благодарна вам за это...

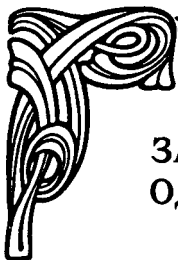
С этими словами она встала. Я понял, что она кончила. Смущенно я искал каких-то слов. Должно быть, она почувствовала мое замешательство и быстро предупредила меня:

— Нет, прошу вас, ничего не говорите... Мне бы не хотелось, чтобы вы что-нибудь говорили или отвечали... Примите благодарность за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути.

Она протянула мне руку на прощание. Невольно я посмотрел ей в лицо, и было странно видеть эту старую женщину, которая, приветливо и в то же время немного стыдясь, стояла передо мной. Был ли это отсвет минувшей страсти, или смущение залило беспокойным румянцем ее лицо вплоть до седых волос, но она казалась молодой девушкой, смущенной воспоминаниями и стыдящейся своего признания.

Я был взволнован, мне хотелось найти слова, чтобы выразить ей свое уважение. Но горло судорожно сжалось. Я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенняя листва, руку.





ЗАКАТ ОДНОГО СЕРДЦА

Для того чтобы создать в человеческом сердце роковой надрыв, судьба не всегда прибегает к сильному размаху и резкому удару; из ничтожных причин вывести гибель — вот в чем находит удовлетворение ее неукротимое творческое своеволие. На нашем тусклом обывательском языке это первое легкое прикосновение мы называем поводом и в изумлении сравниваем его незначительность с той мощной и непреходящей силой, которая из него развивается; но подобно тому, как болезнь начинается, задолго до того, как она обнаруживается, так и судьба человека возникает не в ту минуту, когда она становится очевидной и сбывшейся: долго она таится в глубинах нашего существа, овладевая нашей кровью, прежде чем коснется нас извне. Самопознание уже равносильно сопротивлению, и тщетно оно — почти всегда.

* * *

Старик Соломонсон — у себя на родине он имел право именоваться коммерции советником Соломонсоном — проснулся однажды ночью в гостинице в Гардоне, где он проводил пасху со своей семьей, — проснулся от жестокой боли: будто тисками был сдавлен его живот, и дыхание с трудом вырывалось из напряженной груди. Старик испугался: он часто страдал печеночными коликами, а между тем, вопреки совету врачей, он предпочел пребывание на юге курсу лечения в Карлсбаде. Опасаясь грозного припадка, он в страхе ощупал

свой большой живот и, несмотря на мучительную боль, несколько успокоился, установив, что тяжесть сосредоточена в области желудка — очевидно, благодаря непривычной итальянской кухне или вследствие легкого отравления, часто постигающего путешественников в этой стране. Со вздохом облегчения он отвел дрожащую руку, но тяжесть не проходила и затрудняла дыхание. Застонав, он тяжело поднялся с постели, надеясь движением заглушить боль. И действительно: встав и сделав несколько шагов, он сразу почувствовал себя лучше. Но в темной комнате было тесно, и, кроме того, он боялся разбудить жену и встревожить ее понапрасну. Он накинул халат, надел мягкие туфли на босу ногу и осторожно пробрался в коридор, чтобы прогулкой успокоить боль. В ту минуту, когда он открывал дверь в темный коридор, сквозь широко раскрытые окна донесся бой церковных часов: четыре тяжеловесных удара мягко рассеялись над озером дрожащим, затухающим гулом: четыре часа утра.

Длинный коридор был погружен во мрак. Но старик отчетливо помнил, что он длинен и тянется по прямой линии. И он зашагал из конца в конец, не нуждаясь в свете, глубоко дыша и с удовлетворением наблюдая, как его грудь постепенно освобождается от тисков. Боль уже почти прошла, и он собирался вернуться в комнату, как вдруг его испугал какой-то шум. Он остановился. Близкий шелест послышался во мраке, тихий, но несомненный. Что-то затрещало, кто-то перешептывался, кто-то двигался, и узкая полоса света из слегка приоткрытой двери на мгновение прорезала непроницаемый мрак. Что это? Невольно старик прижался в угол, — конечно, не из любопытства, а исключительно уступая легко понятному чувству стыдливости — из опасения быть замеченным среди ночи в такой странной обстановке. Но в то мгновение, когда блеснул свет, он, почти против своей воли, увидел — или ему показалось, что он увидел, — как из комнаты скользнула женская фигура в белой одежде и исчезла в противоположном конце коридора. И действительно — теперь в одной из последних дверей повернулась ручка. И опять все замерло во мраке. Старик зашатал-

ся, как будто его ударили прямо в сердце. Там, в самом конце коридора, где предательски щелкнул замок, там были... там были ведь только его собственные комнаты, три комнаты, которые он снял для своей семьи. Его жена — он оставил ее всего несколько минут тому назад — спокойно спала; значит, эта женская фигура — нет, ошибиться было невозможно — была его девятнадцатилетняя дочь Эрна, возвращавшаяся из чужой комнаты после ночного похождения.

Старик вздрогнул всем телом — он похолодел от ужаса. Его дочь Эрна, это дитя, это веселое, шаловливое дитя — нет, этого быть не могло, он, наверное, ошибся!

«Что ей было делать в чужой комнате, если не...»

Как хищного зверя, оттолкнул он эту мысль, но призрак скрывшейся женской фигуры властно впился когтями в его мозг — не вырвать его оттуда, не отделаться от него: он должен убедиться. Задыхаясь, он пробрался по стене коридора к двери ее комнаты, смежной с его комнатой. И — какой ужас! — как раз здесь, как раз только у этой единственной двери дрожала сквозь щелку тонкая нить света, и сквозь замочную скважину предательски глядела белая точка: в четыре часа утра в ее комнате горел свет. И вот — еще одно доказательство: внутри щелкнул выключатель, белая нить света бесследно исчезла во мраке — нет, нет, нечего себя обманывать: это была Эрна, его дочь, которая из чужой постели возвращалась в свою.

Старик содрогнулся от ужаса и холода, он покрылся холодным потом. Разбить дверь, наброситься на нее с кулаками, на эту бесстыдницу, — было его первым побуждением. Но ноги подкашивались под отяжелевшим телом. У него еле хватило сил добраться до своей комнаты; как затравленный зверь, с затемненным сознанием, он упал на постель.

* * *

Старик лежал неподвижно в своей постели, его взор был устремлен в темноту. Рядом слышалось беззаботное дыхание его жены. Первой его мыслью было растолкать ее, рассказать ей об этом ужасном открытии, выплакать, выкричать свое

сердце. Но как вымолвить, как выразить словами этот ужас? Никогда, никогда не сорвутся они с его уст. Но что делать? Что делать?

Он попробовал собраться с мыслями. Но они, как летучие мыши, слепо метались в мозгу. Ведь это было так ужасно: Эрна, это нежное, взлелеянное дитя с ласковыми глазами... Он видел ее перед собой, склонившуюся над букварем, маленьким розовым пальчиком водящую по буквам; он вспоминал, как водил ее в голубом платье из школы прямо к продавцу сладостей — он еще чувствовал поцелуй сладких от сахара детских губ... Разве не вчера это было?.. Нет, годы прошли с тех пор... но ведь только вчера — и это было действительно только вчера — она так по-детски упрашивала его купить ей голубой с золотом свитер, так ярко пестревший в витрине. «Папочка, пожалуйста», — повторяла она, умильно сложив руки и смеясь тем радостным, самоуверенным смехом, против которого он был бессилен... А теперь, на расстоянии десяти шагов от его двери, она пробиралась к постели чужого человека, валялась в ней, обнаженная, алчущая...

«Боже мой, Боже мой... — невольно застонал старик. — Какой позор, какой позор!.. Мое дитя, мое нежное, любимое дитя с каким-то мужчиной... С кем? Кто бы это мог быть? Всего только три дня, как мы приехали в Гардоне, и раньше она не знала никого из этих вылощенных франтов — ни этого узколобого графа Убальди, ни итальянского офицера, ни этого мекленбургского барона... Только на второй день после приезда они познакомились во время танцев и уже один из них... Нет, он не мог быть первым, нет... это, наверное, началось еще раньше... еще дома... И я ничего не знал, ничего не подозревал, дурак набитый... Но что я вообще знаю о них?.. Целый день я работаю на них, сижу по четырнадцать часов в конторе, точно так же, как прежде в железнодорожных вагонах с чемоданом, набитым образцами... зарабатываю для них деньги... деньги, чтобы они были богаты... А вечером, когда я возвращаюсь, усталый, разбитый, их нет дома: они в театре, на балу, в гостях... Откуда мне знать, как они проводят целые дни? А

теперь я знаю только одно: что мое дитя по ночам отдает мужчинам свое юное, чистое тело, как уличная девка... О! какой позор!»

Старик продолжал стонать. Каждая новая мысль растревляла его рану; ему казалось, будто его окровавленный мозг лежит перед ним и в нем копошатся красные черви.

«Но почему же я все это допускал?.. Почему я лежу теперь и терзаюсь, в то время как эта распутница спокойно спит? Почему я сразу не ворвался к ней в комнату и не сказал, что знаю о ее позоре? Почему я не переломал ей все кости? Потому, что я слаб... Потому, что трус... Я всегда был слаб по отношению к ним... во всем я им уступал... Я гордился тем, что доставляю им все радости жизни, в то время как моя жизнь отравлена... Ногтями я выцарапывал для них пфенинг за пфенингом... я готов был содрать кожу со своих рук, лишь бы они были довольны... Но едва я успел создать им состояние, как они начали уже пренебрегать мною... Я был недостаточно элегантен для них... недостаточно образован... Где же мне было думать об образовании? Двенадцати лет меня взяли из школы, и я должен был зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать... скитаться с образцами из деревни в деревню, потом, представителем, из города в город, прежде чем смог открыть свое собственное дело... и едва они очутились в собственном доме, как мое старое, честное, доброе имя стало им не к лицу... Я должен был приобрести титул коммерции советника, тайного советника... для того, чтобы ее больше не называли просто фрау Соломонсон, чтобы они могли казаться аристократками... Аристократки!.. Они высмеивали меня, когда я восставал против их претензий, против их «избранного общества», когда я рассказывал им, как моя покойная мать — да будет земля ей пухом — вела свой дом, — тихо, скромно, жила только для отца и для нас... Они называли меня отсталым... «Ты старомоден, папочка», — издевалась она... Да, старомоден, да... а теперь она валяется в чужой постели с чужими мужчинами... мое дитя, мое единственное дитя... Ох, какой позор, какой позор!»

Он стонал так горестно, так мучительно, что его жена, спавшая рядом с ним, проснулась.

— Что с тобой? — спросила она сонным голосом.

Старик не шевельнулся и затаил дыхание. Так он лежал неподвижно до утра в черном гробу своей тоски, снедаемый мыслями, словно червями.

* * *

К утреннему завтраку он явился первым. Вздыхая, он уселся за стол, но всякая еда претила ему.

«Снова один, — подумал он, — всегда один!.. Когда я утром отправляюсь в контору, они безмятежно спят ленивым сном, отдыхают от театров и балов, а когда я возвращаюсь домой, они уже веселятся где-нибудь «в обществе», там я им не нужен... Ох, эти деньги, эти проклятые деньги!.. Они их испортили... они сделали нас чужими друг другу... А я, дурак, сгрэбал их — и что же?.. самого себя я ограбил, а их сделал черствыми... Пятьдесят лет я бессмысленно терзал себя, не позволял себе отдыха ни на один день... а теперь я одинок...»

Он уже начинал терять терпение. «Почему она не идет?.. Я должен поговорить с ней... Мы должны уехать отсюда... немедленно... Почему она не идет?.. Наверно, она еще не отдохнула, спит себе со спокойной совестью, в то время как у меня сердце разрывается... А мать... часами наряжается, принимает ванну, наводит лоск, тут маникюр, там парикмахер... раньше одиннадцати она не выберется... Что же удивительного?.. Что может выйти из бедной девочки? Ох, эти деньги, эти проклятые деньги!»

За его спиной послышались легкие шаги.

— Доброе утро, папочка, хорошо ли ты спал?

Кто-то нежно наклонился сбоку и легким поцелуем коснулся его горячего виска. Невольно он отдернул голову: ему был противен слащавый запах духов Коти... И потом...

— Что с тобой, папочка?.. Опять не в духе?.. Официант,

подайте кофе, и ham and eggs... * Ты плохо спал или получил дурные вести?

Старик сделал над собой усилие. Он опустил голову, не решаясь поднять глаза, и молчал. Он видел только ее руки на столе, эти милые руки, холеные, лениво играющие на белом поле скатерти, будто избалованные тонкие борзые собаки.

Он вздрогнул. Робко коснулся его взор ее нежных девичьих рук, этих детских рук, которые... давно ли это было?.. так часто обвивали его шею... Он видел округлость ее девичьей груди, колыхавшейся под новым свитером. «Нагая... валялась в постели с чужим мужчиной, — злобно думал он. — И все это он ласкал, все вкушал, всем наслаждался... и это моя плоть и кровь... мое дитя... О, негодяй!»

Он опять застонал, сам того не замечая.

— Что с тобой, папочка? — спросила она, ласково наклонившись к нему.

«Что со мной? — закипали в нем гневные слова. — У меня дочь проститутка, и у меня не хватает мужества сказать ей это».

Но он только невнятно пробормотал: «Ничего! Ничего!» — поспешно схватил газету, чтобы спрятаться за развернутым листом; выдержать ее вопрошающий взор он был не в состоянии. Руки его дрожали. «Теперь я бы должен был сказать ей, теперь, пока мы одни», — мучился он. Но язык не поворачивался; даже взглянуть на нее у него не хватало сил.

И он резко отодвинул стул, встал и тяжелыми шагами направился в сад; он почувствовал, что крупная слеза против его воли покатила по его щеке. Этого она не должна была видеть.

* * *

Старик долго шагал своими короткими ногами по саду и пристально смотрел на озеро. Его взор, затуманенный едва сдерживаемыми слезами, все же не мог не ощутить красоты ландшафта: за серебристой дымкой мягкой зеленой волной

* Ветчину и яйца (англ.).

поднимались холмы, будто заштрихованные тонкими черными линиями кипарисов, а за ними высились горы, снисходительно любясь прелестью озера, как взрослые люди, наблюдающие игры любимых детей. Так кротко расстилалась природа, открытым, гостеприимным жестом располагая к доброте и к счастью, таким блаженством сияла вечная улыбка божественного юга!

«К счастью! — старик смущенно покачал отяжелевшей головой. — Да, здесь можно быть счастливым. Один только раз я позволил себе эту роскошь, один только раз захотел испытать, как прекрасна жизнь для тех, кто не знает забот... в первый раз, после пятидесяти лет непрерывной работы, записей, вычислений, мелочного торгашества, захотел насладиться несколькими светлыми днями... один-единственный раз — перед тем как меня закопают... Бог мой... ведь смерть уже владеет моим телом, и тут уже не помогут ни деньги, ни врачи... И захотелось мне перед этим вздохнуть свободно, хоть раз в жизни подумать о себе... Но недаром, видно, покойный отец мой говорил: «Удовольствия не про нас, неси свой груз до самой могилы...» Только вчера еще я думал, что могу позволить себе эту роскошь. Вчера мне казалось, что вот и я могу испытать состояние счастливого человека... Я любовался своей славной, веселой девчуркой, радовался ее радостям... И уже Бог покарал меня, уже он отнял ее у меня... теперь она потеряна для меня навеки... я больше не смогу говорить со своей собственной дочерью... не смогу взглянуть ей в глаза — так мне стыдно за нее... Всегда и везде будет меня преследовать эта мысль — и дома, и в конторе, и ночью в постели: где она сейчас, где она была, что она делала? Никогда уже я не приду домой спокойно... И вот она бежит мне навстречу, и сердце радуется, когда я вижу ее такой юной, такой прекрасной... И когда она поцелует меня, я буду спрашивать себя, кому принадлежали эти губы вчера... буду в вечной тревоге, когда ее нет, и буду стыдиться взглянуть ей в глаза, когда она со мной... Нет, так жить нельзя... так жить нельзя...»

Старик ходил взад и вперед, бормоча и шатаясь, как пья-

ный. Взор его снова и снова возвращался к озеру, слезы непрерывно текли по щекам. Он должен был снять пенсне, и, стоя на узкой тропинке, с влажными, близорукими глазами, он имел такой нелепый вид, что проходивший мимо мальчишка-садовник в изумлении остановился, громко прыснул и наградил смущенного старика ироническим возгласом. Это вывело его из скорбного оцепенения, он надел пенсне и направился в глубь сада, чтобы где-нибудь на уединенной скамье укрыться от человеческих взоров.

Но не успел он выбрать подходящее место, как его испугал донесшийся откуда-то слева смех... знакомый смех, который теперь разрывал ему сердце. Музыкой звучал он для него в течение девятнадцати лет, этот легкий, шаловливый смех... ради него он провел столько ночей в вагонах третьего класса — вплоть до Познани и Венгрии — только для того, чтобы привезти ей горсточку желтой почвы, на которой произрастала эта беззаботная веселость... Только ради этого смеха он жил, ради него нажил неизлечимую болезнь... лишь бы он постоянно звенел из любимых уст. А теперь он вонзился в его тело, как раскаленная пила, этот проклятый смех. И все же он невольно привлекал его. Стоя на теннисной площадке, она вертела ракетку в обнаженной руке, свободным движением подбрасывала и ловила ее. И вместе с поднятой в воздух ракеткой возносился к лазурному небу ее надменный смех. Трое мужчин восторженно смотрели на нее — граф Убальди, в свободной теннисной рубашке, офицер, в плотно облегающей его форменной тужурке, и мекленбургский барон, в безукоризненных рейтузах — три резко очерченных мужских фигуры, будто статуи вокруг порхающего мотылька. Старик сам не мог оторвать глаз от этого зрелища. Боже, как она была хороша в своем светлом, коротком платье, как сияло солнце в ее золотистых волосах! И с каким блаженством испытывало в игре и беге свою легкость это юное тело, опьяненное и пьянящее послушным ритмом своих движений! Вот она победоносно подбрасывает в воздух белый мяч, следом за ним второй и третий. С какой легкостью носился, изгибаясь в беге, ее строй-

ный девичий стан! Вот он выпрямился, чтобы поймать последний мяч. Такой он никогда ее не видел: вспыхивая задорными огнями, она вся была будто парящее в воздухе белое пламя, окутанное серебристым облаком смеха, — девственная Богиня, возникшая из плюща южного сада, из мягкой лазури зеркального озера. Ни разу не видел он это узкое, стройное тело в таком ритмическом кружении, в такой бешеной пляске, в таком возбуждении игры. Никогда, нет, никогда, ни дома, ни на улице, не звучал ее голос так свободно, будто отрешенный от косности человеческой гортани — так поет жаворонок свою веселую песню... Нет, нет, никогда не бывала она так хороша! Старик не сводил с нее пристального взгляда. Он забыл обо всем и только глядел на это белое, парящее в воздухе пламя. Он бы мог бесконечно стоять так, страстным взором поглощая ее облик, — но вот, вспорхнув легким прыжком, она поймала последний из подброшенных в воздух мячей и, разгоряченная, тяжело дыша и гордо улыбаясь, прижала его к груди.

— Bravo, bravo! — захлопали возбужденно следившие за ее игрой мужчины, будто прослушав оперную арию. Эти гортанные голоса вывели старика из оцепенения. С озлоблением он посмотрел на них.

«Вот они, негодяи! — стучало его сердце. — Вот они... Но кто же из них? Кто из этих трех франтов обладал ею?.. Как они разодеты, надушены, выбриты, эти бездельники... Мы в их возрасте сидели с заплатанными штанами в конторе, сбивали каблуки о пороги клиентов... Их отцы, может быть, еще и сейчас мучаются, кровью и потом добывая для них деньги... а они бездельничают, шляются по белу свету со своими загорелыми беззаботными лицами и наглыми глазами... Отчего бы им не веселиться!.. Стоит такому молодцу бросить несколько слащавых слов — и самолюбивая девчонка у него в постели... Но кто же из них, кто? Ведь вот и сейчас один из них мысленно раздевает ее и прищелкивает языком: «Я ею обладал...» Он знает ее нагую, разгоряченную и думает: «Сегодня ночью опять», и делает ей знаки глазами... О, собака!.. Убить мало этого пса!»

На площадке его заметили. Дочка улыбается, машет ракеткой, мужчины раскланиваются. Он не отвечает, он только пристально смотрит влажными, налитыми кровью глазами на ее надменную улыбку: «И ты еще смеешь улыбаться, бесстыдница!.. Но он, может быть, тоже посмеивается и думает про себя: «Вот он стоит, старый, глупый еврей... Всю ночь напролет он храпит в своей постели... Если бы он только знал, этот старый дурак!..» Да, да, я знаю, вы смеетесь, вы брезгливо обходите меня, как грязный плевок... но дочка — бойкая девочка и готова к услугам... а мать, правда, немного толста и подкрашена, но, если ее уговорить, может быть, и она не откажется... Вы правы, собаки, вы правы: ведь эти потаскухи сами бегают за вами... Какое вам дело до того, что у другого сердце обливается кровью... если можно доставить удовольствие себе и этим потерявшим честь женщинам!.. Застрелить вас мало, избить плетью!.. Но вы правы, раз никто этого не делает... вы правы, если трусы проглатывают свой гнев, как собака свою блевотину... если мы не хватаем бесстыдницу за рукав, не вырываем ее из ваших лап... Стоишь вот так и давишься своей желчью... трус!.. трус!.. трус!»

Старик схватился за ограду, он дрожал от бессильной злобы. И вдруг он плюнул и, шатаясь, вышел из сада.

* * *

Старик бродил по улицам маленького города. Вдруг он остановился перед одной из витрин. Всевозможные вещи — все, что только может понадобиться туристу — были разложены в витрине: сорочки, сетки, блузы, удочки, галстуки, книги, печенье, все выстраивалось в искусные пирамиды и пестрые башни. Но его взор был устремлен на одну только вещь, брошенную между элегантными безделушками, — на палку с толстой головкой и железным концом, по-видимому, увесистую и пригодную, чтобы прошибить любую голову.

«Убить... убить собаку!» Эта мысль овладела им, как сладострастный дурман. Его потянуло в лавку, где за ничтожную цену он приобрел эту сучковатую дубину. И, сжимая в руке

смертоносное орудие, он почувствовал себя сильнее: ведь оружие всегда придает слабому известную уверенность. Он ощущал, как напрягаются его мускулы.

«Убить... убить собаку!» — бормотал он про себя, и невольно его тяжелый спотыкающийся шаг становился тверже, ровнее, быстрее; он шел, нет — он бежал по набережной взад и вперед, вспотевший — больше от прорвавшейся, наконец, страсти, чем от ускоренной ходьбы. И судорожно сжимала рука толстую головку палки.

Вооруженный, он вошел в голубоватую тень прохладной террасы, раздраженным взглядом отыскивая невидимого противника. И действительно, они сидели все вместе на легких соломенных креслах, потягивая через тонкие соломинки виски и содовую воду, и весело болтали в приятном бездельи: его жена, его дочь и неизбежная троица.

«Которой же из них? — тупо думал он, крепко сжимая в руке свою палку. — Кому из них прошибить голову... кому?... кому?..»

Но вот вскочила Эрна, неверно поняв его ищущий взор, и побежала ему навстречу.

— Вот и ты, папочка! Мы искали тебя всюду. Представь себе, господин фон Медвиц берет нас с собой прокатиться в автомобиле, мы поедem до Дезерцано вокруг всего озера.

Она подталкивала его ближе к столу, как будто побуждая его поблагодарить за приглашение.

Мужчины вежливо поднялись со своих мест, чтобы поздороваться с ним. Старик задрожал. Но его рука ощутила мягкую, пьянящую тяжесть; близость дочери укрощала его гнев. Безвольно он пожал одну за другой протянутые ему руки, молча сел, достал сигару и стиснул зубами мягкую табачную массу. Вокруг него порхала легкая беседа на французском языке, сопровождаемая многоголосым веселым смехом.

Старик сидел угнетенный и молча грыз свою сигару; коричневая влага окрасила его зубы.

«Они правы... тысячу раз правы... — думал он. — Он должен плюнуть мне в лицо... а яжимаю ему руку... всем

троим... а я ведь знаю, что один из них и есть тот негодяй... и я спокойно сижу с ним за одним столом... Я его не убил, даже не ударил... нет, я вежливо подал ему руку... Они правы, совершенно правы, когда смеются надо мной... И как они разговаривают в моем присутствии, будто я вообще не существую!.. Будто я уже лежу в могиле!.. И ведь обе они — и Эрна, и ее мать — прекрасно знают, что я не понимаю ни слова по-французски... обе это знают... обе, и ни одна из них не обратится ко мне, хотя бы только для виду, чтобы мне не казаться таким смешным, таким ужасно смешным... Они меня не замечают... совершенно не замечают... Я для них неприятный придаток, что-то лишнее, какая-то помеха... они стыдятся меня и терпят только потому, что я являюсь для них источником средств... О, эти деньги, эти грязные, отвратительные деньги, которыми я их испортил... эти деньги, над которыми тяготеет проклятие Божье!.. Ни одного слова они со мной не говорят, все их взоры обращены на этих зевак, на этих выложенных франтов... Как похотливо они улыбаются им, как будто они касаются рукой их тела!.. И я... все это я терплю... сижу, слушаю, как они смеются, ничего не понимаю, и все-таки сижу, вместо того чтобы стукнуть кулаком... поколотить их этой палкой, разогнать их, прежде чем они начнут спариваться на моих глазах... все это я позволяю, сижу безропотно, глупо... трус... трус... трус!»

— Разрешите, — сказал на ломаном немецком языке итальянский офицер и потянулся за спичками...

Старик, оторванный от своих злобных размышлений, вздрогнул и бросил яростный взгляд на ничего не подозревавшего офицера. Гнев пожирал его. Судорожно сжал он в кулаке палку. Но затем губы его скривились и расплылись в бессмысленном смехе:

— О, я разрешаю, — повторял он резким, срывающимся голосом. — Конечно, я разрешаю, хе-хе... все разрешаю... все, что только хотите... хе-хе... все... все, что у меня есть, к вашим услугам... со мной можно себе все позволить...

Офицер удивленно посмотрел на него. Плохо зная язык, он

не совсем понял. Но эта кривая, бессмысленная улыбка беспокоила его. Немец невольно вскочил, обе женщины побледнели, как полотно — все затихло, будто в короткий промежуток между молнией и раскатом грома. Но быстро исчезло с его лица выражение гнева, палка выскользнула из судорожно сжатого кулака. Старик съезжился, как побитая собака, и смущенно кашлянул, испуганный собственной смелостью.

Эрна поспешно возобновила прерванную беседу, чтобы разрядить тягостную атмосферу, немецкий барон отвечал с нарочитой веселостью, и спустя несколько минут вновь беззаботно журчал на мгновение остановившийся поток слов. Старик сидел среди этого веселого общества, глубоко погруженный в свои мысли, — можно было подумать, что он спит. Увесистая палка, выскользнувшая из его рук, бесцельно болталась между ног. Все ниже опускалась его склоненная на руку голова. Но теперь уже никто не обращал на него внимания: над его молчанием звонко катилась волна беседы, время от времени подымая сверкающую пену смеха; а он безмолвно покоился на дне, в бесконечном мраке, залитый горем и стыдом.

* * *

Мужчины встали; Эрна поспешно последовала их примеру; несколько медленнее поднялась мать. Они направлялись в залу и не сочли нужным обратиться с особым приглашением к погруженному в полусон старику. Смущенный внезапно образовавшейся вокруг него пустотой, он пробудился, как пробуждается от чувства холода спящий, когда ночью соскользнет одеяло и холодный воздух коснется обнаженного тела. Невольно остановился его взор на опустевших креслах; но вот раздался в зале резкий звук фортепьяно — застучал шумный джаз, сопровождаемый смехом и возбужденными возгласами. Да, танцевать, без усталости танцевать — это они умеют. Снова и снова волновать свою кровь, сладострастно тереться друг о друга, а затем — дело в шляпе! Танцуют, бездельники, вечером, ночью и среди бела дня — так они увлекают женщин.

Злобно он опять схватил свою палку и поплелся за ними. У

дверей он остановился. Барон сидел у рояля вполоборота, чтобы видеть танцующих, брэнча наизусть и наугад американскую уличную песенку. Эрн танцевала с офицером, а длинноногий граф Убальди топтался на месте, не без труда поддерживая свою полную даму. Но старик устремил свой взор только на Эрну и ее партнера. Как легко и ласково этот борзой кобель положил свои лапы на ее нежные плечи, — как будто это существо принадлежало ему! Как многообещающе приближалось к нему ее тело! Будто срастались у него на глазах эти едва сдерживающие страсть, качающиеся тела. Да, это был он: каждое их движение выдавало пылавшую в них близость, уже совершившееся слияние. Да, это был он — он, и никто другой: он читал это в ее полузакрытых глазах, в которых сияло, вспыхивая в вихре танца, воспоминание о пережитом наслаждении. Да, вот он — вор, который ночью пламенно касался всего, что сейчас мерцает сквозь полупрозрачное, развевающееся платье! Вот вор, похитивший у него дитя... его дитя. Он невольно приблизился, чтобы вырвать ее из его рук. Но она не заметила его. Каждым движением отдавалась она ритму, следуя еле заметному движению овладевшей ею руки; с запрокинутой назад головой, с влажным, полуоткрытым ртом — олицетворенное самозабвение и опьянение — уносила она легко и плавно в мягком потоке музыки, не ощущая ни пространства, ни времени, ни людей, ни дрожащего, тяжело дышащего старика, в фанатическом экстазе гнева устремившего на нее воспаленный, налитый кровью взор. Она ощущала только себя, свое собственное юное тело, без сопротивления отдававшееся бешеному кружению танца. Она ощущала только себя и еще — близость направленного на нее мужского желания; ощущала, что сильная рука обвивает ее стан и что ей надо быть настороже, чтобы не слиться с ним во встречном желании, горящем на ее устах, чтобы не отдаться этому непобедимому влечению.

И все это магически познал старик в волнении собственной крови. Всякий раз как она удалялась от него в танце, ему казалось, что она падает в бездонную пропасть. Как лопнув-

шая струна, внезапно оборвалась музыка посреди такта. Барон поднялся:

— *Assey joue pour vous*, — рассмеялся он. — *Maintenant je veux danser moi-meme**.

С ним весело согласились; кружащиеся пары рассеялись, образовав более обширную порхающую группу.

Старик пришел в себя: надо что-то сказать, что-то предпринять. Только не стоять таким чурбаном, таким невыносимо лишним. Его жена проплывала мимо него, запыхавшись от напряжения, разгоряченная испытанным удовольствием. Гнев внушил ему внезапное решение. Он преградил ей дорогу.

— Пойдем, — вымолвил он нетерпеливо, — мне надо поговорить с тобой.

Она удивленно взглянула на него: капли пота выступили на его бледном лбу, его глаза блуждали. Что ему нужно? Зачем ему понадобилось побеспокоить ее именно в эту минуту? Уже готова была сорваться с ее уст отговорка, но в его поведении было что-то тревожное, зловещее, и она, вспомнив недавнюю вспышку гнева, неохотно пошла за ним.

— *Excusez, messieurs, un instant***, — обратилась она с извинением к мужчинам.

«У них она просит прощения, — подумал со злобой взволнованный старик, — передо мной они не извинились, встав из-за стола. Я для них собака, половая тряпка, на которую можно наступить. Но они правы, правы, раз я это терплю!»

Она ждала, строго подняв брови; как ученик перед учителем, стоял он перед ней, с дрожащими губами.

— В чем дело? — спросила она, побуждая его к объяснениям.

— Я не хочу... я не хочу... — забормотал он, — я не хочу, чтобы вы... чтобы вы... встречались с этими людьми...

— С какими это людьми? — переспросила она, намеренно

* Довольно я для вас играл, теперь хочу и потанцевать (*франц.*).

** Простите, господа, одну минуту! (*франц.*)

не понимая и окидывая его рассерженным взглядом, как будто он нанес ей личное оскорбление.

— С этими там, — злобно кивнул он головой по направлению к соседней комнате, — это мне не нравится... я этого не хочу...

— Почему это?

«Вечно этот инквизиторский тон, — думал он озлобленно, — как будто я ее слуга». И в волнении он продолжал:

— У меня есть свои основания... совершенно определенные основания... Мне не нравится... Я не хочу, чтобы Эрна разговаривала с этими людьми... Я не обязан все объяснять.

— В таком случае, я очень сожалею, — ответила она высокомерно. — Я нахожу, что они чрезвычайно воспитанные люди и представляют собой значительно лучшее общество, чем то, которое мы имеем дома.

— Лучшее общество!.. Эти бездельники... эти... эти...

Гнев душил его. И вдруг он топнул ногой.

— Я этого не хочу... Я запрещаю... Ты поняла?

— Нет, — ответила она хладнокровно. — Я ничего не понимаю. Не понимаю, зачем надо испортить удовольствие девочке...

— Удовольствие!.. Удовольствие! — Он пошатнулся, как от удара, густая краска залила его лицо, холодный пот выступил на лбу, рука потянулась за палкой, чтобы опереться на нее или ударить жену. Но он ее забыл. Это вернуло ему равновесие. Он пересилил себя — теплая волна подступила к сердцу. Он приблизился к жене, как будто хотел взять ее за руку. Его голос стал мягким, почти умоляющим:

— Послушай... ты меня не понимаешь... я ведь ничего не прошу для себя... я вас прошу только... это моя первая просьба за долгие годы: уедем отсюда... уедем... во Флоренцию, в Рим, куда хотите, мне все равно... решайте сами, куда... куда вам угодно... только уедем отсюда... я прошу тебя... уедем... уедем... сегодня же... я дольше не могу этого вынести... не могу.

— Сегодня? — Она нахмурила лоб. Ее лицо выражало изумление и иронию. — Уехать сегодня? Что за странная

мысль?.. И только потому, что эти люди тебе не симпатичны! В конце концов, ты можешь не встречаться с ними.

Он все еще продолжал стоять в той же умоляющей позе:

— Я говорю тебе, что я не вынесу этого... не вынесу... не могу. Не спрашивай меня... прошу тебя... но поверь... я не вынесу этого... хоть раз в жизни сделайте что-нибудь для меня, один-единственный раз!..

В соседней комнате опять забарабанили на рояле. Она взглянула на него, как будто тронутая его отчаянием; но он был смешон, этот маленький, толстый человечек, с лицом багровым, будто перед апоплексическим ударом, с опухшими глазами, с дрожащими, протянутыми вперед руками в слишком коротких рукавах. Мучительно было видеть его таким жалким. Но пробудившееся теплое чувство застыло на ее устах:

— Это невозможно, — решила она, — сегодня мы обещали поехать с ними кататься... и уехать завтра, сняв комнаты на три недели... над нами будут смеяться... Я не вижу ни малейшего повода для отъезда... Я остаюсь, и Эрна тоже...

— А я могу уехать, не правда ли?.. Я здесь только мешаю... мешаю вам... веселиться?

Этим глухим выкриком он прервал ее возражения. Его сгорбленное, грузное тело выпрямилось, руки сжались в кулаки, на лбу зловеще налилась жила. Казалось, сейчас что-то вырвется у него — не то слово, не то удар. Но вдруг он повернулся, быстрыми, неуклюжими шагами засеменял по направлению к лестнице и так же поспешно, все ускоряя шаг, как будто спасаясь от погони, поднялся по ступенькам.

* * *

Старик задыхался, подымаясь: только бы добраться до своей комнаты, быть одному, успокоить свои нервы, перестать безумствовать! Вот он достиг уже верхнего этажа, и вдруг — будто острые когти впились в его внутренности; он побледнел, как полотно, пошатнулся и прислонился к стене.

О, эта бешеная, жгучая, неутишимая боль! Он стиснул

зубы, чтобы не закричать. В муках корчилось застигнутое врасплох тело.

Он сразу понял, что произошло: это был печеночный приступ, один из тех ужасных приступов, которые нередко мучили его в последнее время; но никогда он не испытывал таких дьявольских страданий, как в этот раз. «Избегать волнений», — вспомнил он в ту же минуту предписание врача. И, корчась от боли, он злобно посмеивался над собой: «Легко сказать, избегать волнений... пусть господин профессор сам покажет, как это не волноваться когда... ох... ох...»

Старик завыл — так жгуче вонзились невидимые когти в истерзанное тело. С трудом он дотащился до двери своей комнаты, открыл ее и упал на оттоманку, впившись зубами в подушку. Боль несколько успокоилась, как только он лег; раскаленное острие уже не так глубоко проникало в израненные внутренности.

«Надо бы компресс положить, — вспомнил он, — принять капли — сразу станет легче». Но никого не было, кто бы ему помог, никого. А у самого не хватало сил добраться до другой комнаты или хотя бы только до звонка. «Никого нет, — подумал он озлобленно, — вот так и подохну когда-нибудь, как собака... Я ведь знаю, это не желчь причиняет мне такую боль... это смерть уже внедрилась в меня... Я знаю, я уже пропащий человек, никакие профессора, никакие лекарства мне не помогут... В шестьдесят пять лет не выздоравливают... я знаю, что смерть впилась в мое тело, и эти два-три года, которые мне осталось прожить, это уже не жизнь, а умирание, одно умирание... Но когда... когда же я жил?.. Когда я жил для самого себя?.. разве это была жизнь? Вечная погоня за деньгами, и только за деньгами... только для других... и теперь, что я имею за это? У меня была жена: я взял ее девушкой, оплодотворил ее тело, она мне принесла ребенка; из года в год мы спали в одной постели, дышали одним дыханием... а теперь, что стало с ней? Я не узнаю ее лица; чужд мне ее голос... как чужая, она говорит со мною, ей нет дела до моей жизни, до моих переживаний, моих дум, страданий... Чужая она мне уже

годы и годы... Куда исчезло то время, куда оно ушло? И был у нас ребенок... вырос... я думал, тут начнется новая жизнь, дни потекут, светлые, счастливые, и не будет смерти: в ней я буду жить... И вот, дочь покидает меня и по ночам отдается мужчинам... Только умирать я буду для себя самого... только для себя... для других я уже умер... Боже, Боже, никогда еще я не был так одинок!»

Острые когти время от времени еще впивались в его тело. Но другая боль все крепче сдавливала виски; мысли, эти твердые, немилосердно острые, раскаленные камешки, обжигали лоб. Только бы забыться теперь, ни о чем не думать! Старик расстегнул жилет; неуклюже, бесформенно выпячивался и дрожал живот под вздувшейся сорочкой. Осторожно он надавил на больное место. «Вот это я, — подумал он, — я — эта боль, этот кусок горячей кожи... и только это еще принадлежит мне; это моя болезнь, моя смерть... Вот чем я стал... я уже не коммерции советник, у меня нет ни жены, ни дочери, ни денег, ни дома, ни дела... мне осталось только то, что я сейчас ощупываю пальцами, — мое тело и эта жгучая боль... все остальное — вздор, не имеет больше никакого значения... а эта боль — только моя боль, и эта забота — только моя забота... Они уже не понимают меня, и я не понимаю их... Никогда я так не ощущал своего одиночества. Но теперь, когда смерть уже гнездится в моем теле, теперь, я чувствую... слишком поздно, на шестьдесят пятом году, когда я тут подыхаю, а они танцуют, гуляют, шляются, эти потерявшие честь женщины... теперь я сознаю, что всю свою жизнь я отдал им, неблагодарным, и ни одного часа не жил для себя... Но какое мне дело, какое мне дело до них?.. Зачем думать о тех, кто не думает обо мне? Лучше околеть, чем принять их сострадание... какое мне дело до них?»

Постепенно, шаг за шагом, оставляла его боль: уже не так цепко, не так жгуче сжимала его эта злобная рука в своих тисках. Но оставалось в нем что-то тупое, — уже не боль; что-то чуждое нарастало и наступало, вонзая в него свой шип. Старик лежал с закрытыми глазами и напряженно прислуши-

вался к тому, что тихо заныло и назревало в нем: ему казалось, что чуждая, неведомая сила сперва острым, а теперь тупым орудием что-то выгребала из него, нить за нитью обрывала что-то в его теле. Не было уже боли. Не было тисков. Но что-то гниющее тихо набухало внутри, что-то отмирало в нем. Все, чем он жил, все, что он любил, пожиралось этим медленным огнем, обугливалось, тлело и угасало, погружаясь в вязкую тину равнодушия. Что-то свершалось, смутно он ощущал: что-то свершалось, в то время как он лежал и взволнованно думал о своей жизни. Что-то кончалось. Что это было? Он сосредоточенно прислушивался.

Так начинался закат его сердца.

* * *

Уже смеркалось. Старик лежал с закрытыми глазами, не то бодрствуя, не то в полусне. И в этом смутном состоянии, между бодрствованием и дремотой, ему казалось, будто откуда-то, из какой-то безболезненной раны, просачивается что-то влажное, горячее в его кровь, и у него было ощущение, будто он сам истекает кровью. Оно не причиняло боли, это невидимое струение, оно было совершенно спокойно. Тихо, как слезы, частые и теплые, падали эти капли, и каждая из них попадала прямо в сердце. Но сердце, погруженное во мрак, не издавало ни звука; покорно оно впитывало эту чуждую влагу, оно всасывало ее, как губка, тяжелело, напухало и набухало в тесной грудной клетке... Постепенно наполнившись и переполнившись этой тяжестью, оно раздвигает связки, обрывает напряженные мускулы. Все нестерпимее давило и теснило истерзанное сердце, выросшее до гигантских размеров. И вот (какое ужасное страдание!) эта тяжесть отделяется и начинает медленно опускаться. Плавно, бесшумно, отделилась она от мускулов — совсем спокойно — не камень, не падающий плод: нет, скорее, губка, впитавшая влагу, — так опускалась она — глубже, все глубже уходя в пустоту, в небытие, куда-то за пределы его существования, в черную безбрежную ночь. И вдруг воцарилась зловещая тишина, воцарилась там, где только что

набухало теплое сердце: там зияла пустота, там царил ужас и холод. Оно уже не билось, не сочилось: все утихло, угасло. И будто черный гроб, мрачно высилась содрогающаяся грудь над этой непостижимой немотой.

Так ярко было это пережитое во сне чувство, так глубоко было смятение, что старик, пробудившись, невольно провел рукой по левой стороне груди, чтобы удостовериться, на месте ли у него сердце. Но — слава Богу — что-то билось, глухо, ритмично под его пальцами, — и все же казалось, что эти глухие удары раздаются в пустом пространстве, а сердца нет. И странно: ему вдруг показалось, что его собственное тело отделилось от него. Не тревожила его боль, и воспоминания уже не дергали истерзанных нервов; все безмолвствовало, все оцепенело, окаменело в нем. «Что же это, — подумал он, — ведь вот сейчас что-то невыносимо терзало меня, душа была полна тревоги, каждый нерв трепетал. Что же случилось со мною?» Он вслушивался в эту пустоту: не шевельнется ли там бывшее? Но не было уже журчания и струения, ничего не билось, не сочилось у него в груди. Он слушал, слушал: нет, угасли, замерли все звуки. Ничто уже не назревало, не заныло в нем, ничто не болело: было мрачно и пусто, как в дупле сгоревшего дерева. Ему вдруг почудилось, будто он уже умер, или что-то умерло в нем — так зловеще спокойно останавливалась кровь. Холодным, как труп, ощущал он свое собственное тело, и ему было страшно прикоснуться к нему теплой рукой.

* * *

Старик вслушивался в себя; он не слышал, как с озера проникали в комнату, окутанную сумерками, удары часов. Вокруг него выростала ночь, мрак постепенно вычеркивал предметы из уплывающего пространства; погасла, наконец, и полоса неба, еще светившаяся в прямоугольнике окна. Наступила полная темнота. Старик не замечал ее: он вглядывался только во мрак своей души, вслушивался только во внутреннюю пустоту, в собственное угасание.

Вдруг в смежную комнату ворвался задорный смех, засверкал свет, бросая луч сквозь щель слегка приоткрытой двери. Старик испугался: жена, дочь! Сейчас они заметят его на диване, начнут расспрашивать. Поспешно он застегнул жилет: зачем им знать о его припадке, какое им дело до него?

Но женщины не стали его искать. Они, очевидно, торопились: громоподобный гонг в третий раз повторял приглашение к обеду. Они, по-видимому, переодевались: через открытую дверь до него доносился каждый звук. Вот они открыли чемоданы, вот положили звенящие кольца на умывальник, вот застучали брошенные на пол ботинки, и с этими звуками смешивались их голоса: каждое слово, каждый слог, с убийственной отчетливостью, доносился до слуха насторожившегося старика. Они говорили о своих кавалерах, посмеиваясь над ними, о маленьком происшествии во время прогулки, легко и беззаботно болтали обо всем, в то же время умываясь, причесываясь, прихорашиваясь. Вдруг разговор перешел на него.

— Где же папа? — спросила Эрна, как будто удивляясь, что так поздно вспомнила о нем.

— Откуда мне знать? — это был голос матери, раздраженный уже одним этим упоминанием. — Вероятно, он ждет внизу и в сотый раз перечитывает курс во «Франкфуртской газете» — он больше ничем не интересуется. Ты думаешь, он хоть раз взглянул на озеро? Он сказал мне сегодня, что ему здесь не нравится. Он хочет, чтобы мы сегодня же уехали.

— Сегодня?.. Но почему же? — прозвучал голос Эрны.

— Не знаю. Кто его разберет? Здешнее общество его не устраивает, эти господа ему не к лицу — вероятно, он сам чувствует, как мало он подходит. Прямо позор, как он одевается — всегда в измятом костюме, с расстегнутым воротником... Ты бы сказала ему, чтобы он хоть вечером оделся поприличнее — он тебя слушается. А сегодня утром... как он накинулся на *tenente* * по поводу спичек...

— В самом деле... что это было?.. Я еще раньше хотела тебя

* *Tenente* — поручик (франц.).

спросить... что это было с папой?.. Таким я его никогда не видела... Я не на шутку беспокоюсь.

— Пустяки, вероятно, он был в дурном настроении... наверное, курс упал... или оттого, что мы говорили по-французски... он не выносит, когда другие веселятся... Ты не заметила: когда мы танцевали, он стоял у двери, как убийца за деревом... Уехать! Сию минуту уехать! — и только потому, что ему так хочется!.. Если ему здесь не по себе, пусть он нам не мешает веселиться... Но я не обращаю внимания на его капризы, пусть говорит и делает, что ему угодно.

Разговор прервался. По-видимому, болтая, они закончили свой вечерний туалет; совершенно верно: дверь открылась, они выходили из комнаты; щелкнул выключатель, свет погас.

Старик неподвижно сидел на оттоманке. Он слышал каждое слово. Но удивительно: ничто не причиняло ему боли, ни малейшей боли. Неугомонный часовой механизм, который еще недавно так невыносимо стучал в груди, теперь стоял неподвижно; должно быть, он сломался. Ничто не изменилось от этого резкого прикосновения. Не было ни гнева, ни ненависти... ничего... ничего... спокойно он привел в порядок свой костюм, осторожно спустился с лестницы и сел за их стол, как будто чужой.

* * *

Он не разговаривал с ними в этот вечер, но они опять не обратили внимания на это стиснутое, словно кулак, молчание. Не прощаясь, он поднялся в свою комнату, лег и потушил свет. Гораздо позже пришла его жена, после приятно проведенного вечера; предполагая, что он заснул, она разделась в темноте. Скоро он услышал ее тяжелое, беззаботное дыхание.

Старик, предоставленный самому себе, устремил свой взор в зияющую пустоту ночи. Рядом с ним что-то лежало и глубоко дышало в темноте. Ему пришлось заставить себя, чтобы вспомнить, что это тело, которое дышит тем же воздухом, что и он, некогда молодое и страстное, дало ему ребенка и было связано с ним глубочайшим таинством крови; он заставлял

себя припомнить, что это теплое и мягкое тело, лежащее рядом с ним, тело, которого он мог коснуться рукой, когда-то давало жизнь его жизни. Но странно: это воспоминание не возбуждало в нем никакого чувства, и он воспринимал это дыхание точно так же, как доносящийся в открытое окно плеск волн, омывающих береговую гальку. Все это в прошлом и теперь уже не имело для него значения; теперь это было только случайное и чуждое соседство: кончено, все кончено навеки.

Еще раз он содрогнулся: тихо, как бы крадучись, скрипнула дверь в комнате его дочери. «Итак, сегодня опять», — почувствовал он легкий укол в омертвевшем, казалось, уже сердце. Еще на минуту защемило что-то, словно умирающий нерв. Но и это прошло: «Пусть делает что хочет! Что мне до нее!»

И старик откинул голову на подушку. Мягче касался мрак горящих висков, благотворная прохлада проникала в кровь. И легкий сон затуманил усталые мысли.

* * *

Просыпаясь на следующее утро, жена увидела его в пальто и в шляпе.

— Куда ты? — спросила она сквозь сон.

Старик не обернулся; равнодушно он запихивал пижаму в саквояж.

— Ты ведь знаешь, я возвращаюсь домой. Я беру с собой только самое необходимое, остальное вы можете мне прислать.

Жена испугалась. Что это? Таким она никогда не слышала его голос: холодные, жесткие срывались слова с его уст. Она вскочила с постели.

— Неужели ты собираешься уезжать?.. Подожди... мы тоже поедем, я уже сказала Эрне...

Но он отрицательно покачал головой.

— Нет... нет... не беспокойтесь.

И, не оглядываясь, он направился к двери. Ему пришлось поставить чемодан на пол, чтобы нажать ручку двери. И в этот краткий миг он вспомнил, тысячу раз он ставил чемодан с

образцами перед чужой дверью, прежде чем уйти, почтительно откланиваясь и предлагая свои услуги для дальнейших поручений. Но тут ему больше нечего делать, поэтому он не счел нужным поклониться. Не оглядываясь, молча, он поднял саквояж и, звякнув ручкой, захлопнул дверь, навеки отделившую его от прошлого.

* * *

Они не поняли, мать и дочь, что произошло. Но этот резкий и решительный отъезд обеспокоил их. Тотчас же они послали ему вслед, на родину, письма с подробными объяснениями по поводу происшедшего недоразумения, — почти нежные, заботливые письма; они спрашивали, как он путешествовал, как доехал, и даже изъявляли готовность немедленно прервать свое пребывание за границей. Он не ответил. Они писали вновь, телеграфировали: ответа не было. Только из конторы была получена сумма, упомянутая в одном из писем, — почтовый перевод со штампом фирмы, без письма, без привета.

Это необъяснимое, тягостное положение побудило их ускорить отъезд. Хотя они известили о дне своего возвращения, никто не встретил их на вокзале. Дома тоже ничего не было приготовлено: прислуга уверяла, что старик рассеянно бросил телеграмму на стол и ушел, не сделав никаких распоряжений. Вечером они уже сидели за обеденным столом, когда заскрипела внизу входная дверь. Они поднялись ему навстречу. Он взглянул на них с изумлением, — по-видимому, он действительно забыл о телеграмме, — но это было единственное чувство, отразившееся в его взоре.

Равнодушно он дал дочери обнять себя, прошел с ними в столовую и с тем же безразличием слушал их рассказы. Он не задавал никаких вопросов, молча сосал свою сигару, односложно отвечал на одни вопросы и не слышал других. Казалось, он спал с открытыми глазами. Потом он тяжело поднялся и ушел в свою комнату.

Так продолжалось и в последующие дни. Тщетно жена стремилась объясниться с ним: чем настойчивее добивалась

она объяснения, тем решительнее он уклонялся от него. Что-то в нем замкнулось, стало недоступным, путь к примирению с ним был отрезан. Он еще садился с ними за стол, приходил, когда бывали гости, и некоторое время сидел, молча, погруженный в свои мысли. Но ничто его не интересовало, и те из гостей, которые случайно во время разговора встречали его взор, неизменно испытывали тягостное чувство: это был мертвый, не видящий взор, пустой и безразличный.

Странности старика вскоре стали обращать на себя всеобщее внимание. Знакомые, встречая его на улице, незаметно перемигивались между собой. И вот, этот человек, один из самых богатых в городе, крался, как нищий, вдоль стены, в измятой шляпе набекрень, в сюртуке, обсыпанном пеплом, как-то странно шатаясь при каждом шаге и чаще всего что-то бормоча себе под нос. Если с ним раскланивались, он пугался; если с ним заговаривали, он устремлял на говорящего пустой взор и забывал подать ему руку. Сначала многие думали, что старик оглох, и громче повторяли свои слова. Но это была не глухота: ему нужно было время, чтобы разбудить себя от внутреннего сна, и среди разговора он вновь впадал в странное забвение. Глаза потухали, он поспешно обрывал разговор и спешил дальше, не замечая удивления собеседника. Всякий раз казалось, что его пробудили от смутного сна, оторвали от какого-то затуманенного самоуглубления: видно было, что люди для него уже не существовали. Никто его не интересовал, в собственном доме он не замечал глухого отчаяния жены, растерянного недоумения дочери. Он не читал газет, не прислушивался к разговору; ни единое слово, ни один вопрос не мог преодолеть его мрачного, непроницаемого равнодушия. Даже его дело, которое в течение многих лет заменяло ему целый мир, — и оно стало ему чуждо. Изредка он еще заглядывал в контору и усаживался в кабинете подписывать письма. Но, когда секретарь приходил за бумагами, он заставлял старика все в том же положении, — с пустым взором, погруженным в непрочитанные письма. Наконец, он сам заметил свою ненужность и перестал приходить.

Но вот что было самым странным и удивительным для всего города: старик, никогда не принадлежавший к числу верующих членов общины, стал религиозным. Равнодушный ко всему, никогда не отличавшийся пунктуальностью ни в домашних трапезах, ни в деловых свиданиях, он не забывал в надлежащий час прийти в синагогу. Там он стоял, в черной шелковой ермолке и в молитвенном облачении, всегда на одном и том же месте, — где некогда стоял его отец, — и, раскачиваясь, пел псалмы. Здесь, в полупустом помещении, где слова гудели так чуждо и глухо, он больше, чем где-либо, чувствовал себя наедине с самим собой; мир покрывал смятение и мрак, царившие в его груди. Но, когда читались заупокойные молитвы и он видел родных, детей, друзей умершего, трогательно исполняющих обряд и с поклонами и заклинаниями призывающих милосердие Божие к умершему, взор его омрачался: он был последним в роду. Некому будет помолиться за упокой его души. И он благоговейно бормотал с ними молитву и думал о себе, как об умершем.

Однажды, поздно вечером, он возвращался из своих скитаний. По дороге его настиг дождь. Старик по обыкновению забыл свой зонт, извозчики предлагали свои услуги за небольшую плату, ворота и стеклянные навесы гостеприимно приглашали его укрыться от внезапно разразившейся грозы, но чудак продолжал равнодушно брести, покачиваясь под ливнем. В помятой шляпе образовалась лужа, из рукавов текли целые ручьи. Он не обращал на это внимания и шагал дальше, почти единственный на опустевшей улице. Промокший до нитки, напоминая скорее бродягу, чем владельца богатой виллы, он подошел к своему дому. В ту же минуту у подъезда остановился автомобиль, обдав мокрой грязью неосторожного пешехода. Дверцы распахнулись, из ярко освещенного салона вышла его жена в сопровождении какого-то знатного гостя под зонтом и еще одного господина. У самых дверей они столкнулись. Жена узнала его и испугалась, увидев его в таком состоянии: промокший, измятый, он напоминал вытащенный из воды сноп. Невольно она отвела глаза. Старик сразу понял: ей

было стыдно за него перед гостями. И, без волнения, без злобы, он решил избавить ее от тягостной сцены представления: он сделал еще несколько шагов и смиренно вошел через черный ход.

С этого дня старик в собственном доме пользовался только черной лестницей: здесь он был уверен, что никого не встретит. Здесь он никому не мешал, и ему здесь не мешали. Он перестал выходить к столу — старая служанка приносила еду ему в комнату. Если жена и дочь пытались проникнуть к нему, он быстро выпроваживал их, смущенный, но с непоколебимой решимостью. В конце концов, они оставили его одного, отвыкли справляться о нем, и он тоже ни о чем не справлялся. Часто к нему доносились сквозь стены смех и музыка из других, теперь уже чуждых ему комнат; он слышал стук карет, уезжавших поздней ночью. Но так безразлично ему было все это, что он даже не выглядывал из окна: какое ему дело до них? Иногда только приходила собака и ложилась перед кроватью всеми покинутого хозяина.

* * *

Он уже не испытывал боли в омертвелом сердце, но черный крот продолжал свою работу и до крови разрывал издерганное тело. Припадки учащались с каждой неделей. Наконец измученный старик уступил настоянию врача и подвергся тщательному осмотру. Лицо профессора омрачилось. Осторожно подготавливая больного, он дал понять, что операция неизбежна. Но старик не испугался, он только печально улыбнулся: слава Богу, скоро конец! Настает конец умиранию, приближается благостная смерть. Он запретил врачу сообщать об этом семье, назначил день и приготовился. В последний раз он пошел к себе в контору (где никто его уже не ожидал и все смотрели на него, как на чужого), сел еще раз в черное кожаное кресло, в котором он, за тридцать лет, за всю свою жизнь, просидел тысячи и тысячи часов, потребовал чековую книжку и заполнил один из листков. Этот листок он отнес старшине общины, который почти испугался размера вклада. Эта сумма предназ-

началась для благотворительных целей и для ухода за его могилой. Он уклонился от благодарственных излияний и быстро ушел, спотыкаясь и потеряв при этом шляпу; но он даже не потрудился нагнуться, чтобы поднять ее. И так, с непокрытой головой, с омраченным взором и с желтым, морщинистым лицом, побрел он (изумленно смотрели люди ему вслед) на кладбище, к могиле родителей. Там наблюдали за ним несколько бездельников и удивлялись, глядя на него: он говорил долго и громко с полусгнившими камнями, как разговаривают с людьми. Извещал ли он о своем предстоящем приходе или просил благословения? Никто не слышал его слов, только губы шевелились, и все ниже опускалась в молитве его голова. У выхода обступили его нищие. Он поспешно вытаскивал из карманов монеты и бумажки; когда он все уже роздал, притащилась запоздавшая старушка, вся в морщинах, и умоляла о милостыне. Смущенно он обыскал карманы и больше ничего не нашел. Но что-то ненужное, тяжелое сдавливало ему палец: обручальное кольцо. Луч воспоминания озарил его — он поспешно снял кольцо с пальца и отдал его изумленной женщине.

И вот, нищий, опустошенный и одинокий, старик лег на операционный стол.

* * *

Когда старик пришел в себя после наркоза, врачи нашли его состояние угрожающим и призвали жену и дочь, уже осведомленных о событии. С трудом пробивался взор сквозь обрамленные синеватыми тенями веки. «Где я?» — спрашивал этот взор, устремленный в белизну незнакомых стен.

Ласково склонилась дочь над осунувшимся лицом. И вдруг сверкнули воспоминанием потухшие зрачки. Еле заметный свет зажегся в них: вот оно, невыразимо любимое дитя, вот она, Эрна, нежное, прекрасное дитя! Тихо, совсем тихо шевельнулись озлобленные уста — улыбка, еле заметная, давно забытая улыбка тронула сомкнутые углы рта. И, потрясенная

этой горькой радостью, она наклонилась, чтобы поцеловать обескровленную щеку отца.

Но вдруг — был ли это сладкий запах духов, пробудивший в нем воспоминание, или воскресли в омраченной памяти забытые мгновения, — черты его, только что сиявшие счастьем, резко изменились: бледные губы сразу злобно сомкнулись, рука под одеялом напряженно стремилась подняться, как бы для того, чтобы оттолкнуть что-то враждебное, все истерзанное тело дрожало от волнения.

— Прочь!.. Прочь!.. — нечленораздельно, но все же достаточно внятно лепетали помертвевшие губы. И такое непреодолимое отвращение выразилось в сведенных судорогой чертах умирающего, что врач озабоченно отстранил женщин.

— Он бредит, — шепнул он, — лучше оставить его одного.

Как только женщины ушли, искаженные черты разгладились и приняли пустое и утомленное выражение дремоты. Он тяжело дышал — все выше подымалась грудь в погоне за воздухом. Но скоро она пресытилась этой горькой пищей. И когда врач в очередной раз приложил ухо к сердцу старика, оно уже перестало причинять ему боль.





СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

Из записок старого человека

У них были самые лучшие побуждения — у моих учеников и коллег по факультету: вот он лежит, в роскошном переплете, торжественно мне преподнесенный, первый экземпляр юбилейного сборника, который филологи посвятили мне в шестидесятую годовщину моего рождения и тридцатую моей академической деятельности. Получилась настоящая биография; ни одна самая мелкая статья, ни одна произнесенная мною речь, ни одна рецензия в каком-нибудь научном ежегоднике не ускользнули от их библиографического прилежания: все они выкопали из бумажной могилы, весь ход моего развития до последнего часа восстановлен, ступень за ступенью, и сверкает, подобно хорошо выметенной лестнице. Право же, было бы неблагодарностью с моей стороны не порадоваться этой трогательной фундаментальности. Все, что казалось мне давно изжитым и утраченным, снова встает передо мной в строгой последовательности. Нет, я не могу отрицать, что я, уже старик, смотрю на этот диплом, поднесенный мне моими учениками, с той же гордостью, с какой получал некогда из рук учителей первое свидетельство о своем прилежании, способностях, любви к науке.

И все же, когда я перелистал эти двести прилежно написанных страниц и внимательно взгляделся в отражение моего облика, — я невольно улыбнулся. Неужели это была моя жизнь, неужели в самом деле с первого часа до нынешнего она тяну-

лась спокойными нитями какого-то целесообразного серпантина, как представил ее биограф на основании бумажного материала? Я испытал такое же чувство, как недавно, когда впервые услышал свой голос в граммофоне: сначала я его совершенно не узнал. Да, это был мой голос, но такой, каким его знают другие, а не я сам, слыша его в своей крови, в самой глубине своего существа. Так, посвятив всю свою жизнь изображению людей и попыткам установить содержание их духовного мира на основании их творчества, я убедился на собственных переживаниях, каким непроницаемым в жизни каждого человека остается его настоящее ядро — творческая клетка, из которой все произрастает. Мы переживаем мириады секунд, но только одна из них, одна-единственная, приводит в движение весь наш внутренний мир — та секунда (Стендаль ее описал), когда уже насыщенный всеми соками цветок в мгновение ока кристаллизуется, магическая секунда, подобная мгновению зачатия и, подобно ему, скрытая в теплоте нашего тела, — невидимая, неосязаемая, неосязаемая, совершенно по-особому пережитая тайна. Ее не учтет никакая алгебра духа, не предскажет никакая алхимия предчувствия, и редко она открывается нашему чувству.

Об этом тайном источнике развития моей духовной жизни эта книга не говорит ни слова: вот почему я не мог не улыбнуться. Все в ней верно, но самого существенного нет. Она меня описывает, но она меня не выражает. Она только говорит обо мне, но она не выдает меня. Двести имен заключает в себе тщательно составленный указатель — не хватает только одного — имени человека, от которого исходит творческий импульс, человека, который определил мою судьбу и теперь с новой силой возвращает меня в годы юности. Здесь сказано обо всех, умолчали только о том, кто дал мне язык, о том, чьим дыханием жива моя речь. И вот, я ощущаю это умолчание, как свою вину. Целую жизнь я посвятил изображению людей, вызывая образы из тьмы веков, воскрешая их для чувств моих современников — и ни разу не вспомнил о живущем во мне. И теперь, будто в дни Гомера, я напою дорогую тень моей

кровью, чтобы она снова заговорила со мной, чтобы она, стареющая, посетила меня, состарившегося. К лежащим передо мною листам я присоединю еще одну, скрытую страницу — исповедь чувства ученой книге: я расскажу себе самому правду о моей юности.

* * *

Прежде чем начать, я еще раз перелистывал эту книгу, которая должна представить мою жизнь. И снова улыбка на моих устах. Как им добраться до истинной моей сущности, когда с самого начала они избрали неверный путь! Уже первый их шаг неверен! Вот один из моих благосклонных товарищей по школе, ныне, как и я, тайный советник, сочиняет, будто уже в гимназии я питал неудержимую склонность к гуманитарным наукам, отличавшую меня от других новичков. Плохо помните, господин тайный советник! Гуманитарные науки были для меня тяжелым ярмом, которое я едва выносил со скрежетом зубным. Видя у себя дома, в семье школьного ректора, в маленьком северо-германском городишке, как наука служила средством борьбы за существование, я с детства возненавидел всякую филологию: природа, верная своей неразгаданной задаче охранять творческую силу, всегда внушает ребенку ненависть к склонностям отца. Она противится спокойному, пассивному наследованию, простому продолжению из рода в род: сперва она требует борьбы между одинаково созданными существами и только после тяжелых и плодотворных блужданий допускает запоздалое возвращение на стезю предков. Мой отец считал науку святыней, — и этого было достаточно для того, чтобы в своем самоутверждении я относился к ней, как к пустой игре с понятиями. Я возненавидел классиков только за то, что он считал их образцом. Окруженный книгами, я их презирал; направляемый отцом исключительно на умственные занятия, я был преисполнен отвращения ко всякому книжному образованию: неудивительно, что я с трудом получил аттестат зрелости и решительно отказывался от продолжения научных занятий. Я хотел стать офицером,

моряком или инженером: ни к одной из этих профессий я, в сущности, не чувствовал призвания. Только ненависть к бумажной науке побуждала меня стремиться к практической деятельности и отвергнуть академическую учебу. Но отец, со всей энергией фанатического преклонения перед университетом, настаивал на академическом образовании. Единственное, чего мне удалось добиться, было разрешение, вместо классической филологии, избрать английскую (я согласился на этот компромисс с тайной мыслью, что знание этого языка впоследствии облегчит мне морскую карьеру, к которой я так неудержимо стремился)...

Итак, в этом *curriculum vitae** нет ничего более неверного, чем любезное утверждение, будто уже в течение первого семестра, проведенного в Берлине, я, под руководством лучших профессоров, получил солидную подготовку для изучения филологических наук. Что общего имела моя буйно разразившаяся страсть к свободе с университетскими семинариями! При первом же беглом посещении аудитории затхлый воздух и проповеднически-монотонная, поучительно-широковещательная речь вызвали во мне такую усталость, что мне пришлось сделать усилие, чтобы не опустить сонную голову на скамейку: ведь это была опять та же школа, из которой я был так счастлив вырваться, тот же класс с высокой кафедрой и с пустым крохоборством. Мне невольно почудилось, что из тонких губ тайного советника сыплется песок — так мелко, так равномерно текли в душный воздух слова из потертой тетрадки. Чувство, которое я испытывал еще учеником, — будто я попал в покойницкую духа, где равнодушные руки анатомов прикасаются к умершим, — с пугающей отчетливостью оживало в этом рабочем кабинете антикварного александрийства. И с какой силой сказалось это инстинктивное отвращение, когда, после с трудом прослушанной лекции, я вышел на улицы Берлина — Берлина того времени! Пораженный собственным ростом, он играл своей так внезапно расцветшей возмужало-

*«Бег жизни», биография (лат.).

стью, изо всех улиц и закоулков сверкая электрическим блеском. Это была горячая, жадная, нетерпеливая жизнь, которая своей неукротимой алчностью, своим бешеным темпом отвечала дурману моей собственной, только что пробудившейся возмужалости. Мы оба, город и я, внезапно вырвавшись из протестантского, ограниченного, любящего порядок мещанства, поспешно отдавались еще не испытанному опьянению силы и возможностей. Мы оба, город и я — легко воспламеняющийся юноша, — мы оба дрожали, подобно динамо-машине, полные беспокойства и нетерпения. Никогда я не понимал, никогда не любил Берлина так, как тогда, ибо точно так же, как в этом переполненном, напоенном всеми соками, теплом человеческом улье, так и во мне каждая клеточка стремилась к быстрому расширению. Это нетерпение, присущее здоровой молодости, — где же было ему разрядиться, как не в горячем, судорожном лоне этого гиганта-женщины, в этом нетерпеливом, пылком, сильном городе! Властным порывом он привлек меня, я весь погрузился в него, ощупывая его вены; мое любопытство поспешно постигало его каменное и все же теплое тело. С утра до ночи я сновал по улицам, ездил к озерам, проникал во все его тайники; словно одержимый бесом, вместо того, чтобы отдаться занятиям, я с головой окунулся в жизнь, полную приключений. Но в этой крайности я оставался верен себе: с раннего детства я был неспособен к совмещению интересов: собирая что-нибудь или начав какую-нибудь игру, я сейчас же становился равнодушен ко всему остальному, всегда и везде я повинуюсь какому-нибудь одному страстному побуждению, и еще теперь, в своих занятиях, я фанатически вливаюсь в какую-нибудь проблему и не отступаю, пока не разрешу ее до конца.

В ту пору, в Берлине, чувство свободы охватило меня, как могучее опьянение. Я с трудом выносил краткое заключение во время лекции; пребывание в четырех стенах моей комнаты было для меня нестерпимо; минуты, не приносявшие какого-нибудь приключения, не проведенные в обществе, в движении, суматохе, игре, казались мне потерянными. И вот, только

что выпущенный на свободу юный провинциал изо всех сил старается казаться настоящим мужчиной: он вступает в корпорацию, пытается придать своему, в сущности, робкому нраву что-то смелое, неопрятное, распутное; прожив в Берлине всего неделю, разыгрывает столичного жителя и бывалого человека, с невероятной быстротой приучается к сидению по углам кафе, как истый *miles gloriosus**. В числе атрибутов возмужалости неизбежны были, конечно, и женщины, — вернее, бабы, как мы выражались в своем студенческом высокомерии, — и тут оказала мне услугу моя красивая внешность: высокий, стройный, с еще сохранившимся морским загаром и свежестью, гибкий в движениях, я имел большое преимущество перед дряблыми, высохшими, как сельди, приказчиками, которые, как и мы, отправлялись каждое воскресенье за добычей на танцевальные вечера в Галлензе и Гундекеле** (тогда еще находившиеся далеко за городом).

Горничная с соломенно-светлыми волосами, изобличавшими уроженку Мекленбурга, с белоснежной кожей и широкими, упругими бедрами, которую я притаскивал в свой угол разгоряченную от танцев, сменялась маленькой, вертлявой, нервной познанской еврейкой, продававшей у Тица*** чулки.

Все это была в большинстве случаев легкая добыча, быстро передававшаяся товарищам. Но эта неожиданная легкость завоевания опьяняла вчера еще робкого новичка — успехи делали меня смелее, смелость обеспечивала новые победы. Я расширял поле действий: после племянницы моей квартирной хозяйки наступила очередь — первый триумф всякого молодого человека! — настоящей замужней женщины, которую соблазнила свежесть сильного, юного блондина. Постепенно улица и всякое публичное сборище становились для меня местом самой неразборчивой, почти превратившейся в спорт, охоты за приключениями. Однажды, преследуя на Унтер ден

* Славный воин; иронически — вообще военный (*лат.*).

** Галлензе и Гундекеле — ближайшие пригороды Берлина.

*** Тиц — универсальный магазин в Берлине.

Линден * хорошенькую девушку, я — совершенно случайно — очутился у дверей университета. Я невольно улыбнулся при мысли, что вот уже три месяца как я не переступал через этот порог. Из шалости, я, с одобрения столь же легкомысленного товарища, слегка приоткрыл дверь. Мы увидели (невероятно смешным показалось нам это зрелище) сто пятьдесят спин, согнутых над пюпитрами, точно в общей молитве, с поющим псалмы седым старцем. Быстро я захлопнул дверь, предоставив этот мутный ручей красноречия собственному течению на радость прилежным коллегам, и задорно продолжал с товарищем свой путь по солнечной аллее.

Порою мне кажется, что никогда ни один молодой человек не проводил время бессмысленнее, чем я в те месяцы. Я не брал в руки книг; уверен, что не произнес ни одного разумного слова, не имел ни одной здоровой мысли в голове; инстинктивно я избегал всякого культурного общества, чтобы как можно сильнее ощутить своим пробудившимся телом едкость запретного до тех пор плода. Быть может, это упоение своими собственными соками, это бесцельное саморазрушение неизбежно присущи всякой сильной, вырвавшейся на свободу молодости, но моя исключительная одержимость и мое распутство грозили стать опасными, и возможно, что я бы опустил окончательно или погиб в затхлости этих ощущений, если бы случай не уберег меня от нравственного падения.

Этот случай — теперь я благодарю судьбу за него — заключался в том, что мой отец был неожиданно командирован на один день в Берлин, в министерство, на съезд ректоров. Как истый педагог, он, не предупредив меня о своем приезде, использовал этот случай, чтобы проверить мое поведение, застав меня врасплох. Опыт удался как нельзя лучше. В этот день, как обычно по вечерам, меня посетила в моей дешевой студенческой комнатухе в северной части города — вход был отделен портьерой от кухни хозяйки — девица, с которой мы проводили время очень интимно. Вдруг раздался решитель-

* Унтер ден Линден — главная улица Берлина.

ный стук в дверь. Предположив, что это мой товарищ, я недовольным тоном пробормотал: «Не принимаю». Но стук сейчас же повторился; затем, с видимым нетерпением, постучали в третий раз. Взбешенный, я натянул брюки, чтобы прогнать назойливого посетителя. В рубашке нараспашку, с подтяжками на весу, босой, я приоткрыл дверь и, — будто удар обуха по голове — во мраке передней я узнал силуэт отца. Его лица я не разглядел в темноте — только стекла очков блестели, отражая свет. Но достаточно было этого непрошеного силуэта, чтобы дерзкое слово, готовое вылететь из моих уст, застряло у меня в горле, будто острая кость. Я был совершенно ошеломлен и должен был — ужасный миг! — скромно попросить его подождать в кухне несколько минут, пока я приведу в порядок свою комнату. Как я уже сказал, мне не видно было его лица, но я чувствовал: он понял. Я это чувствовал в его молчании, в его сдержанности, когда он, не подавая мне руки, с жестом отвращения отодвинул портьеру и вошел в кухню. И там, перед железным очагом, хранившим запах подогретого кофе и вареной репы, старик ждал — ждал, стоя, десять унижительных для него и для меня минут, — пока моя девица одевалась и затем, проходя мимо портьеры, выбиралась из квартиры. Он должен был слышать ее шаги, должен был видеть, как шевелились от движения воздуха складки портьеры, когда она пробиралась, — а я все еще не мог выпустить его из недостойной засады: прежде надо было устранить слишком откровенный беспорядок в комнате. Тогда только — никогда в жизни я не чувствовал себя более пристыженным — я мог предстать перед ним.

Мой отец был сдержан в этот тяжелый час — до сих пор я благодарен ему за это. Когда я хочу восстановить в своей памяти образ этого давно умершего человека, я запрещаю себе смотреть на него с точки зрения ученика, который привык видеть в нем вечно поучающего, все порицающего, помешанного на пунктуальности педанта: я стараюсь представить его себе таким, каким он был в эту минуту, в самую человеческую его минуту, когда старик, преисполненный сдерживаемого отвращения, безмолвно вошел вслед за мной в душную комнату.

Он держал в руках шляпу и перчатки; он хотел положить их, но сейчас же невольным жестом выразил отвращение: ему было противно чем-нибудь прикоснуться к этой грязи. Я предложил ему кресло; он не ответил и только отстраняющим движением отказался от всякого соприкосновения с предметами, находившимися в этой комнате.

После нескольких ледящих душу минут, в течение которых мы стояли, не глядя друг на друга, он снял, наконец, очки, обстоятельно протер их, что, как я знал, было у него знаком замешательства, и я заметил, как старик, надевая их, украдкой провел рукой по глазам. Нам было стыдно друг перед другом, и мы не находили слов, чтобы прервать молчание. В душе я опасался, что он начнет читать нотацию, обратится ко мне с красноречивым поучением, гортанным голосом, который я ненавидел и над которым издевался со школьной скамьи. Но — до сих пор я вспоминаю об этом с благодарностью — старик не проронил ни слова и избегал смотреть на меня. Наконец, он подошел к шатающейся этажерке, где стояли мои учебники, открыл их и с первого взгляда должен был убедиться, что они не тронуты и почти не разрезаны.

— Покажи записи лекций! — Это приказание было первым его словом. Дрожащей рукой я протянул их ему: я ведь знал, что стенографическая запись заключала в себе одну-единственную лекцию. Он быстро просмотрел эти две страницы и, без малейшего признака волнения, положил тетрадь на стол. Затем он подвинул стул, сел, посмотрел на меня серьезно, но без всякого упрека, и спросил: — Ну, что ты думаешь обо всем этом? Как ты представляешь себе это в дальнейшем?

Этот спокойный вопрос сразил меня окончательно. Я был в состоянии судорожного напряжения: если бы он стал меня бранить, я бы гордо оборонялся; если бы он попытался растрогать меня, я бы его высмеял. Но этот деловой вопрос сломил мое упрямство: его серьезность требовала серьезного ответа, его выдержанное спокойствие — уважения. Я не решаюсь даже вспоминать, что я отвечал; весь последующий разговор еще и теперь не поддается моему перу: бывают внезапные

потрясения, внутренние взрывы, которые в пересказе звучали бы сентиментально, слова, которые можно искренне произнести только раз в жизни, с глазу на глаз, в минуту неожиданного смятения чувств. Это был единственный мой разговор с отцом, когда я без малейшего колебания покорился ему добровольно: я предоставил ему всецело решение моей судьбы. Он же только посоветовал мне покинуть Берлин и следующий семестр поработать в каком-нибудь провинциальном университете. Он не сомневался, что я с увлечением нагоню пропущенное.

Его доверие тронуло меня; в этот миг я почувствовал, как несправедлив я был в течение всего своего отрочества к этому старику, моему отцу, окружившему себя стеной холодной формальности. Я закусил губы, удерживая горячие слезы, подступавшие к глазам. И он, по-видимому, был охвачен тем же чувством: он вдруг протянул мне дрожащую руку и поспешно вышел. Я не осмелился пойти за ним и остался — смущенный, беспокойный, — вытирая платком кровь, выступившую на губе, в которую я впился зубами, чтобы подавить свое волнение.

Это было первое потрясение, постигшее меня — девятнадцатилетнего юношу; без вихря сильных слов оно опрокинуло шаткий карточный домик, со всей надуманной мужественностью, самообожанием, игрой в студенчество, который я выстроил в течение этих трех месяцев. Благодаря пробудившейся воле, я почувствовал в себе достаточно сил, чтобы отказаться от мелких развлечений. Мной овладело нетерпение направить растраченную энергию на занятия науками: жажда серьезности, трезвости, внутренней дисциплины и взыскательности охватила меня. В этот час я дал обет монашеского служения науке, еще не предчувствуя, какое упоение готовит мне научная работа, и не подозревая, что и в возвышенном царстве духа буйный ум встретит и приключения, и опасности.

* * *

Маленький провинциальный город, выбранный мною по совету отца на следующий семестр, находился в Средней Гер-

мании. Его громкая академическая слава находилась в резком противоречии с тощей кучкой домов, теснившихся вокруг университета. Мне не стоило большого труда путем расспросов добраться от вокзала, где я оставил свои вещи, до alma mater, и, попав в это старомодное, широко раскинувшееся здание, я сразу почувствовал, что внутренний круг замыкается здесь, быстрее чем в берлинской голубятне. В течение двух часов я успел быть зачисленным и посетить большинство профессоров; только моего непосредственного руководителя — профессора английской филологии — мне не удалось застать сразу: мне сказали, что после обеда, около четырех часов, его наверное можно будет увидеть на семинаре.

Движимый стремлением не потерять ни одного часа — ибо теперь я рвался к науке с той же страстностью, с какой избегал ее прежде, — я, после беглого осмотра маленького города, который, в сравнении с Берлином, казался погруженным в наркотический сон, ровно в четыре часа был на месте. Служитель указал мне на дверь аудитории. Я постучал. Мне послышалось, что изнутри чей-то голос ответил мне, и я вошел.

Но я ошибся. Никто не отвечал на мой стук, а донесшийся до меня невнятный возглас был частью энергичной речи профессора, который, очевидно импровизируя, излагал что-то двум десяткам окруживших его тесным кольцом студентов. Смущенный своим непрошеным вторжением, я хотел тихо удалиться, воспользовавшись тем, что мое появление никем из присутствующих не было замечено, но побоялся обратить на себя внимание. Я остановился у двери и стал невольно прислушиваться.

Лекция, по-видимому, возникла из коллоквиума или дискуссии — об этом позволяли догадываться непринужденные позы и совершенно случайная группировка слушателей вокруг профессора: сам он не стоял на кафедре, а, свесив ноги, сидел почти по-мальчишески на одном из столов; небрежные позы окружавших его студентов, под влиянием напряженного интереса, постепенно перерастали в пластическую неподвижность. По-видимому, они стояли, разговаривая, когда профес-

сор вдруг вскочил на стол, заговорил, привлек их к себе — будто бросив лассо — и неподвижно приковал их к месту. Достаточно было нескольких минут, чтобы и я, забыв о своем непрошеном появлении, почувствовал чарующую силу его речи. Невольно я приблизился, чтобы видеть движения его рук, удивительным образом напрягавшие и обволакивавшие его речь: при властно вырвавшемся слове они расправлялись, будто крылья, и взлетали вверх, а затем опускались плавно и музыкально в успокаивающем жесте дирижера. И все жарче бушевала речь, а окрыленный всадник, словно отделяясь от крупа несущейся галопом лошади, ритмично подымался с твердого стола и увлекал за собой в этот бурный, наполненный сверкающими картинками полет мысли. Никогда мне не приходилось слышать такую вдохновенную, такую поистине захватывающую речь; в первый раз я пережил то, что римляне называли *garpus*, — вознесение человека над самим собой: не для него, не для других произносили слова эти неутомимые губы: внутренний огонь, пылавший в этом человеке, выбрасывал пламенные языки.

Никогда мне не приходилось переживать слово, как экстаз, страстность речи, как стихийное явление. Будто внешний толчок бросил меня во власть неизведанного чувства. Испытывая магнетическое действие какой-то силы, которая была больше, чем любопытство, я подвигался вперед, сам того не замечая, почти неощутимыми шагами лунатика. Так, незаметно, я был вовлечен в магический круг: сам того не сознавая, я оказался на расстоянии одного шага от говорившего, среди других слушателей, так же, как и я, зачарованных и потому не замечавших ни меня, ни вообще окружающего. Я был захвачен течением речи, не зная ее истоков: по-видимому, кто-то из студентов высказал суждение о Шекспире, как о метеорическом явлении, а говоривший сверху хотел доказать, что он был только самым ярким представителем целого поколения, духовным выражением бушевавшей страстями эпохи. Одним штрихом он нарисовал тот необыкновенный час Англии, тот единственный миг экстаза, который внезапно наступает в жизни каждо-

го народа, как и в жизни каждого человека, напрягая все силы к мощному порыву в вечность. Земля вдруг расширилась, появился новый континент, а между тем древнейшая опора старого мира — папство — под угрозой падения; за морями, которые принадлежат им, с тех пор как испанская Армада погибла в волнах во время бури, открываются новые возможности; мир ширится, и невольно тянется за ним душа: и она хочет быть обширной, хочет познать всю глубину добра и зла, хочет открывать, завоевывать, подобно конквистадорам; ей нужен новый язык — новая сила. И со сказочной быстротой нарождаются новые люди, владеющие этим языком, — поэты — полсотни, сотня в течение одного десятилетия — буйные, необузданные гуляки: они не возделывают сады Аркадии, подобно придворным поэтам предшествующей эпохи, не пересказывают в стихах прилизанную мифологию — они атакуют театр, завоевывают арену, которая до тех пор служила только для травли зверей и кровавых игр, — горячий пар крови еще дымится в их произведениях: их трагедии пока еще такой же *circus maximus*^{*}, в котором ненасытные чувства стравливаются, как дикие звери. Без удержу свирепствуют их львиные страсти; они стараются превзойти друг друга в жестокости и неумеренности; все дозволено перу — кровосмешение, убийство, всякое преступление и всякое злодеяние; неимоверно беспорядочное сплетение сего человеческого справляет буйную оргию; подобно голодным зверям, выпущенным из клетки, выбрасываются на огражденную деревянным барьером арену грозные, опьяняющие страсти. Взрыв петарды, продолжавшийся пятьдесят лет, кровоизлияние, стихийное извержение, опрокидывавшее и разрывавшее целый мир; едва слышны отдельные голоса, едва различимы отдельные фигуры в этой оргии силы. Одна страсть возбуждает другую, каждый дает, каждый крадет, каждый состязается с другими, чтобы превзойти их, быть первым, и все они — только духовные гладиаторы на общем празднике, раскрепощенные рабы, гонимые вперед духом времени. Он собирает их из кривых, темных

* *Circus maximus* — колоссальный цирк в Древнем Риме (лат.).

улиц предместья и из дворцов: Бен Джонсон — внук каменщика, Марло — сын сапожника, Месинджер — потомок камердинера, Филипп Сидней — богатый, ученый государственный деятель, — все они захвачены кипучим водоворотом. Сегодня их превозносят, завтра они умирают в глубокой нищете, как Кид и Гейвуд, погибают с голоду, как Спенсер, на Кинг-стрит; все они — негодяи, буяны, развратники, комедианты, мошенники, но поэты, поэты, поэты. Шекспир составляет только их центр: *the very age and body of the time**, но его почти не замечаешь, — так бушует этот ураган, в таком избытии громоздятся сочинения, в таком смятении буйствуют страсти. И вдруг это изумительное извержение прекращается — так судорожно, как началось; драма кончилась: Англия истощена, и на сотни лет туманная пелена Темзы заволакивает умы. Одним набегом целое поколение завладело всеми вершинами и глубинами страсти; переполненная, необузданная душа вылилась из груди — и страна покоится, усталая, изможденная: пуританская ограниченность закрывает театры, умолкает язык страстей, снова заговорила Библия — заговорило божественное там, где звучало самое человеческое, где раздавалась самая горячая исповедь всех времен, где одним кипучим поколением изжита жизнь многих тысяч людей...

Тут он неожиданно направил огненные вспышки своей речи на нас.

— Теперь вы понимаете, почему я читаю свой курс не в исторической последовательности, почему я начинаю не с короля Артура** и Чосера***, а, вопреки всем правилам, с елизаветинцев****? Вы понимаете, почему я требую, прежде всего, ознакомления с этой эпохой, вживания в ее исключительно богатую жизнь? Ибо нет филологии без переживания, нет

* Фигуральное выражение, которое можно передать по-русски: плоть от плоти и кровь от крови своего времени. — *Примеч. пер.*

** Средневековые повести о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

*** Чосер — английский поэт XIV века.

**** Елизаветинцы — писатели эпохи расцвета английской литературы в XVI веке, в царствование королевы Елизаветы (1558—1603); их имена приведены в тексте. Этот период завершился шекспировской драмой. — *Примеч. пер.*

чисто грамматического слова без понимания его значения. И вы, молодые люди, должны увидеть язык и страну, которую вы хотите изучать, прежде всего в состоянии высшего расцвета красоты, силы и молодости, высшего напряжения страстей. Прежде всего, вы должны услышать язык из уст поэтов — тех, кто его создает и совершенствует; вы должны почувствовать и пережить поэзию раньше, чем мы начнем ее анатомировать. Поэтому я всегда начинаю с вершин, ибо Англия — это Елизавета, это Шекспир и шекспирианцы. Все предшествующее — только подготовка, все последующее — жалкие попытки повторить этот смелый прорыв в бесконечность. Но здесь, — почувствуйте это, молодые люди, — здесь самый яркий расцвет юности нашего мира, и всякое явление, всякий человек познается только в горении, только в страсти. Ибо дух рождается из крови, мысль из страсти и страсть из вдохновения. Прежде всего — воодушевление, потом уже — прилежание, прежде всего он, самый недостижимый, самый совершенный — Шекспир: пусть это великолепнейшее отражение мира предшествует изучению слова.

— Ну, довольно на сегодня. До свидания, — властным заключительным жестом он внезапно оборвал свою речь и спрыгнул со стола. Дрогнув, рассыпалось тесное кольцо студентов, стулья закрипели, застучали, задвигались столы, два десятка ртов разомкнулись, глубоко дыша, заговорили, закашляли — теперь только стало очевидно, как магнетически действовало очарование, замкнувшее уста двадцати юношам. Зато теперь в тесной комнате царило оживленное движение; одни подошли к профессору, чтобы поговорить с ним, другие, покрасневшись, обменивались впечатлениями; ни один слушатель не остался безучастным, все испытывали действие электрического тока — он внезапно прервался, но его искры будто еще сверкали, и треск их будто еще слышался в сгустившемся воздухе.

Я сам чувствовал себя прикованным к месту; я был совершенно подавлен. Страстный по натуре, я привык воспринимать явления жизни, всецело отдаваясь порыву чувства, — и

вот, в первый раз я испытывал пленительное обаяние человека, учителя, превосходство, покориться которому казалось мне долгом и наслаждением. Кровь в венах кипела, я дышал учащенно, во всех членах своего разгоряченного тела я ощущал этот бешеный, кипучий ритм, нетерпеливо подталкивавший меня. Наконец я уступил ему и пробрался вперед, чтобы взглянуть в лицо этого человека, ибо — удивительно! — пока он говорил, я не разглядел его черт — до такой степени они слились с его речью, растворились в ней.

И теперь я мог различить только неясный, затененный профиль: он стоял в полусвете окна, обратив лицо к студенту, с которым он разговаривал, дружески положив руку ему на плечо. Но даже это мимолетное движение выражало внутреннюю красоту и сердечность, которой я не мог предположить у педагога. Между тем несколько студентов обратили на меня внимание, и, для того, чтобы не показаться непрошеным гостем, я приблизился к профессору, ожидая, пока он окончит разговор. Теперь только мне удалось посмотреть ему в лицо: голова римлянина, выпуклый мраморный лоб, сверкающий белизной под волной зачесанных назад, вьющихся и густо покрывающих виски седых волос, — импозантно-смелое и одухотворенное строение верхней части лица, переходящее в мягкие, почти женственные формы, благодаря глубоким теням под глазами, гладкой округлости подбородка и беспокойным, то улыбающимся, то нервно вздрагивающим губам. Мужественная красота лба смягчалась гибкой пластичностью бледных щек и подвижного рта, создавая общее впечатление добродушия. Его поза казалась принужденно сдержанной.

Левая рука небрежно покоилась на столе, но в суставах кисти чувствовалось непрерывное вибрирование; узкие пальцы, чересчур нежные, чересчур мягкие для мужской руки, нетерпеливо рисовали на пустом столе невидимые фигуры, в то время как глаза из-под тяжелых век приветливо устремлялись к собеседнику. Был ли он обеспокоен чем-нибудь, или не улеглось еще возбуждение в напряженных нервах, — во всяком случае, тревожная неутомимость руки противоречила

спокойному, прислушивающемуся и выжидающему выражению его лица; казалось, что, утомленный, он все же всецело погружен в разговор со студентом.

Наконец очередь дошла до меня, я подошел к нему, назвал свою фамилию, и сейчас же загорелась искра в его излучающем почти голубой свет зрачке. В течение двух-трех долгих секунд блеск его вопрошающих глаз пробежал по моему лицу от подбородка до волос. Вероятно, я покраснел от этого ласково-испытующего созерцания, и он поторопился улыбкой положить конец моему смущению.

— Вы хотите заниматься у меня? Нам придется поговорить подробнее. Только, простите меня, я не могу сделать этого сейчас. У меня есть еще кое-какие дела. Может быть, вы подождете меня внизу у ворот и проводите меня домой?

Он протянул мне руку — нежную, узкую руку, которая коснулась моих пальцев легче перчатки, — и сейчас же любезно обратился к следующему ожидавшему.

В течение десяти минут я поджидал его у ворот, с сильно бьющимся сердцем. Что ему ответить, если он спросит про мои занятия, как сознаться, что поэзия никогда не заполняла ни моего рабочего времени, ни моего досуга? Не станет ли он презирать меня? Не изгонит ли из пламенного круга, который так магически охватил меня сегодня? Но вот он, ласково улыбаясь, приблизился быстрыми шагами — и одно его присутствие уже прогнало всякое смущение. Без всяких расспросов с его стороны я признался ему, что потерял первый семестр. Снова я ощутил его теплый, участливый взгляд.

— Пауза тоже необходима в музыке, — сказал он с ободряющей улыбкой, и затем — очевидно, для того чтобы не смущать меня моим невежеством — он перевел разговор на личные дела, спросил, откуда я родом и где я собираюсь здесь поселиться. Узнав, что я еще не нашел себе квартиры, он предложил мне свое содействие и посоветовал, прежде всего, справиться в его доме, где старая, полуглухая женщина сдает комнату, которой многие его ученики оставались довольны; обо всем остальном он позаботится сам: если я действительно

хочу серьезно заниматься, он сочтет приятным долгом помочь мне во всех отношениях.

Подойдя к дому, он снова протянул мне руку и пригласил меня посетить его на другой день вечером, чтобы совместно выработать план занятий. И так велика была моя благодарность этому человеку за его незаслуженную доброту, что я, преисполненный благоговения, едва коснулся его руки, смущенно снял шляпу и забыл поблагодарить его хотя бы одним словом.

* * *

Само собой разумеется, я тотчас же снял комнатку в том же доме. Я снял бы ее даже и в том случае, если бы она мне не понравилась, — из наивно-благодарного стремления ощущать пространственную близость к этому волшебному учителю, давшему мне в течение одного часа так неизмеримо много. Но комнатка оказалась прелестной: расположенная этажом выше квартиры моего учителя, она была темновата от выступавшего фронтона; зато из окна открывался прекрасный вид: за соседними крышами церковной башни виднелись зеленые луга и над ними облака, родные, любимые. Совершенно глухая старушка с материнской трогательностью заботилась о своих временных питомцах. Я столкнулся с ней, и через час скрипучая деревянная лестница стонала под тяжестью моего чемодана.

В тот вечер я уже не выходил из дому; я забыл даже поесть, покурить. Сразу же я вытащил из чемодана случайно захваченного Шекспира и нетерпеливо раскрыл его — впервые после многих лет: мое любопытство страстно разгорелось после прослушанной лекции, и я воспринимал поэтическое слово, как никогда прежде. Можно ли объяснить подобное превращение? Внезапно передо мной раскрылся новый мир. Сверкающие слова так неудержимо неслись ко мне, будто искали меня веками. Огненными волнами разливались стихи, звуча и увлекающая меня вдаль. Я чувствовал в висках удивительную легкость — это было ощущение полета. Я дрожал, я содрогался, я чувствовал, как лихорадочно согревалась кровь в моих венах, — ничего подобного я никогда не испытывал прежде, — и все это

было только отзвуком насыщенной страстью речи профессора. Но опьянение этой речью еще не покинуло меня; читая вслух отдельные стихи, в своем голосе я слышал его голос, фразы неслись в том же стремительном ритме, мои руки повторяли движения его рук... Каким-то волшебством, за один час, была разрушена стена, отделявшая меня от духовного мира. В моей страстной натуре пробудилась новая страсть, которой я остался верен до конца, — жажда познать все земное наслаждение через пылающее слово. Случайно я наткнулся на «Кориолана», и, как откровение, поразила меня мысль, что во мне заложены все элементы этого, казалось бы, чуждого нашему времени римлянина — гордость, высокомерие, гнев, язвительная насмешливость, едкость, весь свинец, все золото, все металлы чувства. Какое неиспытанное наслаждение охватить все это одним магическим взлетом! Я читал, читал без устали, пока не заболели глаза; когда я посмотрел на часы, они показывали половину четвертого. Почти испуганный этой новой силой, которая в течение шести часов напрягала и в то же время усыпляла все мои чувства, я потушил свет. Но в душе продолжали жить и сверкать эти образы. Я едва уснул в страстном ожидании следующего дня, который должен был расширить открывшийся передо мной волшебный мир и сделать его моим достоянием.

* * *

Но следующее утро принесло разочарование. Горя нетерпением, я одним из первых вошел в аудиторию, где мой учитель (так я буду называть его отныне) должен был читать лекцию по английской фонетике. Но, увидев его, я испугался, неужели это был тот же человек? Неужели только мое возбужденное воображение создало из него Кориолана на форуме, с героической смелостью поражающего и покоряющего молниеносным словом? Тихой, медлительной походкой в аудиторию вошел усталый старик. Словно светящийся матовым диск спал с его лица. Сидя в первом ряду, я заметил почти болезненно тусклые черты лица, испещренного острыми морщинами и

широкими складками; синие тени создавали впадины на серых, дряблых щеках; бледные веки скрывали его взор; чересчур бледные, чересчур узкие губы лишали голос металла. Куда скрылась его бодрящая веселость, куда исчез ликующий избыток сил? Голос казался мне чужим: будто отрезвленный грамматической темой, он звучал утомительно однообразно, как усталые шаги по сухому, скрипучему песку.

Беспокойство охватило меня. Ведь это был не тот человек, которого я ждал сегодня с минуты пробуждения: где его лицо, вчера еще освещенное добротой и вдохновением? Теперь состарившийся профессор автоматически разматывал клубок своего курса. Со все возрастающим трепетом я вслушивался в его речь: не вернется ли его вчерашний голос, согревающая вибрация, которая, будто звучащей рукой, охватила меня и вознесла на вершины страсти? Обращаясь к нему, мой тревожный взгляд с неизменным разочарованием встречал чуждый облик: это был несомненно тот же человек, но он казался опустошенным, лишенным всякой творческой силы — пергаментная маска усталого старика. Но как это могло случиться? Можно ли быть таким юным вчера и утратить всякие следы юности сегодня? Разве бывают такие внезапные вспышки духа, мгновенно преображающие и речь, и внешний облик старика? Меня мучил этот вопрос. Я сгорал от жажды разгадать этого двуликого человека. Едва он, не глядя на нас, сошел с кафедры, я, следуя внезапному внушению, поспешил в библиотеку и попросил его сочинения. Может быть, он сегодня устал, может быть, его воодушевление было подавлено недугом: здесь же, в непреходящих памятниках, должен был найтись ключ к пониманию этого удивительного двуликого существа. Служитель принес книги: я был изумлен — так мало! В течение двадцати лет этот уже стареющий человек не написал ничего, кроме жидкой пачки брошюр — предисловий, введений, исследования о подлинности шекспировского «Перикла», параллели между Гельдерлином и Шелли* (правда, написан-

*Гельдерлин — немецкий поэт (1770—1843); Шелли — английский поэт (1792—1822). — *Примеч. пер.*

ной в то время, когда ни тот, ни другой не пользовались широким признанием) и разной филологической мелочи. Во всех брошюрах было объявлено, как готовящееся к изданию двухтомное сочинение «Театр «Глобус», его история, его драматургия», — но, несмотря на то, что первое сообщение об этом появилось 20 лет тому назад, библиотекарь на мой вторичный вопрос ответил, что оно не вышло в свет. Нерешительно я перелистывал эти брошюры, в надежде восстановить по ним его звучный голос и бурный ритм речи. Но эти сочинения отличались неизменной строгостью, — в них не было и следа набегающего горячими волнами нетерпеливого ритма его пьянящей речи. «Как жалко!» — простонало в моей груди. Я готов был колотить себя, я дрожал от злости и разочарования в своем чувстве, которое я отдал ему так быстро и так легкомысленно.

Но через несколько часов, на семинаре, я снова узнал его. На этот раз он устроил дискуссию, по образцу английских семинариев. Два десятка студентов были разделены на две группы: одна группа защищала тезис, другая возражала.

Тема была взята опять из Шекспира: обсуждался вопрос — следует ли рассматривать Троила и Крессида * (его излюбленная драма), как пародические фигуры, а само сочинение, как сатиру, или же оно представляет собой скрытую трагедию. Быстро из чисто интеллектуального спора возникло возбужденное его умелой рукой электрическое напряжение. Аргументы сталкивались, как удары; колкие, язвительные возгласы подогревали спор, который уже грозил чрезмерным возбуждением враждебных чувств. Слышалось уже потрескивание электрических искр, и вот — он бросался в огонь, умерял слишком сильный натиск, искусно возвращал спор в рамки темы и, направляя его ввысь, сообщал ему новое интеллектуальное напряжение. Так он стоял среди этого пламенного моря, зараженный общим возбуждением, то подстрекая, то удерживая.

* Герои одноименной драмы Шекспира. — *Примеч. пер.*

живая петушиный бой мнений, — властитель этой нахлынувшей волны юношеского энтузиазма, и сам захваченный ею. Прислонившись к столу, скрестив руки на груди, он бросал взгляды на молодых людей, одному улыбаясь, незаметно подмигивая другому, подбадривая его к возражению, и, как накануне, возбуждение сверкало в его взоре: я чувствовал, — он должен был сделать над собою усилие, чтобы своим вмешательством не нарушить поток слов. Но он сдерживал себя: я видел это по его рукам, которые все теснее обхватывали грудь, я угадал это по вздрагивающим углам губ, с трудом сдерживавших готовое сорваться слово. Но настала минута, и он, как пловец, бросился в бурную дискуссию; энергичным жестом освободившейся руки он, будто дирижерской палочкой, прервал шумящий поток. Все умолкли. Он заговорил. По своему обыкновению, он нагромождал аргументы — и вдруг они предстали перед нами, как одно стройное целое. И во время речи к нему вернулось вчерашнее выражение лица, складки разгладились в живой игре нервов, стан выпрямился смело и властно, и, вырвавшись из напряженно выжидающей позы, он бросился в спор, как в бушующий поток. Импровизация увлекла его. Я начал догадываться, что, вялый наедине с собой, у себя в кабинете или в переполненной аудитории, он был лишен горючего материала, который здесь, в нашей среде, в атмосфере созданного им очарования, взрывал какую-то внутреннюю преграду; нужен был — о, как я это чувствовал! — наш энтузиазм, чтобы пробудилось в нем вдохновение, наша откровенность — чтобы открылись его сокровища, наша молодость — чтобы воскресло его юношеское воодушевление. Подобно тому, как менада* опьяняется неистовым ритмом рук, все быстрее и быстрее ударяющих в тимпаны, так и его речь становилась все прекраснее, все пламеннее, все ярче в потоке горячих слов, и, чем более сгущалось наше молчание (наше зачарованное безмолвие было словно разлито в аудитории), тем выше, тем напряженнее, тем торжественнее возносился его гимн. И

*Менада — в Древней Греции жрица бога вина и веселья Вакха. — *Примеч. ред.*

в эти минуты мы были всецело в его власти, окрыленные, упоенные его полетом.

И снова, когда внезапно цитатой из «Шекспира» Гете он закончил свою речь, неудержимо прорвалось наше возбуждение. И снова, как вчера, он, утомленный, опирался руками на стол, с побледневшим лицом, по которому разливалась мелкими трелями игра нервов, и во взгляде его удивительно мерцало упоенное сладострастье женщины, только что освободившейся из могучих объятий. Мне было страшно заговорить с ним; но случайно его взор упал на меня. И он, очевидно, почувствовал мою восторженную благодарность: он приветливо улыбнулся мне и, слегка наклонившись и положив руку мне на плечо, напомнил, что мы условились встретиться у него сегодня вечером.

Ровно в семь часов я был у него. С каким трепетом перешагнул я, мальчик, через этот порог! Нет более сильной страсти, чем юношеское обожание; нет ничего более робкого, более трепетного, чем вызванная им тревожная застенчивость. Горничная проводила меня в его рабочий кабинет — полутемную комнату, в которой я прежде всего заметил цветные корешки многочисленных переплетов, мерцавшие за стеклянными дверцами шкафов. Над письменным столом висела «Афинская школа» Рафаэля — картина, которую (как я узнал впоследствии) он особенно любил, потому что все способы обучения, все воплощения духа символически объединились здесь в совершенном синтезе. Я видел ее впервые; своеобразное лицо Сократа невольно напоминало мне любимого учителя. Позади мраморной белизной блестело изваяние — парижский бюст Ганимеда: удачно уменьшенная копия; рядом — святой Себастьян — произведение старого немецкого мастера — не случайное сопоставление трагической красоты с красотой торжествующей. С бьющимся сердцем я ожидал: все эти предметы символически открывали передо мной новый мир духовной красоты, о которой я до сих пор не подозревал и которой еще не открыл для себя, испытывая только напряженное стремление слиться с ней в братском объятии. Но времени для созерцания

не оставалось: вот он вошел, приблизился ко мне, — и снова коснулся меня мягко обволакивающий взгляд, тлеющий подобно скрытому огню, который, к моему изумлению, расплавлял самые затаенные мои помыслы. Я заговорил с ним совершенно свободно, как с другом, и, когда он спросил о ходе моих занятий в Берлине, с моих уст невольно сорвался — к моему величайшему испугу — рассказ о встрече с отцом, и я повторил ему, чужому человеку, обет со всей серьезностью отдаться занятиям. Он смотрел на меня, растроганный.

— Не только с серьезностью, но, прежде всего, со страстью, мой мальчик, — сказал он. — Кто не отдается науке страстно, тот, в лучшем случае, становится педагогом. Из самых недр своего существа надо подходить к вещам. Всегда-всегда страсть должна служить импульсом к работе.

Все теплее становился голос в сгущающихся сумерках. Он рассказывал о своей молодости, как и он в свое время натворил много глупостей, прежде чем нашел свое призвание; он уговаривал меня не терять бодрости духа и обещал сделать все от него зависящее, чтобы содействовать успешности моих занятий; он предложил мне без стеснения обращаться к нему со всеми вопросами и желаниями. Никогда в жизни никто не говорил со мной так участливо, с таким глубоким вниманием. Я дрожал от благодарности и был рад сумеркам, которые скрыли от него навертывавшиеся на глаза слезы.

Часами я мог бы беседовать с ним, не замечая времени, но вот тихонько постучали в дверь. Дверь открылась и, словно призрак, вошла худенькая фигурка. Он встал и представил: «Моя жена». Стройная тень приблизилась, протянула мне узкую руку и, обращаясь к нему, напомнила:

— Ужин готов.

— Да, да, я знаю, — ответил он поспешно и (по крайней мере, так мне показалось) с некоторой досадой. Внезапно в голосе его мне послышались холодные нотки, и теперь, когда зажглось электричество, передо мной опять стоял бесстрастный старик педагог, который вялым жестом простился со мной.

Следующие две недели я был захвачен чтением и занятиями. Я почти не покидал своей комнаты, обедал стоя, чтобы не терять времени; я занимался без перерыва, не останавливаясь, почти не ложась спать. Со мной случилось то же, что с принцем в восточной сказке: срывая одну за другой печати с дверей запертых комнат, он находил в каждой все больше и больше сокровищ и с все возрастающей алчностью обыскивал эти комнаты, горя нетерпением дойти до последней. Точно так же и я бросался от одной книги к другой, не утоляя ими свою безграничную жажду. Первое предчувствие необъятной шири духовного мира было так же обольстительно, как, еще недавно, полная приключений необъятность большого города; но к этому чувству примешивался детский страх, что мне не удастся овладеть ею. Я отказывал себе в сне, в развлечениях, в разговорах, запрещая себе отвлекаться, чтобы не терять ни минуты времени, которое я впервые научился ценить. Но более всего возбуждало мое усердие стремление оправдать доверие учителя, заслужить его одобрительную улыбку, быть им замеченным. Малейший повод обращался в испытание; непрерывно я подстрекал неумелую, но окрыленную мысль, чтобы произвести на него впечатление, удивить его. Если он упоминал в лекции имя поэта, которого я не знал, я после обеда бросался на поиски, чтобы на следующий день в дискуссии выказать свои знания. Мельком брошенное пожелание, едва замеченное другими, обращалось для меня в закон: достаточно было ему обронить замечание по поводу вечного курения студентов, чтобы я тотчас же бросил зажженную папиросу и навсегда подавил в себе привычку, которую он порицал. Как слово евангелиста, было для меня его слово благодатью и законом. Мое напряженное внимание, насторожившись, жадно ловило каждое его самое незначительное замечание. Алчно я хватал на лету каждое его слово, каждый жест, чтобы дома со всей страстностью, со всем напряжением чувств ощупать добычу и сохранить ее на дне души. Признав его единственным руководителем, я со жгучей нетерпимостью смотрел на товарищей,

как на врагов: моя ревнивая воля неутомимо повторяла клятву во что бы то ни стало превзойти и опередить их.

Почувствовал ли он мое обожание, или пришлось ему по душе мой порывистый нрав, — во всяком случае, он выделял меня явным участием. Он руководил моим чтением, выдвигал меня, новичка, почти незаслуженно, в общих дискуссиях, и мне было разрешено заходить к нему по вечерам побеседовать в интимной обстановке. Он брал из шкафа какую-нибудь книгу и читал своим звучным голосом, который от возбуждения становился еще ярче и звонче, стихи, отрывки из трагедий, или разъяснял спорные проблемы. За эти две первые недели опьянения я узнал о сущности искусства больше, чем за все предшествующие девятнадцать лет. Всегда мы бывали одни в этот слишком короткий для меня час. Около восьми часов тихонько стучали в дверь: его жена напоминала об ужине. Но она не входила в комнату, по-видимому, следуя указанию не мешать нашим беседам.

* * *

Так прошли, до предела заполненные, две недели — горячие недели раннего лета, — когда, однажды утром, моя работоспособность лопнула, как чересчур натянутая пружина. Мой учитель не раз предостерегал меня от чрезмерного напряжения сил; он советовал мне время от времени позволять себе передышку и совершать прогулки за город. Теперь неожиданно сбылось его предсказание: я проснулся с тяжелой головой от тяжелого сна; буквы мелькали перед глазами, как иглы, едва я пытался читать. Рабски повинуюсь малейшим указаниям учителя, я решил послушаться и на этот раз и на один день прервать занятия, отдавшись развлечениям.

Я вышел рано утром; в первый раз осмотрел старинный город; пересчитав сотни ступенек, поднялся, чтобы размять застывшие в неподвижности ноги, на церковную башню, с площадки которой в открывшемся передо мной море зелени увидел маленькое озеро. Уроженец прибрежной полосы Северного моря, я страстно любил плавать, и как раз здесь, на

вершине башни, откуда моему взору открывались, подобно зеленеющей водной равнине, залитые яркими лучами солнца луга, у меня появилось, словно навеянное родным ветром, непреодолимое желание броситься в любимую стихию. Едва я успел, пообедав, отыскать купальню и окунуться в воду, как вернулось ко мне прежнее радостное ощущение своего тела, силы своих мышц, прикосновения солнца и ветра к обнаженной коже. За полчаса я преобразился в прежнего буяна, который дрался с товарищами и готов был рисковать жизнью ради какой-нибудь безумной шалости. Плавая и ныряя в воде, я забыл обо всем на свете, забыл и о книгах, и о науке. С присутствующей мне одержимостью снова отдаваясь страсти, которая в течение долгого времени не получала удовлетворения, я целых два часа бурно наслаждался встречей с любимой стихией; не менее тридцати раз я бросался с трамплина в воду, чтобы разрядить нахлынувший подъем сил, дважды я переплывал озеро, — а моя неукротимость все еще не была истощена. Фыркая, вздрагивая всем телом, я жадно искал нового испытания; мое напряжение стремилось вылиться в каком-нибудь из ряда вон выходящем поступке.

И вот из женской купальни донесся треск дрогнувшего трамплина — стоя на деревянном полу купальни, я почувствовал отраженное колебание от сильного прыжка. Стройная женская фигура, изогнутая полукругом, подобно турецкой сабле, стремительно бросилась в воду. На несколько мгновений забурлила и покрылась белой пеной поверхность озера, и сейчас же из образовавшегося водоворота вынырнула, уже выпрямившись, фигура женщины; нервными толчками она поплыла по направлению к острову. «За ней! Догнать ее!» Спортивный азарт обуял меня, быстро я бросился в воду и, выбрасывая руки вперед, ожесточенно поплыл вслед за ней. По-видимому, заметив преследование, она приняла вызов. Она использовала свое преимущество — в момент начала состязания она была значительно впереди меня — и, по диагонали достигнув острова, поспешно направилась обратно. Быстро угадав ее намерение, я бросился по тому же направлению

и работал так усердно, что моя вытянутая рука уже почти касалась ее ног; нас разделяло расстояние не более фута, — но вот она внезапно скрылась под водой и через несколько минут вынырнула у самого барьера женской купальни, лишая меня возможности дальнейшего преследования. Победительница поднялась по лесенке; на мгновение она остановилась, приложив руку к груди: по-видимому, ей не хватало воздуха. Затем, повернувшись в мою сторону и увидев меня у самого барьера, она торжествующе улыбнулась, сверкая зубами. Яркое солнце и глубоко надвинутый капор мешали мне разглядеть ее лицо; только улыбка светилась насмешливо и ослепительно.

Я и сердился, и радовался в то же время: впервые после Берлина мне пришлось встретить заинтересованный взгляд женщины — может быть, я снова стоял перед приключением? Несколькими толчками я доплыл до мужской купальни и быстро натянул одежду на влажное тело, торопясь опередить ее и встретить у выхода из купальни. Десять минут мне пришлось ждать, прежде чем я заметил тонкую, мальчишескую фигурку моей надменной соперницы; увидев меня, она ускорила свои легкие шаги, с очевидным намерением лишить меня возможности заговорить с ней. Ее движения были быстры и легки, как во время плавания; все мышцы подчинялись этому сильному, юношески тонкому, пожалуй, слишком тонкому телу: мне стоило немалого труда приноровиться к ее быстрой походке, не привлекая к себе в то же время внимания прохожих. Наконец это мне удалось: на перекрестке я ловко пересек ей путь, по студенческому обычаю высоко поднял шляпу и, еще не взглянув прямо ей в лицо, спросил, не разрешит ли она мне проводить ее. Искоса она бросила на меня насмешливый взгляд и, не сбавляя быстрого темпа своих шагов, с почти вызывающей иронией ответила: «Пожалуйста, если вас не смущает мой быстрый шаг. Я очень спешу». Ее невозмутимость ободрила меня, я становился навязчивее, предложил десяток вопросов, один глупее другого, на которые она отвечала с полной готовностью и с такой поразительной смелостью, что я почувствовал скорее смущение, чем уверенность в успе-

хе: мой берлинский репертуар обращений был рассчитан на иронию и сопротивление, а вовсе не на такой откровенный разговор во время быстрой ходьбы. И опять я почувствовал, что неловко и глупо подошел к противнику, оказавшемуся и в этой борьбе более сильным.

Дальше дело пошло еще хуже. Когда, в своей нескромной назойливости, я спросил ее, где она живет, на меня обратился пронзительный взгляд ее карих глаз, и, уже не скрывая улыбки, она насмешливо ответила: «В непосредственном соседстве с вами». Пораженный, я остолбенел. Она еще раз искоса взглянула на меня, чтобы убедиться в том, что парфянская стрела попала в цель. И действительно, она застряла у меня в горле. Сразу оборвался наглый тон, так подходивший для моих берлинских приключений; неуверенно, даже больше — почтительно, я пробормотал вопрос, не неприятно ли ей мое общество. «Но почему же, — улыбнулась она снова, — нам осталось еще всего два квартала, мы можем пробежать их вместе». Кровь ударила мне в голову, я еле двигался, но что оставалось делать? Улизнуть было бы еще позорнее. И мы вместе подошли к дому, где я жил. Она внезапно остановилась, протянула мне руку и совсем просто сказала: «Спасибо за компанию. Вы ведь будете сегодня в шесть часов у моего мужа?»

Яркая краска залила мое лицо, но раньше, чем я успел попросить прощения, она быстро поднялась по лестнице; оставшись один, я едва решался восстановить в памяти свои глупые и наглые речи. Будто какую-нибудь портниху, я, безрассудный фанфарон, пригласил ее на воскресную прогулку, пошлыми словами восхвалял ее тело, завел сентиментальную волюнку об одиноком студенте... Мне стало тошно от стыда и отвращения. А она, помирая со смеху, верно, уже рассказывает о моих пошлостях своему мужу — человеку, мнением которого я дорожил больше всего на свете; стать в его глазах посмешищем было бы для меня мучительнее, чем быть наказанным розгами на базарной площади.

Ужасные часы провел я в ожидании вечера. Тысячу раз я представлял себе тонкую, ироническую улыбку, которой он

меня встретит, — я отлично знал, как искусно он владеет язвительным словом, как больно может обжечь его шутка. Как осужденный подымается на эшафот, так подымался я в тот вечер по лестнице, и едва я перешагнул порог его кабинета, подавляя подступавшее к горлу сухое рыдание, как замешательство мое превзошло всякую меру: мне послышалось в соседней комнате шуршанье женского платья: это она, моя надменная победительница, пришла позабавиться моим смущением, насладиться позором болтливового мальчика. Наконец пришел мой учитель. «Что с вами? — спросил он озабоченно. — Вы сегодня так бледны». Я робко возразил в ожидании удара. Но то, чего я так боялся, не случилось: он говорил, как всегда, на научные темы; ни в одном слове, как я ни прислушивался, не скрывалось намека или иронии. И, сперва с изумлением, а затем с безграничной радостью, я понял: она не выдала меня.

В восемь часов опять постучали в дверь. Я простился. Я вновь обрел душевный покой. Когда я выходил, она прошла мимо. Я поклонился, — она ответила едва заметной улыбкой. И в глубоком волнении я истолковал эту улыбку, как обещание молчать также и в дальнейшем.

* * *

С этой минуты для меня начался новый ряд наблюдений: до сих пор, в своем юношески благоговейном обожании, я привык считать своего учителя до такой степени существом другого мира, что не обращал внимания на его личную, его земную жизнь. В своем увлечении я вознес его высоко над миром с его методически установленным будничным порядком. Подобно тому, как юноша, переживающий первую любовь, не осмелится в своих помыслах обнажить любимую девушку и смотреть на нее так же, как на тысячу других существ, одетых в женское платье, так и я не решался бросить нескромный взгляд на его частную жизнь: он казался мне отрешенным от всего вещественного, обыденного, апостолом слова, вместилищем творческого духа. Когда это трагикомическое приключение внезапно столкнуло меня с его женой, я уже не мог не

замечать его личной, его домашней жизни; так — в сущности, против моего желания — во мне пробудилось тревожно настроившееся любопытство. И как только я стал зорко всматриваться, я сейчас же со смущением почувствовал, что жизнь его в собственном доме была полна своеобразной, почти пугающей загадочности. Когда, вскоре после этой встречи, я был впервые приглашен к столу и увидел его в обществе жены, у меня создалось впечатление какой-то причудливой совместной жизни, и чем глубже я проникал в его домашнюю обстановку, тем больше смущало меня это чувство. Не то чтобы в словах или в жестах проявлялась какая-нибудь напряженность или отстраненность; напротив, было полное отсутствие всякого напряжения; ни обоюдного влечения, ни взаимного отталкивания не чувствовалось между ними; полное затишье чувств и даже слов таинственно облекало их непроницаемой дымкой.

Иногда я с трудом узнавал его — до того уравновешенно холодна становилась его речь всякий раз, как нарушалось наше уединение, и, чем чаще, чем ближе приходилось мне встречаться с ним, тем больше тревожила меня его удивительная замкнутость — именно в домашнем кругу: именно здесь она застывала, скрывая под упругой мускульной оболочкой жизненное ядро.

Больше всего пугало меня полное его одиночество. Этот общительный, экспансивный человек не имел друга. С университетскими товарищами он был корректен — не более, ни у кого в гостях он не бывал; часто он целыми неделями не выходил из дома, не ходил никуда, кроме университета, находившегося в двадцати шагах от его квартиры. Все он глухо таил в себе, не доверяясь ни людям, ни бумаге. И теперь я понял эти словесные извержения, этот фанатический подъем его речей в кругу студентов: здесь прорывалась сквозь плотину его общительность; мысли, которые он молча носил в себе, бурно, неуверенно срывали запоры молчания и неслись в этой бешеной скачке слов.

Дома он говорил очень редко, меньше всего со своей женой.

И с робким, почти стыдливым изумлением, я, неопытный мальчик, заметил, что здесь между двумя существами лежала тень от какой-то постоянно развевающейся, невидимой, но плотной ткани, безвозвратно разделившей этих людей; и впервые я понял, сколько тайн, непроницаемых для постороннего взора, скрывает брак. Жена никогда не входила в его кабинет без особого приглашения, как будто на пороге была напечатана магическая пентаграмма, — и это подчеркивало ее полную отчужденность от его духовного мира. И мой учитель никогда не позволял в ее присутствии говорить о его планах, его работе. Резкость, с которой он на полуслове обрывал фразу, едва входила жена, положительно угнетала меня. Что-то оскорбительное, почти откровенное презрение, не прикрытое даже какой-либо формой вежливого умолчания, было в его манере, когда он резко и открыто отклонял ее участие, но она будто не замечала этого или уже привыкла к такому обращению. Стройная, цветущая, с задорным мальчишеским лицом, легко и быстро она носилась вверх и вниз по лестнице; всегда у нее было много работы и вместе с тем достаточно досуга; она посещала театр, занималась чуть ли не всеми видами спорта, — только к книгам, к спокойной кабинетной работе, ко всему замкнутому, сосредоточенному не было ни малейшего влечения у этой тридцатипятилетней женщины. Казалось, она чувствовала себя хорошо только тогда, когда, напевая, смеясь и шутя, она могла дать волю своему телу в танце, плавании, беге. Со мной она никогда не говорила серьезно: она поддразнивала меня, будто мальчика, и задорно вызывала на состязание. Ее резвый, детский, добродушный, жизнерадостный нрав находился в таком разительном противоречии с мрачным, замкнутым, проникнутым только духовными интересами складом жизни моего учителя, что я со всевозрастающим изумлением спрашивал себя: что могло связывать в прошлом эти столь чуждые друг другу натуры. Надо сознаться, что я извлекал пользу из этого удивительного контраста: когда, после нервной работы, я вступал с ней в разговор, мне казалось, что с моей головы снят тяжелый шлем;

мои мысли освобождались от восторженного пыла, и все вещи принимали свою обычную окраску.

Веселая жизнерадостная общительность настойчиво предьявляла свои права, и смех, о котором я совершенно забывал в напряженном общении с ним, благотворно разряжал мощное давление интеллектуального мира. Между нами установились товарищеские отношения; именно потому, что мы болтали только о безразличных вещах или вместе ходили в театр, наши встречи были лишены всякой напряженности. Одно только нарушало иногда полную непринужденность наших разговоров, каждый раз смущая меня: это — упоминание его имени. Она неизменно противопоставляла моему вопрошающему любопытству раздраженное молчание, моему энтузиазму — непонятную, скрытую улыбку. Но неизменно оставались замкнуты ее уста: в другой форме, но с той же решительностью она исключала этого человека из своей жизни. И все же, вот уже пятнадцать лет, они жили под одной скрывавшей тайну кровлей.

Но чем непроницаемее становилась тайна, тем больший соблазн открывался моему кипучему нетерпению. Какая-то тень, какое-то покрывало чувствовалось в непосредственной близости: оно колебалось при каждом дуновении слова; нередко мне казалось, что я уже прикасаюсь к нему, но каждый раз эта запутанная сеть ускользала из моих рук, чтобы через минуту опять окутать меня; никогда она не облекалась в слово, никогда не принимала осязаемой формы. Ничто не способно в большей степени возбудить воображение молодого человека, чем щекочущая нервы игра предположений: обычно блуждающее бесцельно воображение внезапно находит цель и трепещет от неизведанного наслаждения охотничьего преследования. Совершенно новые чувства возникали в те дни у наивного мальчика: тонкая, восприимчивая мембрана предательски подслушивала каждую модуляцию голоса; ищущий, высматривающий, полный подозрения взор посиневших глаз; выслеживающее любопытство, стремящееся проникнуть в окружающую мглу; болезненное напряжение нервов, постоянно

возбуждаемое подозрениями и никогда не разрешающееся в ясном чувстве.

Но я не порицаю свое безудержное любопытство: помыслы мои были чисты. Охватившее меня возбуждение проистекало не из праздной пошлости, которая коварно ловит неизменно человеческое в превосходящем других существе; нет, наоборот, это был затаенный страх, еще не определившееся сострадание, которое с неосознанной тоской угадывало боль в этом молчании. Чем ближе я подходил к его жизни, тем чувствительнее угнетала меня тень, запечатленная на лице возлюбленного учителя, — та благородная, благородно подавляемая печаль, которая никогда не разменивала себя ни на угрюмое брюзжание, ни на вспышки беспричинного гнева. Если он с первой минуты привлек меня, еще чужого, вулканически вспыхивающим огнем своей речи, то теперь он еще глубже волновал меня, ставшего родным, — своим молчанием, неотступно сопровождающим его облаком печали. Ничто не захватывает так мощно юношеское чувство, как возвышенная, мужественная омраченность. «Мыслитель» Микеланджело, созерцающий свои собственные глубины, сжатые горечью губы Бетховена — эти магические личины мировой скорби — трогают незрелую душу сильнее, чем серебристые мелодии Моцарта и свет, разливающийся вокруг фигур Леонардо. Юность сама прекрасна и потому не нуждается в художественном преобразении: в избытке сил она стремится к трагическому и охотно позволяет тоске глубокими глотками насладиться ее неопытной кровью, отсюда и свойственная юности отвага, и братское сочувствие всякому нравственному страданию.

И такой, поистине страждущий лик я встретил впервые. Сын маленьких людей, выросший в спокойной обстановке мещанского уюта, я знал тревогу только в смешных гримасах повседневной жизни, наряженную в злость или в желтое одеяние зависти, бренчащую мелкой монетой, но тревога, запечатленная на этом лице, родилась — я это чувствовал — из высшей стихии. Она поднялась из мрачных глубин; изнутри начертал жестокий резец эти складки на преждевременно од-

ряхлевших щеках. Случалось, что, входя в его комнату, всегда с робостью ребенка, приближающегося к дому, в котором обитают духи, я заставлял его в глубокой задумчивости, мешавшей ему услышать мой стук; и когда я, не зная, что мне делать, стоял перед погруженным в свои мысли учителем, мне казалось, что здесь сидит только Вагнер — телесная оболочка в плаще Фауста, — в то время как дух витает в загадочных ущельях, среди ужасов Вальпургиевых ночей. В такие мгновения он не замечал ничего вокруг. Он не слышал ни приближающихся шагов, ни робкого приветствия. Придя в себя, он пытался торопливыми словами прикрыть смущение: он ходил взад и вперед, старался вопросами отвлечь внимательно устремленный на него взгляд. Но долго еще витала тень над его челом, и только вспыхнувшая беседа разгоняла надвинувшиеся тучи.

Должно быть, он чувствовал иногда, как трогал меня его вид: по моим глазам, быть может, по беспокойному блужданию моих рук; может быть, он подозревал, что на моих устах неслышно дрожала просьба довериться мне, читал в моем напряжении страстное желание принять на себя, впитать в себя его муку. Должно быть, он чувствовал это иногда: внезапно он прерывал живую беседу и, растроганный, смотрел на меня, — да, я чувствовал, как разливался по мне этот удивительно согревающий, затемненный своей теплотой взгляд. Он брал мою руку, держал ее в своей тревожно долго, и я думал: «Вот теперь, теперь он раскроет мне душу». Но он разрушал эту надежду резким движением, иногда даже холодным, нарочито отрезвляющим ироничным словом. Он, живший энтузиазмом, пробудивший и питавший его во мне, внезапно вычеркивал его, как ошибку в переводе, и, видя меня с открытой душой, алчущим его доверия, произносил леденящие слова: «Этого вам не понять», или: «Оставьте преувеличения» — слова, раздражавшие и приводившие меня в отчаяние. Как он заставлял меня страдать, этот сверкающий, подобно молнии, яркий, бросающийся из пламени в ледяную стужу человек, который невольно согревал меня, чтобы через минуту обдать холодом,

который притягивал меня всеми нитями страсти, чтобы тотчас же взмахнуть бичом иронии! Мною овладело жестокое чувство: чем больше я стремился к нему, тем резче, тем тревожнее он отталкивал меня. Ничто не могло, ничто не должно было коснуться его тайны.

Тайна — все жарче жгла меня эта мысль — тайна, вызывавшая страх и отчуждение, обитала в его магически притягивающих глубинах. Я это чувствовал в его странно избегающем встречи взгляде, который пламенно устремлялся вперед и робко ускользал в ту минуту, когда хотелось благоговейно удерживать его; я это чувствовал по горько сжатым губам его жены, по изумительно холодной сдержанности окружавших, которых чуть ли не оскорбляли мои восторженные отзывы о нем, по тысяче странностей и всеобщему смущению, возникавшему всякий раз, как о нем заговаривали. Что за мука проникнуть во внутренний круг такой жизни и блуждать в нем, как в лабиринте, не находя пути к его центру!

Но самым непонятным, самым волнующим были его исчезновения. В один прекрасный день, придя на лекцию, я увидел на дверях записку, извещавшую, что лекции прерваны на два дня. У студентов это, казалось, не вызвало удивления, но я, видевший его еще вчера вечером, поспешил домой с тревожным вопросом, не заболел ли он. Мое взволнованное вторжение вызвало у его жены только сухую улыбку. «Это случается часто, — сказала она необычайно холодно, — вам это еще незнакомо». И действительно, я узнал от товарищей, что он нередко исчезал таким образом ночью, иногда только телеграммой извещая об отмене лекции. Кто-то из студентов встретил его однажды в четыре часа ночи на одной из берлинских улиц, другой встретился в нем в подъезде. Он внезапно вылетал, как пробка из бутылки, и затем возвращался, неведомо откуда.

Этот внезапный побег болезненно взволновал меня. Два дня я провел, как помешанный, не находя себе места; бессмысленными, пустыми казались мне занятия в его отсутствие; я изнывал от смутных, ревнивых подозрений, даже чувство не-

ненависти и злобы против его замкнутости подымалось во мне временами: в ответ на мое пламенное стремление к нему он изгоняет меня из своего внутреннего мира, как нищего в стужу. Напрасно я убеждал себя, что я, мальчик, ученик, не имею права посягать на эту чужую, ставшую мне родной, жизнь; что я должен принять, как милость, уже то, что он приблизил меня к себе. Но разум не восторжествовал над жгучей страстью: раз десять в течение дня я, глупый мальчишка, справлялся, не приехал ли он, пока, наконец, не почувствовал в ответах его жены все возраставшее раздражение. Я бодрствовал значительную часть ночи, прислушиваясь к шагам на лестнице, утром подкрадывался к двери, уже не осмеливаясь спрашивать. И когда, на третий день, он, наконец, неожиданно вошел ко мне в комнату, я едва не вскрикнул. Мой испуг был слишком очевиден — об этом свидетельствовало его удивленное смущение, диктовавшее ему ряд торопливых вопросов, один незначительнее другого. Он избегал моего взгляда. В первый раз наш разговор шел вкривь и вкось, вызывая обоюдное смущение. Когда он ушел, жгучее любопытство вспыхнуло ярким пламенем, постепенно оно лишило меня сна и покоя.

* * *

Неделями длилась эта борьба за откровенность; упрямо я стремился вскрыть огненное ядро, которое вулканически прорывалось время от времени сквозь скалу молчания. Наконец, в счастливый час, мне удалось впервые заглянуть в его внутренний мир. Я сидел как-то в сумерках в его комнате. Он достал сонеты Шекспира и читал мне в своем переводе эти будто из бронзы отлитые стихи, чтобы тотчас же магически расшифровать и осветить их кажущуюся непроницаемость. Слушая его, я испытывал восторг, смешанный с горечью сожаления о том, что дары так щедро рассыпаемые этим человеком в избытке творческих сил, гибнут, воплощаясь только в проходящем звуке живой речи. И, неожиданно для себя самого, я вдруг нашел в себе мужество спросить его, почему остался незаконченным его большой труд о театре «Глобус». Но едва я

успел произнести этот вопрос, как уже испугался, поняв, что невольно коснулся неосторожной рукой наболевшей раны. Он встал, отвернулся и долго молчал. Комната как будто погрузилась в сумрак и безмолвие. Наконец он приблизился ко мне, серьезно взглянул на меня, и губы его вздрогнули несколько раз, прежде чем он вымолвил горькое признание:

— Я не способен создать большое произведение. С этим покончено. Только юность строит смелые воздушные замки. Теперь у меня уже нет той выдержки. Я стал — к чему скрывать? — человеком мгновения. Большую работу я бы не вел до конца. Прежде у меня было больше сил, но они ушли. Теперь я могу только говорить: только слово иногда еще окрыляет меня, возносит меня над самим собой. Но спокойно сидеть и работать, всегда наедине с собой, с одним собой — это мне уже не удастся.

Он закончил жестом отречения, который потряс меня до глубины души. Я убеждал его твердой рукой собрать воедино сокровища, которые он так щедро расточает перед нами, и воплотить их в непреходящую форму.

— Я не в силах писать, — устало повторял он, — я не могу сосредоточиться.

— Так диктуйте! — и, увлеченный этой мыслью, я почти умолял его. — Диктуйте мне. Попробуйте, только начните, и — вы увидите сами — вы не оторветесь. Попробуйте, сделайте это ради меня!

Он взглянул на меня, сперва с изумлением, потом с глубоким волнением. Эта мысль, казалось, привлекла его внимание.

— Ради вас? — повторил он. — Вы полагаете, что это могло бы доставить кому-нибудь удовольствие, если бы я, старик, взялся за такую работу?

Я почувствовал в его словах робкую уступку. В его проясненном взгляде, еще за минуту как бы скрытом от меня за облаком, я увидел пробуждающуюся надежду.

— Вы действительно думаете, что это возможно? — повторил он.

Я почувствовал, что робкая надежда перерождается в волевое решение, и вот он встрепенулся:

— Хорошо, попробуем! Молодость всегда права. Умно поступает тот, кто ей покоряется.

Мой бурный восторг, казалось, оживил его: почти с юношеским возбуждением, он быстрыми шагами ходил взад и вперед, и мы переговарили обо всем: мы условились, что каждый вечер, в десять часов, сразу же после ужина, мы будем заниматься — первое время по часу в день. И на следующий вечер мы начали.

Эти часы — как мне описать их блаженство! Весь день я ждал их. Уже после обеда предгрозовая тревога овладевала всеми моими чувствами; я весь был наполнен нетерпеливым ожиданием вечера. Тотчас после ужина мы отправлялись в его кабинет. Я садился за письменный стол, спиной к нему, а он нервными шагами ходил по комнате взад и вперед, пока в нем не устанавливался определенный ритм, — и вот прозвучала первая нота возвышенной речи. Все у этого изумительного человека превращалось в музыку: ему нужен был размах для полета мысли. Большей частью он находил его в каком-нибудь образе, смелой метафоре, ситуации, которую он, невольно возбуждаясь быстрым движением, преобразовывал в драматическое действие. Что-то величественно стихийное, что отличает всякое творчество, блистало в стремительном потоке этой импровизации: отдельные отрывки его речи напоминали ямбические строфы, другие, гремя водопадом великолепных перечислений, вызвали в памяти гомеровский список кораблей и неистовые гимны Уолта Уитмена. Впервые мне, еще не сложившемуся юноше, пришлось заглянуть в тайники творчества: я видел, как мысль, вдруг зашипев, будто колокольная медь, выливалась чистой, расплавленной, горячей из котла творческого возбуждения; как, постепенно охлаждаясь, она приобретала форму; как эта форма округлялась и раскрывалась, пока, наконец, не ударит из нее, подобно звуку колокола, мощное слово, воплощая поэтическое переживание в символы человеческого языка. Так рождался каждый абзац из

ритма, каждая глава из драматически преображенной картины, а все широко задуманное сочинение, так мало напоминавшее обычную форму филологического трактата, выливалось в гимн — в гимн морю, как видимой человеческим оком, осязаемой человеческим чувством форме беспредельности, катящей свои волны в безграничную даль, вздымающейся на вершины и скрывающей глубины, казалось бы бесцельно и в то же время с какой-то скрытой закономерностью, играющей человеческими судьбами, как утлыми челнами; оно было образом моря и, как оно, отзвуком всего трагического. И катятся эти творческие волны к берегам одной единственной страны: вырастает Англия, остров, со всех сторон окруженный бурной стихией, грозно обнимающей все полосы земли, все широты земного шара. Там, в Англии, оно созидает государство. Из орбит стеклянных глаз — серых, голубых — смотрит холодный и ясный взор стихии; каждый обитатель этой страны, подобно ей, носит в себе стихию моря, как бы образуя остров. Бури и опасности воспитали здесь племя, которому присущи сильные, бурные страсти, — племя викингов, которое столетиями закаляло свои силы в разбойничьих набегах. Но мир воцарился в окруженной бушующими водами стране; они же, привыкшие к бурям, жаждут борьбы, приключений, моря, с его постоянными опасностями — и вот они создают себе жгучее напряжение в кровавой игре. Раньше всего, воздвигается арена для звериной травли и для борьбы. Медведи истекают кровью, петушинные бои дразнят животное сладострастие ужаса. Но уже вскоре развившийся дух предъявляет новые требования: ему нужно то же напряженное возбуждение, но в иных, соответствующих современности формах. И вот, из религиозных зрелищ, из церковных мистерий вновь возникает бурная игра, возврат к прежним набегам и приключениям, но уже в глубинах человеческого сердца. Здесь открывается другая беспредельность, другое море, с приливами страстей и водоворотами духа. И с новым наслаждением бросаются в это море, с его опасностями, поздние, но все еще неутомимые потомки англосаксов.

И мощно зазвучало творческое слово, когда он углубился в это варварски нечеловеческое начало. Его голос, сперва тихий, торопливый, теперь, напрягая голосовые мускулы и связки, напоминал сверкающий металлом летательный аппарат, который поднимался все выше, все свободнее; комната становилась тесна для него, его теснили отвечавшие отзвуком стены, ему нужен был простор. Я чувствовал ревущий ураган над своей головой, бушующий говор моря. Мощно гремело слово: склонившись над письменным столом, я видел себя на песках моей родины, я слышал грохочущий плеск тысячи волн и дыхание приближающегося вихря. Весь трепет, болезненно окутывающий рождение слова так же, как и рождение человека, впервые проник тогда в мою изумленную, испуганную и все же ликующую душу.

Мой учитель кончает. Я встаю, шатаюсь. Жгучая усталость всей силой обрушивается на меня — усталость, непохожая на ту, которую испытывал он: он освободился от давившей его тяжести, а я впитал в себя покинувшее его напряжение и весь еще дрожал от испытанного восторга. Мы оба нуждаемся в спокойной беседе, чтобы обрести сон. Потом я еще расшифровываю стенограмму; и странно: как только знаки превращались в слова, мое дыхание, мой голос изменялись, будто в меня вселилось другое существо. И я узнал его: повторяя, я невольно скандировал речь, подражая его речи, будто он говорил во мне, а не я сам — настолько я стал его отражением, эхом его слов.

С тех пор прошло сорок лет. Но еще теперь, посреди лекции, когда моя речь увлекает меня и как бы парит вне меня, я вдруг смущаюсь от мысли, что это не я, а кто-то другой говорит моими устами. Я узнаю незабвенный голос давно ушедшего человека, который и в смерти дышит моим дыханием. Всякий раз, как я испытываю вдохновение, я знаю: я — это он; те часы запечатлелись во мне навеки.

* * *

Работа росла и разрасталась вокруг меня, как лес, заслоня меня от внешнего мира; моя жизнь протекала в полумраке

этого дома, среди буйно шумевших ветвей быстро выраставшего сочинения, в пленительной, согревающей близости к этому человеку. За исключением нескольких лекционных часов, которые я проводил в университете, все мое время принадлежало ему. У них я обедал и ужинал; ни днем, ни ночью не прерывалось сообщение между моей комнатой и их квартирой; у меня был ключ от их входной двери, у него ключ от моей, так что он мог во всякое время войти ко мне, не вызывая полуглухую старуху. Но чем теснее становилось наше общение, тем больше я отрывался от всякого другого общества; вместе с теплотой внутреннего круга этой жизни я должен был испытать и ледяной холод его замкнутости и отчужденности от внешнего мира. В отношении ко мне товарищей я ощущал какое-то единодушное осуждение, даже презрение: была ли это зависть, вызванная предпочтением, какое явно оказывал мне учитель, или руководили ими какие-либо другие побуждения, но они решительно исключили меня из своего круга; в семинарских занятиях они, будто сговорившись, избегали обмена мнений со мною, более того — не устаивали меня взглядом. Даже профессора не скрывали своего нерасположения ко мне: однажды, когда я обратился за какой-то справкой к доценту по романской филологии, он иронически заметил:

— Как друг профессора NN, вы должны бы это знать.

Тщетно я старался объяснить себе такое незаслуженное презрение: тот особый тон, которым со мной говорили, тот взгляд, которым на меня смотрели, лишал всякой надежды найти ключ к разгадке. Вступив в близкое общение с этой одинокой четой, я разделял с ними их одиночество.

Эта отчужденность мало меня беспокоила: внимание мое было всецело поглощено умственными интересами; но нервы не выдерживали постоянного напряжения. Нельзя безнаказанно в течение нескольких недель непрерывно предаваться умственным излишества; кроме того, я, вероятно, слишком резко изменил свой образ жизни, слишком бурно бросился из

одной крайности в другую, чтобы сохранить необходимое равновесие. В то время как в Берлине мои бесцельные блуждания разряжали мускульную энергию, приключения с женщинами разрешали всякую тревогу, — здесь тропически давившая атмосфера этого дома вызывала такое обострение всех чувств, что я, как наэлектризованный, вздрагивал, как бы от непрерывно перемещавшегося во всем теле острия. Я лишился здорового, крепкого сна, — может быть, потому, что по ночам я, ради собственного удовольствия, переписывал продиктованное вечером, стораая нетерпением как можно скорее преподнести учителю переписанные листки; кроме того, университет предъявлял свои требования, утомляло поспешное, лихорадочное чтение; но едва ли не больше всего возбуждали меня беседы с учителем: я подвергал спартанской дисциплине каждый нерв, чтобы ни на минуту не показаться безучастным. Пренебрежение к требованиям тела не могло долго оставаться безнаказанным. Не раз со мной случались обмороки — предохраняющие признаки расшатанного здоровья. Я не придавал им значения, но гипнотическая усталость увеличивалась, всякое чувство выражалось в неумеренно резких формах, и обнаженные нервы все глубже вонзали в меня острие, лишая сна и возбуждая упорно подавляемые, смутные мысли.

Жена моего учителя первая обратила внимание на угрожающее состояние моего здоровья. Не раз я замечал на себе ее обеспокоенный взгляд; преднамеренно она все чаще вставляла в мимолетные разговоры отрезвляющие замечания, вроде того, что нельзя в течение одного семестра завоевать весь мир. Наконец, она выступила открыто.

— Теперь довольно, — решительно заявила она, вырывая у меня из рук грамматику, над которой я корпел в солнечный воскресный день. — Как может полный жизни молодой человек до такой степени стать рабом своего честолюбия? Не берите во всем пример с моего мужа: он стар, вы молоды, вы должны вести другой образ жизни.

В ее тоне всегда проскальзывала нотка презрения, когда ей случалось упомянуть о муже. Это огорчало меня и восстанавли-

ливалось против нее, и в то же время меня трогало ее участие. Преднамеренно, я это чувствовал, может быть, из побуждений своего рода ревности, — она все больше старалась оградить меня от его чрезмерного влияния и охладить ироническим словом мое усердие; если мы засиживались по вечерам, она энергично стучала в дверь и, не внимая его гневному сопротивлению, заставляла прекратить работу.

— Он расстроит вам нервы, он вконец разрушит ваше здоровье, — сказала она однажды с озлоблением, заметив мое удрученное состояние. — Во что только он вас превратил за эти несколько недель! Я прямо не могу видеть, как вы грешите против себя. И при всем том... — она остановилась, не закончив фразу. Но губы его побледнели и задрожали от подавленного гнева.

И, действительно, мой учитель затруднял мою задачу: чем усерднее я служил ему, тем безразличнее он относился к моему обожанию. Редко-редко он удостаивал меня словом благодарности; когда я утром приносил ему переписанную за ночь работу, он уклончиво говорил сухим тоном:

— Не следовало торопиться, это потерпело бы до вечера.

Бывало, со всей готовностью, только предложишь ему какую-нибудь услугу, как сейчас же, среди разговора, губы его суживаются, и саркастическим словом он отстраняет мое предложение. Правда, замечая мое покорное отчаяние, он утешал меня, останавливая на мне свой теплый, обволакивающий взор, — но как редко это случалось, как редко! И эти внезапные смены тепла и холода, волнующей близости и злобного отталкивания привели в полное замешательство мое необузданное чувство, которое жаждало — нет, я положительно не в состоянии определить, чего я жаждал, желал, требовал, к чему стремился, каких доказательств его участия ожидало мое восторженное обожание. Если страстное преклонение, хотя бы в самой чистой форме, направлено к женщине, оно бессознательно стремится к обладанию телом — к этому естественному символу самого тесного слияния. Но духовная страсть, привлекающая мужчину к мужчине, — какого выхода ищет она?

Беспокойно она бродит вокруг предмета обожания, давая вспышки экстаза и никогда не находя полного удовлетворения. Всегда она струится, и никогда не высыхает ее источник; никогда она не насыщается, потому что природа ее — духовность. Его близость всегда казалась мне недостаточно близкой, его присутствие — недостаточно насыщающим, его длинные беседы не утоляли неутолимой жажды, и даже тогда, когда исчезало всякое чувство отчужденности, я опасался, что следующая минута резким жестом раздробит эту столь желанную близость. Все снова и снова он смущал меня своим непостоянством. Не преувеличивая, я могу сказать, что, в своей неумеренной раздражительности, я был в состоянии натворить непростительных глупостей по самому ничтожному поводу: случилось, что равнодушным жестом он отстранит книгу, на которую я обратил его внимание; или вечером, когда, затаив дыхание, ощущая на своем плече его ласковую руку, я жадно ловлю каждое его слово, — он вдруг резко оборвет разговор и скажет:

— Ну, идите. Уже поздно. Спокойной ночи, — и эти мелочи могли отравить мне существование на часы и целые дни. Может быть, мое болезненно возбужденное чувство видело обиды там, где их не было и в помыслах, но разве помогают больной душе разумные доводы, когда наступил внутренний разлад? И это повторялось изо дня в день. Я страдал в его присутствии, я изнывал вдали от него, всегда разочарованный его близостью, всегда полный тревоги, смущенный всякой случайностью.

И странно: всякий раз, как я чувствовал себя оскорбленным, я шел к его жене. Может быть, это было бессознательное влечение к человеку, который живет в той же таинственной атмосфере, страдает от той же безмолвной сдержанности; может быть, это была просто потребность поговорить с кем-нибудь и найти, если не помощь, то, по крайней мере, сочувствие, — как бы то ни было, я шел к ней, будто к тайному союзнику. Обычно она высмеивала мою чувствительность или, пожимая плечами, холодно замечала, что давно бы пора привыкнуть к этим мучительным странностям. Иногда же она

окидывала меня серьезным и, я бы сказал, удивленным взглядом и слушала меня молча, когда, охваченный отчаянием, я извергал поток судорожных слов, горьких упреков, подавленных рыданий; только губы ее вздрагивали, и, я чувствовал, она напрягает все силы, чтобы не сказать гневное или необдуманное слово. И у нее было, без сомнения, о чем поговорить; и она скрывала тайну, может быть, ту же тайну, что и он; но в то время как он встречал мои посягательства резким отпором, она обычно шуткой прекращала дальнейшие разговоры по этому поводу.

Один только раз едва не сорвалось с ее уст долгожданное слово. Утром, принеся моему учителю продиктованное накануне, я рассказал ему, в какой восторг привела меня одна из глав (это была характеристика Марло). И в пылу восхищения я прибавил, что никто, никто не сумел бы так мастерски нарисовать этот портрет; закусив губу, он круто отвернулся, бросил листок на стол и презрительно пробормотал:

— Не говорите глупостей! Разве вы имеете представление о том, что такое мастерство!

Этого резкого слова (поспешно надевая личина, чтобы скрыть нетерпеливую застенчивость) было достаточно, чтобы испортить мне день. И после обеда, наедине с его женой я, в истерическом припадке схватив ее руки, забросал ее вопросами:

— Скажите мне, почему он меня так ненавидит? Почему он меня презирает? Что я ему сделал? Почему его раздражает каждое мое слово? Что мне делать? Помогите мне! Почему он меня не выносит? Скажите мне, я вас очень прошу!

И пристальный взгляд, в ответ на мой бурный порыв, коснулся моего лица.

— Он вас ненавидит? — и она расхохоталась сквозь зубы так зло, так пронзительно, что я невольно отшатнулся. — Ненавидит — вас? — повторила она и посмотрела мне прямо в глаза, полные смущения. Она наклонилась, приблизившись, ко мне, ее взоры становились постепенно мягче и мягче, в них засветилось страдание, и вдруг она (впервые) провела рукой

по моим волосам. — Вы, право, еще дитя, глупое дитя, которое ничего не замечает, ничего не видит и ничего не знает. Но так все же лучше, а то вы бы стали еще беспокойнее. — И она быстро отвернулась.

Тщетно я искал успокоения: я будто попал в черный мешок тяжелого, полного ужасов, сна и добивался пробуждения, выхода из таинственной сумятицы этих противоречивых чувств.

* * *

Так прошло четыре месяца — месяцы непрерывного восхождения и духовного преображения. Семестр близился к концу. С чувством тревоги я шел навстречу каникулам: я полюбил мое чистилище, и плоский, ограниченный быт родительского дома рисовался мне, как тяжелая ссылка. Втайне я уже замыслил написать родителям, что меня задерживает здесь серьезная работа; я уже придумывал ловкое сплетение отговорок и лжи, чтобы продлить эту цепь поглощавших меня переживаний. Но судьба уже распорядилась мною, и предуказаны были сроки и часы. И этот час надвигался, невидимый, как удар колокола, дремлющий в металлической массе: придет время — и он призовет, сурово и негаданно, одних к труду, других к расставанию.

Как прекрасно, как предательски прекрасно начался этот роковой вечер! Я сидел с ними за столом. Окна были раскрыты, и сквозь затемненные рамы медленно вливалось сумеречное небо, сиявшее белыми облаками. Что-то мягкое, ясное, глубоко западающее в душу излучал их величественный отблеск. Спокойно, мирно текла беседа между мною и сидевшей за столом. Мой учитель молчал, но его безмолвие витало, точно сложив крылья, над нашей беседой. Украдкой я посмотрел на него: какая-то удивительная просветленность была в нем сегодня, какая-то особенная тревога, далекая от всякого смятения, — такая же, как в сиявших нам летних облаках. Время от времени он подымал свой бокал к свету, любуясь окраской, и, когда мой взор радостно ловил этот жест, он, слегка улыбаясь, подымал стакан, как бы приветствуя меня. Редко я видел

его лицо таким ясным, редко бывали его движения так округлы и спокойны. Он сидел, сияющий, почти торжественный, как будто прислушиваясь к какой-то неслышной музыке или к невидимому разговору. Его губы, обычно дрожащие мелкими волнами, покоились мягко, как разрезанный плод; на его лбу, обращенном к окнам, отражался мягкий свет, и он казался мне еще прекраснее, чем всегда. И странно, и отрадно было видеть его таким умиротворенным: был ли это отблеск ясного летнего вечера, проникла ли благотворная мягкость воздуха в его душу, или изнутри исходил этот свет? Но, привыкнув читать в его лице, как в раскрытой книге, я чувствовал: какой-то кроткий дух милосердной рукой коснулся извилин и ран его сердца.

И поднялся он так же торжественно, кивком головы приглашая меня в кабинет. Его привычная торопливость уступила место важной медлительности. Сделав несколько шагов, он вернулся обратно и — тоже необычная вещь — взял из шкафа нераскупоренную бутылку вина. Его жена, казалось, тоже заметила в нем что-то странное: подняв глаза от своей работы, она удивленно смотрела ему вслед, с любопытством наблюдая его непривычную торжественность.

Кабинет, по обыкновению, совершенно темный, охватил нас своим уютным мраком: только лампа отбрасывала золотистый круг на белизну приготовленных на столе листков бумаги. Я занял свое место и повторил последние фразы из рукописи: их ритм служил для него как бы камертоном, определявшим дальнейшее течение речи. Но в то время как, обыкновенно, непосредственно за последней прочитанной мною фразой звучала следующая, на этот раз звук оборвался. Тишина наполнила комнату и давила меня, как бы нависая со стен и создавая напряжение. Он как будто еще не собрался с мыслями — я слышал за спиной его нервные шаги.

— Прочтите еще раз, — непривычно задрожал его голос. Я повторил последний абзац. Не успел я произнести последнее слово, как он подхватил его и продолжал диктовать особенно быстро и сжато. В нескольких фразах выросла сцена. До сих пор он развивал культурные предпосылки драмы: фрески того

времени, отрывок истории. Теперь он сразу обратился к театру, который, отказавшись от бродяжничества, становится оседлым, создает себе постоянное жилище, приобретает права и привилегии: возникает «Театр Розы», потом «Фортуна» — деревянные балаганы для деревянных представлений. Но крепнет и мужает драматическая литература — и вот мастера сколачивают для нее новую дощатую оболочку. На берегу Темзы, на сырой, болотистой почве вырастает грубое деревянное здание с неуклюжей шестиугольной башней — театр «Глобус», на сцене которого появляется великий мастер Шекспир. Будто выброшенный морскими волнами странный корабль, с красным разбойничьим флагом на мачте, стоит оно, бросив якорь и крепко врезавшись в прибрежный ил. В партере, будто в гавани, шумя, толпится чернь; с галерей снисходительно улыбается и болтает с актерами высший свет. Публика нетерпеливо требует начала. И вот — до сих пор я помню его слова — закипела буря слов, забушевало безграничное море страстей, и с этих дощатых подмостков изливаются кровеносные волны в человеческие сердца всех времен, всех народов. Таков этот исконный прообраз человека — неисчерпаемый, неповторимый, веселый и трагический, полный разнообразия — театр Англии — шекспировская драма.

Его речь внезапно оборвалась. Наступило продолжительное тяжелое молчание. Обеспокоенный, я взглянул на него: мой учитель стоял, одной рукой судорожно опершись о стол в знакомой мне позе изнеможения, но на этот раз в его оцепенении было что-то пугающее. Я вскочил и с тревогой спросил его: не прекратить ли работу? Он только взглянул на меня, с трудом переводя дыхание, — взглянул пристально и неподвижно. Но вот засверкали голубым светом зрачки его глаз, он приблизился ко мне и произнес:

— И вы ничего не заметили? — Он проникательно посмотрел на меня.

— Что? — спросил я нетвердо.

Он глубоко вздохнул и улыбнулся; за долгие месяцы впервые я вновь почувствовал его обволакивающий, мягкий взор:

— Первая часть кончена.

Мне стоило труда подавить вопль радости — так поразила меня волнующая неожиданность. Как только я мог не заметить! Да, это было законченное здание, стройная башня, возведенная на фундаменте прошлого и приводившая к порогу елизаветинской эпохи. Теперь они могут выступить, — и Марло, и Бен Джонсон, и Шекспир — их славный соперник! Его труд, наш труд, праздновал свой первый день рождения. Поспешно я пересчитывал листки. Сто семьдесят убористо написанных страниц заключала эта первая, самая трудная часть: дальше должно было следовать свободное творчество, тогда как до сих пор изложение было связано историческими данными. Теперь уже нет сомнения, что он доведет до конца свой труд — наш труд!

Я не знаю, как выразилась моя радость, моя гордость, мое счастье. Но, должно быть, мой восторг вылился в экзотические формы; его улыбающийся взор сопутствовал мне, в то время как я метался, то пересчитывая последние слова, то поспешно считая листки, любовно ощупывая и взвешивая их, то погружаясь в вычисления, сколько времени потребуется для окончания всей работы. Его глубоко затаенная гордость любовалась своим отражением в моей радости: растроганный, он, улыбаясь, смотрел на меня. Медленно он подошел ко мне близко-близко, протянул мне обе руки и устремил на меня неподвижный взор. Постепенно его зрачки, обычно загорающиеся только на миг, наполнялись одушевленной, ясной синевой, какую знают только две стихии — водные глубины и глубины человеческого чувства. И эта сияющая синева, разливаясь из его глаз, постепенно наполнила и меня: я чувствовал, как ее теплая волна мягко вошла в меня и разлилась, вызвав неопишное чувство наслаждения; грудь ширилась от этой брызжущей, нежащей мощи, и луч полуденного солнца проник в мою душу. И сквозь этот блеск донесся ко мне его голос:

— Я знал, что никогда не предпринял бы эту работу без вас; никогда я вам этого не забуду. Вы дали полет моим утомлен-

ным крыльям; вы собрали все, что осталось от моей утраченной, рассеявшейся жизни. Только вы! Никто не сделал для меня так много; никто, кроме вас, не протянул мне братскую руку помощи. И потому я благодарю не вас, а... тебя. Пойдем! Проведем этот час, как братья.

Он мягко привлек меня к столу и взял в руки приготовленную бутылку. Два бокала ожидали нас: в знак благодарности, он по-братски разопьет со мной бутылку вина. Я дрожал от радости: ничто не волнует наши чувства так глубоко, как внезапное исполнение пламенного желания. Непреложный знак доверия, разрешивший мое бессознательное томление, в эту минуту благодарности нашел себе самую прекрасную форму: братское «ты», переброшенное через пропасть лет, и тем более драгоценное, чем неизмеримее было преодолеваемое им расстояние. Уже звенела бутылка в ожидании таинства, которое должно было окончательно утвердить в вере мое неуверенное чувство, и светлой радостью отдавался во мне этот ясный, дрожащий звон. Но наступлению торжественной минуты мешало маленькое препятствие: бутылка была закупорена, и не было штопора. Он хотел пойти за ним, но, угадывая его намерение, я поспешно кинулся в столовую — я сгорал от нетерпеливого ожидания этой минуты окончательного успокоения моего все еще не верившего счастьем сердца.

Стремительно открыв дверь в темный коридор, я в темноте наткнулся на что-то мягкое, быстро подавшееся назад: это была жена моего учителя; очевидно, она подслушивала нас. Несмотря на сильный толчок, она не издала ни звука; молчал и я, в испуге не решаясь двинуться с места. Прошло мгновение: молча, сконфуженные, мы стояли друг перед другом; но вот в темноте послышались тихие шаги, сверкнул свет, и я увидел бледные, вызывающие черты женщины, прислонившейся спиной к шкафу. Меня встретил серьезный взгляд ее глаз, и что-то мрачное, предостерегающее, зловещее было в этой неподвижной фигуре. Но она не проронила ни слова.

Мои руки дрожали, когда, после длительного, нервного, полуслепého нащупывания, я, наконец, нашел штопор. Дваж-

ды я прошел мимо нее, и каждый раз я встречал ее неподвижный взгляд, блестящий жестко и мрачно, как полированное дерево. Ее упрямая поза не оставляла сомнения в том, что она твердо решила не покидать своего наблюдательного поста и продолжать недостойный шпионаж. И эта непоколебимость смутила меня: я невольно согнулся под этим упорным, предостерегающим, обращенным на меня взглядом. И когда, наконец, неверными шагами я вернулся комнату, где мой учитель нетерпеливо держал в руках бутылку, безграничная радость, только что владевшая мною, обратилась в леденящую тревогу. А он — как беззаботно он поджидал меня, как приветливо встретил меня его взор! Как долго я мечтал увидеть его именно таким, безоблачным! А теперь, когда впервые он умиротворенно сиял передо мной, открыв для меня свое сердце, — я не мог произнести ни слова: будто сквозь невидимые поры испарилась вся моя затаенная радость. Какое-то ужасное подозрение закрадывалось в душу и сковывало меня. Смущенно, почти со стыдом, я слушал слова благодарности и братское «ты», сливавшееся со звоном бокалов. Дружески положив мне руку на плечо, он подвел меня к креслу. Мы сидели друг против друга; его рука покоилась в моей. Впервые он предстал передо мной с открытым сердцем. Но слова застревали у меня в горле: невольно мой взор обращался к двери, за которой, может быть, стоит она и подслушивает. «Она подслушивает, — неотступно думал я, — она ловит каждое слово, обращенное ко мне, каждое слово, сказанное мною. Но почему, почему именно сегодня?» И когда он, обволакивая меня своим согревающим взглядом, вдруг сказал: «Сегодня я расскажу тебе о своей юности», я умоляющим жестом отклонил его предложение. Испуг мой был так очевиден, что он с удивлением посмотрел на меня.

— Не сегодня, — бормотал я, — не сегодня... простите. — Мысль, что он мог выдать себя той, о чьем присутствии я должен был молчать, приводила меня в ужас.

Мой учитель взглянул на меня неуверенно.

— Что с тобой? — спросил он, слегка огорченный.

— Я устал... простите... я слишком взволнован... — я под-

нялся, дрожа всем телом. — Я думаю, лучше мне уйти. — Невольно я посмотрел мимо него на дверь, за которой подзревал насторожившееся любопытство ревнивого соглашения.

Он тоже поднялся. Тень проскользнула по его лицу.

— Ты в самом деле хочешь уйти?.. Именно сегодня? — Он держал мою руку, отяжелевшую от какого-то невидимого груза. Вдруг он резко выпустил ее, и она упала, как камень. — Жаль, — сказал он разочарованно, — мне так хотелось побеседовать с тобой откровенно! Жаль! — И глубокий вздох, как черная бабочка, пронесся по комнате. Я был полон стыда и непонятного страха. Неверными шагами я направился к двери и тихо закрыл ее за собой.

* * *

С трудом я добрался до своей комнаты и бросился на постель. Но я не мог уснуть. Никогда до сих пор я не ощущал в такой степени, что только тонкий, непроницаемый слой отделяет меня от их мира. И обостренным чутьем я знал, что и внизу тоже не спят; не глядя, я видел, не слушая — слышал, как он беспокойно ходит взад и вперед по своей комнате, в то время как она боязливо притаилась где-нибудь в столовой или, подслушивая, бродит безмолвным призраком. Но я чувствовал, что глаза их не смыкались, и их бессонница охватила и меня, навевая ужас; как кошмар, давил меня этот тяжелый безмолвный дом со своими тенями и мраком.

Я сбросил одеяло. Мои руки горели. Куда я попал? Я подошел вплотную к тайне, ее горячее дыхание уже почти коснулось моего лица, — и снова она ускользнула; но ее тень, ее молчаливая, непроницаемая тень с тихим шелестом блуждала вокруг меня; я чувствовал ее жуткое присутствие в доме; крадучись, как кошка, тихо ступая на мягких лапах, всегда она подстерегала меня, то приближаясь, то удаляясь, прикасаясь ко мне своей наэлектризованной шерстью, живая и все же призрачная. И в темноте мне все чудился его обволакивающий взгляд, мягкий, как его протянутая рука, и другой взгляд —

пронзительный, угрожающий, испуганный взгляд его жены. Какое мне дело до их тайны? Почему я очутился с завязанными глазами посреди их бушующих страстей? Зачем толкали они меня в свой непонятный раздор и взвалили на мои плечи эту пылающую ношу гнева и ненависти?

Голова моя все еще горела. Я вскочил и открыл окно. Мирно покоится город под летними облаками. Еще светятся огни в окнах, там сидят люди — кто в дружеской беседе, кто за книгой, кто наслаждаясь музыкой. И, конечно, спокойным сном спят там, где огонь уже погашен. Над крышами отдыхающих домов стелилась, как свет луны в серебристом тумане, мягко опустившаяся тишина и кроткий покой; и одиннадцать ударов башенных часов коснулись слуха всех бодрствующих и дремлющих. Только я один тревожно метался, ища выхода из злой осады чужих мыслей; лихорадочно стремилась душа разгадать этот волнующий шорох.

Но что это? Как будто шаги по лестнице? Я прислушиваюсь. И действительно, кто-то ощупью бродит в темноте, осторожными, нерешительными, нетвердыми шагами подымается по ступенькам. Мне был знаком этот жалобный стон протоптанной лестницы. Они направлялись ко мне — эти шаги: кроме меня, никто не жил в этой мансарде, не считая глухой старухи, которая давно уже спала и никого не принимала. Неужели мой учитель? Нет, это не его торопливая, нервная походка: эти шаги нерешительны; боязливо они останавливаются — вот опять! — на каждой ступеньке: так приближается вор, преступник, но не друг. Я прислушивался так напряженно, что у меня в ушах зазвенело. Дрожь пробежала по всему телу. Но вот щелкнул в замке ключ. Вот он уже у дверей, этот страшный гость. Легкое дуновение ветра коснулось моих голых ног, — значит, входная дверь открылась. Но ключ был только у него — у моего учителя. А если это он, то почему так нерешительно, будто чужой? Неужели он беспокоился, хотел посмотреть, что со мной? И почему он неподвижно остановился в передней?.. Умолкли приближавшиеся воровские шаги. Я остолбенел от ужаса. Мне хотелось крикнуть, но голос не повиновался мне.

Я хотел отпереть, но ступни будто прилипли к полу. Только тонкая перегородка отделяла меня от страшного гостя. Но ни один из нас не делал ни шага.

Но вот раздался удар башенных часов: только один удар — четверть двенадцатого. И этот удар привел меня в чувство. Я открыл дверь.

И действительно, передо мной стоял мой учитель со свечой в руке. Ветерок, возникший от быстро распахнувшейся двери, заставил вздрогнуть голубое пламя, и за ним зашаталась, как пьяная, от стены к стене, вырвавшись из своего оцепенения, огромная, вздрагивающая тень. Но и он, увидев меня, сделал движение: он съёжился, как человек, который проснулся от неожиданно коснувшейся его струи холодного воздуха и который невольно натягивает на себя одеяло. Он подался назад: свеча, капая, колебалась в его руке.

Я дрожал, испуганный почти до потери сознания.

— Что с вами? — с трудом пролепетал я.

Он посмотрел на меня, не говоря ни слова: ему что-то мешало говорить. Наконец, он поставил свечу на комод, и тень, носившаяся по комнате, как летучая мышь, успокоилась. Он попытался заговорить:

— Я хотел... я хотел... — бормотал он.

Голос опять оборвался. Он стоял, опустив глаза, как пойманный вор. Невыносимо было это чувство страха и этот столбняк, охвативший нас — меня, в одной рубашке, дрожавшего от холода, и его, ушедшего в себя, смущенного, пристыженного.

Вдруг он выпрямился во весь рост и подошел ко мне вплотную. Улыбка, злая улыбка фавна, сверкавшая где-то в глубине глаз (губы его были крепко сжаты), оскаливалась на меня, как незнакомая маска. И, подобно змеиному жалу, прорезал язвительный голос:

— Я хотел сказать вам... Оставимте лучше это «ты»... Это... это... не годится между учеником и учителем... понимаете... надо соблюдать дистанцию... да-с... дистанцию.

И он смотрел на меня с такой ненавистью, с такой оскорби-

тельной, бьющей по щекам отчужденностью, что его рука невольно сжималась в судороге. Я отшатнулся. Обезумел ли он? Был ли он пьян? Он стоял, сжав кулаки, как будто хотел броситься на меня или ударить меня по лицу.

Но этот ужас длился только один миг: уже через секунду убийственный взгляд погас. Он повернулся, пробормотал что-то вроде извинения и схватил свечу. Словно черный услужливый дьявол, поднялась придавленная к земле тень и заколебалась перед ним, направляясь к двери. И он вышел, прежде чем я успел собраться с мыслями и вымолвить слово. Дверь захлопнулась с сухим стуком, и лестница закрипела, измученно и тяжело, под его равномерными шагами.

* * *

Никогда я не забуду этой ночи: холодный гнев переходил в беспомощное, жгучее отчаяние. Как ракеты, взрывались пронзительные мысли. «За что он терзает меня? — тысячи раз мучительно вставал передо мной вопрос. — За что он так ненавидит меня — настолько, чтобы ночью прокрасться по лестнице и с такой злобой бросить мне в лицо тяжелое оскорбление? Что я ему сделал? Что я должен сделать? Как примирить его с собой, не ведая, в чем моя вина?» Пылая, бросался я в постель, снова вскакивал и опять скрючивался под одеялом. Но ни на минуту не покидал меня этот призрак — мой учитель, робко подкрадывающийся и смущенный моим присутствием, а за ним, загадочно чужая, огромная, колеблющаяся на стене тень.

Проснувшись утром после тяжелого забытья, прежде всего я стал себя уговаривать, что я видел дурной сон. Но на комод отчетливо виднелись круглые желтые пятна от стеариновой свечи. И посреди залитой солнцем комнаты ужасным воспоминанием стоял исподтишка подкравшийся, призрачный гость.

Все утро я просидел дома. Мысль о встрече с ним повергала меня в уныние. Я пробовал писать, читать — ничего не удавалось. Мои нервы, как взрывчатое вещество, каждую минуту

грозили взорваться в судорожном рыдании, в вое; мои пальцы дрожали, как листья на дереве — я не был в состоянии их унять. Колени сгибались, как будто перерезаны их сухожилия. Что делать? Что делать?

Я доводил себя до изнеможения неотступным вопросом: что все это могло означать? Но только не двигаться с места, не спускаться, не предстать перед ним, пока нервы не окрепнут, пока я не уверен в себе! Снова я бросился на постель, голодный, непричесанный, неумытый, расстроенный, и снова мысли пытались пробиться сквозь тонкую стенку: где он сидел теперь? что он делал? бодрствовал ли он, как я? переживал ли такую же пытку?

Настало время обеда, а я все еще бился в судорогах своего отчаяния, когда слышались, наконец, шаги на лестнице. Мои нервы забили в набат: но шаги были легкие, беззаботные, перескакивавшие через ступеньку. Раздался стук в дверь. Я вскочил, не открывая.

— Кто там? — спросил я.

— Почему вы не идете обедать, — ответил несколько раздраженный голос его жены. — Вы больны?

— Нет, нет, — пробормотал я сконфуженно, — я сейчас приду. — Мне не оставалось ничего другого, как поспешно одеться и сойти вниз; но я должен был держаться за перила лестницы — так у меня подкашивались ноги.

Я вошел в столовую. Перед одним из двух приборов сидела жена моего учителя и поздоровалась, упрекнув меня, что приходится напоминать о времени обеда. Его место оставалось пустым. Я чувствовал, как кровь прилиwała к голове. Что означало его неожиданное отсутствие? Неужели и он боялся встречи? Неужели он стеснялся меня, или он не хотел сидеть со мной за столом? Наконец я решился спросить, не придет ли профессор.

Она удивленно посмотрела на меня: «Разве вы не знаете, что он уехал сегодня утром?»

— Уехал? — пробормотал я. — Куда?

В ее лице тотчас же появилось напряжение:

— Об этом мой супруг не довел до моего сведения; вероятно, в одну из своих обычных прогулок. — И вдруг, повернувшись ко мне, она резко спросила: — Но как же вы об этом не знаете? Ведь еще вчера ночью он подымался к вам. Я думала, он пошел проститься с вами. Странно, действительно, странно, что он и вам ничего об этом не сказал.

— Мне! — вырвался крик из моих уст. И с этим криком, к моему стыду, к моему позору, вырвалось все, что я пережил за последние часы. Я был уже не в силах сдерживаться: плач, неистовое судорожное рыдание, бешеный поток слов и криков, — все вылилось в один вопль безумного отчаяния, вырвавшийся из стесненной груди; я выплакал, — да, я сбросил с себя, утопил в истерических рыданиях всю душевную муку. Я бил кулаками по столу, я бесился, как обезумевший ребенок; слезы ручьями текли по лицу, и в них разрядилась гроза, неделями томившая меня своей тяжестью. И вместе с облегчением этот бурный взрыв принес чувство безграничного стыда перед нею за свою откровенность.

— Что с вами! Ради Бога! — она вскочила, растерявшись. Но затем она быстро подошла ко мне и отвела меня на диван. — Ложитесь. Успокойтесь. — Она гладила мне руки, проводила рукой по моим волосам, в то время как все мое тело еще содрогалось от последних рыданий.

— Не мучьте себя, Роланд, — не позволяйте себя мучить. Мне все это знакомо, я все это предчувствовала. — Она все еще гладила мои волосы. — Я сама знаю, как он может запутать человека — никто не знает этого лучше, чем я, — голос ее стал жестким. — Но, поверьте, мне всегда хотелось предостеречь вас, когда я видела, что вы всецело опираетесь на того, кто сам лишен опоры. Вы его не знаете, вы слепы, вы дитя — вы ничего не подозревали до сегодняшнего дня, не подозреваете и сейчас. Или, может быть, сегодня у вас впервые открылись глаза — тем лучше для него и для вас.

Она нежно наклонилась ко мне; ее слова доносились ко мне как будто из хрустальной глубины, и я чувствовал успокаивающее прикосновение ее рук. Отрадно было встретить, нако-

нец, каплю сострадания, и не менее отрадно вновь почувствовать нежное касание женской, почти материнской руки. Может быть, слишком долго я был лишен этого, и, когда теперь, сквозь вуаль скорби, я почувствовал нежную заботливость женщины, мне улыбнулся луч света в бездонном мраке охватившего меня горя. Но мне было стыдно — как мне было стыдно этого предательского припадка, этого выставленного напоказ отчаяния! И, против моей воли, случилось так, что, едва собравшись с силами, я еще раз дал волю бурному негодованию, рассказывая, как он привлекает меня к себе, чтобы оттолкнуть через минуту, как он меня преследует, как он бывает суров со мной без всякого повода, — этот мучитель, к которому я все же так привязан, которого я, любя, ненавижу и, ненавидя, люблю. И снова охватило меня волнение, и снова я услышал слова успокоения, и нежные руки мягко усаживали меня на оттоманку, с которой я вскочил в пылу возбуждения. Наконец я успокоился. Она в раздумье молчала; я чувствовал, что она понимает все — и, может быть, больше, чем я сам.

В течение нескольких минут нас связывало молчание. Она поднялась первая.

— Теперь будет — довольно вам быть ребенком, опомнитесь: ведь вы мужчина. Садитесь к столу и ешьте. Ничего трагического не произошло — недоразумение, которое должно разъясниться, — и, заметив мою растерянность, она горячо прибавила: — Оно разъяснится, я больше не позволю ему завлекать и смущать вас. Этому должен быть положен конец: он должен, наконец, научиться немного владеть собой. Вы слишком хороши, чтобы стать предметом его приключения. Я с ним поговорю, положитесь на меня. А теперь пойдете к столу.

Пристыженный и безвольный, я вернулся к столу. Она говорила с какой-то поспешностью о разных пустяках, и я был в душе благодарен ей за то, что она как будто не придавала значения моему неуместному взрыву и чуть ли уже не забыла о нем. Завтра воскресенье, говорила она, и она с доцентом В. и его невестой собирается на прогулку к соседнему озеру; я

должен принять в ней участие, развлечься и забыть о занятиях. Мое тревожное самочувствие — следствие утомления и нервного возбуждения: на воде или на прогулке по суше я опять приобрету душевное равновесие. Я обещал прийти. На все я согласен, лишь бы не оставаться в одиночестве в своей комнате, со своими мятущимися во мраке мыслями!

— И сегодня после обеда нечего вам сидеть дома! Гуляйте, развлекайтесь, веселитесь! — настойчиво прибавила она.

«Как странно, — подумал я, — как она угадывает мои затаенные чувства, как она, чужая, всегда знает, что мне нужно, чего мне не хватает, в то время как он, зная меня так близко, ошибается во мне и угнетает меня». И это я обещал ей. И, остановив на ней благодарный взгляд, я увидел совсем другое лицо: насмешливость, надменность, придававшая ей здоровый, веселый, мальчишеский вид, исчезли, и появилось в нем выражение мягкости и участия: никогда я не видел ее такой взволнованной. «Почему он никогда не смотрит на меня так ласково? — страстным вопросом шевелилось во мне смутное чувство. — Почему он никогда не чувствует, что причиняет мне боль? Почему он ни разу не коснулся меня такой успокаивающей рукой?» Я благоговейно поцеловал ее руку, которую она поспешно отдернула.

— Не мучьте себя, — повторила она еще раз, и ее голос прозвучал возле самого моего уха.

Но снова вокруг ее губ залегла жесткая складка: резко поднявшись, она тихо проговорила:

— Поверьте мне: он этого не стоит.

И эта еле слышно прозвучавшая фраза опять растравила едва затянувшуюся рану.

* * *

Все, что я делал в этот день и в этот вечер, до того смешно и ребячливо, что я долгое время стеснялся об этом вспоминать, и всякий раз, как мысли мои останавливались на этих продиктованных страстью безумствах, так мало гармонировавших с

трагедией чувства, которую я переживал, какой-то внутренний запрет прогонял это воспоминание. Сегодня я не испытываю этого стыда — напротив, я глубоко понимаю этого необузданного, страстного юношу, каким я был тогда, эту глупо трогательную попытку побороть свою слабость.

Будто в противоположном конце необычайно длинного коридора, будто в телескоп, я вижу растерянного, охваченного отчаянием юношу. Он подымается к себе наверх, не зная, что ему делать с собой. И вот он надевает сюртук, придает себе бодрую походку, извлекает из себя решительные, развязные жесты, и быстрыми, твердыми шагами отправляется на улицу. Да, это я, я узнаю себя, я знаю каждую мысль этого глупого, измученного мальчика. Я знаю; я выпрямился, встал перед зеркалом и сказал себе: «Чихать мне на него! Ну его к черту! Чего я мучаюсь из-за этого старого дурака? Она права: надо веселиться, надо развлекаться! Вперед!»

И вот, в таком настроении я вышел тогда на улицу. Это был порыв к освобождению, и в то же время — бегство, трусливый уход от сознания, что эта бодрость напускная и что ледяной ком, застыв, все так же неотступно, так же безысходно давит сердце. Я помню: я шагал, сжимая в руке тяжелую палку, бросая вызывающий взгляд каждому встречному студенту: во мне шевелилось опасное желание вступить с кем-нибудь в спор, дать выход съедавшей меня злости, выместить ее на первом встречном. Но, к моему огорчению, никто не обращал на меня внимания. Так я дошел до кафе, где обычно собирались мои товарищи по семинару, с намерением без приглашения сесть за их стол и малейшее замечание использовать, как повод к ссоре. Но и тут мое буйное настроение не нашло себе выхода: хороший день, вероятно, потянул многих за город, а двое-трое сидевших за столиком вежливо поклонились мне и не дали моему лихорадочному возбуждению ни малейшего повода к ссоре. Раздосадованный, я быстро сменил кафе на ресторан определенного пошиба, где подонки предместья веселились за кружкой пива, в клубах табачного дыма, под дребезжащие звуки женского хора. Я быстро опрокинул в себя

две-три кружки пива, пригласил к себе за стол глупую, напудренную, толстую особу, выделявшуюся, благодаря шраму на лбу, которым наградил ее пьяный матрос, и ее подругу — такую же намазанную, высохшую проститутку — и находил болезненную радость в том, чтобы производить как можно больше шума. В маленьком городе все знали меня, как ученика профессора, и я испытывал обманчивое, мальчишеское удовлетворение от мысли, что компрометирую своего учителя: пусть они видят, думал я, что мне плевать на него, что я о нем не забочусь, — и я ущипнул эту толстую бабу, так что она вскрикнула с громким хохотом. За этим опьянением неистовой яростью последовало настоящее опьянение алкоголем, так как мы пили все подряд — и вино, и водку, и пиво; стулья падали от нашего гвалта, так что соседи предусмотрительно пересаживались подальше. Но я не испытывал стыда — напротив: «Пусть он об этом узнает, — повторял я себе в упрямом бешенстве, — пусть видит, как он мне безразличен; я нисколько не опечален, не огорчен — напротив!»

«Вина подайте, вина!» — кричал я, стуча кулаками по столу так, что стаканы звенели. В конце концов, я двинулся с обеими женщинами — одна по правую руку, другая по левую — через главную улицу, где в девять часов обычно встречались для мирных прогулок студенты и девицы, военные и штатские. Наш зыбкий, неопрятный трилистник шумно продвигался по мостовой, пока, наконец, не подошел к нам шуцман с энергичным требованием вести себя скромнее. Я не сумею в точности описать, что произошло потом, — густой, сивушный угар застилает мою память. Я знаю только, что с отвращением я откупился от этих двух пьяных баб, где-то еще выпил кофе и коньяк, перед зданием университета, к удовольствию сбежавшейся молодежи, произнес филиппику против профессоров. Наконец, под влиянием глухого инстинкта, побуждавшего меня унижать себя все больше и больше и — безумная мысль безумно-страстного гнева! — тем выразить ему свое презрение, я решил отправиться в публичный дом, но не нашел дороги и, наконец, тяжелыми шагами добрал до дому. От-

крыть ворота представило немалый труд для моих плохо повиновавшихся рук; с трудом я поднялся на первые ступеньки.

Но едва я дошел до его двери, как опьянение соскочило с меня, будто я окунулся головой в холодную воду. Отрезвившись, я вдруг увидел искаженную бессильным бешенством личину своего безумия. Стыд обуял меня. И совсем тихо, рабски покорно, как побитая собака, я прокрался, стараясь не быть замеченным, к себе в комнату.

* * *

Я спал, как убитый. Когда я проснулся, солнце заливало пол и подбиралось к постели. Я быстро вскочил. В затуманенной голове постепенно вставало воспоминание о вчерашнем вечере. Но я старался подавить подымавшееся чувство стыда; я больше не желал стыдиться. «Ведь это его вина, — уговаривал я себя, — только из-за него я так опустился». Я успокаивал себя, что мои вчерашние похождения позволительны студенту, который в течение многих недель знал только работу, одну работу. Но я не чувствовал облегчения от этих оправданий и, угнетенный, я спустился к жене моего учителя, помня вчерашнее обещание отправиться вместе с ней за город.

Странно: как только я прикоснулся к ручке его двери, я опять ощутил его в себе, и с его образом вернулась та же жгучая, безумная боль, то же дикое отчаяние. Я тихо постучал. Его жена встретила меня удивительно мягким взглядом.

— Какие глупости вы делаете, Роланд! — сказала она, скорее с сочувствием, чем с упреком. — Зачем вы мучите себя?

Я был ошеломлен: и она уже знает о моих глупых проделках. Но тут же она постаралась рассеять мое замешательство:

— Зато сегодня мы будем благоразумны. В десять часов придет доцент В. со своей невестой, мы поедем за

город, будем кататься на лодке, плавать и утопим все эти глупости.

Я робко задал совершенно излишний вопрос: «Приехал ли профессор?» Она посмотрела на меня, не отвечая, — ведь знал же я, что вопрос напрасный.

Ровно в десять часов пришел доцент, молодой физик. Как еврей, он держался в стороне от академического общества. Он, единственный, бывал у нас, живших так замкнуто. С ним пришла его невеста или, скорее, подруга, — молодая девушка, с уст которой не сходил смех, наивная, немного вульгарная, но приятная спутница для веселой прогулки. Прежде всего мы отправились по железной дороге, не переставая жевать, болтая и пересмеиваясь, к близлежащему маленькому озеру. Эти недели напряженной работы до такой степени отучили меня от веселой беседы, что уже этот первый час опьянил меня, как легкое, щиплющее язык вино. И в самом деле, им великолепно удалось ребяческими шалостями извлечь мою мысль из привычного, мрачно жужжащего улья, в котором она кружилась; и едва я, пустившись вперегонки с молодой девушкой, ощутил свои мускулы, как вернулась ко мне прежняя, беззаботная молодость. У озера мы взяли две лодки. Жена моего учителя села у руля моей лодки, в другой разделили весла доцент и его подруга. И едва мы отчалили, как нас обуял спортивный азарт. Мы устроили гонки. Я был в худшем положении, так как должен был грести один, в то время как мои соперники гребли вдвоем. Но, сняв пиджак, я так приналег на весла, что, как опытный спортсмен, все время обгонял соседнюю лодку. Бесперывно сыпались с той и с другой стороны подзадоривающие иронические замечания, и, не обращая внимания ни на сильную жару, ни на градом катившийся пот, мы, охваченные спортивным азартом, работали, как каторжники на галерах. Но вот близка уже цель — покрытая лесом узкая коса. Еще ожесточеннее мы взялись за дело, и, к удовольствию моей спутницы, не менее, чем я, увлеченной соревнованием, нос нашей лодки первым врезался в прибрежный песок.

Я выпрыгнул из лодки, разгоряченный, опьяненный непривычным солнечным светом, возбужденно текущей по жилам кровью и радостью победы: сердце колотилось в груди, платье прилипло к потному телу. Доцент был в таком же состоянии, и наши дамы, вместо того, чтобы воздать хвалу нашему усердию, жестоко высмеивали наше сопенье и довольно плачевный вид. Но, наконец, они дали нам время остыть. Среди шуток и смеха, были установлены два отделения для купанья — мужское и женское — справа и слева от кустарника. Мы быстро одели купальные костюмы, за кустарником засверкало белоснежное белье, голые руки и, пока мы еще собирались, обе женщины уже плескались в воде. Доцент, менее утомленный, чем я, победивший его в гонке, поспешил за ними. Я же, чувствуя, как сильно еще бьется сердце от слишком напряженной работы, уютно улегся в тени и смотрел, как тянулись надо мной облака; чувствуя сладкое томление во всем теле, я отдался полному отдыху.

Но через несколько минут донесся из воды голос: «Роланд, вперед! Состязание! Приз за победу!» Я не двинулся с места: мне казалось, что я могу пролежать так тысячу лет, подставив тело горячим лучам солнца и прохладному дуновению мягкого ветерка. Но опять послышался смех, голос доцента: «Он бастует! Здорово мы его потрепали! Притащите лентяя!» И в самом деле, раздался приближающийся плеск, и вот уже совсем близко ее голос: «Роланд, идем! Состязаться! Мы им покажем!» Я не отвечал: мне доставляло удовольствие заставить себя искать. «Где же он?» — заскрипел щепень, я услышал, что босые ноги бегут по берегу, и вдруг она очутилась передо мной. Мокрый купальный костюм облегал мальчишески стройную фигуру.

— Вот вы где! Боже, какой лентяя! Но теперь живо, они уже почти на той стороне острова!

Я лежал на спине и лениво потягивался.

— Здесь гораздо лучше. Я вас догоню.

— Он не желает, — крикнула она, смеясь, складывая руки рупором по направлению к воде.

— В воду хвастунишку! — прозвучал издали голос доцента.

— Идемте, — нетерпеливо настаивала она, — не срамите меня.

Но я только лениво зевнул в ответ. Она, шутя и в то же время с досадой, сорвала с куста ветку. «Вперед!» — сказала она энергично и ударила меня веткой. Я приподнялся: она слишком сильно размахнулась, и тонкая красная полоска, будто кровь, выступила на моей руке.

— Теперь уж во всяком случае не пойду! — ответил я, будто шутя и в то же время слегка рассерженный. Но, разгневанная не на шутку, она повелительно сказала: «Идемте! Сейчас же!» И когда я, из упрямства, не двинулся с места, она еще раз ударила меня, и на этот раз еще сильнее. Я почувствовал острую, жгучую боль. Я гневно вскочил, чтобы вырвать у нее ветку. Она сделала прыжок, но я схватил ее за руку. Наши полуобнаженные тела невольно соприкоснулись в борьбе за обладание веткой. Я сильно сжал ее руку, чтобы заставить ее выпустить ветку. Она наклонилась назад — вдруг раздался легкий треск: у нее на плече оборвалась застежка купального костюма; левая половина его упала, обнажив грудь. На мгновение я остановил на ней свой взор и смутился. Дрожа, я отпустил ее руку. Она, покраснев, отвернулась, чтобы шпилькой кое-как поправить беспорядок. Я стоял, как вкопанный, не находя слов. Она тоже молчала. И с этой минуты установилось между нами какое-то томительное беспокойство, заглушить которое нам не удалось.

— Алло... алло... Где же вы? — слышались голоса с маленького острова.

— Иду, — ответил я поспешно и бросился в воду, воспользовавшись случаем выйти из затруднительного положения.

Сделав несколько движений, я испытал захватывающее наслаждение. Прозрачная прохлада стихии быстро рассеяла опасное возбуждение, и ропот крови уступил место более сильному и светлому чувству. Я быстро догнал их, вызвал доцента

на целый ряд состязаний, в которых я неизменно становился победителем, и мы поплыли обратно к косе, где жена моего учителя ожидала нас, уже одетая. Разобрав привезенные с собой корзины с провизией, мы устроили пикник. Весело и оживленно текла беседа, но мы оба невольно избегали обмена репликами. И если случайно встречались наши взоры, мы поспешно отводили их друг от друга, под влиянием одного и того же неприятного чувства: еще не сгладились ощущение неловкости от происшедшего инцидента, и каждый из нас вспоминал о нем со стыдливым беспокойством.

Время летело незаметно. Подкрепившись, мы снова сели в лодки, но спортивный пыл постепенно уступал место сладостному утомлению: вино, жара, солнечные лучи просачивались в кровь и придавали тяжесть телу. Доцент и его подруга уже позволяли себе маленькие интимности, которые вызывали в нас чувство неловкости; чем ближе придвигались они друг к другу, тем ревнивее хранили мы известную отдаленность; оставаясь с глазу на глаз, когда, во время прогулки в лесу, жених и невеста отставали от нас, чтоб обменяться поцелуями, мы испытывали смущение, и разговор наш прерывался. В конце концов, все были довольны, когда снова очутились в поезде: они — в предвкушении вечера, сулившего им новые радости, а мы — в надежде выйти, наконец, из этого неловкого положения.

Доцент и его подруга проводили нас до нашего дома. По лестнице мы поднимались одни. Едва мы вошли в дом, меня снова охватила мучительная мысль о нем. «Если бы он уже вернулся!» — подумал я с тоской, и, как будто прочитав на моих устах этот невидимый вздох, она проговорила: «Посмотрим, не вернулся ли он?»

Мы вошли. В квартире — тишина. В его комнате запустение. Невольно рисовало мое больное воображение его поникшую, трагическую фигуру в пустом кресле. И снова нахлынуло прежнее чувство озлобления: почему он уехал, почему покинул меня? Все яростнее подступал к горлу ревнивый гнев. Снова глухо бушевала во мне нелепая жажда

причинить ему боль, продемонстрировать ему свою ненависть.

Его жена неотступно следила за мной.

— Мы поужинаем вместе. Вы не должны сегодня оставаться в одиночестве.

Откуда она знала, что я боялся своей пустой комнаты, содрогался от скрипа лестницы, от гложущих душу воспоминаний? Все она угадывала во мне, каждую невысказанную мысль, всякое злое побуждение.

Какой-то непонятный страх обуял меня — страх перед самим собой, перед туманящей мыслью ненавистью к нему. Я хотел отказаться. Но струсил и остался.

* * *

Супружеская измена всегда внушала мне отвращение — но не из нравственного педантизма, не из лицемерного чувства приличия, даже не потому, что прелюбодеяние всегда является воровством, присвоением чужого тела, — но, главным образом, потому, что всякая женщина в такие минуты предает другого человека, каждая становится Далилой, вырывающей у обманутого тайну его силы или его слабости, чтобы выдать его врагу. Предательством кажется мне не то, что женщина отдается сама, но то, что, в свое оправдание, она с другого срывает покрывало стыда; не подозревающего измену, спящего она отдает на посмешище язвительному любопытству торжествующего соперника.

И потому самой недостойной низостью в моей жизни кажется мне не то, что, ослепленный безграничным отчаянием, я искал утешения в объятиях его жены — с роковой неизбежностью, без участия воли, мгновенно переплавилось ее сострадание в иное влечение; оба мы, сами того не сознавая, ринулись в эту пылающую бездну — нет, низостью было то, что я позволил ей рассказывать мне о нем самое интимное, выдать мне тайну их супружества. Зачем я не запретил ей говорить мне о том, что годами он избегал физической близости с нею, и делать какие-то смутные намеки? Зачем не прервал ее вла-

ственным словом, когда она выдавала мне самую интимную его тайну? Но я так жаждал узнать о нем все, мне так хотелось уличить его в неправоте по отношению ко мне, к ней, ко всем, что я с упоением выслушивал эти гневные признания — ведь это было так похоже на мои собственные переживания — переживания отвергнутого! Так случилось, что мы оба, из смутного чувства ненависти, совершили деяние, облеченное в личину любви; в то время как сливались воедино наши тела, мы думали и говорили о нем, только о нем. Временами ее слова причиняли мне боль, и мне было стыдно, что, ненавидя, я впадал в соблазн. Но тело уже не повиновалось моей воле; неудержимо оно отдавалось страсти. И, содрогаясь, я целовал губы, предавшие его.

* * *

На другое утро я поднялся к себе, полный жгучего стыда и отвращения. Теперь, когда не опьяняла меня близость ее горячего тела, мерзость моего предательства встала передо мной во всей своей неприкрытой наготы. Никогда больше — я это чувствовал — я не посмею взглянуть ему в глаза, пожать его руку: не его я ограбил, а себя — себя лишил самого ценного своего достояния.

Оставалось только одно спасение: бегство. Лихорадочно я стал укладывать свои вещи, книги, уплатил хозяйке; он не должен меня застать; я должен исчезнуть, без видимого повода, таинственно, как исчезал он. Но посреди поспешных сборов руки мои вдруг оцепенели: я услышал скрип лестницы и торопливые шаги — его шаги.

Должно быть, я был бледен, как мертвец: во всяком случае, он испугался.

— Что с тобой, мальчик? Ты нездоров? — спросил он.

Я отшатнулся. Я уклонился от него, когда он хотел меня поддержать.

— Что с тобой? — повторил он испуганно. — С тобой что-нибудь случилось? Или... или... ты еще сердишься на меня?

Судорожно я держался за подоконник. Я не мог смотреть на него. Его теплый, участливый голос бередил мою рану; я был близок к обмороку; я чувствовал, как разливается во мне пламенный поток стыда — горячий, пылающий, — обжигая и сжигая меня.

Он стоял, изумленный, в смущении. И вдруг — так робко, почти шепотом он задал странный вопрос:

— Может быть... тебе... что-нибудь... рассказали обо мне?

Не поворачиваясь к нему лицом, я сделал отрицательный жест. Но им, казалось, овладело какое-то опасение; он настойчиво повторял:

— Скажи мне... сознайся... тебе что-нибудь... рассказали обо мне... кто-нибудь... я не спрашиваю, кто.

Я отрицательно мотал головой. Он стоял, растерянный. Но вдруг он заметил, что мои чемоданы уложены, книги собраны и что своим приходом он прервал последние приготовления к отъезду. Взволнованно он приблизился ко мне:

— Ты хочешь уехать, Роланд? Я вижу... скажи мне правду.

Я взял себя в руки.

— Я должен уехать... простите меня... но я не в силах об этом говорить... я напишу вам.

Больше ничего я не мог выдать из судорожно сжатого горла, и каждое слово отдавалось болью в сердце.

Он оцепенел. Но вот вернулся к нему его усталый, старческий облик.

— Может быть, так лучше, Роланд... — заговорил он. — Да, наверное, так лучше... для тебя и для всех. Но прежде чем ты уйдешь, я хотел бы еще раз побеседовать с тобой. Приходи в семь часов, в обычное время... тогда мы простимся, как подобает мужчине с женщиной. Только не нужно бегства от самих себя... не нужно писем... то, что я тебе скажу, не поддается перу... Так ты придешь, не правда ли?

Я только кивнул головой. Мой взор все еще был обращен к окну. Но я не замечал утреннего блеска: густая, темная вуаль повисла между мной и миром.

В семь часов я в последний раз вошел в комнату, которую я так любил. Сквозь портьеры спускались сумерки; из глубины струилась белизна мраморных фигур; книги в черных переплетах тихо покоились за переливающимся перламутровым блеском стекол. Святилище моих воспоминаний, где слово впервые стало для меня магическим; где я испытал впервые восторг и опьянение духовного мира! Всегда я вижу тебя в этот час прощания и вижу любимый образ: вот он медленно встает с кресла и приближается ко мне, словно призрак. Только выпуклый лоб выделяется, как алебастровая лампада, на темном фоне комнаты, и над ним развеваются, как белый дым, седые волосы. И с трудом поднимается его рука навстречу моей. Теперь я узнаю этот обращенный ко мне серьезный взгляд и чувствую прикосновение его пальцев, мягко обхватывающих мою руку и усаживающих меня в кресло.

— Садись, Роланд, давай поговорим откровенно. Мы мужчины и должны быть искренни. Я не принуждаю тебя, но не лучше ли будет, если последний час, проведенный вместе, принесет нам полную ясность? Скажи мне, почему ты уходишь? Ты сердишься на меня за нелепое оскорбление?

Я сделал отрицательный жест. Как убийственна была эта мысль, что он, обманутый, чувствует за собой какую-то вину!

— Может быть, я еще чем-нибудь невольно обидел тебя? Я знаю, у меня есть странности. И я раздражал, мучил тебя против своего желания. Я никогда не говорил, как я благодарен тебе за твое участие — я это знаю, знаю; я знал это всегда — даже в те минуты, когда причинял тебе боль. Это ли послужило причиной — скажи мне, Роланд, — мне бы хотелось проститься с тобой честно.

Опять я отрицательно покачал головой: я не мог вымолвить ни слова. До сих пор его голос был тверд; но теперь он слегка вздрогнул.

— Или... я спрашиваю тебя еще раз... тебе рассказали обо мне что-нибудь... что-нибудь, что кажется тебе низким, от-

талкивающим... что-нибудь... что меня... что внушает тебе презрение ко мне?

— Нет!.. нет!.. нет... — вырвалось, словно рыдание, из моей груди: презирать! его!

Нетерпение послышалось в его голосе.

— В чем же дело?.. Что же это может еще быть?.. Ты устал от работы? Или что-то другое заставляет уехать?.. Может быть, женщина... не женщина ли?

Я молчал. И в этом молчании было что-то, что открыло ему глаза. Он подвинулся ближе и прошептал совсем тихо, но без всякого волнения и гнева:

— Да, это женщина?.. моя жена?

Я все еще хранил молчание. И он понял. Дрожь пробежала по моему телу: теперь, теперь, вот сейчас разразится, сейчас он бросится на меня, поколотит, накажет меня... и я почти жаждал этого, я страстно желал, чтобы он побил меня кнутом, меня — вора, изменника, чтобы он выгнал меня, как паршивую собаку, из своего опозоренного дома.

Но удивительно: он остался спокоен... и почти облегченно прозвучали слова, сказанные в раздумье, как бы самому себе: «Так это и должно было случиться». Он прошелся по комнате и, остановившись передо мной, сказал почти презрительно:

— И это... это ты так тяжело переживаешь? Разве она не сказала тебе, что она свободна; что может делать все, что ей угодно, что я не имею на нее никакого права... не имею ни права, ни желания что-либо запрещать ей? И почему бы ей поступить иначе? Ты молодой, яркий, прекрасный... ты был нам близок... Как ей было не полюбить тебя... тебя... прекрасного... юного?.. Как ей было не полюбить тебя? Я... — его голос вдруг задрожал. И он наклонился близко-близко ко мне — так, что я почувствовал его дыхание. И опять я был охвачен его теплым, обволакивающим взглядом с тем же удивительным блеском, как в те редкие, единственные минуты; все ближе и ближе он наклонялся ко мне.

И тихо шепнул, едва шевеля губами: «Я... я ведь тоже люблю тебя».

Содрогнулся ли я? Или невольно отшатнулся? Во всяком случае, изумленный испуг отразился на моем лице, потому что он вздрогнул, будто от удара. Тень омрачила его лицо. «Теперь ты презираешь меня? — спросил он совсем тихо. — Я тебе противен?»

Почему я не нашел ни одного слова в ответ? Почему я сидел, онемевший, чужой, ошеломленный, вместо того, чтобы подойти к нему, успокоить, утешить его? Но во мне бушевали воспоминания; вот он — шифр к языку этой загадочной смены настроений. Все я понял в это мгновение: порывы нежности и схватки тяжелой борьбы с опасным чувством, его одиночество и тень вины, грозно витавшей над ним; потрясенный, я понял его ночное посещение и озлобленное бегство от моей навязчивой страстности. Он любит меня... Я ощущал ее все время, эту любовь — нежную и робкую, то неодолимую, то с трудом подавляемую; я наслаждался ею, я ловил каждый мимолетно брошенный ею луч — и все же, эти слова, так чувственно и нежно прозвучавшие из уст мужчины, пробудили во мне ужас — грозный и в то же время сладостный. И, горя состраданием, смущенный, дрожащий, захваченный врасплох мальчик, я не нашел ни одного слова в ответ на его внезапно открывшуюся страсть.

Он сидел неподвижно, уничтоженный моим безмолвием.

— Неужели, неужели это так ужасно! — шептал он. — И ты... даже ты не можешь простить мне это... даже ты, перед кем я молчал так упорно, что едва не задохнулся... Никогда ни от кого я не таился с такой решимостью... Но хорошо, что ты знаешь теперь, это хорошо... так лучше... это было слишком тяжело для меня... невыносимо... надо, надо покончить с этим.

Сколько грусти, сколько стыдливой нежности было в этом признании! До глубины души проникал этот вздрагивающий голос. Мне было стыдно за мое холодное, бесчувственное, жестокое безмолвие перед этим человеком, который дал мне так много, как не давал никто, а теперь сидел передо мной —

трепещущий, униженный сознанием своей мнимой вины. Я сторал от жажды сказать ему слово утешения, но губы не подчинялись моей воле, и так смущенно, так растерянно я сидел, согнувшись в кресле, что он, наконец, взглянул на меня почти с досадой.

— Не сиди же, Роланд, как онемелый... Возьми себя в руки... Разве это в самом деле так ужасно? Тебе так стыдно за меня? Все ведь прошло, я признался тебе во всем... Давай простимся, по крайней мере, как подобает мужчинам, друзьям.

Но я все еще не владел собой. Он прикоснулся к моей руке.

— Иди сюда, Роланд, сядь ко мне. Мне стало легче теперь, когда ты знаешь все, когда между нами нет недоговоренности. Сперва я опасался, что ты угадаешь, как я люблю тебя... Потом я уже надеялся, что ты угадаешь, как я люблю тебя... Потом я уже надеялся, что ты угадаешь и избавишь меня от этого признания... Но теперь ты знаешь, и я могу говорить с тобой, как ни с кем другим. Ты был мне ближе, чем кто-либо, за все эти годы... ты был мне дороже всех... Только ты, дитя, ты один сумел ощутить мой жизненный пульс. И теперь, на прощанье... на прощанье ты должен узнать обо мне больше, чем всякий другой... Ты один узнаешь всю мою жизнь... Хочешь я расскажу тебе свою жизнь?

В моем взоре, полном смущения и участия, он прочитал ответ.

— Садись... сюда, ко мне... я не могу говорить об этом громко.

Я наклонился к нему, я бы сказал, с благоговением. Но едва, весь превратившись в слух, я сел против него, как он опустил руку, заслонявшую лицо, и поднялся с места.

— Нет, так я не могу... Ты не должен видеть меня... а то... а то я не смогу говорить. — И внезапно он потушил свет.

Нас охватила тьма. Я чувствовал его близость, его дыхание, с усилием и хрипом вырывавшееся во мраке. И вот встал между нами голос и рассказал мне всю его жизнь.

С того вечера, когда этот замечательный человек раскрыл передо мной, будто морскую раковину, свою судьбу, игрушечным кажется мне все, о чем рассказывают писатели и поэты, все, что мы привыкли в книгах считать необыкновенным и на сцене — трагическим. Из лени, трусости или недостаточной пронизательности, наши писатели рисуют только верхний, освещенный слой жизни, где чувства выявляются открыто и умеренно, в то время как там, в погребках, в вертепах и клоаках человеческого сердца, разгораются, фосфорически вспыхивая, самые опасные животные страсти; там, во тьме, они взрываются и вновь образуют самые причудливые сплетения. Пугает ли писателей запах гниения, или они боятся загрязнить свои изнеженные руки прикосновением к этим гнойникам человечества, или их взор, привыкший к свету, не различает этих скользких, опасных, гнилью изъеденных ступеней? Но для прозревшего ни с чем не сравнима радость созерцания этих глубин; нет для него трепета более сладостного, чем тот, который вызывается этим созерцанием, и нет страдания более священного, чем то, которое скрывает себя из стыдливости. Но здесь человек раскрыл свою душу во всей ее наготе; здесь разрывалась человеческая грудь, обнажая разбитое, отравленное, сожженное, гниющее сердце. Буйное сладострастие исступленно бичевало себя в этом годами, десятилетиями сдерживаемом признании. Только тот, кто всю жизнь провел под гнетом вынужденной скрытности и унижения, мог с таким упоением изливаться в этих неумолимых признаниях. Кусок за куском, вырывалась из груди человека его жизнь, и в этот час я, мальчик, впервые заглянул в бездонные глубины земного чувства.

В начале голос его бесплотно витал в пространстве — смутный угар чувств, отдаленное предвестие таинств; но уже слышалось в нем мучительное заклятие хаотического взрыва — как мощные, замедленные такты, предвещающие бешеную бурю ритма. Но вот из урагана страсти судорожно засверкали образы, постепенно проясняясь. Я увидел мальчика — робко-

го, замкнутого мальчика, который не решается даже заговорить с товарищами; но страстное физическое влечение толкает его к самым красивым в школе. С гневом встречает один из них неумеренные проявления его нежности, другой издевается над ним в отвратительно откровенных выражениях; но что ужаснее всего: оба они разболтали о его противоестественном влечении. И вот, точно сговорившись, товарищи подвергают его унижительным издевательствам и, будто прокаженного, единодушно изгоняют из своего веселого общества. Ежедневный крестный путь в школу; тревожные ночи, полные отращения к самому себе. Как безумие, как унижительное бремя, ощущает отверженный свою извращенную страсть, раскрывшуюся в мечтах.

Дрожит повествующий голос; было мгновение, когда казалось, что сейчас он растворится во тьме. Но вот, вместе со вздохом, вырывается он из груди, и вновь вспыхивают в густом дыму призрачные видения. Мальчик вырос, стал студентом. Он в Берлине. Подземный город впервые дает ему возможность удовлетворить извращенное влечение. Но как отвратительны, отравлены боязнью были эти встречи в темных закоулках, в тени мостов и вокзалов! Как бедны наслаждением и как ужасны своей опасностью! Большею частью они кончались унижительным вымогательством, на долгие недели оставляя за собой тягучий след ледящего душу страха. Вечное блуждание между светом и мраком: ясный рабочий день погружает ученого исследователя в кристально-прозрачную стихию духовности, а вечер снова толкает раба своей страсти на окраины города, в сомнительное общество товарищей, которых обращает в бегство каска встречного шуцмана, в наполненные дымом пивные, недоверчивая дверь которых открывается только перед условной улыбкой. И нечеловеческое напряжение воли требуется для того, чтобы скрывать эту двуликость — в течение дня безусловно сохранять достоинство доцента, а ночью неузнанным странствовать по подземельям, отдаваясь постыдным приключениям в тени робко мигающих фонарей. Снова и снова пытается он, измученный, бичом самооблада-

ния загнать свою непокорную страсть на путь естественного удовлетворения; снова и снова увлекает его опасный мрак. Десять, двенадцать, пятнадцать лет терзающей нервы борьбы с невидимой магнетической силой непреодолимой склонности проходят, как одна сплошная судорога. Наслаждение, не приносящее удовлетворения, гнетущий стыд и омраченный взор, робко прячущийся перед собственной страстью.

Наконец, уже поздно, на тридцать первом году жизни, — насильственная попытка встать на естественный путь. У одной родственницы он познакомился со своей будущей женой: загадочность его натуры пробудила в молодой девушке искреннюю симпатию. Своей мальчишеской внешностью и юношеским задором она сумела на короткое время привлечь к себе его страсть, которую возбуждал до тех пор только мужской пол. Мимолетная связь удается, сопротивление женскому началу, казалось, преодолено, и, в надежде, что таким путем ему удастся победить противоестественное влечение, он спешит бросить якорь там, где впервые нашел опору в борьбе с опасным недугом, и, после откровенного признания, он женится на молодой девушке. Он уверен, что возврата к прежней жизни нет. Первые недели укрепляют в нем эту уверенность. Но затем быстро настает конец кратковременному увлечению; врожденная страсть повелительно предъявляет свои требования. После непродолжительного сопротивления, жена, обманувшая его ожидания и сама обманутая, становится только ширмой, скрывающей от глаз общества возврат к застарелой привычке. И снова спускается он по скользкому пути, на рубеже закона и общественных условностей, в опасный мрак.

И к внутренней смуте добавляется еще особая пытка: круг его деятельности обращает его влечение в настоящее проклятие. Для доцента, а вскоре — ординарного профессора, постоянное общение с молодыми людьми является служебной обязанностью. Какое искушение — постоянно видеть вокруг себя цвет юности — эфэбов невидимого гимназиума * в мире прус-

* Гимназиумы — учреждения для гимнастических упражнений в Древней Греции; эфэб — по-гречески «юноша». — *Примеч. пер.*

ских параграфов. И — новое проклятие, новые опасности! — все страстно любят его, не замечая скрытого под маской лица Эроса. Каждый из них счастлив, если его рука (с затаенной дрожью) случайно коснется его; они расточают перед ним свой восторг, невольно вводя его в соблазн. Муки Тантала! — опустить руку, когда исполнение страстных желаний, казалось бы, так близко! Вечно жить в непрерывной борьбе с собственной слабостью! Случалось, что кто-нибудь из этих молодых людей слишком неумеренно возбуждал его чувство, силы изменяли ему — и тогда он обращался в бегство. Вот чем объяснялись его внезапные исчезновения, которые так смущали меня. Теперь встал перед моими глазами весь ужас этого бегства от самого себя. Он отправлялся в один из больших городов, где, в укромном месте, он находил наперсников. Унизительные встречи, продажные тела, разврат вместо любви; но это омерзение, это болото, это ядовитое противоядие были ему необходимы, чтобы дома, в тесном кругу студентов, быть уверенным в своем самообладании и в их неведении. Боже! Что за встречи — что за призрачные и вместе с тем насквозь человеческие образы! И этот человек, стоящий на вершине духовной культуры, человек, для которого красота форм была необходима, как воздух, этот благородный повелитель чужих сердец, должен был подвергаться самым отвратительным унижениям в накуренных, переполненных притонах, куда впускают только посвященных. Он был знаком с наглыми требованиями крашеных молодых людей с бульваров, знал слащавую интимность надушенных парикмахерских подмастерьев, возбужденное хихиканье трагистов, кокетничающих в женских нарядах, свирепую алчность бродячих комедиантов, похотливое безвкусице светловолосых кельнеров из трактиров предместья, неуклюжую нежность жующих табак матросов — все эти боязливые, извращенные, фантастические формы, в которых заблудший отыскивает и узнает сотоварищей. Все унижения, весь стыд и всякое насилие встретились ему на этом скользком пути: не раз его обкрадывали до последней нитки (он был слишком слаб и слишком благороден, чтобы вступать в драку

с конюхом); он возвращался домой без часов, без пальто, осмеянный и оплеванный пьяным товарищем по трактиру. Вымогатели следовали за ним по пятам; один из них выслеживал его шаг за шагом целыми месяцами, садился в аудитории на первую скамью и с наглой улыбкой смотрел на профессора, которому с трудом удавалось связать слова. Однажды, — сердце замерло у меня, когда он говорил об этом, — ночью, в Берлине, в одном из таких баров, он, в числе других, был схвачен полицией; с самодовольной, насмешливой улыбкой откормленный, краснощекий вахмистр, обрадовавшись случаю поиздеваться над интеллигентным человеком, записал его имя и звание и, наконец, милостиво объявил ему, что на этот раз он будет отпущен безнаказанным, но имя его будет занесено в особый список. И, как к платью человека, проводящего время в трактирах, пристаёт спиртной запах, так постепенно здесь, в его городе, из неизвестного источника, распространились слухи, связанные с его именем. Точно так же, как некогда в школе, так теперь, в кругу его коллег, все холоднее становились слова и поклоны, пока, в конце концов, и здесь не образовалась между ним и внешним миром та же стеклянная, прозрачная стена отчужденности. И при всем своем одиночестве, у себя дома, за семью замками, он чувствовал, что его тайну разгадали, что за ним следят.

Но никогда его измученное, истрадавшееся сердце не испытало радости обладания искренним, благородным другом; ни разу его мощная мужская нежность не встретила достойного ответа. Постоянно ему приходилось делить свое чувство между нежно томящим духовным общением с юными университетскими товарищами и ласками скрывающихся в темноте ночных наперсников, о которых он не мог вспомнить без содрогания на следующее утро. Никогда не пришлось ему, уже стареющему, испытать чистую привязанность юноши, и, утомленный разочарованиями, с нервами, расшатанными от блужданий в этой тернистой чаще, он замкнулся в себе. И вот еще раз вступает в его жизнь молодой человек, страстно привязавшийся к нему, уже состарившемуся, радостно отдавший

себя ему словом и делом. В испуге он смотрел на свершившееся чудо; достоин ли он такого чистого, такого неожиданного дара? Еще раз явился к нему посланник юности — чарующий облик, страстное сердце, пылающее для него духовным огнем, нежно привязанное к нему, жаждущее его любви и не предчувствующее кроющейся в ней опасности. С факелом Эроса в руке, в смелом неведении, подобно глупцу Парсифалю*, он наклоняется к отравленной ране. Не зная о волшебстве, не зная, что уже самый его приход приносит исцеление, так поздно, в вечерний час угасания, вошел он в дом, долгожданный, в течение целой жизни ожидаемый.

И, повествуя об этом образе, оживился окутанный мраком голос. Светлые ноты пронизали его. Глубокая, окрыляющая нежность звучала музыкой, когда вдохновенные уста заговорили об этом юноше, об этой поздней, последней любви. Я дрожал, охваченный его волнением, его восторгом — но вдруг, будто молот ударил по моему сердцу: этот пламенный юноша, о котором говорил мой учитель, был я! Будто в пылающем зеркале, я видел свой образ, освещенный горячим блеском неподозреваемой любви — даже отсвет ее обжигал меня. Да, это был я, — все отчетливее я узнавал эту настойчивую страстность, восторженную жажду его постоянной близости, безудержный экстаз, не удовлетворяющийся духовным общением; я узнал себя, глупого, буйного мальчика, который, в неведении своей силы, еще раз пробуждает в отрешившемся от жизни богатый источник творчества, еще раз зажигает в его душе факел Эроса. С изумлением я узнал, чем я был для него — я, робкий юноша, навязчивый энтузиазм которого он любил, как самую святую отраду своей старости. И с ужасом я узнал, с

* Парсифаль — герой средневековой легенды о святом Граале, послужившей темой для музыкальной мистерии Вагнера «Парсифаль». Парсифаль — «святой простец», освободивший из рук волшебника Клингзора «Копье Грааля», или «Копье Страстей» — копьё, которым был поражен распятый Христос. Этим копьем Парсифаль исцелил хранителя Грааля Амфортаса, который был наказан отравленной раной за то, что, отдавшись греховной страсти, не сумел уберечь копьё от Клингзора. — *Примеч. пер.*

какой нечеловеческой силой боролась в нем воля с соблазном: ибо как раз во мне, любимом чистой любовью, больше всего он боялся вызвать отвращение, содрогание оскорбленного тела. Эту последнюю милость жестокой судьбы он не хотел отдать на поругание чувственным инстинктам. С ужасающей ясностью обнажились передо мной все его загадочные поступки: он хотел во что бы то ни стало скрыть от меня эту тайну Медузы*. Вот почему он так ожесточенно сопротивлялся моей навязчивости, охлаждал мое бурное чувство ледящей иронией, резко заменял интимный тон условной сдержанностью, укрощал нежное прикосновение руки — только ради меня принуждал он себя к суровости, чтобы отрезвить меня и уберечь самого себя, а ведь все это нарушало мой душевный мир на целые недели. И с той же ослепительной очевидностью я понял эту ночь, когда, не в силах подавить бурную чувственность, он, словно лунатик, подымался ко мне по скрипучей лестнице, чтобы оскорбительным словом спасти нашу дружбу. И, содрогаясь, рыдая без слез, изнывая от жалости к нему, растроганный, в лихорадочном возбуждении, я понял, сколько он выстрадал из-за меня, как героически переносил эти страдания.

О, этот голос, звучавший во мраке! Как проникал он в самую глубину моей души! Таких звуков я никогда больше не слышал: они шли из недостижимых глубин; их не знает обыкновенный человеческий удел. Так говорить мог человек только раз в жизни, подобно лебедю, который, по преданию, поет только раз — перед смертью. И этот голос, жгучий, пылающий голос, я воспринял душой с трепетом и болью, как женщина принимает мужа в свое лоно.

* * *

И внезапно умолк этот голос, и только тьма соединяла нас. Я ощущал его близость, — он был от меня на расстоянии

* Медуза — в греческой мифологии одна из трех горгон — страшных существ, обладавших взором, от которого люди превращались в камни. — *Примеч. пер.*

ладони. И он почувствовал мое неудержимое желание сказать ему слово утешения.

Но он сделал движение — зажегся свет. Утомленный, старый, измученный, поднялся он с кресла. Медленными шагами приближался ко мне старик.

— Прощай, Роланд... Больше ни слова! Все между нами сказано! Хорошо, что ты пришел... И хорошо для нас обоих, что ты уходишь... Прощай... и позволь мне... поцеловать тебя на прощанье!

Магическая сила толкнула меня ему навстречу. В его глазах ясно светился яркий, обычно затуманенный огонь; он сверкал обжигающим светом. Он привлек меня, его губы жадно впились в мои губы, нервно, судорожно он прижал меня к себе.

На моих губах запечатлелся поцелуй, какого не дарила мне ни одна женщина, — жгучий и полный отчаяния, как предсмертный стон. Судорожный трепет его тела передался мне; я содрогался от неиспытанно-грозного, двойственного ощущения: отдаваясь ему всем существом, я в то же время был преисполнен протеста против столь близкого прикосновения мужского тела — тягостное смятение чувств, превратившее краткое мгновение в целую вечность.

Он выпустил меня из своих объятий — будто какая-то внешняя сила оторвала одно тело от другого, — с трудом отвернулся и бросился в кресло, спиной ко мне. Неподвижно он смотрел перед собой в пространство. Но постепенно голова его будто отяжелела; она склонялась все ниже и ниже и, наконец, как глыба, долго качавшаяся над пропастью, с глухим звуком, внезапно опустилась на письменный стол.

Чувство бесконечной жалости охватило меня. Невольно я приблизился к нему. Но вдруг выпрямилась сторбленная спина и, отвернувшись от меня, из-за ограды сомкнутых рук он угрожающе простонал: «Уходи!.. Уходи!.. Не надо... не надо... ради Бога... пощади нас обоих... иди теперь... иди!»

Я понял. С трепетом я отступил. Как беглец, оставил я милую комнату.

* * *

Никогда больше я не встречал его. Никогда не получал от него ни письма, ни устной весточки. Его сочинение не появилось, имя его забыто; никто, кроме меня, его не помнит. И теперь вновь, как некогда еще неопытный мальчик, я чувствую: отец и мать до встречи с ним, жена и дети, после этой встречи, не возбуждали во мне столь глубокого чувства благодарности. Никого я не любил так, как любил его.



СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕПЬ. Цикл новелл

Звено первое. ЖГУЧАЯ ТАЙНА

Рассказ в сумерках. <i>Перевод А.И. Картужанской</i>	11
Гувернантка. <i>Перевод П.С. Бернштейн</i>	41
Жгучая тайна. <i>Перевод П.С. Бернштейн</i>	57
Партнер	57
Быстрая дружба	62
Трио	67
Атака	71
Слоны	75
Перестрелка	78
Жгучая тайна	82
Молчание	86
Лжецы	91
Следы при лунном свете	97
Нападение	102
Гроза	105
Первые уроки	110
Непроницаемый мрак	114
Последний сон	117
Летняя новелла. <i>Перевод П.С. Бернштейн</i>	122

Звено второе. АМОК

<i>Амок. Перевод Д.М. Горфинкеля</i>	135
<i>Женщина и природа. Перевод П.С. Бернштейн</i>	190
<i>Фантастическая ночь. Перевод И.Б. Мандельштама</i>	212
<i>Письмо незнакомки. Перевод Д.М. Горфинкеля</i>	274
<i>Улица в лунном свете. Перевод И.Б. Мандельштама</i>	313

Звено третье. СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

<i>Двадцать четыре часа из жизни женщины. Перевод С.М. Красильщикова</i>	333
<i>Закат одного сердца. Перевод П.С. Бернштейн</i>	393
<i>Смятение чувств. Перевод П.С. Бернштейн</i>	424

СТЕФАН ЦВЕЙГ

**Собрание сочинений
в десяти томах**

Том первый

Редактор

И. Шурыгина

Художественный редактор

И. Марев

Технический редактор

Г. Шитова

Корректоры

Н. Кузнецова, И. Сахарук

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 26.03.96 г. Уч.-изд. л. 26,73.
Цена 21 900 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Цвейг С.

Ц26 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 1: Цепь: Цикл новелл: Звено первое: Жгучая тайна; Звено второе: Амок; Звено третье: Смятение чувств / Пер. с нем.— М.: ТЕРРА, 1996.— 512 с.

ISBN 5-300-00426-X (т. 1)

ISBN 5-300-00427-8

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Ц 4703010000-203 Подписное
А30(03)-96

ББК 84.4А